

*М. Сергеевич*



Лермонтов М. Ю., Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Проза. Письма. //Наука.  
Ленингр. отд-ние, Л., 1981  
FB2: "Ewgeny ", 24 February 2011, version 1.0  
UUID: 43BE7A98-638A-4926-B7B0-45236D1E3120  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Михаил Юрьевич Лермонтов

**Том 4. Проза. Письма.**  
(Собрание сочинений в четырех томах #4)

# Содержание

Проза . . . . .	0010
<Вадим> . . . . .	0010
Княгиня Лиговская . . . . .	0227
«Я хочу рассказать вам» . . . . .	0355
Ашик-Кериб . . . . .	0363
Герой нашего времени . . . . .	0378
Кавказец . . . . .	0652
<Штосс> . . . . .	0659
Приложения . . . . .	0688
Панорама Москвы . . . . .	0688
Планы, наброски, сюжеты . . . . .	0697
Автобиографические заметки . . . . .	0716
Письма . . . . .	0723
1. М. А. Шан-Гирей <Осень 1827 г. Из Москвы в Апалиху> . . . . .	0723
2. М. А. Шан-Гирей <Около 21 декабря 1828 г. Из Москвы в Апалиху> . . . . .	0725
3. М. А. Шан-Гирей <Весна 1829 г. Из Москвы в Апалиху> . . . . .	0729
4. М. А. Шан-Гирей <Февраль 1830 г. или февраль 1831 г. Из Москвы в Апалиху> . . . . .	0730
5. Н. И. Поливанову <7 июня 1831 г. Из Москвы в имение Поливанова> . . . . .	0734
6. С. А. Бахметевой <Июль – начало августа 1832 г. Из Твери в Москву> . . . . .	0735

7. С. А. Бахметевой <Август 1832 г. Из Петербурга в Москву> .....	0736
8. С. А. Бахметевой <Август 1832 г. Из Петербурга в Москву> .....	0739
9. М. А. Лопухиной <28 августа 1832 г. Из Петербурга в Москву> .....	0742
10. М. А. Лопухиной <2 сентября 1832 г. Из Петербурга в Москву> .....	0749
11. М. А. Лопухиной <Вторая половина октября 1832 г. Из Петербурга в Москву> .....	0756
12. А. М. Верещагиной <Конец октября 1832 г. Из Петербурга в Москву> .....	0764
13. М. А. Лопухиной <19 июня 1833 г. Из Петербурга в Москву> .....	0769
14. М. А. Лопухиной <4 августа 1833 г. Из Петербурга в Москву> .....	0775
15. М. Л. Симанской <20 февраля 1834 г. В Петербурге> .....	0782
16. М. Л. Симанской <1832–1839 г. В Петербурге> .....	0783
17. М. А. Лопухиной <23 декабря 1834 г. Из Петербурга в Москву> .....	0784
18. А. М. Верещагиной <Весна 1835 г. Из Петербурга в Москву> .....	0793
19. А. М. Гедеонову <Около 20 декабря 1835 г. В Петербурге> .....	0808
20. С. А. Раевскому <16 января 1836 г. Из Тархан в Петербург> .....	0809

21. Е. А. Арсеньевой <Конец марта – первая половина апреля 1836 г. Из Царского Села в Тарханы> . . . . . 0811
22. Е. А. Арсеньевой <Вторая половина апреля 1836 г. Из Петербурга или Царского Села в Тарханы> . . . . . 0813
23. Е. А. Арсеньевой <Конец апреля – начало мая 1836 г. Из Царского Села в Москву> . . . 0814
24. С. А. Раевскому <После 27 февраля 1837 г. В Петербурге> . . . . . 0816
25. С. А. Раевскому <Начало марта 1837 г. В Петербурге> . . . . . 0817
26. С. А. Раевскому <Первая половина марта 1837 г. В Петербурге> . . . . . 0818
27. М. А. Лопухиной <31 мая 1837 г. Из Пятигорска в Москву> . . . . . 0819
28. Е. А. Арсеньевой <18 июля 1837 г. Из Пятигорска в Петербург> . . . . . 0822
29. С. А. Раевскому <Вторая половина ноября – начало декабря 1837 г. Из Тифлиса в Петрозаводск> . . . . . 0824
30. П. И. Петрову <1 февраля 1838 г. Из Петербурга в Ставрополь> . . . . . 0827
31. М. А. Лопухиной <15 февраля 1838 г. Из Петербурга в Москву> . . . . . 0829
32. С. А. Раевскому <8 июня 1838 г. Из Петербурга или Царского Села в Петрозаводск> . . . . . 0837

33. А. И. Философову <Октябрь 1838 г. Царское Село> . . . . .	0839
34. А. М. Верещагиной-Хюгель <16 ноября 1838 г. Из Петербурга в Париж> . . . . .	0841
35. М. А. Лопухиной <Конец 1838 г. Из Петербурга в Москву> . . . . .	0843
36. А. А. Лопухину <Конец февраля – первая половина марта 1839 г. Из Петербурга в Москву> . . . . .	0850
37. А. И. Тургеневу <Декабрь 1839 г. В Петербурге> . . . . .	0852
38. А. П. Шувалову <Весна 1838 г. – весна 1840 г. в Петербурге> . . . . .	0854
39. К. Ф. Опочинину <Январь – начало марта 1840 г. В Петербурге> . . . . .	0855
40. Н. Ф. Плаутину <Начало марта 1840 г. В Петербурге> . . . . .	0856
41. С. А. Соболевскому <Середина марта 1840 г. В Петербурге> . . . . .	0858
42. С. А. Соболевскому <Конец марта – середина апреля 1840 г. В Петербурге> . . . . .	0859
43. В. кн. Михаилу Павловичу <20–27 апреля 1840 г. В Петербурге> . . . . .	0859
44. А. А. Вадковской <1838–1840 г. В Петербурге> . . . . .	0862
45. А. А. Лопухину <17 июня 1840 г. Из Ставрополя в Москву> . . . . .	0863
46. А. А. Лопухину <12 сентября 1840 г. Из	

Пятигорска в Москву> . . . . .	0865
47. А. А. Лопухину <16–26 октября 1840 г. Из крепости Грозной в Москву> . . . . .	0868
48. А. И. Бибикову <Вторая половина февраля 1841 г. Из Петербурга в Ставрополь> . . . . .	0870
49. О. С. Одоевской <февраль – апрель 1841 г. В Петербурге> . . . . .	0872
50. А. А. Краевскому <13–14 апреля 1841 г. В Петербурге> . . . . .	0872
51. Е. А. Арсеньевой <20 апреля 1841 г. Из Москвы в Петербург> . . . . .	0873
52. Е. А. Арсеньевой <10 мая 1841 г. Из Ставрополя в Петербург> . . . . .	0875
53. С. Н. Карамзиной <10 мая 1841 г. Из Ставрополя в Петербург> . . . . .	0876
54. Е. А. Арсеньевой <28 июня 1841 г. Из Пятигорска в Петербург> . . . . .	0881
Письма, приписываемые Лермонтову . . . . .	0882
Примечания . . . . .	0888
Проза Лермонтова . . . . .	0888
Приложения . . . . .	0957
Письма . . . . .	0984
Письма к Лермонтову . . . . .	1088
<Преамбула> . . . . .	1088
1. От М. А. Лопухиной <12 октября 1832 г. Из Москвы в Петербург> . . . . .	1090
2. От А. М. Верецагиной, отрывок <13 октября 1832 г. Из Москвы в Петербург> . . . . .	1097

3. От А. А. Лопухина, отрывки <Ноябрь 1832 г. Из Москвы в Петербург> . . . . .	1098
4. От Винсона, отрывок <1832 г. Из Любимовки в Петербург> . . . . .	1100
5. От А. А. Лопухина, отрывки <7 января 1833 г. Из Москвы в Петербург> . . . . .	1102
6. От А. А. Лопухина, отрывок <25 февраля 1833 г. Из Москвы в Петербург> . . . . .	1105
7. От А. М. Верецагиной, отрывок <1833 г. Из Москвы в Петербург> . . . . .	1106
8. От А. М. Верецагиной <18 августа 1835 г. Из Федорова в Петербург> . . . . .	1107
9. От Е. А. Арсеньевой <18 октября 1835 г. Из Тархан в Петербург> . . . . .	1113
10. От В. Ф. Одоевского, записка <Не ранее 5 августа 1839 г. В Петербурге> . . . . .	1121
Хронологическая канва жизни и творчества М. Ю. Лермонтова . . . . .	1123

**Михаил Юрьевич Лермонтов**  
**Собрание сочинений в 4**  
**томах**  
**Том IV**  
**Проза. Письма**

# Проза

<Вадим>

Часть I-я  
Глава I

День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность. Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным; богомольцы теснились вокруг сырых столбов, и глухой, торжественный шорох толпы, повторяемый сводами, показывал, что служба еще не началась.

У ворот монастырских была другая картина.[1] Несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев; они спорили, брани-

лись, делили медные деньги, которые звенели в больших посконных мешках; это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой); это были люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишённые права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления.

Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах и согнутых костистых коленях; углубления в лицах казались чернее обыкновенного; у каждого на челе было написано вечными буквами *нищета!* – хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!

В толпе нищих был один – он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния; лицо его было длинно, смугло; прямой

нос, курчавые волосы; широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури; синяя жила пересекала его неправильные морщины; губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастье, демона – но не человека: – он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше 28 лет; на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная; волшебный круг, заключавший вселенную; его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность; – нищий стоял сложа руки и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на св. вратах, и внут-

ренно сожалел об нем; он думал: если б я был черт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; стоят ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник бога!.. Другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!

И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами: всё было согласно в чертах нищего: одна страсть владела его сердцем, или, лучше, он владел одною только страстью, – но зато совершенно!

«Христа ради, барин, – погорелым, калекам, слепому... Христа ради копеечку!» – раздался крик его товарищей; он вздрогнул, обернулся – и в этот миг решилась его участь. – Что же увидал он? Русского дворянина, Бориса Петровича Палицына. Не больше.

## [Глава II]

Представьте себе мужчину лет 50, высокого, Пеще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтаны с анненским крестом в петлице; ноги его, запрятанные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные кам-

ни; он шел с важностью размахивая руками и наморщивал высокий лоб всякий раз, как докучливые нищие обступали его; – двое слуг следовали за ним с подобострастием. – Палицын положил серебряный рубль в кружку монастырскую и, оттолкнув нищих, воскликнул: «Прочь, вы! – лентяи. – Экие молодцы – а просят Христа ради; что вы не работаете? Дай бог, чтоб пришло время, когда этих бродяг без стыда будут морить с голоду. – Вот вам рубль на всю братию. – Только чур не перекусайтесь за него».

Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина; этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм.

Когда старый господин удалился от толпы, он поспешил догнать его.

Палицын обернулся.

– Что тебе надобно?

– Очень мало! – я хочу работы...

С язвительной усмешкой посмотрел старик на нищего, на его горб и безобразные ноги... но бедняк нимало не смутился и остался хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову, но это не было хладнокровие мудреца – нищий был скорее похож на дуэлиста, который уверен в меткости руки своей.

– Если ты, барин, думаешь, что я не могу перенести труда, то я тебя успокою на этот счет. – Он поднял большой камень и начал им играть как мячиком; Палицын изумился.

– Хочешь ли быть моим слугою?

Нищий в одну минуту принял вид смирения и с жаром поцеловал руку своего нового покровителя... из вольного он согласился быть рабом – ужели даром? – и какая странная мысль принять имя раба за 2 месяца до Пугачева.[2]

– Клянусь головою отца моего, что исполню свою обязанность! – воскликнул нищий, – и адская радость вспыхнула на бледном лице.

– Твое имя?

– Вадим!

– Прелестное имя для такого уroda!

Слуги подхватили шутку барина и захохотали; нищий взглянул на них с презрением, и неуместная веселость утихла; подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника.

– Следуй за мной!.. – сказал Палицын, и все оставили монастырь. Часто Вадим оборачивался! На полусветлом небосклоне рисовались зубчатые стены, башни и церковь, плоскими черными городами, без всяких оттенков; но в этом зрелище было что-то величественное, заставляющее душу погружаться в себя и думать о вечности, и думать о величии земном и небесном, и тогда рождаются мысли мрачные и чудесные, как одинокий монастырь, неподвижный памятник слабости некоторых людей, которые не понимали, что где скрывается добродетель, там может скрываться и преступление.

### Глава III

Поздно, поздно вечером приехал Борис Петрович домой; собаки встретили его громким лаем, и только по светящимся окнам

можно было узнать строение; ветер шумя качал ветелки, насаженные вокруг господского двора, и когда топот конский раздался, то слуги вышли с фонарями навстречу, улыбаясь и внутренне проклиная барина, для которого они покинули свои теплые постели, а может быть, что-нибудь получше. Палицын вошел в дом; – в зале было темно; оконницы дрожали от ветра и сильного дождя; в гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно отделана во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три круглые стола; перед каждым небольшое канапе; глухая стена, находящаяся между двумя высокими печьюми, на которых стояли безобразные статуйки, была вся измалевана; на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой.

Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам, добрая женщина!.. Жиреть, зевать, бранить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе... какая завидная жизнь! И всё это продолжается сорок лет, и продолжится еще

столько же... и будут оплакивать ее кончину... и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть... чудо что за жизнь! Особенно как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и что еще ужаснее – обрывающие чувства человека, как листья с дерева, одно за другим.

На скамейке, у ног <Натальи> Сергеевны (так я назову жену Палицына), сидела молодая девушка, ее воспитанница. – Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. – Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить мелкий золотой пушок; остальная часть лица ее была покрыта густой тенью; и только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте; это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда. – Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза; тогда выходила на свет белая рука с

продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть целою картиной!

Борис Петрович взошел; обе встали.

– Я привез нового холопа, сказал он. – Клад! – нищий, который захотел работать! – он не должен быть слишком боек – это видно по лицу – но зато будет послушен!.. – вот ты увидишь сама – эй! – Вадимка! – живо!

Взошел безобразный нищий. Госпожа осмотрела его без внимания, как краденый товар... «Какой урод!» – воскликнула она. Но Вадим не слышал – его душа была в глазах.

Долго супруг разговаривал с супругой о жатве, льне и хозяйственных делах; и вовсе забыли о нищем; он целый битый час простоял в дверях; куда смотрел он? Что думал? – он открыл новую струну в душе своей и новую цель своему существованию. Целый час он простоял; никто не заметил; <Наталья> Сергевна ушла в свою комнату, и тогда Палицын подошел к ее воспитаннице.

– Как тебе нравится мой новый холоп?

– Урод! – отвечала Ольга, и вдруг ей послышалось что-то похожее на скрежет зубов. – Охота привозить таких пугал, – продолжала

она, – нам бедным пленным птичкам и без них худо!..

– Оттого худо, что ты не хочешь согласиться, – возразил Борис Петрович и намеревался ее обнять.

Ольга покраснела и оттолкнула его руку; это движение было слишком благородно для женщины обыкновенной.

– Плутовка! Если бы ты знала, как ты прекрасна: разве у стариков нет сердца, разве нет в нем уголка, где кровь кипит и клокочет? – а было бы тебе хорошо! – если бы – выслушай... у меня есть золотые серьги с крупным жемчугом, персидские платки, у меня есть деньги, деньги, деньги...

– У вас нет стыда! – отвечала Ольга; Палицын посмотрел на нее – и вспыхнул; – но, услышав шорох в другой комнате, погрозившись ушел.

– Боже!.. – это восклицание невольно вырвалось из ее груди; это была молитва и упрек.

Безобразный нищий все еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим – на его ресницах блеснула слеза: может быть, первая

слеза – и слеза отчаяния!.. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! Они для одного человека – что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед.

– Знаешь ли ты своих родителей, Ольга? – сказал Вадим.

– Странный вопрос! – отвечала она.

– Знаешь ли ты их, – повторил он таким голосом, который заставил ее содрогнуться; она посмотрела ему пристально в глаза, как будто припоминая нечто давно, давно прошедшее.

– Я сирота; – мой отец меня оставил, когда я была ребенком, – и отправился бог знает куда – верно очень далеко, потому что он не возвращался – чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское.

– Хочешь ли знать куда?

– Хочу!.. – и влажные глаза ее ярко заблестали.

– Подумай, – я для тебя человек чужой – может быть, я шучу, насмехаюсь!.. Подумай:

есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи; есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; всё, что их любит и ненавидит, обречено погибели... берегись того и другого – узнав мою тайну, ты отдашь судьбу свою в руки опасного человека: он не сумеет лелеять цветок этот: он изомнет его...

– Хочу знать непременно... – воскликнула неопытная девушка.

Она посмотрела вокруг – нищего уже не было в комнате.

## Глава IV

Прошло двое суток – Вадим еще не объявлял своей тайны... Ужели он только хотел подстрекнуть женское любопытство? Если так, то он вполне достиг своей цели. Под разными предлогами, пренебрегая гнев госпожи своей, Ольга отлучалась от скучной работы и старалась встретить где-нибудь в отдаленной пустой комнате Вадима; и странно! Она почти всегда находила его там, где думала найти, – и тогда просьбы, ласки, все хитрости были употребляемы, чтобы выманить желанную тайну, – однако он был непреклонен;

умел отвести разговор на другой предмет, занимал ее разными рассказами – но тайны не было; она дивилась его уму, его бурному нраву, начинала проникать в его сумрачную душу и заметила, что этот человек рожден не для рабства: – и это заставило ее иметь к нему доверенность; немудрено; – власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их.

Однажды она взяла его за руку.

– Не правда ли я очень безобразен! – воскликнул Вадим. Она пустила его руку. – Да, – продолжал он. – Я это знаю сам. – Небо не хотело, чтоб меня кто-нибудь любил на свете, потому что оно создало меня для ненависти; – завтра ты всё узнаешь: – на что мне беречь тебя? – О, если б... не укоряй за долгое молчанье. – Быть может, настанет время и ты подумаешь: зачем этот человек не родился немым, слепым и глухим – если он мог родиться кривобоким и горбатым?..

Поведение Вадима с прочими слугами было непонятно, потому что его цели никто не знал; я объясню его, сколько можно, следующим разговором; на крыльце дома сидело двое слуг, один старый, другой лет двадцати;

ВОТ СЛОВА ИХ:

– Заметь, Федька, что кто из грязи вышел, тот лезет в золото! – как этот Вадимка загордился – эдакой урод – мне никогда никакого уважения не делает – когда сам приказчик меня всегда отличает – да и к барину как умеет он подольститься: словно щенок! – Экой век стал нехристианской.

– Не скажу, дядя Ипат!.. Он всегда со мной ласков – парень лихой; с ним держи ухо востро: тотчас на удочку подцепит – вот, например, вчера...

– Что вчера?

– Я тебе расскажу эту штуку, дядя... слушай... вчера барин разгневался на Олешку Шушерина и приказал ему влечь 25 палок; повели Олешку на конюшню – сам приказчик и стал его бить; 25 раз ударил да и говорит: это за барина – а вот за меня – и занес руку. Вадим всё это время стоял поодаль, в углу: брови его сходились и расходились. – В один миг он подскочил к приказчику и сшиб его на землю одним ударом. На губах его клубилась пена от бешенства, он хотел что-то вымолвить – и не мог.

– Жаль! – возразил старик, – не доживет этот человек до седых волос. – Он жалел от души, как мог, как обыкновенно жалеют старики о юношах, умирающих преждевременно, во цвете жизни, которых смерть забирает вместо их, как буря чаще ломает тонкие высокие деревья и щадит пни столетние.

Зачем Вадим старался приобрести любовь и доверенность молодых слуг? – на это отвечаю: происшествия, мною описанные, случились за 2 месяца до бунта пугачевского.

Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь <его> могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею – и тогда горе побежденным!..

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо, он со-

гласен служить – но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей! В 18 столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть свою и способы ее поддерживать, – не умело переменить поведения: вот одна из тайных причин, породивших пугачевский год!

## [Глава V]

**Н**о обратимся к нашему рассказу. Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета; кругом двора и вдоль по берегу построены избы, дымные, черные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, кланяющиеся прохожим; по ту сторону реки видны в отдалении березовые рощи и еще далее лесистые холмы с чернеющимися елями, налево низкий берег, усыпанный кустарником, тянется гладкою покатостью – и далеко, далеко синеют холмы, как волны. Вечернее солнце порою играло на тесовой крыше и в стеклах золотыми переливами, раскрашенные рез-

ные ставни, колеблемые ветром, стучали и скрип<ели>, качаясь на ржавых петлях. Вокруг старинного дома обходит деревянная резной работы голодарейка, служащая вместо балкона; здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы! Каждый день видят новый берег – и новые надежды! – Песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание – кто едет, купец? Барин? Почта? – но на что ей!.. Не всё ли равно... и все-таки не худо бы узнать.

Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли?

Теперь она попала из одной крайности в другую: теперь, завернувшись в черную бархатную шубейку, обшитую заячьим мехом, она трепеща отворяет дверь на голодарейку. – Чего тебе бояться, неопытная девушка: Борис Петрович уехал в город, его жена в монастырь, слушать поучения монахов и новости и<з> уст богомолков, не менее ею уважаемых.

Кто идет ей навстречу. – Это Вадим. – Она вздрогнула; – она побледнела, потому что настала роковая минута.

– Что с тобою, – сказал он.

– Ничего...

– А! Понимаю! – он закусил губы: – ты меня испугалась...

– Зачем мне бояться тебя, – отвечала гордо Ольга.

– Тем лучше! – продолжал он... – это уже много значит – так я тебе не страшен! Не отвратителен... о мой создатель! Вот великое блаженство! Право, мне кажется это первое... – он остановился...

– Послушай, что если душа моя хуже моей наружности? Но разве я виноват... я ничего не просил у людей, кроме хлеба – они прибавили к нему презрение и насмешки... я имел небо, землю и себя, я был богат всеми чувствами... видел солнце и был доволен... но постепенно всё исчезло: одна мысль, одно открытие, одна капля яда – берегись этой мысли, Ольга.

– Для чего мы здесь, – спросила она с нетерпением.

– Я здесь для того, чтобы тебя видеть.

– А я совсем не для того...

– Опять, опять! – воскликнул Вадим. – Послушай, если хочешь чего-нибудь добиться от меня, то не намекай о моем безобразии: я завистлив, я зол, я всё, что ты хочешь... но пощади меня. – Он закрыл лицо обеими руками. – Ей стало жалко: этот человек, одаренный величайшим самолюбием, просил у нее, слабой девушки, у нее, еще более, чем он, беззащитной, сожаления – или нет... меньше... он просил, чтоб она его не оскорбляла.

Такие речи иногда трогают женское сердце.

Она прервала неприятное молчание:

– Ты говорил, Вадим, что знаешь, где мой отец?..

Он задумался:

– Обещай никогда не укорять меня за то, что я тебе открыл свою тайну.

– Никогда.

– Слушай же: твой отец был дворянин – богат – счастлив – и, подобно многим, кончил жизнь на соломе... ты вздрогнула... но это еще ничего!..

– О, если это ничего – то не продолжай.

– Нет слушай: у него был добрый сосед, его друг и приятель, занимавший первое место за столом его, товарищ на охоте, ласкавший детей его, – сосед искренний, простосердечный, который всегда стоял с ним рядом в церкви, снабжал его деньгами в случае нужды, ручался за него своею головою – что ж... разве этого не довольно для гибели человека? – погоди... не бледней... дай руку: огонь, текущий в моих жилах, перельется в тебя... слушай далее: однажды на охоте собака отца твоего обскакала собаку его друга; он посмеялся над ним: с этой минуты началась непримиримая вражда – 5 лет спустя твой отец уж не смеялся. – Горе тому, кто наказал смех этот слезами! Друг твоего отца открыл старинную тяжбу о землях и выиграл ее и отнял у него всё имение; я видал отца твоего перед кончиной; его седая голова, неподвижная, сухая, подобная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти... и мне она осталась в наследство; а его проклятие живо, живо и каждый год пускает новые отрасли, и каждый год

всё более окружает свою тенью семейство злодея... я не знаю, каким образом всё это случилось... но кто, ты думаешь, кто этот нежный друг? – как, небо!.. В продолжение 17-ти лет ни один язык не шепнул ей: этот хлеб куплен ценою крови – твоей – его крови! И без меня, существа бедного, у которого вместо души есть одно только ненасытимое чувство мщения, без уродливого нищего, это невинное сердце билось бы для него одною благодарностью.

– Вадим, что сказал ты.

– Благодарность! – продолжал он с горьким смехом. – Благодарность! Слово, изобретенное для того, чтоб обманывать честных людей!.. Слово, превращенное в чувство! – о, премудрость небесная!.. Как легко тебе из ничего сделать святейшее чувство!.. Нет, лучше издохнуть с голода и жажды в какой-нибудь пустыне, чем быть орудием безумца и лизать руку, кидающую мне остатки пира... – о, благодарность!..

И он ходил взад и вперед скорыми шагами, сжав крестом руки, – и, казалось, забыл, что не сказал имени коварного злодея... и, ка-

залось, не замечал в лице несчастной девушки страх неизвестности и ожидания... он был весь погребен сам в себе, в могиле, откуда также никто не выходит... в живой могиле, где также есть червь, грызущий вечно и вечно ненасытный.

Безобразные черты Вадима чудесно ожились, гений блистал на челе его, – и глаза, если б остановились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз василиска: но они были обращены вверх!..

– Я отгадала! – воскликнула молодая девушка, подойдя с твердостью к Вадиму... – я поняла тебя!.. Это Борис Петрович...

Она в самом деле отгадала: великие души имеют особенное преимущество понимать друг друга; они читают в сердце подобных себе, как в книге, им давно знакомой; у них есть приметы, им одним известные и темные для толпы; одно слово в устах их иногда целая повесть, целая страсть со всеми ее оттенками.

Палицын был тот самый ложный друг, погубивший отца юной Ольги – и взявший к себе дочь, ребенка 3 лет, чтобы принудить к

молчанию некоторых дворян, осуждавших его поступок; он воспитал ее как рабу, а хвалялся своею благотворительностию; десять лет тому назад он играл ее кудрями, забавлялся ее ребячествами и теперь в мыслях готовил ее для постыдных удовольствий. Это было также мщение в своем роде... кто бы подумал!.. Столько страданий за то, что одна собака обогнала другую... как ничтожны люди! Как верить общему мнению! – Палицын слыл честнейшим человеком во всем околотке – и точно! Он погубил только одно семейство.

Я сказал, что великие души понимают друг друга, потому-то Вадим смотрел на нее без удивления, но с тайным восторгом.

Она схватила его за руку и повлекла в комнату, где хрустальная лампада горела перед образами и луч ее сливался с лучом заходящего солнца на золотых окладах, усыпанных жемчугом и каменьями; – перед иконой богородицы упала Ольга на колени, спина и плечи ее отделяемы были бледнеющим светом зари от темных стен, а красноватый блеск дрожащей лампады озарял ее лицо, вдохновенное, прекрасное, слишком прекрасное для чувств,

которые бунтовали в груди ее; Вадим не сводил глаз с этого неземного существа, как будто был счастлив.

Ольга сорвала с шеи богатое ожерелье и бросила его на землю.

– Так уничтожаю последний остаток признательности... боже! Боже! Я невиновна... ты, ты сам дал мне вольную душу, а он хотел сделать меня рабой, своей рабой!.. Невозможно! Невозможно женщине любить за такое благодеяние... терпеть, страдать я согласна... но не требуй более; боже! Если б ты теперь мне приказал почитать его своим благодетелем – я и тебя перестала бы любить!.. Моя жизнь, моя судьба принадлежат тебе, создатель, и кому ты хочешь – но сердце в моей власти!..

Слезы покатались из глаз ее, она склонила голову, рука ее дрожала в руке Вадима...

– Я твой брат! – воскликнул он вне себя.

Она обернулась, встала... как будто не поняла... как будто ужаснулась... Руки ее опустились, как руки умершей, и сомкнутые уста удерживали дыхание.

– Я твой брат! – повторил он дрожащим,

страшным голосом.

Она молчала.

Вадим взглянул на нее в последний раз, схватил себя за голову и вышел; и выходя остановился у двери... и в продолжение одной минуты он думал раздробить свою голову об косяк... но эта безумная мысль скоро пролетела... он вышел.

– Брат! – сказала Ольга, смотря ему вслед. – Брат! И без сил она упала на стул.

## Глава VI

Борис Петрович был чрезвычайно доволен своим горбачем (так в доме называли Вадима). Горбач везде почти следовал за ним, на охоту, в поле, на пашню, – исполнял его малейшие желания, предугадывал их. Одним словом, делал всё, чем мог приобрести доверенность, – и если ему удавалось, то неизъяснимая радость процветала на этом суровом лице, которое выражало все чувства, все, – кроме одного, любимого сокровища, хранимого на черный день. Если Борис Петрович хотел наказать кого-нибудь из слуг, то Вадим намекал ему всегда, что есть наказания, которые жесточе, и что вина гораздо больше,

нежели Палицын воображал; – а когда недосказанный совет его был исполнен, то хитрый советник старался возбудить неудовольствие дворни, взглядом, движеньями помогал им осуждать господина; но никогда ничего не говорил такого, что бы могло быть пересказано ко вреду его – к неудовольствию рабов или помещика. Он был враждебный Гений этого дома.

Однажды, не знаю зачем, Палицын велел его позвать; искали горбача – не нашли. Так это и осталось.

День был жаркий, серебряные облака тяжелели ежечасно; и синие, покрытые туманом, уже показывались на дальнем небосклоне; на берегу реки была развалившаяся баня, врытая в гору и обсаженная высокими кустами кудрявой рябины; около нее валялись груды кирпичей, между коими выростала высокая трава и желтые цветы на длинных стебельках. Тут сидел Вадим; один, облокотясь на свои колена и поддерживая голову обеими руками; он размышлял; тени рябиновых листьев рисовались на лице его непостоянными арабесками и придавали ему вид таинствен-

ный; золотой луч солнца, скользнув мимо соломенной крыши, упал на его коленку, и Вадим, казалось, любовался воздушной пляской пылинок, которые кружились и подымались к солнцу.

Вчера он открылся Ольге; – наконец он нашел ее, он встретился с сестрой, которую оставил в колыбели; наконец... О! Чудна природа; далеко ли от брата до сестры? – а какое различие!.. Эти ангельские черты, эта демонская наружность... Впрочем разве ангел и демон произошли не от одного начала?..

Однако Вадим заметил в ней семейственную гордость, сходство с его душой, которое обещало ему много... обещало со временем и любовь ее... эта надежда была для него нечто новое; он хотел ею завладеть, он боялся расстаться с нею на одно мгновение... – и вот зачем он удалился в уединенное место, где плеск волны не мог развлечь думы его; он не знал, что есть цветы, которые чем более за ними ухаживают, тем менее отвечают стараниям садовника; он не знал, что, слишком привязавшись к мечте, мы теряем существенность; а в его существенности было одно мще-

ние.

Постепенно мысли его становились туманнее; и он полусонный лег на траву – и нечаянно взор его упал на лиловый колокольчик, над которым вились две бабочки, одна серая с черными крапинками, другая испещренная всеми красками радуги; как будто воздушный цветок или рубин с изумрудными крыльями, отделанный в золото и оживленный какою-нибудь волшебницей; оба мотылька старались сесть на лиловый колокольчик и мешали друг другу, и когда один был близко, то ветер относил его прочь; наконец разноцветный мотылек остался победителем; уселся и спрятался в лепестках; напрасно другой кружился над ним... он был принужден удалиться. У Вадима был прутик в руке; он ударил по цветку и убил счастливое насекомое... и с каким-то восторгом наблюдал его последний трепет!..

И бог знает отчего в эту минуту он вспомнил свою молодость, и отца, и дом родной, и высокие качели, и пруд, обсаженный ветлами... всё, всё... и отец его представился его воображению, таков, каким он возвратился из

Москвы, потеряв свое дело... и принужденный продать всё, что у него осталось, дабы заплатить стряпчим и суду. – И потом он видел его лежащего на жесткой постели в доме бедного соседа... казалось, слышал его тяжелое дыхание и слова: отомсти, сын мой, извергу... чтоб никто из его семьи не порадовался краденым куском... и вспомнил Вадим его похороны: необитый гроб, поставленный на телеге, качался при каждом толчке; он с образом шел вперед... дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом... и прохожие снимали шляпы... вот стали опускаться в могилу, канат заскрипел, пыль взвилась...

Кровь кинулась Вадиму в голову, он шепотом повторил роковую клятву и обдумывал исполнение; он готов был ждать... он готов был всё выносить... но сестра! Если... О! Тогда и она поможет ему... и без трепета он принял эту мысль; он решился завлечь ее в свои замыслы, сделать ее орудием... решился погубить невинное сердце, которое больше чувствовало, нежели понимало... странно! Он любил ее; – или не почитал ли он ненависть добродетелью?..

Вдруг над ним раздался свист арапника, и он почувствовал сильную боль во всей руке своей; — как тигр вскочил Вадим... перед ним стоял Борис Петрович и осыпал его ругательствами.

Кланяясь, слушал он и с покорным видом последовал за Палицыным в дом, где слуги встретили его с насмешливыми улыбками, которые говорили: пришел и твой черед.

С этих пор Вадим ни разу не забывал своей должности.

## [Глава VII]

Пóд-вечер приехали гости к Палицыну; Наталья Сергевна разрядилась в фижмы и парчевое платье, распудрилась и разрумянилась; стол в гостиной уставили вареньями, ягодами сушеными и свежими; Геннадий Васильич Горинкин, богатый сосед, сидел на почетном месте, и хозяйка поминутно подносила ему тарелки с сладостями; он брал из каждой понемножку и важно обтирал себе губы; он был высокого роста, белокур и вообще довольно ловок для деревенского жителя того века; и это потому быть может, что он служил в лейб-камpanцах; 25 лет вышел в отставку,

он женился и нажил себе двух дочерей и одного сына; – Борис Петрович занимал его разговорами о хозяйстве, о Москве и проч., бранил новое, хвалил старое, как все старики, ибо вообще если человек сам стал хуже, то всё ему хуже кажется; – поздно вечером, истощив разговор, они не знали, что начать; зевали в руку, вертелись на местах, смотрели по сторонам; но заботливый хозяин тотчас нашелся:

– Малой! Египетского, – закричал он, в восторге от своей мысли; – принесли две фляги и две большие серебряные кружки; – начали пить, потом спорить, хохотать и целоваться; – щеки их разгорелись, и воображение, охлажденное годами, закипело.

– Потешить ли тебя, сосед любезный! – воскликнул Палицын.

– А что?

– Да уж то, что твоей милости и в голову не придет; любишь ли ты пляску?.. А у меня есть девочка – чудо... а как пляшет!.. Жжет, а не пляшет!.. Я не монах, и ты не монах, Васильич...

– Избави Христос...

– И точно так!..

– Ну что же?

– Да уж то!.. Мать моя, женушка, Наталья Сергевна, – вели Оленьке принарядиться в шелковый святошный сарафан да выйти поплясать; а других пришли петь, да песельников-то нам побольше, знаешь, чтоб лихо... – он захохотал, сам верно не зная чему; и начал потирать руки, заране наслаждаясь успехом своей выдумки; – этот человек, обыкновенно довольно угрюмый, теперь был совершенный ребенок.

Наталья Сергевна приказала собираться песельникам, а сама вышла искать Ольгу.

Где была Ольга?..

В темном углу своей комнаты она лежала на сундуке, положив под голову свернутую шубу; она не спала; она еще не опомнилась от вчерашнего вечера; укоряла себя за то, что слишком неласково обошлась с своим братом... но Вадим так ужаснул ее в тот миг! – Она думала целый день идти к нему, сказать, что она точно достойна быть его сестрой и не обвиняет за излишнюю ненависть, что оправдывает его поступок и удивляется чудесной

смелости его.

Со свечой в руке вошла Наталья Сергевна в маленькую комнату, где лежала Ольга; стены озарились, увешанные платьями и шубами, и тень от толстой госпожи упала на столик, покрытый пестрым платком; в этой комнате протекала половина жизни молодой девушки, прекрасной, пылкой... здесь ей снились часто молодые мужчины, стройные, ласковые, снились большие города с каменными домами и златоглавыми церквами; – здесь, когда зимой шумела метелица и снег белыми клоками упал на тусклое окно и собирался перед ним в высокий сугроб, она любила смотреть, завернутая в теплую шубейку, на белые степи, серое небо и ветлы, обвешанные инеем и колеблемые взад и вперед; и тайные, неизъяснимые желания, какие бывают у девушки в семнадцать лет, волновали кровь ее; и досада заставляла плакать, вырывала иголку из рук.

– Вставай, Ольга! – закричала Наталья Сергевна, сердито толкнув ее.

Ольга вскочила и зажмурилась, встретив свечу прямо перед глазами.

– Что спала, ленивая...

– У меня голова болит!

– Вздор! Девчонка молодая... и смеет голова болеть! Просто лень, уж так бы и говорила... а то еще лжет... отвечай: спала, лентяйка?

– Я никогда не лгу.

– Как! Еще смеет отвечать, когда я говорю! Спорить! Ах грубиянка; да не я ли тебя выкормила и воспитала, да не я ли тебя от нищего отца-негодяя взяла на свои руки... неблагодарная! – нет! Этот народ никогда не чувствует благодарений! Как волка ни корми, а всё в лес глядит... да не смей строить рож, когда я браню тебя!.. Стой прямо и не морщись – ты забываешь, кто я?

Ольга хотела что-то сказать, но удержалась; презрение изобразилось на лице ее; мрачный пламень, пробужденный в глазах, потерялся в опущенных ресницах; она стояла, опустив руки, с колеблющейся грудью и обнаженными плечами, и неподвижно внимала обидным изречениям, которые рассердили, испугали бы другую.

– Поди надень шелковый сарафан и выхо-

ди плясать... чтоб голова не болела... слышишь... скорей же!.. Да не больно финти перед Борисом Петровичем!.. А не то я тебе дам знать!.. Ведь вы все ради заманить барскую милость... берегись...

Ольга молчала – но вся вспыхнула... и если б Наталья Сергевна не удалилась, то она не вытерпела бы далее; слезы хотели брызнуть из глаз ее, но женщина иногда умеет остановить слезы... – Как! Ее подозревают, упрекают? – и в чем! – О! Где ее брат! Пускай придет он и выслушает ее клятву помогать ему во всем, что дышит местию и разрушением; пускай посвятит он ее в это грозное таинство, – она готова!..

Теперь она будет уметь отвечать Вадиму, теперь глаза ее вынесут его испытывающие взгляды, теперь горькая улыбка не уничтожит ее твердости; – эта улыбка имела в себе что-то неземное; она вырывала из души каждое благочестивое помышление, каждое желание, где таилась искра добра, искра любви к человечеству; встретив ее, невозможно было устоять в своем намеренье, какое бы оно ни было; в ней было больше зла, чем люди

понимать способны.

Ольгу ждут в гостиной, Борис Петрович сердится; его гость поминутно наливает себе в кружку и затягивает плясовую песню... наконец она вошла: в малиновом сарафане, с богатой повязкой; ее темная коса упала между плечми до половины спины; круглота, белизна ее шеи были удивительны; а маленькая ножка, показываясь по временам, обещала тайные совершенства, которых ищут молодые люди, глядя на женщину как на орудие своих удовольствий; впрочем маленькая ножка имеет еще другое значение, которое я бы открыл вам, если б не боялся слишком удалиться от своего рассказа.

Она вошла... и встретила пьяные глаза, дерзко разбирающие ее прелести; но она не смутилась; не покраснела; – тусклая бледность ее лица изобличала совершенное отсутствие беспокойства, совершенную преданность судьбе; – в этот миг она жила половиною своей жизни; она походила на испорченный орган, который не играет ни начало, ни конец прекрасной песни.

Хор затянул плясовую. – Начинай же,

Оленька! – закричал Палицын, – не стыдись!.. Она вздрогнула; ей пришло на мысль, что она будет плясать перед убийцею отца своего; – эта мысль как молния ворвалась в ее душу и озарила там следы минувшего; и все обиды, все несправедливости, унижения рабства, одним словом, жизнь ее встала перед ней, как остов из гроба своего; и она почувствовала его упрек...

Если б можно было изобразить страдание этого нежного существа, то трудно было бы поверить, что она не лишилась рассудка!.. Потому что ее ресницы были сухи, и сжатые дрожащие губы не пропустили ни одного вздоха. – «Что же! Красотка моя, начинай!.. Небось – ты так хороша сегодня!..» – кричали оба помещика; что за лестное поощрение! Не правда ли.

Ольга окинула взором всю комнату, надеясь уловить хотя одно сожаление... неуместная надежда; – подлая покорность, глупая улыбка встретили ее со всех сторон – рабы не сожалели об ней, – они завидовали! – пускай завидуют, подумала Ольга; это будет им наказание.

Она начала плясать.

Движения Ольги были плавны, небрежны; даже можно было заметить в них некоторую принужденность, ей несвойственную, но скоро она забылась; и тогда душевная буря вылилась наружу; как поэт, в минуту вдохновенного страданья бросая божественные стихи на бумагу, не чувствует, не помнит их, так и она не знала, что делала, не заботилась о приличии своих движений, и потому-то они обворожили всех зрителей; это было не искусство – но страсть.

И вдруг она остановилась, опомнилась, опустила пылающие глаза, голова ее кружилась; все предметы прыгали перед нею, громкие напевы слились для нее в один звук, нестройный, но решительный, в один звук воспоминания...

Она посмотрела вокруг, ужаснулась... махнула рукой и выбежала.

Борис Петрович встал и, качаясь на ногах, последовал за нею; раскаленные щеки его обнаруживали преступное желание, и с дрожащих губ срывались несвязные слова, но слишком ясные для окружающих.

Дверь в комнату Ольги была затворена; он дернул, и крючок раскочился; она стояла на коленях, закрыв лицо руками и положив голову на кровать; она не слыхала, как он вошел, потому что произнесла следующие слова: «отец мой! Не вини меня...»

– Теперь ты не вывернешься! – воскликнул захохотавши Борис Петрович; – я человек добрый – и ты человек добрый; следовательно...

Она вскочила и, устремив на него мутный взор, казалось, не понимала этих слов; – он взял ее за руку; она хотела вырваться – не могла; сев на постель, он притянул ее <к> себе и начал целовать в шею и грудь; у нее не было сил защищаться; отвернув лицо, она предавалась его буйным ласкам, и еще несколько минут – она бы погибла.

Но вдруг раздался шум, и вбежала хозяйка; между достойными супругами начался крик, спор... однако Наталье Сергевне благодаря винным парам удалось вывести мужа; долго еще слышен был хриплый бас его и пронзительный дишкант Натальи Сергевны; наконец всё утихло – и Ольга тогда только уверилась, что все ее оставили.

Она слышала, как стучало ее испуганное сердце и чувствовала странную боль в шее; бедная девушка! Немного повыше круглого плеча ее виднелось красное пятно, оставленное губами пьяного старика... Сколько прелестей было измято его могильными руками! Сколько ненависти родилось от его поцелуев!.. Встал месяц; скользя вдоль стены, его луч пробрался в тесную комнату, и крестообразные рамы окна отделились на бледном полу... и этот луч упал на лицо Ольги – но ничего не прибавил к ее бледности, и красное пятно не могло утонуть в его сиянье... в это время на стенных часах в приемной пробило одиннадцать.

## Глава VIII

Где скрывался Вадим весь этот вечер? – на темном чердаке, простертый на соломе, лицом кверху, сложив руки, он уносился мыслью в вечность, – ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни об чем, завладевший прошедшим и будущим, которое представлялось ему пестрой карти-

ной, где он находил много смешного и ничего жалкого. – Его душа расширялась, хотела бы вырваться, обнять всю природу и потом сокрушить ее, – если это было желание безумца, то по крайней мере великого безумца; – что такое величайшее добро и зло? – два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга.

Чудные звуки разрушили мечтания Вадима: то были отрывистые звуки плясовой песни, смешанные с порывами северного ветра; Вадим привстал; луна ударяла прямо в слуховое окно, и свет ее, захватывая несколько измятых соломинок, упал на противную стену, так что Вадим легко мог рассмотреть на ней все скважины, каждый клочок моха, высунувшийся между брусьями; – долго он не сводил глаз с этой стены, долго внимал звукам отдаленной песни –...наконец они умолкли, облако набежало на полный месяц... Вадим упал на постель свою, и безотчетное страдание овладело им; он ломал руки, вздыхал, скрежетал зубами... неизвестный огонь бежал по его жилам, череп готов был треснуть... О! Давно ли ему было довольно одной

ненависти!..

Маленькая дверь скрыпнула и отворилась; ему послышался легкий шум шагов.

– Брат! – сказал кто-то очень тихо.

Вадим затрепетал. – Между тем облако пробежало, и луна озарила одно плечо и половину лица Ольги; она стояла близ него на коленях.

– Всё понимаю, – воскликнул он, прочитавши в ее взоре ужасное беспокойство.

– Точно? – отвечала Ольга изменившимся голосом; – точно? – я пришла тебя обрадовать, друг мой!..

Друг мой! Впервые существо земное так называло Вадима; он не мог разом обнять всё это блаженство; как безумный схватил он себя за голову, чтобы увериться в том, что это не обман сновидения; улыбка остановилась на устах его – и душа его, обогащенная целым чувством, сделалась подобна временщику, который, получив миллион и не умея употребить его, прячет в железный сундук и стережет свое сокровище до конца жизни.

Эти два слова так сильно врезались в его душу, что несколько дней спустя, когда он го-

ворил с самим собою, то не мог удержаться, чтоб не сказать: друг мой...

Если мне скажут, что нельзя любить сестру так пылко, вот мой ответ: любовь – везде любовь, то есть самозабвение, сумасшествие, назовите как вам угодно; – и человек, который ненавидит всё и любит единое существо в мире, кто бы оно ни было, мать, сестра или дочь, его любовь сильнее всех ваших произвольных страстей. Его любовь сама по себе в крови чужда всякого тщеславия... но если к ней примешается воображение, то горе несчастному! – по какой-то чудной противоположности, самое святое чувство ведет тогда к величайшим злодействам; это чувство наконец делается так велико, что сердце человека уместить в себе его не может и должно погибнуть, разорваться или одним ударом сокрушить кумир свой; но часто самолюбие берет перевес, и божество падает перед смертным.

– Брат! Слушай, – продолжала Ольга, я всё обдумала и решилась сделать первый шаг на пути, по которому ни тебе, ни мне не возвратиться. Всё равно... они все ведут к смерти; –

но я не позволю низкому, бездушному человеку почитать меня за свою игрушку... ты или я сама должна это сделать; – сегодня я перенесла обиду, за которую хочу, должна отомстить... брат! Не отвергай моей клятвы... если ты ее отвергнешь, то берегись... я сказала, что не перенесу этого... ты будешь добр для меня; ты примешь мою ненависть, как дитя мое; станешь лелеять его, пока оно вырастет и созреет и смоет мой позор страданиями и кровью... да, позор... он, убийца, обнимал, целовал меня... хотел... не правда ли, ты готовишь ему ужасную казнь?..

Вадим дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою так крепко, что кровь потекла; он похож был в это мгновение на вампира, глядящего на издыхающую жертву.

– Клянусь этим богом, который создал нас несчастными, клянусь его святыми таинствами, его крестом спасительным, – во всем, во всем тебе повиноваться – я знаю, Вадим, твой удар не будет слаб и неверен, если я сделаюсь орудием руки твоей! – О! Ты великий человек!

– Да – теперь, потому что ты меня любишь!..

Она ничего не отвечала.

– Успокойся, опомнись, – сказал Вадим... – ты меня еще не знаешь, но я тебе открою мои мысли, разверну всё мое существование, и ты его поймешь. Перед тобой я могу обнажить странную душу мою: ты не слабый челнок, неспособный переплыть это море; волны и бури его тебя не испугают; ты рождена посреди этой стихии; ты не утонешь в ее бесконечности!.. Помню, как после смерти отца я покидал тебя, ребенка в колыбели, тебя, не знавшую ни добра, ни зла, ни заботы, – а в моей груди уже бродила страсть пагубная, неусыпная; – ты протянула ко мне свои ручонки, улыбалась... будто просила о защите... а я не имел своего куска хлеба.

Меня взяли в монастырь – из сострадания – кормили, потому что я был не собака, и нельзя было меня утопить; в стенах обители я провел мои лучшие годы; в душных стенах, оглушаемый звоном колоколов, пеньем людей, одетых в черное платье и потому думающих быть ближе к небесам, притесняемый за

то, что я обижен природой... что я безобразен. Они заставляли меня благодарить бога за мое безобразие, будто бы он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от грехов... Молиться!.. У меня в сердце были одни проклятия! – часто вечером, когда розовые лучи заходящего солнца играли на главах церкви и медных колоколах, я выходил из святых врат, и с холма, где стояла развалившаяся часовня, любовался на тюрьму свою; – она издали была прекрасна. – Облака призывали мое воображение к себе на воздушные крылья, но насмешливый голос шептал мне: ты способен обнять своею мыслию всё сотворенное; ты мог бы силою души разрушить естественный порядок[3] и восстановить новый, для того-то я тебя не выпущу отсюда; довольно тебе знать, что ты можешь это сделать!..

Никто в монастыре не искал моей дружбы, моего сообщества; я был один, всегда один; когда я плакал – смеялись; потому что люди не могут сожалеть о том, что хуже или лучше их; – все монахи, которых я знал, были обыкновенные, полудобрые существа, глупые от рожденья или от старости, неспособные ни к

чему, кроме соблюдения постов... Я желал возненавидеть человечество – и поневоле стал презирать его; душа ссыхалась; ей нужна была свобода, степь, открытое небо... ужасно сидеть в белой клетке из кирпичей и судить о зиме и весне по узкой тропинке, ведущей из келий в церковь; не видать ясное солнце иначе, как сквозь длинное решетчатое окно, и не сметь говорить о том, чего нет в такой-то книге...

Можно прийти в отчаянье!

Однажды, Ольга, я заметил безногого нищего, который, не вмешиваясь в споры товарищей, сидел на земле у святых ворот и только постукивал камнем о камень, и когда вылетала искра, то чудная радость покрывала незначущее его лицо. – Я подошел к нему и сказал: «ты очень благоразумен, любезный, тем, что не мешаешься в их ссору».

– Я без ног, – отвечал он с недовольным видом; – это меня поразило: я ошибся! – однако продолжал свои вопросы: – что был ты прежде, купец или крестьянин?

– Нищий! – отвечал он; – рожден нищим и умру нищим; только разница в том, что я

рожден с ногами, а умру безногий!

– Отчего же?

– Отчего! – тут он призадумался; потом продолжал равнодушно: – я был проводником одного слепого; нас было много; – когда слепой умер, то я стал лишним. Мне переломали руки и ноги, чтоб я не даром кормился и был полезен; теперь меня возят в тележке – и дают деньги.

– Знал ли ты своих родителей? – спросил я поспешно.

– Как же!

– А кто были они?

– Нищие! – тут он улыбнулся; не знаю, что было в его улыбке, насмешка над судьбой или надо мною, потому что я слушал его с видом полной доверенности.

«Итак, есть состояние, в котором безобразие не порок», – подумал я. На другой день бежал из монастыря и сделался нищим.

Вадим остановился.

– Понимаю тебя! – воскликнула Ольга и пожала ему руку.

– Я это знал!.. Разве ты не сестра мне? – возразил Вадим.

– Послушай, верно само небо хочет, чтобы мы отомстили за бедного отца; как оно согласило все обстоятельства, как оно привело тебя к цели...

– Небо или ад... а может быть, и не они; твердое намерение человека повелевает природе и случаю; – хотя с тех пор как я сделался нищим, какой-то бешеный демон поселился в меня, но он не имел влияния на поступки мои; он только терзал меня; воскрешая умершие надежды, жажду любви, – он странствовал со мною рядом по берегу мрачной пропасти, показывая мне целый рай в отдалении; но чтоб достигнуть рая, надобно было перешагнуть через бездну. Я не решился; кому завещать свое мщенье? Кому его уступить?

Долго я бродил без крова и пристанища, преданный зимним метелям, как южная птица, отставшая от подруг своих, долго жить – было целью моей жизни.

Но судьба мне послала человека, который случайно открыл мне, что ты воспитываешься у Палицына, что он богат, доволен, счастлив – это меня взорвало!.. Я не хотел, чтоб он был счастлив – и не будет отныне; в этот дом

я принес с собою моего демона; его дыхание чума для счастливых, чума... сестра, ты мне простишь... О! Я преступник... вижу, и тобой завладел этот злой дух, и в тебе поселилась эта болезнь, которая портит жизнь и поддерживает ее. Ты, земной ангел, без меня не потеряла бы свою беспечность... теперь всё кончено... от моего прикосновения увяли твои надежды... махни рукой твоему спокойствию... цветы не растут посреди бунтующего моря, где есть демон, там нет бога...

– Как! – воскликнула Ольга, – неужели ты раскисаешься!.. Правда, я женщина – но разве всякая женщина променяет печали и беспокойства на блистательный позор... блистательный! – О! Быть любовницей старика, злодея моего семейства... ты желал этого, Вадим, не правда ли?

– Нет – я тогда убил бы тебя...

– А теперь, кто мешает?

– Теперь? Теперь... – он опустил глаза в землю и замолк; глубокое страдание было видно в следующих словах: – теперь, убить тебя! – теперь, когда у меня есть слезы, когда я могу плакать на твоих коленях... плакать! О!

Это величайшее наслаждение для того, чей смех мучительнее всякой пытки!.. Нет, я еще не так дурен, как ты полагаешь; – человек, для которого видеть тебя есть блаженство, не может быть совершенным злодеем.

– Меня убить значит сделаться моим благодетелем, – отвечала Ольга, улыбаясь после нескольких минут глубокого молчания.

– А кто скажет: он хорошо поступил, когда мое имя сделается на земле проклятием?

– Я удивляюсь тебе, друг мой!..

– Не хочу! Люби меня.

Она закрыла лицо обеими руками.

## Глава IX

**К**то из вас бывал на берегах светлой <Суры>? – кто из вас смотрелся в ее волны, бедные воспоминаньями, богатые природным, собственным блеском! – читатель! Не они ли были свидетелями твоего счастья или кровавой гибели твоих прадедов!.. Но нет!.. Волна, окропленная слезами твоего восторга или их кровью, теперь далеко в море, странствует без цели и надежды или в минуту гнева расшиблась об утес гранитный! – Она потеряла дорогою следы страстей человеческих,

она смеется над переменами столетий, протекающих над нею безвредно, как женщина над пустыми вздохами глупых любовников; – она не боится ни ада, ни рая, вольна жить и умереть, когда ей угодно; – сделавшись могилой какого-нибудь несчастного сердца, она не теряет своей прелести, живого, беспокойного своего нрава; и в ее погребальном ропоте больше утешений, нежели жалости. Если можно завидовать чему-нибудь, то это синим, холодным волнам, подвластным одному закону природы, который для нас не годится с тех пор, как мы выдумали свои законы.

Вадим стоял под густою липой, и упоительный запах разливался вокруг его головы, и чувства, окаменевшие от сильного напряжения души, растаяли постепенно, – и отвергнутый людьми, был готов кинуться в объятия природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду и, дав ему другую душу или новую наружность, поправить свою жестокую ошибку. Вадим с непонятым спокойствием рассматривал речные травы и густой хмель, который яркими, зелеными кудрями висел с глинистого берега. Вдали одетые ту-

маном курганы, может быть могилы татарских наездников, подымались, выходили из полосатой пашни; еловые, березовые рощи казались опрокинутыми в воде; и мрачный цвет первых приятно отделялся желтоватой зеленью и белыми корнями последних; летнее солнце с улыбкой золотило эту простую картину.

В шуме родной реки есть что-то схожее с колыбельной песнью, с рассказами старой няни; Вадим это чувствовал, и память его невольно переселилась в прошедшее, как в дом, который некогда был нашим, и где теперь мы должны пировать под именем гостя; на дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил[4] в глубине чистого, прозрачного американского колодца.

Вдруг раздался в отдалении звон дорожно-го колокольчика, приносимый ветром... Вадим вздрогнул, не зная сам тому причины; – он обернулся в ту сторону, где деревянный мост показывался между кустов и где дорога желтея терялась за холмами; – там серая пыль клубилась вслед за простою кибиткой...

«Не к нам ли? – подумал Вадим; – но этого не может быть! Кому?» –...его тревожил колокольчик, и непонятное предчувствие как свинец упало на его душу. – Он побрел вдоль по реке и старался рассеяться... но не мог: проклятый колокольчик его преследовал...

Что делалось в барском доме? Там также слышали колокольчик, но этот милый звук не произвел никакого неприятного влияния; Наталья Сергевна подбежала к окну, а Борис Петрович, который не говорил с женой со вчерашнего вечера, кинулся к другому. – Они ждали сына в отпуск – верно это он!..

В тот век почты были очень дурны, или, лучше сказать, они не существовали совсем; родные посылали ходока к детям, посвященным царской службе... но часто они не возвращались, пользуясь свободой; – таким образом однажды мать сосватала невесту для сына, давно убитого на войне. Долго ждала красавица своего суженого; наконец вышла замуж за другого; на первую ночь свадьбы явился призрак первого жениха и лег с новобрачными в постель; «она моя», говорил он – и слова его были ветер, гуляющий в пустом

черепе; он прижал невесту к груди своей – где на месте сердца у него была кровавая рана; призвали попа со крестом и святой водою; и выгнали опоздавшего гостя; и, выходя, он заплакал, но вместо слез песок посыпался из открытых глаз его. Ровно через сорок дней невеста умерла чахоткою, а супруга ее нигде не могли сыскать.

Таково предание народное;[5] обратимся к повести нашей. Борис Петрович и жена его три года не получали известия от своего Юриньки!.. Месяц тому назад он с богомольцем, которого встретил на дороге, прислал письмо, извещаая о скором прибытии... это он!..

Колокольчик звенел всё громче и громче... вот близко, топот, крик ямщика, шум колес... кибитка въехала в ворота... вся дворня столпилась... это он... в военном мундире... выско-чил, – и кинулся на шею матери... отец стоял поодаль и плакал... это был их единственный сын!

Впрочем такие вещи не описываются...

Вечером Вадим возвратился в дом... увидал кибитку, поймал некоторые отрывистые

речи... И догадался; – с досадой смотрел он на веселую толпу и думал о будущем, рассчитывал дни, сквозь зубы бормотал какие-то упреки... и потом, обратившись к дому... сказал: так точно! Слух этот не лжив... через несколько недель здесь будет кровь, и больше; почему они не заплотят за долголетнее веселье одним днем страдания, когда другие, после бесчисленных мук, не получают ни одной минуты счастья!.. Для чего *они* любимцы неба, а не я! – о создатель, если б ты меня любил – как сына, – нет, – как приемыша... половина моей благодарности перевесила бы все их молитвы... – но ты меня проклял в час рождения... и я прокляну твое владычество в час моей кончины...

Неподвижен стоял Вадим возле рогожной кибитки; толпа пестрела кругом; старухи, дети, всё теснилось, кричало, смеялось.

– Куда какой красавчик молодой наш барин, – воскликнул кто-то... – Вадим покраснел... и с этой минуты имя Юрия Палицына стало ему ненавистным...

Что делать! Он не мог вырваться из демонской своей стихии.

## Глава X

Смерклось; подали свеч; поставили на стол разные закуски и медный самовар; Борис Петрович был в восхищении, жена его не знала, как угостить милого приезжего; дверь в гостиную, до половины растворенная, пропускала яркую полосу света в соседнюю комнату, где по стенам чернели высокие шкафы, наполненные домашней посудой; в этой комнате, у дверей, на цыпочках стояла Ольга и смотрела на Юрия, и больше нежели пустое любопытство понудило ее к этому... Юрий был так хорош!.. – именно таковые лица нравятся женщинам: что-то доброе и вместе буйное, пылкость без упрямства, веселость без насмешки; – он не был напудрен по обычаю того века; длинные русые волосы вились вокруг шеи; и голубые глаза не отражали свет, но, казалось, изливали его на всё, что им встречалось.

Он говорил о столице, о великой Екатерине, которую народ называл матушкой и которая каждому гвардейскому солдату позволяла целовать свою руку... он говорил об ней, и щеки его горели; и голос его возвышался неволь-

но. – Потом он рассказывал о городских весельствах, о красавицах, разряженных в дымные кружева и волнистые, бархатные платья...

Ольга слушала, и что-то похожее на зависть встревожило ее, «если б обо мне так говорили, если б и на мне блистали кружева и дорогие камни... о, я была бы счастливей!..» – всякой 18-тилетней девушке на ее месте эти мысли пришли бы в голову. Наряды необходимы счастью женщины, как цветы весне.

И Ольга боялась, чтоб он не обернулся к дверям и не заметил ее любопытства; маленькая гордость дышала в этом опасении...

Однако ж как уйти?.. Юрий говорит так приятно. – В звуках его голоса так ясно выражались благородные чувства, – что если б даже невозможно было разобрать слов его – то – ей казалось... она поняла бы смысл разговора!..

Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие этот дар, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образцу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы... и

тогда эти два созданыя, уже знакомые прежде рождения своего, читают свою участь в голо-се друг друга; в глазах, в улыбке... и не могут обмануться... и горе им, если они не вполне доверятся этому святому таинственному влечению... оно существует, должно существовать вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтоб оно питалось и двигалось – что такое были бы все цели, все труды человечества без любви? И разве нет иногда этого всемогущего сочувствия между народом и царем? Возьмите Наполеона и его войско! – долго ли они прожили друг без друга?

О, как Ольга была прекрасна в эту первую минуту самопознания, сколько жизни, невинной, обещающей жизни, было в стесненном дыханье этой полной груди, где билось сердце, обещанное мукам и созданное для райского блаженства...

Надобно было камню упасть в гладкий источник.

Она обернулась...

Полоса яркого света, прокрадываясь в эту комнату, упала на губы, скривленные ужас-

ной, оскорбительной улыбкой, – всё кругом покрывала темнота, но этого было ей довольно, чтобы тотчас узнать брата... на синих его губах сосредоточилась вся жизнь Вадима, и как нарочно они одни были освещены...

Он приблизился: от него веяло холодом.

– Поздравляю, Ольга...

– С чем?

– Не правда ли... как хорош собою молодой твой господин!..

– И твой! – обидевшись, возразила Ольга...

– Нимало... я добровольно стал слугою... я не обязан им сохранением жизни, воспитанием... но ты!.. О, посмотри на него, что за ловкость, что за румянец...

Она вздохнула...

– И эта прекрасная голова упадет под руку казни... – продолжал шепотом Вадим... – эти мягкие, шелковые кудри, напитанные кровью, разовьются... ты помнишь клятву... не слишком ли ты поторопилась... о мой отец! Мой отец!.. Скоро настанет минута, когда беспокойный дух твой, плавая над их телами, благословит детей твоих, – скоро, скоро...

– Скоро!..

– Я вижу твое восхищение! – холодно возразил ей брат; – скоро! Мы довольно ждали... но зато не напрасно!.. Бог потрясает целый народ для нашего мщенья; я тебе расскажу... слушай и благодари: на Дону родился дерзкий безумец, который выдает себя за государя... народ, радуясь тому, что их государь носит бороду, говорит как мужик, обратился к нему... дворяне гибнут, надобно же игрушку для народа... без этого и праздник не праздник!.. Вино без крови для них стало слабо. Ты дрожишь от радости, Ольга...

Она молча поникла головою и удалилась. У нее в сердце уж не было мщенья; – теперь, теперь вполне постигла она весь ужас обещанья своего; хотела молиться... ни одна молитва не предстала ей ангелом-утешителем: каждая сделалась укоризною, звуком напрасного раскаянья... «какой красавец сын моего злодея», – думала Ольга; и эта простая мысль всю ночь являлась ей с разных сторон, под разными видами: она не могла прогнать других, только покрыла их полусветлой пеленою, – но пропасть, одетая утренним туманом, хотя

не так черна, зато кажется вдвое обширнее бедному путнику.

Между тем Вадим остался у дверей гостиной, устремляя тусклый взор на семейственную картину, оживленную радостью свидания... и в его душе была радость, но это был огонь пожара возле тихого луча месяца.

Долго стоял он тут и любовался красотой молодого Палицына – и так забылся, что не слышал, как Борис Петрович в первый раз закричал: «эй, малой... Вадимка!» – опомнясь, он взошел; – с сожалением посмотрел на него Юрий, но Вадим не смел поднять на него глаз, боясь, чтобы в них не изобразились слишком явно его чувства...

– Как тебе нравится мой горбач!.. – сказал Борис Петрович, – преуморительный...

– Каждый человек, батюшка, – отвечал Юрий, – имеет недостатки... он не виноват, что изувечен природой!..

– Если ты будешь хорошо мне служить, – продолжал он, обратясь к мрачному Вадиму, – то будь уверен в моей милости!.. Теперь ступай...

– Пошел вон, – воскликнул отец, потому

что Вадим не трогался с места: он был смущен добротою юноши, благосклонным выражением лица его; – и зависть возвратилась в его душу только тогда, как он подошел к дверям, но возвратилась, усиленная мгновенным отсутствием.

Перешагнув через порог, он заметил на стене свою безобразную тень; мучительное чувство... как бешеный он выбежал из дома и пустился в поле; поутру явился он на дворе, таща за собою огромного волка... блуждая по лесам, он убил этого зверя длинным ножом, который неотлучно хранился у него за пазухой... вся дворня окружила Вадима, даже господа вышли подивиться его отважности... Наконец и он насладился минутой торжества! – «Ты будешь моим стремянным!» – сказал Борис Петрович.

## Глава XI

**Б**орис Петрович отправился в отъезжее поле с новым своим стремянным и большою свитою, состоящей из собак и слуг низшего разряда; даже в старости Палицын любил охоту страстно и спешил, когда только мог, углубляться в непроходимые леса, жилища

медведей, которые были его главными врагами.

Что делать Юрию? – в деревне, в глуши? – следовать ли за отцом! – нет, он не находит удовольствия в войне с животными; – он остался дома, бродит по комнатам, ищет рассеянья, обрывает клочки раскрашенных обоев; чудные занятия для души и тела; – но что-то мелькнуло за углом... женское платье; – он идет в ту сторону и вступает в небольшую комнату, освещенную полуденным солнцем; ее воздух имел в себе что-то особенное, роскошное; он, казалось, был оживлен присутствием юной, пламенной девушки.

Кто часто бывал в комнате женщины, им любимой, тот верно поймет меня... он испытал влияние этого очарованного воздуха, который породнился с божеством его, который каждую ночь принимает в себя дыхание свежей девственной груди – этот уголок, украшенный одной постелью, не променял бы он за весь рай Магомета...

– А, это ты, Ольга! – сказал засмеявшись молодой Палицын. – Вообрази, я думал, что гонюсь за тенью, – и как обманут!..

– Вас огорчает эта ошибка? – о, если так, я могу вас утешить, стану с вами говорить как тень, то есть очень мало... и потом...

– Ради бога – не мало, любезная Ольга! – я готов тебя слушать целый день; не можешь вообразить, какая тоска завладела мной; брожу везде... не с кем слова молвить... матушка хозяйничает, – ...ради неба, говори, говори мне... брани меня... только не избегай!..

– Как скоро вы забыли московских красавиц; думайте об них, это вас займет.

– Думать об них – и говорить с тобою? Ольга, это нейдет вместе!..

– А что я могу сказать вам, степная, простая девушка? – что я видела, что слышала? – я не хочу быть вашим лекарством от скуки; всякое лекарство, со всей своей пользой, очень неприятно.

– Ты не в духе сегодня, – воскликнул Юрий, взяв ее за руку и принудив сесть. – Ты сердисься на меня или на матушку... если тебя кто-нибудь обидел, скажи мне; клянусь честью, этому человеку худо будет...

– Не надо мне вашей защиты, вашего мщени... оставьте мою руку!.. Вы хотите забав-

ляться? Привозите других, более покорных, чем я, более способных настраивать свое сердце и лицо по вашему приказу... мне грустно, скучно... – да сверх того я не раба ваша... и так...

– Ольга, послушай, если хочешь упрекать... О! Прости мне; разве мое поведение обнаружило такие мысли? Разве я поступал с Ольгой как с рабой? – ты бедна, сирота, – но умна, прекрасна; – в моих словах нет лести; они идут прямо от души; чуждые лукавства, мои мысли открыты перед тобою; – ты себе же повредишь, если захочешь убежать моего разговора, моего присутствия; тогда-то я тебя не оставлю в покое; – сжался... я здесь один среди получеловеков, и вдруг в пустыне явился мне ангел, и хочет, чтоб я к нему не приближался, не смотрел на него, не внимал ему? – боже мой! – в минуту огненной жажды видеть перед собою благодетельную влагу, которая, приближаясь к губам, засыхает.

– Прекрасны ваши слова, Юрий Борисович, я не спорю, всё это очень ново для меня... со всем тем я прошу вас оставить девушку, несчастную с самой колыбели и потому нима-

до не расположенную забавлять вас... поверьте слову: гибель вокруг меня...

– Сто раз готов я погибнуть у ног твоих!..

– Вы меня не поняли... я кажусь вам странную теперь, – быть может... но...

– Ты мила по-своему...

– Что за похвалы!.. – с насмешливым видом воскликнула Ольга.

– Не сердись!.. – возразил Юрий; и улыбаясь он склонился к ней; потом взял в руки ее длинную темную косу, упавшую на левое плечо, и прижал ее к губам своим; холод пробежал по его членам, как от прикосновения могучего талисмана; он взглянул на нее пристально, и на этот раз удивительная решимость блистала в его взоре; она не смутилась – но испугалась.

– Перестаньте, – сказала Ольга с важностью, – мне надо быть одной.

Напрасно он старался угадать в глазах ее намеренье кокетки – помучить; ему не удалось!..

– Ты довольна будешь мною! – сказал он, медленно выходя из комнаты.

Такие разговоры, занимательные только

для них, повторялись довольно часто, и содержание и заключение почти всегда было одно и то же; и если б они читали эти разговоры в каком-нибудь романе 19-го века, то заснули бы от скуки, но в блаженном 18 и в год, описываемый мною, каждая жизнь была роман; теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много, и они похожи на сладострастного старика, который, вспоминая прежние шалости и присутствуя на буйных пирах, хочет пробудить погаснувшие силы. Этот галванизм[6] кидает величайший стыд на человечество; – оно приблизилось к кончине своей; пускай... но зачем прикрывать седины детскими гремушками? – зачем при-вскакивать на смертном одре, чтобы упасть и скончаться <на> полу?

Но возвратимся к нашей повести и поторопимся окончить главу.

Ольга старанием утаить свою любовь еще больше ее обнаруживала; Юрий был опытен, часто любил, чаще был любим и, выучен привычкой, читал в ее глазах больше, чем она осмеливалась читать в собственной душе. –

Она думала об нем и боялась думать о любви своей; ужас обнимал ее сердце, когда она осмеливалась вопрошать его, потому что прошедшее и будущее тогда являлись встревоженному воображению Ольги; таков был ужас Макбета,[7] когда, готовый сесть на королевский престол, при шумных звуках пира, он увидел на нем окровавленную тень Банкуо... но этот ужас не уменьшил его честолюбия, которое превратилось в болезненный бред; то же самое случилось с любовью Ольги.

Юрий не мог любить так нежно, как она; он всё перечувствовал, и прелесть новизны не украшала его страсти; но в книге судьбы его было написано, что волшебная цепь скует до гроба его существование с участью этой женщины.

Когда он не был с нею вместе, то скука и спокойствие не оставляли его; – но приближаясь к ней, он вступал в очарованный круг, где не узнавал себя, и благословлял свой плен, и верил, что никогда не любил сильнее теперешнего, что до сих пор не понимал определения красоты; – пожалейте об нем.

## Глава XII

Таинственные ответы Ольги, иногда ее при-  
творная холодность всё более и более вос-  
пламеняли Юрия; он приписывал такое пове-  
дение то гордости, то лукавству; но чаще, по  
недоверчивости, свойственной всем почти  
любовникам, сомневался в ее любви... одна-  
жды после долгой душевной борьбы он ре-  
шился вытребовать у нее полного призна-  
нья... или получить совершенный отказ!

– Какое ребячество! – скажете вы; но в том-  
то и прелесть любви; она превращает нас в  
детей, дарит золотые сны как игрушки; и раз-  
бивать эти игрушки в минуту досады достав-  
ляет немало удовольствия; особенно когда мы  
надеемся получить другие.

С мрачным лицом он вошел в комнату  
Ольги; молча сел возле нее и взял ее за руку.  
Она не противилась; не отвела глаз от шитья  
своего, не покраснела... не вздрогнула; она  
всё обдумала, всё... и не нашла спасения; она  
безропотно предалась своей участи, задерну-  
ла будущее черным покрывалом и решилась  
любить... потому что не могла решиться на  
другое.

– Ольга! – сказал Юрий неверным голосом; – я люблю тебя.

– Знаю, – отвечала она.

– Знаю, знаю! – только-то! И я больше от тебя не услышу!

– Чего же вам больше!.. Я слушаю, молчу...

– О, разумеется, этого слишком много! – я недостойн даже приблизиться к тебе... я бы должен был любоваться тобою, как солнцем и звездами; ты прекрасна! Кто спорит, но разве это дает право не иметь сердца?

– Я у бога ни того, ни другого не просила... если мое обращение вам не нравится, то оставьте меня; мы дурно сделали, что узнали друг друга; но всё на свете может поправиться...

– Как легко, сделав человека несчастным, сказать ему: будь счастлив! – всё на свете может поправиться!.. Ольга, слушай, в последний раз говорю тебе; я люблю больше, чем ты можешь вообразить; это огонь... огонь... о, пойми меня... у меня нет слов... я люблю тебя! Если ты не понимаешь этого, то всё остальное напрасно... отвечай: чего ты от меня требуешь? Каких жертв?..

– Забыть меня! – воскликнула Ольга с удивительной твердостью.

– Нет! Никогда... я совершу невозможное, чтоб обладать тобою, – но забыть... нет власти...

Он замолчал; ходил взад и вперед по комнате, потом остановился у окна, закрыл лицо руками. Так прошло несколько минут. Наконец он обернулся и сказал:

– Я ошибался, признаюсь в том откровенно – я ошибался... ах! Это была минута, но райская минута, это был сон – но сон божественный; теперь, теперь всё прошло... уничтожаю навеки все ложные надежды, уничтожаю одним дуновением все картины воображения моего; – прочь от меня вера в любовь и счастье; Ольга, прощай. Ты меня обманывала – обман всегда обман; не всё ли равно, глаза или язык? Чего желала ты? Не знаю... может быть... о, возьми мое презрение себе в наследство... я умер для тебя.

И он сделал шаг, чтоб выйти, кидая на нее взор, свинцовый, отчаянный взор, один из тех, перед которыми, кажется, стены должны бы были рушиться; горькое негодование ды-

шало в последних словах Юрия; она не могла вынести долее, вскочила и рыдая упала к его ногам. В восторге поднял он ее, прижал к груди своей и долго не мог выговорить двух слов; против его сердца билось другое, нежное, молодое, любящее со всем усердием первой любви. Они сели, смотрели в глаза друг другу, не плакали, не улыбались, не говорили, – это был хаос всех чувств земных и небесных, вихорь, упоение неопределенное, какое не всякий испытал и никто изъяснить не может. Неконченные речи в беспорядке отрывались от их трепещущих губ, и каждое слово стоило поэмы... – само по себе незначащее, но одушевленное звуком голоса, невольным телодвижением – каждое слово было целое блаженство!

– Я любим, любим, любим, – говорил Юрий... – я буду повторять это слово так громко, там часто, что ангелы услышат – и позавидуют...

– Пускай же ангелы – только не люди!..

– Отчего же, мой ангел!..

– Тогда, может быть, они тебя отнимут у бедной Ольги...

– Ты прекрасна! – что за пустой страх?.. Ты моя – моя...

– Не раба! Надеюсь!

– Больше, сокровище!

– О мой милый... целуй, целуй меня... я не хочу быть сокровищем скупого... – пускай мне угрожают адские муки... надобно же заплатить судьбе... я счастлива! – не правда ли?

– Ты счастлива! – позволь мне обнять тебя – крепче, крепче...

– Почему же нет! Отдав тебе душу, могу ли отказать в чем-нибудь.

– Эти волосы... прочь их! – вот так... чтоб твой поцелуй и мой слились в один...

– Боже, боже... теперь умереть... О! Зачем не теперь?

### Глава XIII

– Друг мой, Ольга, есть бог на небесах, –  
– Есть на земле счастье...

– Дай бог тебе счастье, если ты веришь им обоим! – отвечала она, и рука ее играла густыми кудрями беспечного юноши; их лодка скользила неприметно вдоль по реке, оставляя белый змеистый след за собою между темными волнами; весла, будто крылья чер-

ной птицы, махали по обеим сторонам их лодки; они оба сидели рядом, и по веслу было в руке каждого; студеная влага с легким шумом всплескивала, порою озаряясь фосфорическим блеском; и потом уступала, оставляя быстрые круги, которые постепенно исчезали в темноте; – на западе была еще красная черта, граница дня и ночи; зарница, как алмаз, отделялась на синем своде, и свежая роса уж падала на опустелый берег <Суры>; – мирные плователи, посреди усыпленной природы, не думая о будущем, шутили меж собою; иногда Юрий каким-нибудь движением заставлял колебаться лодку, чтоб рассердить, испугать свою подругу; но она умела отомстить за это невинное коварство; неприметно гребла в противную сторону, так что все его усилия делались тщетны, и челнок останавливался, вертелся... смех, ласки, детские опасения, всё так отзывалось чистотой души, что если б демон захотел искушать их, то не выбрал бы эту минуту; – Ольга не считала свою любовь преступлением; она знала, хотя всячески старалась усыпить эту мысль, знала, что близок ужасный, кровавый день... и... небо должно

было заплатить ей за будущее – в настоящем; она имела сильную душу, которая не заботилась о неизбежном, и по крайней мере хотела жить – пока жизнь светла; как она благодарила судьбу за то, что брат ее был далеко; один взор этого непонятого, грозного существа оледенил бы всё ее блаженство; – где взял он эту власть?..

– Будет ли конец нашей любви! – сказал Юрий, перестав грести и положив к ней на плечо голову; – нет, нет!.. – она продолжится в вечность, она переживет нашу земную жизнь, и если б наши души не были бессмертны, то она сделала бы их бессмертными; – клянусь тебе, ты одна заменишь мне все другие воспоминанья – дай руку... эта милая рука; – она так бела, что светит в темноте... смотри, береги же мой перстень, Ольга! – ты не слушаешь? Не веришь моим клятвам?

Вместо ответа она запела вполголоса следующую песню:

*Воев ветер,[8]  
Светит месяц:  
Девушка плачет –  
Милый в чужбину скачет;*

*Ни дева, ни ветер  
Не замолкнут:  
Месяц погаснет,  
Милый изменит!*

Прочь эту песню, – воскликнул Юрий, – кто тебя ее выучил.

– Никто, сама.

– Не верю. – Разве ты во мне сомневаешься!..

– Нет; – однако ты слишком обещаешь – мы скоро расстанемся... а там –...там...

– О, если только это пугает тебя, то знай... я скоро не поеду... я пробуду здесь еще три месяца...

– Три месяца! Боже! – она содрогнулась; – ее сердце облилось холодом.

– А потом, – сказал Юрий, стараясь ее утешить и не понимая значения этого: боже! – потом съезжу в полк, возьму отставку, и возвращусь опять к тебе... тогда ты будешь моею, вопреки всем ничтожным предрассудкам. – Если даже мой отец захочет разлучить нас, если... о – нет! – он дал мне жизнь, а ты меня даришь миллионом жизней в каждой улыбке...

– Три месяца, три месяца, – и несколько дней, – повторяла не слушая Ольга... ее ум остановился на этой пагубно неизменной мысли.

Они причалили к берегу... уж было очень темно; деревенская церковь с своей странной колокольней рисовалась на полусветлом небосклоне запада подобно тени великана; и попеременно озаряемые окна дома одни были видны сквозь редкий ветельник.

Они шли под руку; молча, – вдоль по узкой тропинке и, поровнявшись с разрушенной баней, вдруг слышали грубые голоса; – «посмотрим, что такое», – шепнул Юрий. Она машинально остановилась.

– Да скоро ли? – спросил первый голос.

– На днях; уж в округе начинается кутерьма. Да будет ли у вас готово, – сказал другой.

– Всё будет – уж это наше дело... одни только не смеем; и до вашего прихода будем молчать... воля твоя.

– Ну пожалуй.

– Да правда ли, что будут соль и хлеб давать даром...

– Не ведаю – только будет больно хорошо...

а вино будет даром, из барских погребов... – тут несколько слов Юрий не расслушал.

– Да Вадим был у нас, – сказал первый голос...

При этом имени Ольга с необыкновенной силой увлекла за собою Палицына.

– Куда ты? – сказал он с удивлением: – что с тобою?..

– Скорей! Скорей! – больше она не могла выговорить.

– Это должны быть воры! – подумал Юрий и перестал дивиться ее испугу.

Пришедши домой, Ольга удалилась немедленно в свою комнату и заперлась.

Наталья Сергевна встретила сына и с улыбкой намекнула о его ночной прогулке; что за радость этой доброй женщине; теперь муж ее верно не решится погрешить против сына и жены в одно время; – «впрочем, – думала она, – молодым людям простительно шалить; а как седому старику таким вещам придти в голову, – знает царь небесный!..»

– Мы поедем завтра в монастырь, Юрьюшка, – сказала она вошедшему сыну; – Борис Петрович еще долго пропорскает... куда я ра-

да, что ты не в него!..

И точно: предпочитая своей Наталье Сергевне медведей и собак, почтенный помещик не слишком льстил ее самолюбию, хотя у женщин 18 столетия оно не было так взыскательно, как у наших столичных красавиц.

Но век иной, иные нравы!

## Глава XIV

**В** 8 верстах от деревни Палицына, у глубокого оврага, размытого дождями, окруженная лесом, была деревушка, бедная и мирная; построенная на холме, она господствовала, так сказать, над окрестностями; ее серый дым был виден издалека, и солнце утра золотило ее соломенные крыши, прежде нежели верхи многих лип и дубов. Здесь отдыхал в полдень Борис Петрович с толпою собак, лошадей и слуг; – травля была неудачная, две лисы ушли от борзых и один волк отбил; в тороках у стремянного висело только два зайца... и три гончие собаки еще не возвращались из лесу на звук рогов и протяжный крик ловчего, который, лишив себя обеда из усердия, трусил по островам с тщетными надеждами, – Борис Петрович с горя побил двух охотников, вы-

пил полграфина водки и лег спать в избе; – на дворе всё было живо и беспокойно; собаки, разделенные по сворам, лакали в длинных корытах, – лошади валялись на соломе, а бедные всадники поминутно находились принужденными оставлять котел с кашей, чтоб нагайками подымать их. День был ясен и свеж; северный ветер гнал отрывистые тучки по голубым сводам неба, и вершины лесов шумели, подобно водопаду, качаясь взад и вперед.

Между тем слуги, расположась под навесом, шепотом сообщали друг другу разные известия о самозванце, о близких бунтах, о казни многих дворян – и тайно или явно почти каждый радовался... Это были люди, привыкшие жить в поле, гоняться за зверьми и неспособные к мирным чувствам, к сожалению и большой приверженности; вино, буйство, охота – их единственные занятия – не могли внушить им много набожных мыслей; и если между ними и был один верный, честный слуга, то из осторожности молчал или удалялся. Однажды дошли как-то эти слухи до Бориса Петровича: «вздор, – сказал он, – как

это может быть?..» Такая беспечность погубила многих наших прадедов; они не могли вообразить, что народ осмелится требовать их крови: так они привыкли к русскому послушанию и верности!

– Ты помнишь, недавно, когда барин тебя посылал на три дни в город, – здесь нам рассказывали, что какой-то удалец, которого казаки величают Красной шапкой, всё ставит вверх дном, что он кум сатане и сват дьяволу, ха-ха-ха! – что будто сам батюшка хотел с ним посоветаться! Видно хват, – так говорил Вадиму старый ловчий по прозванию Атуев, закручивая длинные рыжие усы.

– Я его знаю, – отвечал Вадим с улыбкой, – и вы его скоро увидите! В этих словах было столько уверенности, столько убедительной твердости, что поневоле старый ловчий вздрогнул. «Ты черт или Гуммель», [9] – сказал Фильд, когда в первый раз услышал этого славного артиста; Атуев не сказал, но подумал почти то же самое.

– Когда! – воскликнули многие; и между тем глаза их недоверчиво устремлены были на горбача, который, с минуту помолчав,

встал, оседлал свою лошадь, надел рог – и выехал со двора.

Удивленная толпа смотрела ему вслед, и по частому топоту они догадались, что Вадим пустился вскачь.

Куда? Зачем? – если б рассказывать все их мнения, то мне был бы нужен талант Вальтер-Скотта и терпение его читателей.

Густым лесом ехал Вадим; направо и налево расстилались кусты ореховые и кленовые, меж ними возвышались иногда высокие полусухие дубы, с змеистыми сучьями, странные, темные – и в отдалении синели холмы, усыпанные сверху донизу лесом, пересекаемые оврагами, где покрытые мохом болота обманчивой, яркой зеленью манили неосторожного путника. Вадим ехал скоро, и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце; вдруг звучная, вольная песня привлекла его внимание; он остановился; прислушался... песня была дика[10] и годилась для шума листьев и ветра пустыни; вот она:

*Моя мать родная –  
Кручинушка злая;*

Мой отец родной  
Назывался судьбой.  
Мои братья хоть люди  
Не хотят к этой груди  
Прижаться,  
Им стыдно со мною,  
С бедным сиротою,  
Обняться.  
Но мне богом дана  
Молодая жена,  
Вольность-волюшка,  
Воля милая,  
Несравненная,  
Неизменная;  
С ней нашлись другие у меня  
Мать, отец и семья;  
А моя мать – степь широкая,  
А мой отец – небо далекое,  
А братья мои в лесах  
Березы да сосны;  
Скачу ли я на коне,  
Степь отвечает мне,  
Брожу ли поздней порой,  
Небо светит луной;  
Мои братья в жаркий день,  
Призывая под тень,  
Машут издали руками,  
Кивают мне головами,

*А вольность мне гнездо свила  
Как мир необъятное!*

Так пел казак, шагом выезжая на гору по узкой дороге, беззаботно бросив поводя и сложа руки. Конь привычный не требовал поуждения; и молодой казак на свободе предавался мечтам своим. Его голос был чист и полон, его сердце казалось таким же.

Не песня, но вид казака сильно подействовал на Вадима; он ударил себя в лоб рукой, как обыкновенно делают, когда является неожиданная мысль.

– Стой, – сказал он, устремив мрачный взор на подъехавшего казака; не знаю, что больше подействовало на последнего, голос или взор? Но казак остановился и хотел ухватиться за саблю.

– Не нужно! – продолжал Вадим: – поезжай скажи Белбородке,[11] что послезавтра я его жду к себе в гости; – нынешнюю весну Палицын поставил на дворе новые качели... к двум веревкам не долго прибавить третью... итак послезавтра... скажи, что Красная шапка ему кланяется. – Ступай.

При имени Красной шапки казак почти-

тельно съехал с дороги и дал место Вадиму, который гордо и вместе ласково кивнул головой, ударил нагайкой лошадь... и ускакал.

Надобно иметь слишком великую или слишком ничтожную, мелкую душу, чтоб так играть жизнью и смертью!.. Одним словом Вадим убил семейство! И что же он такое? – вчера нищий, сегодня раб, а завтра бунтовщик, незаметный в пьяной, окровавленной толпе! – Не сам ли он создал свое могущество? Какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что сделал для своей личной мести, если б это терпение, геройское терпение, эту скорость мысли, эту решительность обратил в пользу какого-нибудь народа, угнетенного чуждым завоевателем... какая слава! Если б, например, он родился в Греции, когда турки угнетали потомков Леонида...[12] а теперь?.. Имея в виду одну цель – смерть трех человек, из коих один только виновен, теперь он со всем своим гением должен потонуть в пучине неизвестности... ужели он родился только для их казни!.. Разобрав эти мысли, он так мал сделался в собственных глазах, что готов был бы в один миг уничто-

жить плоды многих лет; и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось как змея вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима всё заключалось в его сердце!

Теряясь в таких мыслях, он сбился с дороги и (был ли то случай) неприметно подъехал к тому самому монастырю, где в первый раз, прикрытый нищенским рубищем, пламенный обожатель собственной страсти, он предложил свои услуги Борису Петровичу... о, тот вечер неизгладимо остался в его памяти, со всеми своими красками земными и небесными, как пестрый мотылек, утонувший в янтаре. И теперь опять он здесь, теперь, когда, видя близкий конец своего ужасного предприятия, он едва может перенести тягость одной насмешки самолюбия. Спрашиваю: случай ли привел его сюда!..

Звонили ко всенощной, и протяжный дрожащий вой колокола раздавался в окрестности; солнце было низко, и одна половина стены ярко озарялась розовым блеском заката; народ из соседних деревень, в нарядных одеждах, толпился у святых врат, и Вадим издали узнал длинные дроги Палицына, покры-

тые узорчатым ковром. Кто же здесь? Верно Наталья Сергевна; он привязал свою лошадь к толстой березе и пошел в монастырь; – сердце его билось болезненным ожиданием, но скоро перестало – один любопытный взгляд толпы, одно насмешливое слово! И человек делается снова демон!..

Тихо Вадим приближался к церкви; сквозь длинные окна сияли многочисленные свечи и на тусклых стеклах мелькали колеблющиеся тени богомольцев; но во дворе монастырском всё было тихо; в тени, окруженные высокою полынью и рябиновыми кустами, белели памятники усопших с надписями и крестами; свежая роса упала на них, и вечерние мошки жужжали кругом; у колодца стоял павлин, распуша радужный хвост, неподвижен, как новый памятник; не знаю, с какою целью, но эта птица находится почти во всех монастырях!

По обеим сторонам крыльца церковного сидели нищие, прежние его товарищи... они его не узнали или не смели узнать... но Вадим почувствовал неизъяснимое сострадание к этим существам, которые подобно червям

ползают у ног богатства, которые, без родных и отечества, кажется, созданы только для того, чтобы упражнять в чувствительности проходящих!.. Но люди ко всему привыкают, и если подумаешь, то ужаснешься; как знать? Может быть чувства святейшие одна привычка, и если б зло было так же редко, как добро, а последнее – наоборот, то наши преступления считались бы величайшими подвигами добродетели человеческой!

Вадим, сказал я, почувствовал сострадание к нищим и остановился, чтобы дать им что-нибудь; вынув несколько грошей, он каждому бросал по одному; они благодарили нараспев, давно затверженными словами и даже не подняв глаз, чтобы рассмотреть подателя милостыни... это равнодушие напомнило Вадиму, где он и с кем; он хотел идти далее; но костистая рука вдруг остановила его за плечо; – «постой, постой, кормилец!» – пропищал хриплый женский голос сзади его, и рука нищенки всё крепче сжимала свою добычу; он обернулся – и отвратительное зрелище представилось его глазам: старушка, низенькая, сухая, с большим брюхом, так сказать, повис-

ла на нем: ее засученные рукава обнажали две руки, похожие на грабли, и полусиний сарафан, составленный из тысячи гадких лохмотьев, висел криво и косо на этом подвижном скелете; выражение ее лица поражало ум какой-то неизъяснимой низостью, какой-то гнилостью, свойственной мертвецам, долго стоявшим на воздухе; вздернутый нос, огромный рот, из которого вырывался голос резкий и странный, еще ничего не значили в сравнении с глазами нищенки! Вообразите два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами; ни ресниц, ни бровей!.. И при всем этом взгляд, тяготеющий на поверхности души, производящий во всех чувствах болезненное сжатие!.. Вадим не был суевер, но волосы у него встали дыбом. Он в один миг прочел в ее чертах целую повесть разврата и преступлений, – но не встретил ничего похожего на раскаянье; не мудрено, если он отгадал правду: есть существа, которые на высшей степени несчастья так умеют обрубить обточить свою бедственную душу, что она теряет все способности, кроме первой и последней: жить!

– Ты позабыл меня, дорогой, позабыл – дай копеечку, – не для бога, для черта... дай копеечку... али позабыл меня! Не гордись, что ты холоп барской... чай, недавно валялся вместе...

Вадим вырвался из ее рук.

– Проклят! Проклят, проклят! – кричала в бешенстве старуха: – чтобы тебе сгнить живому, чтобы черви твой язык подточили, чтоб вороны глаза проклевали, – чтоб тебе ходить, спотыкаться, пить, захлебнуться... – горбатый, урод, холоп... проклят, проклят!..

И снова она уцепилась за полу Вадима; он обернулся и с досады так сильно толкнул ее в грудь, что она упала навзничь на каменное крыльцо; голова ее стукнула, как что-то пустое, и ноги протянулись; она ни слова не сказала больше, по крайней мере Вадим не слышал, потому что он поспешно вошел в церковь, где толпа слушала с благоговением всенощную. Эти самые люди готовились проливать кровь завтра, нынче! И они, крестясь и кланяясь в землю, поталкивали друг друга, если замечали возле себя дворянина, и готовы были растерзать его на месте; – но еще не сме-

ли; еще ни один казак не привозил кровавых приказаний в окружные деревни.

Вадим продрался сквозь толпу до самого клироса и, став на амвон, окинул взором всю церковь. Прямой, высокий, вызолоченный иконостас был уставлен образами в 5 рядов, а огромные паникадила, висящие среди церкви, бросали сквозь дым ладана таинственные лучи на блестящую резьбу и усыпанные жемчугом оклады; задняя часть храма была в глубокой темноте; одна лампада, как запоздалая звезда, не могла рассеять вокруг тяготеющие тени; у стены едва можно было различить бледное лицо старого схимника, лицо, которое вы приняли бы за восковое, если б голова порою не наклонялась и не шевелились губы; черная мантия и клобук увеличивали его бледность, и руки, сложенные на груди крестом, подобились тем двум костям, которые обыкновенно рисуются под адамовой головой.[13]

Поближе, между столбами, и против царских дверей пестрела толпа. Перед Вадимом было волнующееся море голов, и он с возвышения свободно мог рассматривать каждую;

тут мелькали уродливые лица, как странные китайские тени, которые поражали слиянием скотского с человеческим, уродливые черты, которых отвратительность определить невозможно было, но при взгляде на них рождались горькие мысли; тут являлись старые головы, исчерченные морщинами, красные, хранящие столько смешанных следов страстей унижительных и благородных, что сообразить их было бы трудней, чем исчислить; и между ними кое-где сиял молодой взор и показывались щеки, полные, раскрашенные здоровьем, как цветы между серыми камнями.

Имея эту картину пред глазами, вы без труда могли бы разобрать каждую часть ее; но целое произвело бы на вас впечатление смутное, неизъяснимое; и после, вспоминая, вы не сумели бы ясно представить себе ни одного из тех образов, которые поразили ваше воображение, подали вам какую-нибудь новую мысль и, оставив ее, сами потонули в тумане.

Вадим для рассеянья старался угадывать внутреннее состояние каждого богомольца по

его наружности, но ему не удалось; он потерял принятый порядок, и скоро всё слилось перед его глазами в пестрое собрание лохмотьев, в кучу носов, глаз, бород; и озаренные общим светом, они, казалось, принадлежали одному, живому, вечно движущемуся существу; – одним словом, это была – толпа: нечто смешное и вместе жалкое!

Бродячий взгляд Вадима искал где-нибудь остановиться, но картина была слишком разнообразна, и к тому же все мысли его, сосредоточенные на один предмет, не отражали впечатлений внешних; одно мучительно-сладкое чувство ненависти, достигнув высшей своей степени, загородило весь мир, и душа поневоле смотрела сквозь этот черный занавес.

Направо, между царскими и боковыми дверьми, был нерукотворенный образ спасителя удивительной величины; позолоченный оклад, искусно выделанный, сиял как жар, и множество свечей, расставленных на висящем паникадиле, кидали красноватые лучи на возвышающиеся части мелкой резьбы или на круглые складки одежды; перед самым об-

разом стояла железная кружка, – это была милость у ног спасителя, – и над ней внизу образа было написано крупными, выпуклыми буквами: *приидите ко мне вси труждающиеся и аз успокою вы!*

Многие приближались к образу и, приложившись после земляного поклона, кидали в кружку медные деньги, которые, упавая, отдавали глухой звук.

Раз госпожа и крестьянка с грудным младенцем на руках подошли вместе; но первая с надменным видом оттолкнула последнюю и ушибенный ребенок громко закричал; – «не мудрено, что завтра, – подумал Вадим, – эта богатая женщина будет издыхать на виселице, тогда как бедная, хлопая в ладоши, станет указывать на нее детям своим»; – и отвернувшись он хотел идти прочь.

Но третья женщина приблизилась к святой иконе, – и – он знал эту женщину!..

Ее кровь – была его кровь, ее жизнь – была ему в тысячу раз дороже собственной жизни, но ее счастье – не было его счастьем; потому что она любила другого, прекрасного юношу; а он, безобразный, хромым, горбатый, не умел

заслужить даже братской нежности; он, который любил ее одну в целом божьем мире, ее одну, – который за первое непритворное искреннее: люблю – с восторгом бросил бы к ее ногам всё, что имел, свое сокровище, свой кумир – свою ненависть!.. Теперь было поздно.

Он знал, твердо был уверен, что ее сердце отдано... и навеки... Итак, она для него погибла... и со всем тем, чем более страдал, тем меньше мог расстаться с своей любовью... потому что эта любовь была последняя божественная часть его души и, угасив ее, он не мог бы остаться человеком.

Не заметив брата, Ольга тихо стала перед образом, бледна и прекрасна; она была одета в черную бархатную шубейку, как в тот роковой вечер, когда Вадим ей открыл свою тайну; большие глаза ее были устремлены на лик спасителя, это была ее единственная молитва, и если б бог был человек, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно.

Перекрестясь, она приложилась; яркая риза на минуту потускнела от девственного дыханья.

И когда Ольга вторично подняла взор, то

в нем заметна была перемена, довольно странная; удивительный блеск заменил прежнюю томность; это были слезы... одна из них не удержалась на густой реснице, блеснула как алмаз и упала.

Конечно, новая надежда вытеснила из ее сердца эти слезы, и Ольга обернулась, чтоб удалиться... и перед ней стоял Вадим; его огненный взгляд в одну минуту высушил слезы, каждая жила ее сердца вздрогнула, дыханье остановилось.

Горе, горе ему! Она пришла сюда с верою в душе, – а возвратилась с отчаяньем; (всё это время дьячок читал козлиным голосом послание апостола Павла, и кругом, ничего не заметив, толпа зевала в немом бездействии... что такое две страсти в целом мире равнодушия?).

С горькой, горькой улыбкой Вадим вторично прочел под образом спасителя известный стих: *приидите ко мне вси труждающиеся и аз успокою вы!* Что делать! – он верил в бога – но также и в дьявола!

И выходя из храма, он еще раз взглянул на сестру; возле нее стоял Юрий, небрежно, чер-

тя на песке разные узоры своей шпагой; и она, прислонясь к стене, не сводила с него очей, исполненных неизъяснимой муки... можно было подумать, что через минуту ей суждено с ним расстаться навсегда.

Но разве несколько дней не короче минуты, когда смерть зовет и любовь потеряла надежду.

– Итак, она точно его любит! – шептал Вадим, неподвижно остановясь в дверях. Одна его рука была за пазухой, а ногти его по какому-то судорожному движению так глубоко врезались в тело, что когда он вынул руку, то пальцы были в крови... он как безумный посмотрел на них, молча стряхнул кровавые капли на землю и вышел.

На крыльце шумела куча нищих и богомольцев; они составляли кружок, и посреди их на холодных каменных плитах лежала протянувшись мертвая старуха.

– Какой-то проходящий толкнул ее... мы думали, что он шутит... она упала, да и окачурилась... черт ее знал! Вольно ж было не закричать! – так говорил один нищий; другие повторяли его слова с шумом, оправдываясь в

том, что не подали ей помощь, и плачевным голосом защищали свою невинность.

Вадим слышал... но не вспомнил, что он толкнул старуху.

– Итак, она его любит! – бормотал он сквозь зубы, садясь на нетерпеливого коня; – итак, она его любит!

Вадим имел несчастную душу, над которой иногда единая мысль могла приобрести неограниченную власть. Он должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться.

## Глава XV

Между тем перед воротами монастырскими собиралась буйная толпа народа; кое-где показывались казацкие шапки, блистали копья и ружья; часто от общего ропота отделялись грозные речи, дышащие мятежом и убийством, – часто раздавались отрывистые песни и пьяный хохот, которые не предвещали ничего доброго, потому что веселость толпы в такую минуту – поцелуй Июды! – Что-то ужасное созревало под этой веселостью, подстрекаемой своеволием, возбужденной новыми пришельцами, уже привыкшими к кровавым зрелищам и грабежу свободному...

И всё это происходило в виду церкви, где еще блистали свечи и раздавалось молитвенное пение.

Скоро и в церкви пробежал зловеющий шепот; понемногу мужики стали из нее выбираться, одни от нетерпения, другие из любопытства, а иные – так, потому что сосед сказал: пойдём, потому что... как не посмотреть, что там делается?

Народ, столпившийся перед монастырем, был из ближней деревни, лежащей под горой; беспрестанно приходили новые помощники, беспрестанно частные возгласы сливались более и более в один общий гул, в один продолжительный, величественный рев, подобный непрерывному грому в душную летнюю ночь... картина была ужасная, отвратительная... но взор хладнокровного наблюдателя мог бы ею насытиться вполне; тут он понял бы, что такое народ: камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но несмотря на то сокрушает всё, что ни встретит в своем безотчетном стремлении... тут он увидал бы, как мелкие самолюбивые страсти получают вес и силу оттого,

что становятся общими; как народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина!

Вокруг яркого огня, разведенного прямо против ворот монастырских, больше всех кричали и коверкались нищие. Их радость была исступление; озаренные трепетным, багровым отблеском огня, они составляли первый план картины; за ними всё было мрачнее и неопределительнее, люди двигались, как резкие, грубые тени; казалось, неизвестный живописец назначил этим нищим, этим отвратительным лохмотьям приличное место; казалось, он выставил их на свет как главную мысль, главную черту характера своей картины...

Они были душа этого огромного тела – потому что нищета душа порока и преступлений; теперь настал час их торжества; теперь они могли в свою очередь насмеяться над богатством, теперь они превратили свои лохмотья

тъя в царские одежды и кровью смывали с них пятна грязи; это был пурпур в своем роде; чем менее они надеялись повелевать, тем ужаснее было их царствование; надобно же вознаградить целую жизнь страданий хотя одной минутой торжества; нанести хотя один удар тому, чье каждое слово было – обида, один – но смертельный.

Когда служба в монастыре отошла и приезжие богомольцы, толкаясь, кучею повалили на крыльцо, то шум на время замолк, и потом вдруг пробежал зловеший ропот по толпе мятежной, как ропот листьев, пробужденных внезапным вихрем. И неизвестная рука, неизвестный голос подал знак, не условный, но понятный всем, но для всех повелительный; это был бедный ребенок одиннадцати лет не более, который, заграждая путь какой-то толстой барыне, получил от нее удар в затылок и, громко заплакав, упал на землю... этого было довольно: толпа зашевелилась, зажужжала, двинулась – как будто она до сих пор ожидала только эту причину, этот незначущий предлог, чтобы наложить руки на свои жертвы, чтоб совершенно обнаружить свою нена-

висть! Народ, еще неопытный в таких волнениях, похож на актера, который, являясь впервые на сцену, так смущен новостью своего положения, что забывает начало роли, как бы твердо ее ни знал он; надобно непременно, чтоб суфлер, этот услужливый Протей, подсказал ему первое слово, – и тогда можно надеяться, что он не запнется на дороге.

Между тем Юрий и Ольга, которые вышли из монастыря несколько прежде Натальи Сергевны, не захотев ее дожидаться у экипажа и желая воспользоваться душистой прохладой вечера, шли рука об руку по пыльной дороге; чувствуя теплоту девственного тела так близко от своего сердца, внимая шороху платья, Юрий невольно забылся, он обвил круглый стан Ольги одной рукою и другой отодвинул большой бумажный платок, покрывавший ее голову и плечи, напечатлел жаркий поцелуй на ее круглой шее; она запылала, крепче прижалась к нему и ускорила шаги, не говоря ни слова... в это время они находились на перекрестке двух дорог, возле большой засохшей от старости ветлы, коей черные сучья резко рисовались на полусветлом небосклоне, еще

хранящем последний отблеск запада.

Вдруг Ольга остановилась; странные звуки, подобные крикам отчаяния и воплю бешенства, поразили слух ее: они постепенно возрастали.

– Что-то ужасное происходит у монастыря, – воскликнула Ольга; – моя душа предчувствует... о Юрий! Юрий!.. Если б ты знал, мы гибнем... ты заметил ли зловещий шепот народа при выходе из церкви и заметил ли эти дикие лица нищих, которые радовались и веселились... – о, это дурной знак: святые плачут, когда демоны смеются.

Юрий, мрачный, в нерешимости, бежать ли ему на помощь к матери, или остаться здесь, стоял, вперив глаза на монастырь, коего нижние части были ярко освещены огнями; вдруг глаза его сверкнули; он кинулся к дереву; в одну минуту вскарабкался до половины и вскоре с помощью толстых сучьев взобрался почти на самый верх.

– Что видишь ты? – спросила трепетная Ольга.

Он не отвечал; была минута, в которую он так сильно вздрогнул, что Ольга вскрикнула,

думая, что он сорвется; но рука Юрия как бы машинально впилась в бесчувственное дерево; наконец он слез, молча сел на траву близ дороги и закрыл лицо руками; «что видел ты, – говорила девушка, – отчего твои руки так холодны; и лицо так влажно...»

– Это роса, – отвечал Юрий, отирая холодный пот с чела и вставая с земли.

– Всё кончено... напрасно – я бессилён против этой толпы. Она погибла – о провидение, – что мне делать, что мне делать, отвечай мне, творец всемогущий! – воскликнул он, ломая руки и скрежеща зубами.

Ночь делалась темнее и темнее; и Ольга, ухватясь за своего друга, с ужасом кидала взоры на дальний монастырь, внимая гулу и воплям, разносимым по полю возрастающим ветром; вдруг шум колес и топот лошадиный послышались по дороге; они постепенно приближались, и вскоре подъехал к нашим странникам мужик в пустой телеге; он ехал рысью, правил стоя и пел какую-то нескладную песню. Поровнявшись с Юрием, он приостановил свою буланую лошадь. – «Что, боярин, – сказал он насмешливо, поглаживая

рыжую бороду; – аль там не пирогами кормят; что ты больно поторопился домой-то... да еще пешечком, сем-ка доведу!..»

Юрий, не отвечая ни слова, схватил лошадь под уздцы; «что ты, что ты, боярин! – закричал грубо мужик, – уж не впрямь ли хочешь со мною съездить!.. Эк всполошился!» – продолжал он, ударив лошадь кнутом и присвиснув; добрый конь рванулся... но Юрий, коего силы удвоило отчаяние, так крепко вцепился в узду, что лошадь принуждена была кинуться в сторону; между тем колесо телеги сильно ударилось о камень, и она едва не опрокинулась; мужик, потерявший равновесие, упал, но не выпустил вожжи; он уж занес ногу, чтоб опять вскочить в телегу, когда неожиданный удар по голове поверг его на землю и сильная рука вырвала вожжи... «Разбой!» – заревел мужик, опомнившись и стараясь приподняться; но Юрий уже успел схватить Ольгу, посадить ее в телегу, повернуть лошадь и ударить ее изо всей мочи; она кинулась со всех ног; мужик еще раз успел хриплым голосом закричать: «разбой!» Колесо переехало ему через грудь, и он замолк, вероят-

но навеки.

Ужасна была эта ночь, – толпа шумела почти до рассвета и кровавые потешные огни встретили первый луч восходящего светила; множество нищих, обезображенных кровью, вином и грязью, валялось на поляне, иные из них уж собирались кучками и расходились; во многих местах опаленная трава и черный пепел показывали место угасшего костра; на некоторых деревьях висели трупы... два или три, не более... Один из них по всем приметам был некогда женщиной, но, обезображенный, он едва походил на бранные остатки человека; – и даже ближайшие родственники не могли бы в нем узнать добрую <Наталью> Сергевну.

## Глава XVI

**Я** попрошу своего или своих любезных читателей перенестись воображением в ту малую лесную деревеньку, где Борис Петрович со своей охотой основал главную свою квартиру, находя ее центром своих операционных пунктов; накануне травля была удачная; поздно наш старый охотник возвратился на ночлег, досадуя на то, что его стремянный,

Вадим, уехав бог знает зачем, не возвратился. В избе, где он ночевал, была одна хозяйка, вдова, солдатка лет 30, довольно белая, здоровая, большая, русая, черноглазая, полногрудая, опрятная – и потому вы легко отгадаете, что старый наш прелюбодей, несмотря на серебристую оттенку волос своих и на рождающиеся признаки будущей подагры, не смотрел на нее философическим взглядом, а старался всячески выиграть ее благосклонность, что и удалось ему довольно скоро и без больших убытков и хлопот. Уж давно лучина была погашена; уж петух, хлопая крыльями, собирался в первый раз пропеть свою сиповатую арию, уж кони, сытые по горло, изредка только жевали остатки хрупкого овса, и в избе на полатях, рядом с полногрудой хозяйкою, Борис Петрович храпел непомилованно. Вероятно, утомленный трудами дня и (вероятнее) упоенный сладкой водочкой и поцелуями полногрудой хозяйки и успокоенный чистой и непорочной совестью, он еще долго бы продолжал храпеть и переворачиваться со стороны на сторону, если б вдруг среди глубокой тишины сильная, неведомая рука не уда-

рила три раза в ворота так, что они затрещали. Собаки жалобно залаяли, и хозяйка, вздрогнув, проснулась, перекрестилась и, протирая кулаками опухшие глаза и разбирая растрепанные волосы, молвила: «господи, боже мой! – да кто это там!.. Наше место свято!.. Да что это как стучат». Она слезла и подошла к окну; отворила его: ночной ветер пахнул ей на открытую потную грудь, и она, с досадой высунув голову на улицу, повторила свои вопросы; в самом деле, буланая лошадь в хомуте и шлее стояла у ворот и возле нее человек, незнакомый ей, но с виду не старый и не крестьянин.

– Отопри проворнее!.. – закричал он громовым голосом.

– Экой скорой! – пробормотала солдатка, захлопнув окно; – подождешь, не замерзнешь!.. Не спится видно тебе, так бродишь по лесу, как леший проклятый... – Она надела шубу, вышла, разбудила работника, и тот наконец отпер скрипучую калитку, браня приезжего; но сей последний, едва лишь ворвался на двор и узнал от работника, что Борис Петрович тут, как опрометью бросился в из-

бу.

– Батюшка! – сказал Юрий, которого вы, вероятно, узнали, приметно изменившимся голосом и в потемках ощупывая предметы, – проснитесь! Где вы!.. Проснитесь!.. Дело идет о жизни и смерти!.. Послушай, – продолжал он шепотом, обратясь к полусонной хозяйке и внезапно схватив ее за горло: – где мой отец? Что вы с ним сделали?..

– Помилуй, барин, что ты, рехнулся што ли... я закричу... да пусти, пусти меня, окаянный... да разве не слышишь, как он на полатях-то храпит... – И задыхаясь она старалась вырваться из рук Юрия...

– Что за шум! Кто там развозился! Петрушка, Терешка, Фотька!.. Ей вы... – закричал Борис Петрович, пробужденный шумом и холодным ветром, который рвался в полурастворенные двери, свистя и завывая, подобно лютому зверю.

– Батюшка! – говорил Юрий, пустив обрадованную женщину, – сойдите скорее... жизнь и смерть, говорю я вам!.. Сойдите, ради неба или ада...

– Да что ты за человек, – бормотал Борис

Петрович, сползая с печи...

– Я! Ваш сын... Юрий...

– Юрий... что это значит... объясни... зачем ты здесь... и в это время!..

Он в испуге схватил сына за руки и смотрел ему в глаза, стараясь убедиться, что это он, что это не лукавый призрак.

– Батюшка! Мы погибли!.. Народ бунтует! Да! И у нас... я видел, когда проскакал, на улице села и вокруг церкви толпились кучи народа... и некоторые восклицания, долетевшие до меня, показывают, что они ждут если не самого Пугачева, то казаков его... спасайтесь!..

– А <Наталья> Сергевна!.. А вещи мои...

– Матушка... не говорите об ней...

– Она...

– Спасайтесь! – сказал мрачно Юрий, крепко обняв отца своего; горячая слеза брызнула из глаз юноши и упала как искра на щеку старика и обожгла ее...

– О!.. – завопил он. – Кто б мог подумать! Поверить?.. Кто ожидал, что эта туча доберется и до нас грешных! О господи! Господи!.. – куда мне деваться!.. Все против нас... бог и люди... и кто мог отгадать, что этот Пугачев

будет губить кого же? – русское дворянство! – простой казак!.. Боже мой! Святые отцы!

– Нет ли у вас с собою кого-нибудь, на чью верность вы можете надеяться! – сказал быстро Юрий.

– Нет! Нет! Никого нет!..

– Фотька Атуев?..

– Я его сегодня прибил до полусмерти, каналью!

– Терешка!..

– Он давно желал бы мне нож в бок за жену свою... разбойники, антихристы!.. О спаси меня! Сын мой...

– Мы погибли! – молвил Юрий, сложив руки и подняв глаза к небу. – Один бог может сохранить нас!.. Молитесь ему, если можете...

Борис Петрович упал на колена; и слезы рекой полились из глаз его; малодушный старик! Он ожидал, что целый хор ангелов спустится к нему на луче месяца и унесет его на серебряных крыльях за тридевять земель.

Но не ангел, а бедная солдатка с состраданием подошла к нему и молвила: *я спасу тебя.*

В важные эпохи жизни, иногда, в самом

обыкновенном человеке разгорается искра героизма, неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он свершает дела, о коих до сего ему не случилось и грезить, которым даже после он сам едва верует. Есть простая поговорка: *Москва сгорела от копеешной свечки!*

Между тем хозяйка молча подала знак рукою, чтоб они оба за нею следовали, и вышла; на цыпочках они миновали темные сени, где спал стремянный Палицына, и осторожно спустились на двор по четырем скрипучим и скользким ступеням; на дворе всё было тихо; собаки на сворах лежали под навесом, и изредка лишь фыркали сытые кони или охотник произносил во сне бессвязные слова, поворачиваясь на соломе под теплым полусубком. Когда они миновали анбар и подошли к задним воротам, соединявшим двор с обширным огородом, усеянным капустой, коноплями, редькой и подсолнечниками и оканчивающимся тесным гумном, где только две клады как будки, стоя по углам, казалось, сторожили высокий и пустой овин, возвышающийся посередине, то раздался чей-то голос, вероятно, одного из пробудившихся псарей:

«кто там?» – спросил он. – «Разве не видишь, что хозяйева», – отвечала солдатка; заметив, что псарь приближался к ней переваливаясь, как бы стараясь поддержать свою голову в равновесии с прочими частями тела, она указала своим спутникам большой куст репейника, за который они тотчас кинулись, и хладнокровно остановилась у ворот.

– А разве красавицам пристало гулять по ночам? – сказал, почесывая бока, пьяный псарь и тяжелой своей лапой с громким смехом ударил ее по плечу!..

– И бабушка! Что я за красавица! С нашей работки-то не больно разжиреешь!..

– Уж не ломайся, знаем мы!.. Экая гладкая! У барина видно губа не дура... эх ты прижила себе старого черта!.. Да небось! Не сдобровать ему, высчитаем мы ему наши слезки... дай срок! Бабушка Пугачев ему рыло-то обтешет... пусть себе не верит... а ты, моя молодка... за это поцелуй меня.

Он хотел обнять ее, но она увернулась и наш проворный рыцарь спьяну наткнулся на оглоблю телеги... спотыкнулся, упал, проворчал несколько ругательств, и заснул он или

нет, не знаю, по крайней мере не поднялся на ноги и остался в сладком самозабвении.

Легко вообразить, с каким нетерпением отец и сын ожидали конца этой неприятной сцены... наконец они вышли в огород и удвоили шаги. Сильно бились сердца их, стесненные непонятым предчувствием, они шли, удерживая дыхание, скользя по росистой траве, продираясь между коноплей и вязких гряд, зацепляя поминутно ногами или за кирпич или за хвост; вороньи пугалы казались им людьми, и каждый раз, когда полевая крыса кидалась из-под ног их, они вздрагивали. Борис Петрович хватался за рукоятку охотничьего ножа, а Юрий за шпагу... но, к счастью, все их страхи были напрасны, и они благополучно приблизились к темному овину; хозяйка вошла туда, за нею Борис Петрович и Юрий; она подвела их к одному темному углу, где находилось два сусека, один из них с хлебом, а другой до половины наваленный соломой.

– Полезай сюда, барин, – сказала солдатка, указывая на второй, – да заройся хорошенько с головой в солому, и кто бы ни приходил, что

бы тут ни делали... не вылезай без меня; а я, коли жива буду, тебя не выдам; что б ни было, а этого греха не возьму на свою душу!..

Когда Борис Петрович влез, то Юрий, вместо того, чтобы следовать его примеру, взглянул на небо и сказал твердым голосом: «прощайте, батюшка, будьте живы... ваше благословение! Может быть, мы больше не увидимся». Он повернулся и быстро пустился назад по той же дороге; взойдя на двор, он, не будучи никем замечен, отвязал лучшую лошадь, вскочил на нее и пустился снова через огород, проскакал гумно, махнул рукою удивленной хозяйке, которая еще стояла у дверей овина, и, перескочив через ветхий, обвалившийся забор, скрылся в поле как молния; несколько минут можно было различить мерный топот скачущего коня... он постепенно становился тише и тише, и наконец совершенно слился с шепотом листьев дубравы.

«Куда этот верченый пустился! – подумала удивленная хозяйка, – видно голова крепка на плечах, а то кто бы ему велел таскаться – ну, не дай бог, наткнется на казаков и поминай как звали буйнова мóлодца – ох! Ох! Ох!

Больно меня раздумье берет!.. Спрятала-то я старого, спрятала, а как станут меня бить да мучить... ну, уж коли на то пошла, так берегись, баба!.. Не давши слова держись, а давши крепись... только бы он сам не оплошал!»

## Глава XVII

**В** эту же ночь, богатую событиями, Вадим, выехав из монастыря, пустился блуждать по лесу, но конь, устав продирааться сквозь колючий кустарник, сам вывез его на дорогу в село Палицына.

Задумавшись ехал мрачный горбач, сложа руки на груди и повеся голову; его охотничья плеть моталась на передней луке казацкого седла, и добрый степной конь его, горячий, щекотливый от природы, понемногу стал прибавлять ходу, сбился на рысь, потом, чувствуя, что повода висят покойно на его мохнатой шее, зафыркал, прыгнул и ударился скакать... Вадим опомнился, схватил поводья и так сильно осадил коня, что тот сразу присел на хвост, замотал головою, сделал еще два скачка вбок и остановился: теплый пар поднялся от хребта его, и пена, стекая по стальным удилам, клоками падала на землю.

«Куда торопишься? Чему обрадовался, лихой товарищ? – сказал Вадим... но тебя ждет покой и теплое стойло: ты не любишь, ты не понимаешь ненависти: ты не получил от благих небес этой чудной способности: находить блаженство в самых диких страданиях... о если б я мог вырвать из души своей эту страсть, вырвать с корнем, вот так! – и он наклонясь вырвал из земли высокий стебель полыни; – но нет! – продолжал он... одной капли яда довольно, чтоб отравить чашу, полную чистейшей влаги, и надо ее выплеснуть всю, чтобы вылить яд...» Он продолжал свой путь, но не шагом: неведомая сила влечет его: неутомимый конь летит, рассекает упорный воздух; волосы Вадима развеваются, два раза шапка чуть-чуть не слетела с головы; он придерживает ее рукою... и только изредка поталкивает ногами скакуна своего; вот уж и село... церковь... кругом огни... мужики толпятся на улице в праздничных кафтанах... кричат, поют песни... то вдруг замолкнут, то вдруг сильнее и громче пробежит говор по пьяной толпе... Вадим привязывает коня к забору и неприметно вмешивается в толпу... Эти огни,

эти песни – всё дышало тогда какой-то насильственной веселостью, принимало вид языческого празднества, и даже в песнях часто повторяемые имена дидо и ладо могли бы ввести в это заблуждение неопытного чужестранца.

– Ну! Вадимка! – сказал один толстый мужик с редкой бородою и огромной лысиной... – как слышно! Скоро ли наш батюшка-то пожалует.

– Завтра – в обед, – отвечал Вадим, стараясь отделаться.

– Ой ли? – подхватил другой, – так стало быть не нонче, а завтра... – так... так!.. А что, как слышно?.. Чай много с ним рати военной... чай, казаков-то видимо-невидимо... а что, у него серебряный кафтан-то?

– Ах ты дурак, дурак, забубенная башка... – сказал третий, покачивая головой, – эко диво серебряный... чай не только кафтан, да и сапоги-то золотые...

– Да кто ему подносить станет хлеб с солью? – чай всё старики...

– Вестимо... Послушай, брат Вадим, – продолжал четвертый, огромный детина, черно-

мазый, с налитыми кровью глазами – где наш барин-то!.. Не удрал бы он... а жаль бы было упустить... уж я бы его попотчевал... он и в могилу бы у меня с оскоминою лег...

«Нет, нет! – подумал Вадим, удаляясь от них, – это моя жертва... никто не наложит руки на него, кроме меня. Никто не услышит последнего его вопля, никто не напечатлеет в своей памяти последнего его взгляда, последнего судорожного движения, – кроме меня... Он мой – я купил его у небес и ада: я заплатил за него кровавыми слезами; ужасными днями, в течение коих мысленно я пожирал все возможные чувства, чтоб под конец у меня в груди не осталось ни одного, кроме злобы и мщенья... О! Я не таков, чтобы равнодушно выпустить из рук свою добычу и уступить ее вам... подлые рабы!..»

Он быстрыми шагами спустился в овраг, где протекал небольшой гремучий ручей, который, прыгая через камни и пробираясь между сухими вербами, с журчанием терялся в густых камышах и безмолвно сливался с <Сурюю>. Тут всё было тихо и пусто; на противной стороне возвышался позади неболь-

шого сада господский дом с многочисленными службами... он был темен... ни в одном окне не мелькала свечка, как будто все его жители отправились в дальнюю дорогу... Вадим перебрался по доскам через ручей и подошел к ветхой бане, находящейся на полугоре и окруженной густыми рябиновыми кустами... ему показалось, что он заметил слабый свет сквозь замок двери; он остановился и на цыпочках подкрался к окну, плотно закрытому ставнем...

В бане слышались невнятные голоса, и Вадим, припав под окном в густую траву, начал прилежно вслушиваться: его сердце, закаленное противу всех земных несчастий, в эту минуту сильно забилося, как орел в железной клетке при виде кровавой пицци... Вадим удивился, как удивился бы другой, если б среди зимней ночи ударил гром... он крепко прижал руку к груди своей и прошептал: «спи, безумное! Спи... твоя пора прошла или еще не настала! – но к чему теперь! – разве есть близко тебя существо, которое ты ненавидишь?... говори?..» – и он, задержав дыхание, снова приложил ухо к окну – и услышал:

**1 голос.** Прощай, мой друг... навсегда...

**2 голос.** Мне тебя покинуть? Нет, если б на этом пороге было написано судьбою: *смерть*, – то я перескочил бы... обнял тебя... и умер...

**1 голос.** Но я в безопасности!.. Я существо ничтожное; я останусь незамечена среди общего волнения...

**2 голос.** Нет, невозможно... долг зовет меня к отцу... я спасу его и вернусь... мир без тебя? Что такое!.. Храм без божества... Зачем мне бежать от опасности... разве провидение не настигнет меня везде, если я должен погибнуть!

**1 голос.** Жестокий! Так ты не хочешь... послушай! Ради бога... беги...

**2 голос.** Нет!.. Прощай... через несколько часов я снова буду с тобою.

Голоса замолкли, и слышно было, как дверь бани скрипнула отворяясь и как опять захлопнулась, и Вадим видел, как кто-то, подобно призраку, мелькнул в овраге, потом на горе, перескочил через плетень, перерезывающий овраг, и скрылся в ночном тумане...

Вадим встал, подошел к двери и твердою

рукою толкнул ее; защелка внутри сорвалась, и роковая дверь со скрыпом распахнулась... кто-то вскрикнул... и всё замолкло снова... Вадим взошел, торжественно запер за собою дверь и остановился... на полу стоял фонарь... и возле него сидела, приклонив бледную голову к дубовой скамье... Ольга!..

Убийственная мысль как молния озарила ум бедного горбача; он отгадал в одно мгновение, кто был этот второй голос, о ком так нежно заботилась сестра его, как будто в нем одном были все надежды, вся любовь ее сердца...

Неподвижно сидела Ольга, на лице ее была печать безмолвного отчаяния, и глаза изливали какой-то однообразный, холодный луч, и сжатые губки казались растянуты постоянной улыбкой, но в этой улыбке дышал упрек провидению... Фонарь стоял у ног ее, и догорающий пламень огарка сквозь зеленые стекла слабо озарял нижние части лица бедной девушки; ее грудь была прикрыта черной душегрейкой, которая по временам приподымалась, и длинная полуразвитая коса упала на правое плечо ее.

Вадим стоял перед ней, как Мефистофель перед погибшею Маргаритой, с язвительным выражением очей, как раскаяние перед душою грешника; сложа руки, он ожидал, чтоб она к нему обернулась, но она осталась в прежнем положении, хотя молвила прерывающимся голосом:

– Чего ты от меня еще хочешь...

– Еще? – а что же я прежде от тебя требовал? Каких жертв?.. Говори, Ольга? – разве я силою заставил тебя произнести клятву... ты помнишь!.. Разве я виноват, что роковая минута настала прежде, чем находишь это удобным?..

– О... ты хищный зверь, а не человек!..

– Ольга... твой отец был мой отец!

– Не верю, не могу верить... чтобы он, в лице святых, желал гибели этого семейства, желал сделать нас преступными... нет! Ты не брат мой!.. Прочь – я ненавижу... презираю тебя...

– Ненавидишь: так... а презирать не можешь...

– Презираю...

– Ты боишься меня... – он дико засмеялся и

подошел ближе.

– Вадим... ради отца нашего... удались... от тебя веет смертным холодом...

– Нет, Ольга... я останусь здесь целую ночь...

– Боже! – прошептала вздрогнув несчастная девушка, сердце сжалось... и смутное подозрение пробудилось в нем; она встала; ноги ее подгибались... она хотела сделать шаг и упала на колени...

– Послушай! – сказал Вадим, приподняв сестру; посадив ее на лавку, он взял ее влажную руку и, стараясь смягчить голос, продолжал: – послушай! Было время, когда я думал твоей любовью освятить мою душу... были минуты, когда, глядя на тебя, на твои небесные очи, я хотел разом разрушить свой ужасный замысел, когда я надеялся забыть на груди твоей всё прошедшее как волшебную сказку... Но ты не захотела, ты обманула меня – тебя пленил прекрасный юноша... и безобразный горбач остался один... один... как черная тучка, забытая на ясном небе, на которую ни люди, ни солнце не хотят и взглянуть... да, ты этого не можешь понять... ты прекрасна, ты

ангел, тебя не любить – невозможно... я это знаю... о, да посмотри на меня; неужели для меня нет ни одного взгляда, ни одной улыбки... всё ему! Всё ему!.. Да знаешь ли, что он должен быть доволен и десятою долею твоей нежности, что он не отдаст, как я, за одно твое слово всю свою будущность... о, да это невозможно тебе постигнуть... если б я знал, что на моем сердце написано, как я тебя люблю, то я вырвал бы его сию минуту из груди и бросил бы к тебе на колена... о, одно слово, Ольга, чтоб я не проклял тебя... умирая...

– Проклинай! – ответствовала она холодно...

Вадим, неподвижный, подобный одному из тех безобразных кумиров, кои доньше иногда в степи заволжской на холме поражают нас удивлением, стоял перед ней, ломая себе руки, и глаза его, полузакрытые густыми бровями, выражали непобедимое страдание... всё было тихо, лишь ветер, по временам пробегая по крыше бани, взрывал гнилую солому и гудел в пустой трубе... Вадим продолжал:

– Еще несколько слов, Ольга... и я тебя оставлю. Это мое последнее усилие... если ты

теперь не сжалишься, то знай – между нами нет более никаких связей родства... – я освобождаю тебя от всех клятв, мне не нужна женской помощи; я безумец был, когда хотел поверить слабой девушке бич небесного правосудия... но довольно! Довольно. Послушай: если б бедная собака, иссохшая, полуживая от голода и жажды, с визгом приползла к ногам твоим, и у тебя бы был кусок хлеба, один кусок хлеба... отвечай, что бы ты сделала?..

– Сердце не кусок хлеба, оно не в моей власти...

– А! Не в твоей власти!.. А! Но разве я это у тебя спрашивал?..

– Ты хотел ответа... я отвечала.

– В тебе нет жалости!

– А в тебе есть жалость?

– Так ты его очень, очень любишь?

– Больше всего на свете...

– А!.. – больше всего на свете... Но это напрасно!..

– Да, я его люблю – люблю – и никакая власть не разлучит нас.

– Ошибаешься! – воскликнул с горьким хохотом горбач... – он непременно должен уме-

реть... и очень скоро!

– Я умру вместе с ним...

– О нет! Ты не умрешь... не надейся!..

– Я надеюсь на бога... он возьмет нас вместе к себе или спасет его, несмотря на всю твою злобу...

– Не говори мне про бога!.. Он меня не знает; он не захочет у меня вырвать обреченную жертву – ему всё равно... и не думаешь ли ты смягчить его слезами и просьбами?.. Ха, ха, ха!.. Ольга, Ольга – прощай – я иду от тебя... но помни последние слова мои: они стóят всех пророчеств... я говорю тебе: он погибнет, ты к мертвому праху прилепила сердце твое... его имя вычеркнуто уже этой рукою из списка живущих... да! – продолжал он после минутного молчания, и если хочешь, я в доказательство принесу тебе его голову...

Он отвернулся, хотел, по-видимому, что-то прибавить, – но голос замер на посиневших губах его, он закрыл лицо руками и выбежал... быть может, желая утаить смущение или невольные слезы, или стремясь с сильнейшим порывом бешенства исполнить немедленно свое ужасное обещание.

Ольга осталась одна почти без чувств, в забытьи. Она едва видела, как брат ее скрылся, едва слышала удар захлопнувшейся двери...

## Глава XVIII

До сих пор в густых лесах Нижегородской, Симбирской, Пензенской и Саратовской губернии, некогда непроходимых кроме для медведей, волков и самых бесстрашных их гонителей, любопытный может видеть пещеры, подземные ходы, изрытые нашими предками, кои в них искали некогда убежище от набегов татар, крымцев и впоследствии от киргизов и башкир, угрожавших мирным деревням даже в царствование им. Елизаветы Петровны; последний набег был в 1769 году, но тогда, встретив уже войска около сих мест, башкиры принуждены были удалиться, не дойдя несколько верст до Саратова и не причинив значительного вреда. Случалось даже, что целые деревни были уведены в плен и рассеяны; во времена, нами описываемые, эти пещеры не были еще, как теперь, завалены сухими листьями и хворостом и одна из них находилась не в большом расстоянии от деревни Палицына. Народ дал ей прозвание Черто-

ва логовища, и суеверные предания населили ее страшными кикиморами и рогатыми лешими.

Чтобы из села Палицына кратчайшим путем достигнуть этой уединенной пещеры, должно бы было переплыть реку и версты две идти болотистой долиной, усеянной кочками, ветловыми кустами и покрытой высоким камышом; только некоторые из окрестных жителей умели по разным приметам пробираться чрез это опасное место, где коварная зелень мхов обманывает неопытного путника и высокий тростник скрывает ямы и тину; болото оканчивается холмом, через который прежде вела тропинка и, спустясь с него, поворачивала по косогору в густой и мрачный лес; на опушке столетние липы как стражи, казалось, простирали огромные ветви, чтоб заслонить дорогу; казалось, на узорах их сморщенной коры был написан адскими буквами этот известный стих Данта: *Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!*[14] Тут тропинка снова постепенно ползла на отлогую длинную гору, извиваясь между дерев как змея, исчезая по временам под сухими хрупкими листьями

и хворостом. Наконец лес начинал редеть, сквозь забор темных деревьев начинало проглядывать голубое небо, и вдруг открывалась круглая луговина, обведенная лесом как волшебным очерком, блистающая светлую зеленью и пестрыми высокими цветами, как островок среди угрюмого моря, – на ней во время осени всегда являлся высокий стог сена, воздвигнутый трудолюбием какого-нибудь бедного мужика; грозно-молчаливо смотрели на нее друг из-за друга ели и березы, будто завидуя ее свежести, будто намереваясь толпой подвинуться вперед и злобно растоптать ее бархатную мураву. – От сей луговины еще 3 версты до *Чертова логовища*, но тропинки уже нет нигде... и должно идти всё на восток, стараясь как можно менее отклоняться от этого направления. Лес не так высок, но колючие кусты, хмель и другие растения переплетают неразрывною сеткою корни деревьев, так что за 3 сажени нельзя почти различить стоящего человека; иногда встречаются глубокие ямы, гнезда бурею вырванных деревьев, коих гнилые колоды, обросшие зеленью и плющом, с своими обнаженными сучьями, как крепостные

рогатки, преграждают путь; под ними, выкопав себе широкое логовище, лежит зимой косматый медведь и сосет неистощимую лапу; дремучие ели как черный полог наклоняются над ним и убаюкивают его своим непонятным шепотом. Пройдя таким образом немного более двух верст, слышится что-то похожее на шум падающих вод, хотя человек, не привыкший к степной жизни, воспитанный на бульварах, не различил бы этот дальний ропот от говора листьев; – тогда, кинув глаза в ту сторону, откуда ветер принес сии новые звуки, можно заметить крутой и глубокий овраг; его берег обсажен наклонившимися березами, коих белые нагие корни, обмытые дождями весенними, висят над бездной длинными хвостами; глинистый скат оврага покрыт камнями и обвалившимися глыбами земли, увлекшими за собою различные кусты, которые беспечно принялись на новой почве; на дне оврага, если подойти к самому краю и наклониться, придерживаясь за надежные деревья, можно различить небольшой родник, но чрезвычайно быстро катящийся, покрывающийся по временам пеною, которая

белее пуха лебязьего останавливается клубами у берегов, держится несколько минут и вновь увлечена стремлением исчезает в камнях и рассыпается об них радужными брызгами. На самом краю сего оврага снова начинается едва приметная дорожка, будто выходящая из земли; она ведет между кустов вдоль по берегу рытвины и наконец, сделав еще несколько извилин, исчезает в глубокой яме, как уж в своей норе; но тут открывается маленькая поляна, уставленная несколькими высокими дубами; посередине возвышаются три кургана, образующие правильный треугольник; покрытые дерном и сухими листьями, они похожи с первого взгляда на могилы каких-нибудь древних татарских князей или наездников, но, взойдя в середину между них, мнение наблюдателя переменяется при виде отверстий, ведущих под каждый курган, который служит как бы сводом для темной подземной галереи; отверстия так малы, что едва на коленях может вползти человек, но когда сделаешь так несколько шагов, то пещера начинает расширяться всё более и более, и наконец три человека могут идти рядом без тру-

да, не задевая почти локтем до стены; все три хода ведут, по-видимому, в разные стороны, сначала довольно круто спускаясь вниз, потом по горизонтальной линии, но галерея, обращенная к оврагу, имеет особенное устройство: несколько сажен она идет отлогим скатом, потом вдруг поворачивает направо, и горе любопытному, который неосторожно пустится по этому новому направлению; она оканчивается обрывом или, лучше сказать, поворачивает вертикально вниз: должно надеяться на твердость ног своих, чтоб спрыгнуть туда; как ни говори, две сажени не шутка; но тут оканчиваются все искусственные препятствия; она идет назад, параллельно верхней своей части, и в одной с нею вертикальной плоскости, потом склоняется налево и впадает в широкую круглую залу, куда также примыкают две другие; эта зала устлана камнями, имеет в стенах своих четыре впадины в виде нишей (niches); посередине один четвероугольный столб поддерживает глиняный свод ее, довольно искусно образованный; возле столба заметна яма, быть может служившая некогда вместо печи несчаст-

ным изгнанникам, которых судьба заставляла скрываться в сих подземных переходах; среди глубокого безмолвия этой залы слышно иногда журчание воды: то светлый, холодный, но маленький ключ, который, выходя из отверстия, сделанного, вероятно, с намерением, в стене, пробирается вдоль по ней и наконец, скрываясь в другом отверстии, обложенном камнями, исчезает; немолчный ропот беспокойных струй оживляет это мрачное жилище ночи, как песни узника оживляют безмолвие темницы; все эти признаки доказывают, что наши предки могли бы и намеревались выдержать здесь продолжительную осаду. Впрочем камни и земля – всё поросло мохом, при свете фонаря можно различить в стене норы земляных крыс и других скромных зверков, любителей мрака и неизвестности; инде свод начал обсыпаться, и от прежней правильности и симметрии почти не осталось никаких следов.

Борис Петрович знал это место, ибо два из любопытства, будучи на охоте, он подъезжал к нему, хотя ни разу не осмелился проникнуть в внутренность мрачных перехо-

дов: когда он опомнился от страха, то Чертово логовище, несмотря на это адское прозвание, представилось его мысли как единственное безопасное убежище... ибо остаться здесь, в старом овине, так близко от спящих палачей своих, было бы безрассудно... но как туда обратиться?

Я должен вам признаться, милые слушатели, что Борис Петрович – боялся смерти!.. Чувство, равно свойственное человеку и собаке, вообще всем животным... но дело в том, что смерть Борису Петровичу казалась ужаснее, чем она кажется другим животным, ибо в эти минуты тревожная душа его, обнимая всё минувшее, была подобна преступнику, осужденному испанской инквизицией упасть в колючие объятия мадоны долорозы[15] (*madona dolorosa*), этого искаженного, богохульного, страшного изображения святейшей святыни... О! Я вам отвечаю, что Борис Петрович больше испугался, чем неопытный должник, который в первый раз, обшаривая пустые карманы, слышит за дверьми шаги и кашель чахоточного кредитора; бог знает, что прочел Палицын на замаранных листках своей сове-

сти, бог знает, какие образы теснились в его воспоминаниях – слово смерть, одно это слово, так ужаснуло его, что от одной этой кровавой мысли он раза три едва не обеспамятел, но его спасло именно отдаление всякой помощи: упав в обморок, он также боялся умереть. Смерть! Смерть со всех сторон являлась мутным его очам, то грозная, высокая с распротертыми руками, как виселица, то неожиданная, внезапная, как измена, как удар грома небесного... она была снаружи, внутри его, везде, везде... она дробилась вдруг на тысячу разных видов, она насмешливо прыгала по влажным его членам, подымала его седые волосы, стучала его зубами друг об друга... наконец Борис Петрович хотел прогнать эту нестерпимую мысль... и чем же? Молитвой!.. Но напрасно!.. Уста его шептали затверженные слова, но на каждое из них у души один был отзыв, один ответ: смерть!.. Он старался придумать способ к бегству, средство, какое бы оно ни было... самое отчаянное казалось ему лучшим; так прошел час, прошел другой... эти два удара молотка времени сильно отозвались в его сердце; каждый свист неуто-

монного ветра заставлял его вздрогнуть, малейший шорох в соломе, произведенный то ропливостью большой крысы или другого столь же мирного животного, казался ему топотом злодеев... он страдал, жестоко страдал! И то сказать: каждому свой черед; счастье – женщина: коли полюбит вдруг сначала, так разлюбит под конец; Борис Петрович также иногда вспоминал о своей толстой подруге... и волос его вставал дыбом: он понял молчание сына при ее имени, он объяснил себе его трепет... в его памяти пробегали картины прежнего счастья, не омраченного раскаянием и страхом, они пролетали, как легкое дуновение, как листья, сорванные вихрем с березы, мелькая мимо нас, обманывают взор золотым и багряным блеском и упадают... очарованы их волшебными красками, увлечены невероятною мечтой, мы поднимаем их, рассматриваем... и не находим ни красок, ни блеска: это простые, гнилые, мертвые листья!..

Между тем дело подходило к рассвету, и Палицын более и более утверждался в своем намерении: спрятаться в мрачную пещеру, описанную нами; но кто ему будет носить пи-

цу?.. Где друзья? Слуги? Где рабы, низкие, послушные мановению руки, движению бровей? – никого! Решительно никого!.. Он плакал от бешенства!.. К тому же: кто его туда проводит? Как выйдет он из этого душного овина, покуда его охотники не удалились?.. И не будет ли уже поздно, когда они удалятся...

На рассвете ему послышался лай, топот конский, крик, брань и по временам призывный звон рогов; это продолжалось с полчаса; наконец всё умолкло; – прошло еще полчаса; вдруг он слышит над собою женский голос: «барин! – барин!.. Вставай... да отвечай же? – не спишь ли ты?..»

Вы можете вообразить, что он не спал, но молчание его происходило оттого, что сначала он не узнал этот голос, а потом хотя узнал, но оледенелый язык его не повиновался; он тихо приподнялся на ноги, как воскресший Лазарь из гроба, – и вылез из сусека.

– Это ты, хозяйка! – пролепетал он невнятно...но...

– Я, я! – да не бось... они все уехали; поискали тебя немножко, да и махнули рукой: куда-ста ему и дорога... говорят...

– Хозяйка! – прервал Палицын, – уж светает; послушай: я придумал, куда мне спрятаться... ты знаешь... отсюда недалеко есть место... говорят, недоброе... да это всё равно; ты знаешь Чертово логовище!..

Хозяйка в ужасе три раза перекрестилась и посмотрела пристально на Палицына.

– Ох! Кормилец!.. Беда! Сатанинское это гнездо...

– Нет другого! – возразил он в отчаянии...

– Оно бы есть! Да больно близко твоей деревни... и то правда, барин, ты хорошо придумал... что начала, то кончу; уж мне грех тебя оставить; вот тебе мужицкое платье: скинька свой балахон... – а я тебе дам сына в проводники... он малый глупенек, да зато не болтлив, и уж против материнского слова не пойдет...

Покуда Борис Петрович переодевался в смурый кафтан и обвязывал запачканные онучи вокруг ног своих солдатка подошла к дверям овина, махнула рукой, явился малый лет 17-и глупой наружности, с рыжими волосами, но складом и ростом богатырь... он шел за матерью, которая шептала ему что-то на

уху; почесывая затылок и кивая головой, он зевал беспощадно и только по временам отвечал: «хорошо, мачка». Когда они приблизились к Палицыну, то он уже был готов: – «с богом!» – прошептала им вслед хозяйка... они вышли в поле чрез задние ворота; Борис Петрович боялся говорить, Петруха не умел и не любил; это случайное сходство было очень кстати.

Оставим их на узкой лесной тропинке, пробирающихся к грозному Чертову логовищу, обоих дрожащих как лист: один опасаясь погони, другой боясь духов и привидений... оставим их и посмотрим, куда девался Юрий, покинув своего чадолюбивого родителя.

## Глава XIX

**Ю**рий, выскакав на дорогу, ведущую в село Палицыно, приостановил усталую лошадь и поехал рысью; тысячу предприятий и еще более опасений теснилось в уме его; но спасти Ольгу или по крайней мере погибнуть возле нее было первым чувством, господствующею мыслию его; любовь, сначала очень обыкновенная, даже не заслуживавшая имя страсти, от нечаянного стечения обстоя-

тельств возросла в его груди до необычайности: как в тени огромного дуба прячутся все окружающие его скромные кустарники, так все другие чувства склонялись перед этой новой властью, исчезали в его потоке.

По гладкой, но узкой дороге ехал Юрий, его шпага, ударяясь об бока лошади, неприметно возбуждала ее благородное рвение... По обеим сторонам дороги начинали желтеть молодые нивы; как молодой народ, они волновались от легчайшего дуновения ветра; далее за ними тянулись налево холмы, покрытые кудрявым кустарником, а направо возвышался густой, старый, непроницаемый лес: казалось, мрак черными своими очами выглядывал из-под каждой ветви; казалось, возле каждого дерева стоял рогатый, кривоногий леший... всё молчало кругом; иногда долетал до путника нашего жалобный вой волков, иногда отвратительный крик филина, этого ночного сторожа, этого члена лесной полиции, который, засев в свою будку, гнилое дупло, окликает прохожих лучше всякого часового... – Но вдруг Юрий услышал другие звуки; это был конский топот, который неимоверно

быстро приближался; Юрий хотел было своротить с дороги, следуя какому-то инстинкту... но гордость превозмогла; он остановился, вынул из кармана небольшой пистолет, взятый им из дому на всякий случай, осмотрел кремь, взвел курок и приготовился к храброму отпору; скоро он заметил за собою, но еще очень далеко, белеющую пыль, и наконец показался всадник, который мчался к нему во все лопатки.

Подскакав на расстояние 50 шагов, незнакомец начал удерживать ретивого коня.

– Стой! – закричал Юрий, – не приближайся!.. Или я разmozжу тебе голову. – Кто ты таков?

– Или ты не узнал меня, барин, – отвечал хриплый голос. – Неужели ты хочешь убить верного своего раба?

– Как, это ты, Федосей? – воскликнул удивленный юноша, приближаясь к нему и стараясь различить его черты; но зачем ты здесь? – продолжал он строго... – мне не нужно спутников... я знаю свою дорогу... разве я звал тебя?.. Говори...

– Эх, барин! Барин!.. Ты грешишь! Я видел,

как ты приезжал... и тотчас сел на лошадь и поскакал за тобой следом, чтоб совесть меня после не укоряла... я всё знаю, батюшка! Времена тяжкие... да уж Федосей тебя не оставит; где ты, там и я сложу свою головушку; бог велел мне служить тебе, барин; он меня спросит на том свете: служил ли ты верой и правдой господам своим... а кабы я тебя оставил, что бы мне пришлось отвечать... Много нынче злодеев, дурной стал народ, да я не из них, Юрий Борисович... прикажи только, отец родной, и в воду и в огонь кинусь для тебя... уж таково дело холопское; ты меня поил и кормил до сей поры, теперь пришла моя очередь... сгибну, а господ не выдам.

Юрий был растроган; он ударил его по плечу и сказал:

– Если ты говоришь правду, Федосей, то бог наградит тебя и семью твою... но ты знаешь, что я теперь не имею этой власти...

– Да куда ты едешь, барин... один-одинехонек...

– Федосей, я исполнил долг свой, известил отца об опасности, помог ему скрыться... и еду... – Юрий призадумался и наконец отворо-

тясь молвил отрывисто: – я хочу видетсья с Ольгой...

«Вот что! – подумал Федосей, поглаживая усы. – Время думать об девках, когда петля на шее!» – эй барин! – молвил он, осмелившись; – брось ее!.. Что теперь за свиданья... опасно показатсья в селе... пожалуй, на грех мастера нет... ох! Кабы ты знал, что болтает народ.

– Я хочу ее видеть... возьму ее с собой... и только тогда буду заботитсья об опасности... я хочу, я должен ее видеть...

– Плохо! – пробормотал Федосей.

Молча они ехали рядом несколько времени, ни тот, ни другой не умея или не желая возобновить разговора... В такие часы, когда решается судьба наша, мы не тратим лишних слов, потому что дорожим каждым мгновением, потому что все земные страсти кипят в уме и одного взгляда довольно, чтоб заставить понять себя...

– Барин, – воскликнул вдруг Федосей... – посмотри-ка... кажись, наши гумна виднеются... так... так... Остановись-ка, барин... послушай, мне пришло на мысль вот что: ты мне скажи

только, где найти Ольгу – я пойду и приведу ее... а ты подожди меня здесь у забора с лошадьми... – сделай милость, барин... не кидайся ты в петлю добровольно – береженого бог бережет... а ведь ей нечего бояться, она не дворянка...

Это предложение поразило Юрия: он почувствовал некоторый стыд: «как! – думал он, – и я для нее побоюсь пожертвовать этой глупой жизнью...», но скоро, с помощью некоторых услужливых софизмов, он успокоил свою гордость, победил стыд неуместный – и, увы! – согласился, слез с коня и махнул рукою Федосею на прощанье.

Я желал бы представить Юрия истинным героем, но что же мне делать, если он был таков же, как вы и я... против правды слов нет; я уж прежде сказал, что только в глазах Ольги он почерпал неистовый пламень, бурные желания, гордую волю, – что вне этого волшебного круга он был человек, как и другой, – просто добрый, умный юноша. Что делать?

Когда Федосей исчез за плетнем, окружавшим гумно, то Юрий привязал к сухой ветле усталых коней и прилег на сырую землю; на-

прасно он думал, что хладный ветер и влажность высокой травы, проникнув в его жилы, охладит кровь, успокоит волнующуюся грудь... все призраки, все невероятности, порождаемые сомнением ожидания, кружились вокруг него в несвязной пляске и невольно завлекали воображение всё далее и далее, как иногда блудящий огонек, обманчивый фонарь какого-нибудь зловредного гения, заводит путника к самому краю пропасти...

Юрий, чтоб оторвать свою мысль от грозных картин будущего, обратил ее на прошедшее – так врачи в отчаянных случаях употребляют отчаянные средства – но всегда ли они удаются?

И перед ним начал развиваться длинный свиток воспоминаний, и он в изумлении подумал: ужели их так много? Отчего только теперь они все вдруг, как на праздник, являются ко мне?.. И он начал перебирать их одно по одному, как девушка иногда гадая перебирает листки цветка, и в каждом он находил или упрек или сожаление, и он мог по особенному преимуществу, дающемуся почти всем в минуты сильного беспокойства и страдания, ис-

числить все чувства, разбросанные, растерянные им на дороге жизни: но увы! Эти чувства не принесли плода; одни, как семена притчи, [16] были поклеваны хищными птицами, другие потоптаны странниками, иные упали на камень и сгнили от дождей бесполезно.

Он сначала мысленно видел себя еще ребенком, белокурым, кудрявым, резвым, шаловливым мальчиком, любимцем-баловнем родителей, грозой слуг и особенно служанок; он видел себя невинным воспитанником природы, играющим на коленях няни, трепещущим при слове: бука – он невольно улыбался, думая о том, как недавно прошли эти годы, и как невозвратно они погибли...

Но вот настал возраст первых страстей, первых желаний... его отдают воспитываться к старой и богатой бабке. Анютка, простая дворовая девочка, привлекла его внимание; о, сколько ласк, сколько слов, взглядов, вздохов, обещаний – какие детские надежды, какие детские опасения! Как смешны и страшны, как беспечны и как таинственны были эти первые свидания в темном коридоре, в темной беседке, обсаженной густолиствен-

ной рябиной, в березовой роще у грязного ручья, в соломенном шалаше полесовщика!.. О, как сладки были эти первые, сначала непорочные, чистые и под конец преступные поцелуи; как разгорались глаза Анюты, как трепетали ее едва образовавшиеся перси, когда горячая рука Юрия смело обхватывала непоретянутый стан ее, едва прикрытый посконным клетчатым платьем, когда уста его впились в ее грудь, опаленную солнечным зноем.

Но ему говорят, что пора служить... он спрашивает зачем! Ему грозно отвечают, что 15-ти лет его отец был сержантом гвардии; что ему уже 16-ть, итак... итак... заложили бричку, посадили с ним дядьку, дали 20 рублей на дорогу и большое письмо к какому-то правнучетному дядюшке... ударил бич, колокольчик зазвенел... прости воля, и рощи, и поля, прости счастье, прости Анюта!.. Садясь в бричку, Юрий встретил ее глаза неподвижные, полные слезами; она из-за дверей долго на него смотрела... он не мог решиться подойти, поцеловать в последний раз ее бледные щеки, он как вихорь промчался мимо нее,

вырвал свою руку из холодных рук Анюты, которая мечтала хоть на минуту остановить его... О! Какой зверской холодности она приписала мой поступок, как смело она может теперь презирать меня! – думал он тогда... Но что же! Он ее увидел 6 лет спустя... увы! Она сделалась дюжей толстой бабою, он видел, как она колотила слюнтявых ребят, мела избу, бранила пьяного мужа самыми отвратительными речами... очарование разлетелось как дым; настоящее отравило прелесть минувшего, с этих пор он не мог вообразить Анюту, иначе как рядом с этой отвратительной женщиной, он должен был изгладить из своей памяти как умершую эту живую, черноглазую, чернобровую девочку... и принес эту жертву своему самолюбию, почти безо всякого сожаления.

Между тем заботы службы, новые лица, новые мысли победили в сердце Юрия первую любовь, изгладили в его сердце первое впечатление... слава! Вот его кумир! – война, вот его наслаждение!.. Поход! – в Турцию... [17] о, как он упитает кровью неверных свою острую шпагу, как гордо он станет попи-

рать разрубленные низверженные чалмы поклонников корана!.. Как счастлив он будет, когда сам Суворов ударит его по плечу и молвит: молодец! Хват... лучше меня! Помилуй бог!.. О, Суворов верно ему скажет что-нибудь в этом роде, когда он первый взлетит, сквозь огонь и град пуль турецких, на окровавленный вал и, колеблясь, истекая кровью от глубокой, хотя бездельной раны, водрузит в чуждую землю первое знамя с двуглавым орлом! – о, какие поздравления, какие объятия после битвы...

Но войска перешли через границу русскую, пылают села неверных на берегу Дуная, который, подмывая берега свои, широкой зеленой волной катится через дикие поляны... О, как жадно вдыхал Юрий этот теплый ароматный воздух, как страстно он кидался в шумную стычку, с каким наслаждением погружал свою шпагу во внутренность безобразного турка, который, выворотив глаза, с судорожным движением кусал и грыз холодное железо!.. Но кто эта пленница, которую так бережливо скрывает он в шатре своем от взоров товарищей, любопытных и нескром-

ных? Кто она!.. О, это тайна! Тайна, которую знает лишь он да бог, если богу есть какое-нибудь дело до сердца человеческого!..

Он нашел ее полуживую, под пылающими угольями разрушенной хижины; неизъяснимая жалость зашевелилась в глубине души его, и он поднял Зару, – и с этих пор она жила в его палатке, незрима и прекрасна как ангел; в ее чертах всё дышало небесной гармонией, ее движения говорили, ее глаза ослепляли волшебным блеском, ее беленькая ножка, исчерченная лиловыми жилками, была восхитительна, как фарфоровая игрушка, ее смугловатая твердая грудь воздымалась от малейшего вздоха... страсть блистала во всем: в слезах, в улыбке, в самой неподвижности – судя по ее наружности она не могла быть существом обыкновенным; она была или божество или демон, ее душа была или чиста и ясна как веселый луч солнца, отраженный слезою умиления, или черна как эти очи, как эти волосы, рассыпающиеся подобно водопаду по круглым бархатным плечам... так думал Юрий и предался прекрасной мусульманке, предался и телом и душою, не удостоив буду-

щего ни единым вопросом.

Прошли две недели... и он еще не был утомлен сладострастием, не был пресыщен поцелуями... о друзья мои, это не шутка: две недели!..

Однажды... как живо теперь в его памяти представляется эта грозная ночь!.. Юрий спал на мягком ковре в своей палатке; походная лампада догорала в углу и по временам неверный блеск пробегал по полосатым стенам шатра, освещая серебряную отделку пистолетов и сабель, отбитых у врага и живописно развешанных над ложем юноши; Юрий спал... но вдруг, как ужаленный скорпионом, пробудился; на него были устремлены два черные глаза и светлый кинжал!.. Ад и проклятие!.. Еще вчера он ненасытно лобзал эти очи, еще вчера за эту маленькую ручку он бы отдал всё свое имущество!.. В одно мгновение вырвал он у Зары смертоносное орудие и кинул далеко от себя; но турчанка не испугалась, не смутилась... она тихо отошла, сложила руки, склонила голову на грудь, готовая принять заслуженную казнь, готовая слушать безмолвно все упреки, все обиды... о, в ней

точно кипела южная кровь!..

– Неблагодарная, змея! – воскликнул Юрий, – говори, разве смертью плотят у вас за жизнь? Разве на все мои ласки ты не знала другого ответа, как удар кинжала?.. Боже, создатель! Такая наружность и такая душа! О если все твои ангелы похожи на нее, то какая разница между адом и раем?.. Нет! Зара, нет! Это не может быть... отвечай смело: я обманулся, это сон! Я болен, я безумец... говори: чего ты хочешь?

– Я хочу свободы! – отвечала Зара.

– Свободы!.. А! Я тебе наскучил... ты вспомнила о своих минаретах, о своей хижине – но они сгорели... с той поры моя палатка сделалась твоей отчизной... но ты хочешь свободы... ступай, Зара... божий мир велик. Найди себе дом, друзей... ты видишь: и без моей смерти можно получить свободу...

Молча Зара вышла; он долго следовал за нею взором и мечтою; луна озаряла ее длинное покрывало, которое как белый туман обвивалось вокруг ее гибкого стана; она как призрак неслышно скользила по траве... вот скрылась вдали за палаткой, вот мелькнула и

снова скрылась... прощай, Зара! Прощай, роза Гулистана![18] Прощай навеки!

На другой день рано утром, бледный, с мутным взором, беспокойный, как хищный зверь, рыскал Юрий по лагерю... всё было спокойно, солнце только что начинало разгораться и проникать одежду... вдруг в одном шатре Юрий слышит ропот поцелуев, вздохи, стон любви, смех и снова поцелуи; он прислушивается – он видит щель в разорванном полотне, непреодолимая сила приковала его к этой щели... его взоры погружаются во внутренность подозрительного шатра... боже правый! Он узнает свою Зару в объятиях артиллерийского поручика!

Он не был мстителен; не злоба, но глубокая печаль проникла в его душу... он много, много плакал, хотел умереть – и не умер, решил забыть Зару... и, друзья мои! – забыл ее!..

Наконец кончилась война, знамена русские, пошумев над берегами Дуная, свернулись; возвратясь на родину, Юрий решил мстить изменой всем женщинам вместо одной – чрезвычайно покойная и умная выдум-

ка!.. Не одна 30-летняя вдова рыдала у ног его,[19] не одна богатая барыня сыпала золотом, чтоб получить одну его улыбку... в столице, на пышных праздниках, Юрий с злобною радостью старался ссорить своих красавиц, и потом, когда он замечал, что одна из них начинала изнемогать под бременем насмешек, он подходил, склонялся к ней с этой небрежной ловкостью самодовольного юноши, говорил, улыбался... и все ее соперницы бледнели... о, как Юрий забавлялся сею тайной, но убивственной войною! Но что ему осталось от всего этого? – воспоминания? – да, но какие? Горькие, обманчивые, подобно плодам, растущим на берегах Мертвого моря,[20] которые, блистая румяной корою, таят под нею пепел, сухой горячий пепел! И ныне сердце Юрия всякий раз при мысли об Ольге, как трескучий факел, окропленный водою, с усилием и болью разгоралось; неровно, порывисто оно билось в груди его, как ягненок под ножом жертвоприносителя. Он смутно чувствовал, что это его последняя страсть, узел, который судьба, не умея расплести, перерубит подобно Александру.[21]

## Глава XX

Федосей, не быв никем замечен, пробрался через гумна и наконец спустился в знакомый нам овражек, перелез через плетень и приблизился к бане; но что же? В эту решительную минуту внезапный туман покрыл его мысли, казалось, незримая рука отталкивала его от низенькой двери, — и вместе с этим он не имел силы удалиться, как боязливая птица, очарованная магнетическим взором змеи! С минуту он оставался неподвижим, но вдруг опомнился, толкнул дверь — и вошел... Но переступая через порог, он оглянулся — и ему показалось, что черная тень мелькнула за рябиновым кустом; он не успел различить ее формы; но тайное предчувствие говорило ему, что или злой дух или злой человек. Когда Федосей, пройдя через сени, вступил в баню, то остановился пораженный смутным сожалением; его дикое и грубое сердце сжалось при виде таких прелестей и такого страдания: на полу сидела, или лучше сказать, лежала Ольга, преклонив голову на нижнюю ступень полка и поддерживая ее правою рукою; ее небесные очи, полузакры-

тые длинными шелковыми ресницами, были неподвижны, как очи мертвой, полны этой мрачной и таинственной поэзии, которую так нестройно, так обильно изливают взоры безумных; можно было тотчас заметить, что с давних пор ни одна алмазная слеза не прокатилась под этими атласными веками, окруженными легкой коришневатой тенью: все ее слезы превратились в яд, который неумолимо грыз ее сердце; ржавчина грызет железо, а сердце 18-летней девушки так мягко, так нежно, так чисто, что каждое дыхание досады туманит его как стекло, каждое прикосновение судьбы оставляет на нем глубокие следы, как бедный пешеход оставляет свой след на золотистом дне ручья; ручей – это надежда; покуда она светла и жива, то в несколько мгновений следы изглажены; но если однажды надежда испарилась, вода утекла... то кому нужна до этих ничтожных следов, до этих незримых ран, покрытых одеждою приличий.

Холодна, равнодушна лежала Ольга на сыром полу и даже не пошевелилась, не приподняла взоров, когда вошел Федосей; фонарь с умирающей своей свечою стоял на лавке, и

дрожащий луч, прорываясь сквозь грязные зеленые стекла, увеличивал бледность ее лица; бледные губы казались зеленоватыми; полураспущенная коса бросала зеленоватую тень на круглое, гладкое плечо, которое, освобождаясь из плена, призывало поцелуй; душегрейка, смятая под нею, не прикрывала более высокой, роскошной груди; два мягкие шара, белые и хладные как снег, почти совсем обнаженные, не волновались как прежде: взор мужчины беспрепятственно покоился на них, и ни малейшая краска не пробегала ни по щеке, ни по ланитам: женщина, только потеряв надежду, может потерять стыд, это непонятное, врожденное чувство, это невольное сознание женщины в неприкосновенности, в святости своих тайных прелестей.

Спрятав ноги под длинное платье, лежала Ольга, и в недоумении перед нею стоял уполномоченный посланник Юрия; наконец он нетерпеливо дернул ее за рукав:

– Вставай, вставай – время дорого!..

– Ты опять здесь! – простонала она, не приподнимая головы.

– Какой черт! Опять!.. Да ты меня не узна-

ла, што ли! Вставай, время дорого!.. Юрий Борисыч ждет за гумнами... неравно без меня что с <ним> случится...

– О, не называй его! Ты хочешь меня обмануть... это какая-нибудь адская западня... о Вадим: дай мне по крайней мере умереть в покое... тебе судьба за меня отплотит!

– Что ты, матушка, бредишь? Помилуй! – какой тут Вадим? – я Федосей – чай, меня не забыла... да вставай... барин остался один... а время опасное...

Как пробужденная от сна, вскочила Ольга, не веруя глазам своим; с минуту пристально вглядывалась в лицо седого ловчего и наконец воскликнула с внезапным восторгом: «так он меня не забыл? Так он меня любит? Любит! Он хочет бежать со мною, далеко, далеко...» – и она прыгала и едва не целовала шершавые руки охотника, – и смеялась и плакала... «нет, – продолжала она, немного успокоившись, – нет! Бог не потерпит, чтоб люди нас разлучили, нет, он мой, мой на земле и в могиле, везде мой, я купила его слезами кровавыми, мольбами, тоскою, – он создан для меня, – нет, он не мог забыть свои клятвы,

СВОИ ЛАСКИ...»

– Я этого ничего не знаю, – прервал хладнокровно Федосей, – уж вы там с барином согласитесь, как хотите, купить или не купить, а я знаю только то, что нам пора... если уж не поздно!..

– Но, куда, как?

– Уж это мое дело!.. Провал побери! Разве не веришь?

– Федосей, если ты обманываешь!

– Оборони боже! Что я за бусурман; – да скорее! Юрий Борисович ждет нас за гумнами, на дороге, – чай, глазыньки проглядел!..

– Я готова.

Федосей, подав ей знак молчать, приблизился к двери, отворил ее до половины и высунул голову с намерением осмотреть, всё ли кругом пусто и тихо; довольный своим обзором, он покашляв проворчал что-то про себя и уж готовился совершенно расхлопнуть дверь, как вдруг он охнул, схватил рукой за шею, вытянулся и в судорогах упал на землю; что-то мокрое брызнуло на руки и на грудь Ольги. Она затряслась всем телом, хотела кричать – не могла... Перед нею Федосей пла-

вал в крови своей, грыз землю и скреб ее ногтями; а над ним с топором в руке на самом пороге стоял некто еще ужаснее, чем умирающий: он стоял неподвижно, смотрел на Ольгу глазами коршуна и указывал пальцем на окровавленную землю: он торжествовал, как Геркулес, победивший змея: улыбка, ядовито-сладкая улыбка набегала на его красные губы: в ней дышала то гордость, то презрение, то сожаленье – да, сожаленье палача, который не из собственной воли, но по повелению высшей власти наносит смертный удар.

– Ты видишь! – сказал наконец Вадим с глухим смехом, – я сдержал свое обещание!.. Это он! Не бойся взглянуть на искаженные черты некогда молодого светлого лица; это он! Тот самый, чья голова покоилась на груди твоей, кто на губах твоих замирал в упоении, кто за один твой нежный взгляд оставил долг, отца и мать, – для кого и ты бы их покинула, если б имела... это он! Бедный, глупый юноша! Который так гордился своим дворянским происхождением, который с таким самодовольством носил свой зеленый раззолоченный мундир, который, окруженный лестию,

сыпал деньги своим льстецам, не требуя даже благодарности, которому стоило только мигнуть, чтоб женщина кинулась в его объятия – да! Что же он теперь!.. Окровавленный прах! Бездушный чурбан, не чувствующий даже обиды... и Вадим толкнул ногою охладевший труп и продолжал: – Как отвратителен теперь он должен быть... но смотри, Ольга! Я не хочу смягчать душу этим зрелищем: посмотри, как хороши его закатившиеся белые глаза... Творец небесный! И кто же всё это сделал? Кто превратил прекрасное создание бога в глыбу грязи?.. Кто наплатил эти кудри багряным напитком? Кто разбрызгал по стене этот белый, чистый мозг... кто? – я, я! – ха, ха, ха! Ха! Презренный нищий, бессильный раб, безобразный горбач!.. Да, да! – неужели это так удивительно?.. Я говорил тебе, Ольга: не люби его!.. Ты не послушалась, ты, как обыкновенная женщина, прельстилась на золото, красоту и пышные обещания... ты мне не поверила: он обещал тебе счастье – мечту – а я обещал: месть и верную месть; ты выбрала первое; ты смела помыслить, что люди могут противиться судьбе; будто бы я уж так давно отвергнут

богом, что он захочет мне отказать в первом, последнем, единственном удовольствии!.. Я твой брат, Ольга, брат! Господин, повелитель, царь твой. Нас только двое на свете из всего семейства; мой путь должен быть твоим; напрасно ты мечтала разорвать слабой рукой то, что связала природа: где бушует моя ненависть, там не цвезть любви твоей... – Он на минуту замолк, его волосы стояли дыбом, глаза разгорались как уголья, и рука, простертая к Ольге, дрожала на воздухе; он поставил ногу на грудь мертвецу так крепко, что слышно было, как захрустели кости, и, приняв торжественный вид жреца, произнес: – Свершилось первое мое желание! Он пал; вот он – убийца моих надежд, вот он, губитель моего первого блаженства; ненавижу тебя, и в могиле, и бе-регись, если мы когда-нибудь встретимся на том свете! А ты, Ольга – ты, ступай, куда хочешь; между нами все счета кончены; я тебе заплатил – живи, умри – мне всё равно. Прощай, сестра – прощай и ты, бедный юноша!

И Вадим, пожав плечами, приподнял голову мертвеца за волосы, обернул ее к фонарю – взглянул на позеленевшее лицо – вздрогнул –

взглянул еще ближе и пристальней – вдруг закричал, – и отскочил как бешеный; голова, выпущенная из рук, ударилась о землю, как камень; это было мгновение – но в сем мгновении заключалась целая ужасная драма. Вадим, обманутый в последней надежде, потерялся; он не мог держаться на ногах, бледный, страшный, он присел на скамью – и как вы думаете, что он делал? Плакал!.. – да, плакал, как ребенок, горькими слезами!

Он сидел и рыдал, не обращая внимания ни на сестру, ни на мертвого: бог один знает, что тогда происходило в груди горбача, потому что, закрыв лицо руками, он не произнес ни одного слова более... он, казалось, понял, что теперь боролся уже не с людьми, но с провидением, и смутно предчувствовал, что если даже останется победителем, то слишком дорого купит победу: но непоколебимая железная воля составляла всё существо его, она не знала ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели. Так неутомимая волна день и ночь без устали хлещет и лижет гранитный берег: то старается вспрыгнуть на него, то снизу подмыть и опрокинуть; долго она тру-

дится напрасно, каждый раз отброшена в дальнее море... но ничто ее не может успокоить: и вот проходят годы, и подмытая скала срывается с берега и с гулом погружается в бездну, и радостные волны пляшут и шумят над ее могилой.

И в самом деле, что может противустоять твердой воле человека? – воля – заключает в себе всю душу; хотеть – значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, – жить, одним словом; воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего созидает чудеса... о, если б волю можно было разложить на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы!..

Не знаю, сколько часов сидел в забытии Вадим, но когда он поднял голову, то не нашел возле себя сестры; свежий ветер утра, прорываясь в дверь, шевелил платьем убитого, и по временам казалось, что он потрясал головой, так высоко взвевались рыжие волосы на челе его, увлажненном густой, полуза-

пекшейся кровью. Вадим холодно взглянул на Федосея, покачал головой с сожалением, перешагнул через протянутые ноги и пошел скорыми шагами вдоль по оврагу. Восток белел приметно, и розовый блеск змеей обрисовывал нижние части большого серого облака, который, имея вид коршуна с растянутыми крылами, держащего змею в когтях своих, покрывал всю восточную часть небосклона; фантастически отделялись предметы на дальнем небосклоне, и высокие сосны и березы окрестных лесов чернели, как часовые на рубеже земли; природа была тиха и торжественна, и холмы начинали озаряться сквозь белый туман, как иногда озаряется лицо невесты сквозь брачное покрывало, всё было свято и чисто – а в груди Вадима какая буря!

## **Глава XXI**

**Б**ыло около 2-х часов пополудни; солнце медленно катилось по жарким небесам, и гибкие верхи деревьев едва колебались, перешептываясь друг с другом; в густом лесу изредка попевали странствующие птицы, изредка вещая кукушка повторяла свой унылый напев, мерный, как бой часов в сырой го-

тической зале. На мураве, под огромным дубом, окруженные часто сплетенным кустарником, сидели два человека: мужчина и женщина; их руки были исцарапаны колючими ветвями и платья изорваны в долгом странствии сквозь чащу; усталость и печаль изображались на их лицах, молодых, прекрасных.

Молодая женщина, скинув обувь, измокшую от росы, обтирала концом большого платка розовую, маленькую ножку, едва разрисованную лиловыми тонкими жилками, украшенную нежными прозрачными ноготками; она по временам поднимала голову, отряхнув волосы, ниспадающие на лицо, и улыбалась своему спутнику, который, облокотясь на руку, кидал рассеянные взгляды, то на нее, то на небо, то в чащу леса; по временам он наморщивал брови, когда мрачная мысль прокрадывалась в уме его, по временам неожиданная влажность покрывала его голубые глаза, и если в это время они встречали радужную улыбку подруги, то быстро опускались, как будто бы пораженные ярким лучом солнца.

– Ты задумчив! – сказала она. – Но отчего? –

опасность прошла; я с тобою... Ничто не противится нашей любви... Небо ясно, бог милостив... зачем грустить, Юрий!.. Это правда, мы скитаемся в лесу как дикие звери, но зато, как они, свободны. Пустыня будет нашим отечеством, Юрий, – а лесные птицы нашими наставниками: посмотри, как они счастливы в своих открытых, тесных гнездах...

– Да, – отвечал Юрий... – счастливы!.. И я возле тебя счастлив!.. Но твои шутки иногда для меня мучительны!..

– Разве лучше, если я буду плакать!..

– Ольга, ты мой ангел утешитель!.. О, если б ты знала, какие грозные предчувствия теснятся в душе моей!.. И как было не отгадать, что это случится, когда самые ужасные слухи так нагло разливались в народе?.. Отчего они тогда казались нам невероятны?.. А теперь! – русские дворяне гибнут и скрываются в лесах от простого казака, подлого самозванца, и толпы кровожадных разбойников!.. Все, которые доселе готовы были целовать наши подошвы, теперь поднялись на нас... о змеи! Змеи! Если б я знал, я бы раздавил вас... и вдруг, в одну ночь всё погибло... мать... отец...

имуущество, – родная кровля... всё отнято... здесь ждет голод, холод, жизнь нищего – а там виселица, пытки, позор... боже! Что мы сделали? – о, казни меня сам, но зачем поручить орудье казни этой грязной подлой толпе рабов?..

– Юрий, успокойся... видишь, я равнодушно смотрю на потерю всего, кроме твоей нежности... я видела кровь, видела ужасные вещи, слышала слова, которых бы ангелы испугались... но на груди твоей всё забыто: когда мы переплывали реку на коне и ты держал меня в своих объятиях так крепко, так страстно, я не позавидовала бы ни царице, ни райскому херувиму... я не чувствовала усталости, следуя за тобой сквозь колючий кустарник, перелезая поминутно через опрокинутые рогатые пни... это правда, у меня нет ни отца, ни матери... – При сих словах, произнесенных без умысла, она побледнела и замолкла, как будто сама испугалась их... Юрий обхватил ее мягкий стан, приклонил к себе и поцеловал ее в шею: девственные груди облились румянцем и заволновались, стараясь вырваться из-под упрямой одежды... о, сколько сладо-

страстия дышало в ее полуоткрытых пурпуровых устах! Он жадно прилепился к ним, лихорадочная дрожь пробежала по его телу, томный вздох вырвался из груди...

– Ты права! – говорил он, – чего мне желать теперь? – пускай придут убийцы... я был счастлив!.. Чего же более для меня? – я видал смерть близко на ратном поле, и не боялся... и теперь не испугаюсь: я мужчина, я тверд душой и телом, и до конца не потеряю надежды спастись вместе с тобою... но если надобно умереть, я умру, не вздрогнув, не простонав... клянусь, никто под небесами не скажет, что твой друг склонил колена перед низкими палачами!..

В таких разговорах пролетел час: они встали и пошли на восток, углубляясь в лес более и более... вот подошли к оврагу, и Юрий заметил изломанные ветви и следы человека на сухих и гнилых листьях, коими усеяна была земля:

– Пойдем по этому следу, Ольга, – сказал он, подумав немного: – он приведет нас куда-нибудь; быть может, к месту спасения. Чего бояться! Пойдем... умереть с голоду хуже, а

если бог сохранил нас доселе, то это значит, что он хочет быть нашим спасителем и далее... перекрестись, и пойдём.

Несколько времени они шли, прилежно разбирая следы, местами засыпанные свежими листьями и забросанные сухим валежником; наконец, после долгих и утомительных разысканий, они выбрались на небольшую поляну, на которой между несколькими деревьями возвышались три нам уже знакомые кургана...

– Что это значит, – воскликнул Юрий, заметив чернеющиеся выходы пещер.

– Постой, постой, Юрий... так точно... благодари провидение – мы спасены...

– Но что такое? – я не понимаю тебя!

– Я слышала много рассказов про эти пещеры, Юрий. Под этими курганами таятся глубокие подземные ходы, куда только самые смелые охотники прокрадывались... но нам чего бояться!.. Это место безопаснее самого крепкого терема.

В самом деле, – отвечал Юрий, осматривая место, – если все эти рассказы справедливы, то мы спасены; остается только знать, не пря-

чется ли в них дикий медведь... или другой негостеприимный пустынный.

Подойдя к одному из отверстий *Чертова логовища*, Юрию показалось, что слышит запах дыма, он всунул туда голову; точно! Но что это значит? Уж не занята ли их квартира? Он сообщил свое замечание Ольге: она испугалась; схватила его за руку и, как будто в этой пещере скрывалось грозное чудовище, с трепетом воскликнула: «пойдем – отсюда – пойдем... не медли ни минуты...»

– Идти... но куда же? – ты забыла, что у нас, кроме синего неба и темного леса, нет ни кровли, ни пристанища... и чего бояться... это явно, что в пещере есть жители... кто они таковы?.. Что нам за дело... если они разбойники, то им нечего с нас взять, если изгнанники, подобно нам – то еще менее причин к боязни... К тому же в теперешние времена злодеи и убийцы не боятся смотреть на красное солнце, не стыдятся показывать свои лица в народе...

– Но я боюсь, Юрий, твои убеждения ничтожны, я боюсь, – и она, как пугливое дитя, уцепилась за его руку и, устремив на него

умоляющий взгляд, то улыбалась, то готова была заплакать.

– Ты ребенок! Стыдись...

– Я не знаю ни стыда, ничего... ради любви моей, не ходи в пещеру – пойдём далее... это западня... как там темно, как страшно...

– Послушай... если мы пойдём далее, то, не зная окрестностей, забредём бог знает куда и попадёмся в руки казаков: тогда я неизбежно погиб – разве ты хочешь моей смерти!..

– Юрий... и ты смеешь делать такие вопросы!..

– Итак,пусти меня... или лучше пойдём вместе в это подземелье, и пусть будет, что суждено!..

С этими словами, вынув шпагу, он на коленях вполз в одно из отверстий, держа перед собою смертоносное оружие, и, ощупью подвигаясь вперед, дошел до того места, где можно было идти прямо; сырой воздух могилы проник в его члены, отдаленный ропот начал поражать его слух, постепенно увеличиваясь; порою дым валил ему навстречу, и вскоре перед собою, хотя в отдалении, он различил слабый свет огня, который то вспыхи-

вал, то замирал.

Сердце его забилося ожиданием; он начал подвигаться тише, стараясь произнести как можно менее шуму и готовясь к отчаянному сопротивлению в случае неожиданного нападения хозяев этого мрачного жилища; даже если бы то были существа бесплотные, духи зла и обмана!..

Когда Юрий вошел в круглую залу, неровно освещенную трескучим огоньком, разложенным у подошвы четвероугольного столба, то сначала он ничего не мог различить; пожирая несколько сухих смолистых ветвей, огонь ярко вспыхивал, бросая красные искры вокруг себя; и дым слоями расстилался по всему подземелью; Юрий остановился на минуту, чтоб хорошенько осмотреться, и когда глаза его привыкли немного к этой смрадной и туманной атмосфере, то он заметил в одной из впадин стены что-то похожее на лицо человека, который, прижавшись к земле, казалось, не обращал на него внимания; Юрий решил подойти поближе и, приготовившись к защите, закричал громовым голосом:

– Кто здесь?.. Вставай! Что ты за человек?..

Друг или недруг!.. Отвечай сию минуту или будет худо!..

Неизвестный приподнялся, вздрогнул, потер глаза и, схватив огромную дубину, лежавшую у ног его, размахнулся, не отвечая ни слова; окруженный дымом, который, как известно, имеет свойство увеличивать предметы, и озаренный неровным светом огня, житель пещеры казался, вероятно, несравненно страшнее и огромнее, нежели был в самом деле.

Юрий, видя неравенство борьбы и не надеясь отразить удар дубины тонкой стальной шпагой, отскочил проворно назад. Дубина упала на огонь: красные уголья и дымные головешки с треском полетели во все стороны.

– Остановись, – сказал Юрий, – или я тебя пронжу насквозь.

Незнакомец, как будто пораженный его голосом, остановился, начал всматриваться и произнес довольно невнятно: «кто ты?»

В эту минуту яркий луч догорающего огня озарил лицо Юрия: незнакомец, не дождавшись ответа, кинулся к нему и заревел хриплым голосом: «сын мой, сын мой!..»

Они упали друг другу в объятия; они плакали от радости и от горя; и волчица прыгает и воет и мотает пушистым хвостом, когда найдет потерянного волченка; а Борис Петрович был человек, как вам это известно, то есть животное, которое ничем не хуже волка; по крайней мере так утверждают натуралисты и философы... а эти господа знают природу человека столь же твердо, как мы, грешные, наши утренние и вечерние молитвы; – сравнение чрезвычайно справедливое!..

Между тем отец и сын со слезами обнимали, целовали друг друга и не замечали, что недалеко от них стояло существо, им совершенно чуждое, существо забытое, но прекрасное, нежное, женщина с огненной душой, с душой чистой и светлой как алмаз; не замечали они, что каждая их ласка или слеза были для нее убивственней, чем яд и кинжал; она также плакала, – но одна, – одна – как плачет изгнанный херувим, взирая на блаженство своих братьев сквозь решетку райской двери.

Когда Борис Петрович рассказал сыну, каким образом с помощью бедной и гостепри-

имной солдатки он был отведен в это уединенное убежище, то прибавил:

– Я решил здесь оставаться, пока всё не утихнет, войска разобьют бунтовщиков в пух и в прах, это необходимо... но что можем мы сделать вдвоем, без оружия, без друзей... окруженные рабами, которые рады отдать всё, чтоб посмотреть, как труп их прежнего господина мотается на виселице... ад и проклятие! Кто бы ожидал!..

– Помилуйте, батюшка! Невозможно, что до вас не доходили слухи, разлитые так изобильно в нашем глупом народе!

– Слухи! Слухи! А кто им верил? Напасть божия на нас грешных, да и только!.. Живи теперь, как красный зверь в зимней берлоге, и не смей носа высунуть... сиди, не пей, не ешь, пока чужой мальчишка, очень ненадежный, не принесет тебе куска хлеба... вот он сказал, что будет сегодня поутру, а всё нет, как нет!.. Чай, солнце уж закатилось, Юрий?.. А, Юрий?

Юрий не слышал, не слушал; он держал белую руку Ольги в руках своих, поцелуями осушал слезы, висящие на ее ресницах... но на-

прасно он старался ее успокоить, обнадежить: она отвернулась от него, не отвечала, не шевелилась; как восковая кукла, неподвижно прислонившись к стене, она старалась вдохнуть в себя ее холодную влажность; отчего это с нею сделалось?.. Как объяснить сердце молодой девушки: миллион чувствований теснится, кипит в ее душе; и нередко лицо и глаза отражают их, как зеркало отражает буквы письма – наоборот!..

– Здравствуй, Оленька, – сказал Борис Петрович, подойдя к ним... – ты в пору зачванилась, не поклонилась мне, не поздоровалась... правда, я теперь, как ты сама, без крова, без имущества.

– Разве я тогда была с вами ласковее, – отвечала она отрывисто.

– А разве нет? – ох! Много воды утекло с тех пор, как мы с тобой в последний раз поцеловались... ты переменилась, побледнела... а всё еще красавица, хоть куда!

Он слегка ударил ее по плечу и хотел взять за подбородок, но Юрий, покраснев, схватил его за руку... опомнясь в ту же минуту, он тихо отвел руку отца и, отойдя с ним немного в

сторону, сказал глухим, но внятным голосом:

– Если хотите быть моим отцом, иметь во мне покорного сына, то вообразите себе, что эта девушка такая неприкосновенная святыня, на которой самое ваше дыхание оставит вечные пятна. Вы меня поняли... простите меня: моя кровь кипит при одной мысли – я не меряю слова на аршин приличий... вы согласились на мое предложение? В противном случае... всё, всё забыто! Уважение имеет границы, а любовь – никаких!

## **Глава XXII**

**Ч**то же делал Вадим? О, Вадим не любил праздности! С восходом солнца он отправился искать сестру, на барском дворе, в деревне, в саду – везде, где только мог предположить, что она проходила или спряталась, – неудача за неудачей!.. Досадуя на себя, он задумчиво пошел по дороге, ведущей в лес мимо крестьянских гумен; поравнявшись с ними и случайно подняв глаза, он видит буланую лошадь, в шлее и хомуте, привязанную к забору; он приближается... и замечает, что трава измята у подошвы забора! И вдруг взор его упал на что-то пестрое, похожее на кушак,

повисший между цепких репейников... точно! Это кушак!.. Точно! Он узнал, узнал! Это цветной шелковый кушак его Ольги! Какой внезапный луч истины озарил ум печального горбача! Она бежала: это ясно – но с кем? – с кем!.. Разве нужно спрашивать... о, при одной мысли об нем, при одном имени Юрия, вся кровь Вадима превращается в желчь! «Нечего делать! – думал горбач, скрежеща зубами, – тебе удалось меня поддеть, ты из рук моих вырвал добычу, ты посмеялся над уродливым нищим, дерзкий безумец – но будет и на нашей улице... праздник!..» Он вскочил на лошадь и ударами принудил измученного коня скакать по дороге в селение... в его голове уже развились новые планы, новые замыслы гибели и разрушения.

На широкой и единственной улице деревни толпился народ в праздничных кафтанах, с буйными криками веселья и злобы, вокруг 30 казаков, которые, держа коней в поводу, гордо принимали подарки мужиков и тянули ковшами густую брагу, передавая друг другу ведро, в которое староста по временам подливал хмельного напитка. Девки и молодки в

красных и синих кумачных сарафанах, по четыре и более, держа друг друга за руки, ходили взад и вперед по улице, ухмыляясь и запевая веселые песни; а молодые парни, следуя за ними, перешептывались и порою громко отпускали лихие шутки на счет дородности и румянца красавиц. Вино и брага приметно распоряжали их словами и мыслями; они приметно позволяли себе больше вольностей, чем обыкновенно, и женщины были приметно снисходительней; но оставим буйную молодежь и послушаем, об чем говорили воинственные пришельцы с седобородыми старшинами? – отгадать не трудно!.. Они требовали выдачи господ; а крестьяне утверждали и клялись, что господа скрылись, бежали; увы! К несчастью, казаки были об них слишком хорошего мнения! Они не хотели даже слышать этого, и урядник уже поднимал свою толстую плеть над головою старосты, и его товарищи уж произносили слово пытка; между тем некоторые из них отправились на барский двор и вскоре возвратились, таща приказчика на аркане. Урядник, по прозванию Орленко, мужчина в полном значении сего

слова, высокий, крепкий сложением, уса-  
стый, с черною бородкой и румяными щека-  
ми, кинул презрительный взгляд на бледного  
приказчика, который, произнося несвязные  
слова и возгласы, стоял перед ним на коле-  
нях, с руками, связанными на спине; конец  
веревки был в руке одного маленького рябого  
казака, который, злобно улыбаясь, поминут-  
но ее подергивал.

– Что это за птица, Грицко? – сказал уряд-  
ник маленькому казаку, – что это за клику-  
ша?.. Отчего ревет как вол?.. Уж не он ли  
здешний господин?..

– А бис его знает! – отвечал Грицко. – Гово-  
рит, шчо приказчик... ведь от этих москалей  
без плетки толку не добьешься... я его нашел  
под лавкой в кухне и насилу выкурил оттуда  
головешкой!..

Улыбка показалась на устах урядника, ко-  
гда он заметил опаленные волосы и брови  
несчастливого пленника, который, не спуская с  
него глаз и перестав кричать, казалось, ста-  
рался на лице казака прочесть свой приговор.

– Так ты приказчик? – спросил Орленка,  
обратясь к нему грозно.

Несчастный задрожал, хотел что-то вымолвить и заикнулся.

– Что ж ты молчишь, собачий сын! – я тебе этим кинжалом расцеплю зубы!..

– Виноват! Я приказчик!..

– А! Так ты виноват! – сказал Орленко, наморщив брови и желая над ним позабавиться, – в чем же ты виноват? Сейчас признавайся... а не то, видишь! – он пальцем указал на свои пистолеты!..

– Батюшка!.. Нет, я ни в чем не виноват! Ваше ж благородие! Помилуй!

– Ты у меня запирайтесь!..

– Виноват! – опять заревел приказчик... – сжальтесь! Я от страху не знаю, что говорю... я приказчик... если б я знал, где господа, так я бы сам их выдал нашему батюшке!.. Я бы сам полюбовался на их виселицу... я бы сам их сжег на костре, сам бы своими руками с них кожу содрал с живых!..

– Будто бы! – точно ли?..

– Да убей меня бог! Если я бы хоть один волосок за них отдал, злодеев!..

– Ну, а скажи-ка! Отчего у тебя борода обрита?..

– Борода! – да так... а что, родимый?..

– Эй, ребята! – я замечаю, что это плут большой руки!..

– Ваше превосходительство! – сказал приказчик, привстав с большою уверенностью, – извольте спросить у всех мирян, любил ли я господ своих...

– Эй, вы! Правду ли он говорит?..

Мужики переминались, почесывали затылок, кашляли.

– Видишь, молчат! – сказал насмешливо Орленко... – да я подозреваю... уж не сам ли ты Палицын!.. Борода-то мне подозрительна!.. Эй, мужички!.. Как вы думаете! Ха, ха, ха!

Увы, народ молчал.

Приказчик бросил отчаянный взгляд кругом – то, не встретив нигде сожаления, прикусил губу и, не зная, что делать, закричал: «ах вы нехристи, бусурманы... что вы молчите, разве я не приказчик, Матвей Соколов; разве в первый раз вы меня видите... что это вы морочите честных людей. Ах вы каналии – разве забыли, как я вас порол... или еще хочется?»

Лукавые мужики покашливали; наконец один из них, покачав головой, молвил: «по-

роть-то ты нас, брат, порол... грешно сказать, лучшего мы от тебя ничего не видали... да теперь-то ты нас этим, любезный, не настраиваешь!.. Всему свое время, выше лба уши не растут... а теперь, не хочешь ли теперь на себе примерить!..»

– Что же! Ты его признаешь за барина своего? – спросил Орленко...

– Барин-то он не совсем барин, – сказал мужик, – да яблоко от яблони не далеко падает; куды поп, туда и попова собака...

– Что ж я буду с ним делать?..

– А что хочешь, кормилец! Нам всё равно!.. Как присудишь!.. – заговорило несколько голосов.

Приказчик упал в ноги уряднику и заревел: «смилуйся, отец родной, золотой ты мой, серебряный, что я тебе сделал... неужто наш батюшка велит губить верных слуг своих».

– А на что ему таких трусов, таких баб, как ты! – вашей братьею только улицы мостить. – Эй, мужички, возьмите его себе... я вам его дарю на живот и на смерть! Делайте из него, что хотите...

В одно мгновение мужики его окружили с

шумом и проклятьями; слова смерть, виселица отделяли<сь> по временам от общего говора, как в бурю отделяются удары грома от шума листьев и визга пронзительных ветров; все глаза налились кровью, все кулаки сжались... все сердца забились одним желанием мести; сколько обид припомнил каждый! Сколько способов придумал каждый заплатить за них сторицею.

Вдруг толпа раздалась, расхлынулась, как некогда море, тронутое жезлом Моисея...[22] И человек уродливой наружности, небольшого роста, запыленный, весь в поту, с изорванными одеждами, явился перед казаками... Когда урядник его увидел, то снял шапку и поклонился, как старому знакомому, но Вадим, ибо это был он, не заметив его, обратился к мужикам и сказал: «отойдите подальше, мне надо поговорить о важном деле с этими молодцами»... мужики посмотрели друг на друга и, не заметив ни на чьем лице желания противиться этому неожиданному приказу и побежденные решительным видом страшного горбача, отодвинулись, разошлись и в нескольких шагах собрались снова в кучку.

Тогда Вадим обернулся к уряднику:

– Здравствуй, Орленко, – сказал он отрывисто... – зверя я соследил, а поймать ваше дело...

– Уж ты молодец, Красная шапка... знаем мы тебя... – с этими словами Орленко ударил его по плечу...

Едва приметная тень неудовольствия пробежала по лицу Вадима, но обиженная гордость повиновалась необходимости... как быть! Этим ли еще одним он пожертвовал для своей грозной цели?..

– Если хотите, я вас наведу на след Палицына: пожива будет, за это отвечаю, – только с условием... и черт даром не трудится...

– Только укажи след, – сказал улыбаясь Орленко, – а уж за наградой дело не станет; сколько бы денег на нем ни нашли, – вот тебе крест, – десятую долю тебе!..

– Денег!.. Нет, я не хочу денег...

– Чего ж ты хочешь... крови?..

– Да, крови! – с диким хохотом отвечал горбач.

– Что ж, и за этим дело не станет...

– О, я вас знаю! Вы сами захотите поте-

шиться его смертью... а что мне толку в этом! Что я буду? Стоять и смотреть!.. Нет, отдайте мне его тело и душу, чтоб я мог в один час двадцать раз их разлучить и соединить снова; чтоб я насытился его мученьями, один, слышите ли, один, чтоб ничье сердце, ничьи глаза не разделяли со мною этого блаженства... о, я не дурак... я вам не игрушка... слышите ли...

Некоторые казаки были поражены его ужасными словами и мрачным выражением этого лица, на котором так недавно стали отражаться его чувства во всей полноте своей!.. Другие, перемигиваясь, смеялись над странными его телодвижениями.

– Ах ты урод, – сказал урядник, – ну кто бы ожидал от тебя такую прыть! Ха! Ха! Ха!

Вадим побледнел, бросил на казака тот взгляд, который был его главным оружием; топнул ногою, заскрежетал, отвернулся, чтоб не могли прочитать его бешенства в багровых ланитах. Все смотрели на него с изумлением.

– Коня! – закричал он вдруг, будто пробудившись от сна. – Дайте мне коня... я вас про-

веду, ребята, мы потешимся вместе... вам вся честь и слава, – мне же... – он вскочил на коня, предложенного ему одним из казаков, и, махнув рукою прочим, пустился рысью по дороге; мигом вся ватага повскакала на коней, раздался топот, пыль взвилась, и след простыл...

С отчаянием в груди смотрел связанный приказчик на удаляющуюся толпу казаков, умоляя взглядом неумолимых палачей своих; с дреколием теснились они около несчастной жертвы и холодно рассуждали о том, повесить его, или засечь, или уморить с голоду в холодном анбаре; последнее средство показалось самым удобным, и его с торжеством, хохотом и песнями отвели к пустому анбару, выстроенному на самом краю оврага, втокнули в узкую дверь и заперли на замок. Потом народ рассыпался частью по избам, частью по улице; все сии происшествия заняли гораздо более времени, нежели нам нужно было, чтоб описать их, и уж солнце начинало приближаться к западу, когда волнение в деревне утихло; девки и бабы собрались на завалянках и запели праздничные песни!..

Вскоре стада с топотом, пылью и бляением, возвращая<сь> с паствы, рассыпались по улице, и ребятишки с обычным криком стали гоняться за отсталыми овцами... и никто бы не отгадал, что час или два тому назад, на этом самом месте, произнесен смертный приговор целому дворянскому семейству!..

### **Глава XXIII**

**В**адим ехал перед казаками по дороге, ведущей в ту небольшую деревеньку, где накануне ночевал Борис Петрович. Он безмолвствовал; он мечтал о сестре, о родной кровле... он прощался с этими мечтами – навеки!

Казалось, его задумчивость как облако тяготела над веселыми казаками: они также молчали; иногда вырывалось шутливое замечание, за ним появлялись три-четыре улыбки – и только! Вдруг один из казаков закричал: «стой, братцы! – кто это нам едет навстречу? Слышите топот... видите пыль, там за изволоком!.. Уж не наши ли это из села Красного?.. То-то, я думаю, была пожива, – не то, что мы, – чай, пальчики у них облизать, так сыт будешь... Э! Да посмотрите... ведь точно видно они!.. Ах разбойники, черти их душу

возьми... Эх сколько телег за собой везут, целый обоз!..»

И точно, толпа, надвигающаяся к ним навстречу, более походила на караван, нежели на отряд вольных жителей Урала. Впереди ехало человек 50 казаков, предводительствуемых одним старым, седым наездником, на серой борзой лошади. За ними шло человек десять мужиков с связанными назад руками, с поникшими головами, без шапок, в одних рубашках; потом следовало несколько телег, нагруженных поклажею, вином, вещами, деньгами, и, наконец, две кибитки, покрытые рогожей, так что нельзя было, не приподняв оную, рассмотреть, что в них находилось; несколько верховых казаков окружало сии кибитки; когда Орленко с своими казаками приблизился к ним сажень на 50, то, велел спутникам остановиться и подождать, приударил коня нагайкой и подскакал к каравану. «Здравствуй! Молодец, – сказал ему седой наездник с приветливой улыбкой, – откуда и куда путь держишь? – А мы из села Красного, разбивали панский двор... и везем этих собак к Белбородке!.. Он им совет пеньковое оже-

релье, не будут в другой раз бунтовать...»

– Я отгадал, старый, что ты, верно, в Красном пировал... да, кажется, и теперь не с пустыми руками!..

– Да, нельзя пожаловаться на судьбу!.. Бочки три вина везем к Белбородке!..

– К Белбородке!.. Всё ему! А зачем!.. У него и без нас много! Эх, молодцы, кабы вместо того, чем везти туда, мы его роспили за здоровье родной земли!.. Что бы вам моих казачков не попотчевать? У них горло засохло как Уральская степь... ведь мы с утра только по чарке браги выпили, а теперь едем искать Палицына, и бог знает, когда с вами опять увидимся...

Старый обратился к своим и молвил: «эй! Ребята! Как вы думаете? Ведь нам до вечера не добраться к месту!.. Аль сделать привал... своих обделять не надо... мы попируем, отдохнем, а там, что будет, то будет: утро вечера мудренее!..»

– Стой, – раздалось по всему каравану.

Стой! – скрипучие колеса замолкли, пыль улеглась; казаки Орленки смешались с своими земляками и, окружив телеги, с завистью слушали рассказы последних про богатые до-

бычи и про упрямых господ села *Красного*, которые осмелились оружием защищать свою собственность; между тем некоторые отпра- вились к роще, возле которой пробегал небольшой ручей, чтоб выбрать место, удоб- ное для привала; вслед за ними скоро трону- лись туда телеги и кибитки, и, наконец, остальные казаки, ведя в поводу лошадей сво- их...

Когда Вадим заметил, что его помощники вовсе не расположены следовать за ним без отдыха для отыскания неверной добычи, осо- бенно имея перед глазами две милovidные бочки вина, то, подъехав к Орленке, он взял его за руку и молвил: «итак, сегодня нет на- дежды!»

— Да, брат... навряд, да признаюсь; мне са- мому надоело гоняться за этими крысами!.. Сколько уж я их перевешал, право, и счет по- терял; скорее сочту волосы в хвосте моего ко- ня!..

Вадим круто повернул в сторону, отъехал прочь, слез, привязал коня к толстой березе и сел на землю; прислонясь к березе, сложа ру- ки на груди, он смотрел на приготовления ка-

заков, на их беззаботную веселость; вдруг его взор упал на одну из кибиток: рогожа была откинута, и он увидел... о, если б вы знали, что он увидал? Во-первых, из нее показалась седая, лысая, желтая, исчерченная морщинами, угрюмая голова старика, лет 60 или более; его взгляд был мрачен, но благороден, исполнен этой холодной гордости, которая иногда рождается с нами, но чаще дается воспитанием, образуется от продолжительной привычки повелевать себе подобными. Одежда старика была изорвана и местами запятнана кровью – да, кровью... потому что он не хотел молча отдать наследие своих предков пошлым разбойникам, не хотел видеть бесчестие детей своих, не подняв меча за право собственности... но рок изменил!.. Он уже перешагнул две ступени к гибели: сопротивление, плен, – теперь осталась третья – виселица!..

И Вадим пристально, с участием всматривался в эти черты, отлитые в какую-то особенную форму величия и благородства, исчерченные когтями времени и страданий, старинных страданий, слившихся с его жизнью, как сливаются две однородные жидкости; но

последние, самые жестокие удары судьбы не оставили никакого следа на челе старика; его большие серые глаза, осененные тяжелыми веками, медленно, строго пробежали картину, развернутую перед ними случайно; ни близость смерти, ни досада, ни ненависть, ничто не могло, казалось, отуманить этого спокойного, всепроникающего взгляда; но вот он обратил их в внутренность кибитки, – и что же, две крупные слезы засверкав невольно выбежали на седые ресницы и чуть-чуть не упали на поднявшуюся грудь его; Вадим стал всматриваться с большим вниманием.

Вот показалась из-за рогожи другая голова, женская, розовая, фантастическая головка, достойная кисти Рафаэля, с детской полусонной, полупечальной, полурадостной, невыразимой улыбкой на устах; она прилегла на плечо старика так беспечно и доверчиво, как ложится капля росы небесной на листок, иссушенный полднем, измятый грозой и стопами прохожего, и с первого взгляда можно было отгадать, что это отец и дочь, ибо в их взаимных ласках дышала одна печаль близкой разлуки, без малейших оттенков страсти, свя-

тая печаль, попечительное сожаление отца, опасения балованной, любимой дочери.

Тяжко было Вадиму смотреть на них, он вскочил и пошел к другой кибитке: она была совершенно раскрыта, и в ней были две девушки, две старшие дочери несчастного боярина. Первая сидела и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на коленях; их волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны... толпа веселых казаков осыпала их обидными похвалами, обидными насмешками... они, однако, не смели подойти к старику: его строгий, пронзительный взор поражал их дикие сердца непонятным страхом.

Между тем казаки разложили у берега речки несколько ярких огней и расположились вокруг; прикатили первую бочку, – началась пирушка... Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы, всё сливалось в одну нестройную, неполную музыку, но скоро шум начал возрастать, возрастать, как грозное крещендо оркестра; хор сделался согласнее, сильнее, выразительнее; о, какие песни, какие речи, какие взоры, лица,

телодвижения, буйные, вольные! Какие разноцветные группы! Яркое пламя костров, согласно с догорающим западом, озаряло картину пира, когда Вадим решился подойти к ним, замешаться в их веселие.

– За здравие пана Белбородки! – говорил один, выпивая разом полный ковшик. – Он первый выдумал этот золотой поход!..

– Черт его побери! – отвечал другой, покачиваясь; – славный малый!.. Пьет как бочка, дерется как зверь... и умнее монаха!..

– Ребята!.. У кого из вас не замечен нынешний день на теле зарубкою, тот поди ко мне, я сослужу ему службу!..

– Ах ты хвастун, лях проклятый!.. Ты во всё время сидел с винтовкой за анбаром... Ха! Ха! Ха!..

– А ты, рыжий, где спрятался, признайся, когда старик-то заперся в светелке да начал отстреливаться...

– Я, а где бишь! Да я тут же был с вами!.. Да кто же, если не я, подстрелил того длинного молодца, что с топором высунулся из окна.

– Да это было прежде... ну, а если ты был тут, то скажи, что сделал старый боярин, ко-

гда наш Грицко удалый повалил его сына?..

– Что? Ничего!..

– Так врешь! – он положил его поперек окна и, прислонив к нему ружье, выстрелил в десятского... вот повалил-то! Как сноп! Уж я целил, целил в его меньшую дочь... ведь разбойница! Стоит за простенком себе да заряжает ружья... по крайней мере две другие лежали без памяти у себя на постелях...

– А много ваших легло?..

– Да человек десяток есть!.. Зато уж мы, как ворвались в дом, всех покروшили, кроме господ... да этим суждено умереть не молодецкой смертью...

– Чего же вы ждете?.. Осины есть... веревки есть...

– Да власти нет... старшина велит вести их к Белбородке!..

– Эх, кабы я был старшина!..

Тут ковш еще раз пропутешествовал по рукам и сухой вернулся к своему источнику!.. Умы заклокотали сильнее, и лица разгорелись кровавым заревом.

– Кто вам мешает их убить! Разве боитесь своих старшин? – сказал Вадим с коварной

улыбкой.

Это была искра, брошенная на кучу пороха!.. «Кто мешает! – заревели пьяные казаки. – Кто смеет нам мешать!.. Мы делаем, что хотим, мы не рабы, черт возьми!.. Убить, да, убить! Отомстим за наших братьев... пойдете, ребята»... и толпа с воем ринулась к кибиткам; несчастный старик спал на груди своей дочери; он вскочил... высунулся... и всё понял!..

– Чего вы хотите! – сказал он твердым голосом...

– А! Старый ворон! Старый филин!.. Мы тебя выучим воздушной пляске... пожалуй-ка сюда... да выходи же! – сказал один, подтверждая приказание ударом плетью...

Старик медленно вышел из кибитки, дочь выпрыгнула вслед за ним, уцепилась обеими руками за его платье, – «не бойся! – шепнул он ей, обняв одной рукою, – не бойся... если бог не захочет, они ничего не могут нам сделать, если же»... он отвернулся... о, как изобразить выражение лица бедной девушки!.. Сколько прелестей, сколько отчаяния!..

– Разнимите их! – закричал один кривой

исполин, приготавливая петлю. – Что они лижутя!..

Их хотели растащить... но девушка в бешенстве укусила жестокую руку... «*перестань!* – сказал отец твердым голосом! – ты этим не поможешь, если мне суждено погибнуть от злодейских рук, без покаяния, как бурсурману...»

– Не может быть! Не может быть, батюшка... ты не умрешь!

– Отчего же, дочь! Не может быть?.. И Христос умер!.. Молись...

Она отрывисто качнула головой – и заплакала...

Боже! Какие слезы!..

Несмотря на это, их растащили; но вдруг она вскрикнула и упала; отец кинулся к ней, с удивительной силой оттолкнул двух казаков – прижал руку к ее сердцу... она была мертва, бледна, холодна как сырая земля, на которой лежало ее молодое непорочное тело.

– Теперь пойдете, – сказал старик; его глаза заблестали мрачным пламенем... он махнул рукою... ему надели на шею петлю, перекинули конец веревки через толстый сук и...

раздался громкий хохот, потом вдруг молчание, молчание смерти!..

Но увы! Еще не кончились его муки; пьяные безумцы прежде времени пустили конец веревки, который взвился кверху; мученик сорвался, ударился о-земь, – и нога его хрустнула... он застонал и повалился возле труп своей дочери. «Убийцы! – прохрипел он... – вот вам мое проклятье! Проклятье!..» – «Заткни ему горло!» – сказал Орленко... это было сожаленье...

Два ножа в минуту воткнулись в горло старика, и он умолк.

Когда казаки, захотев увериться в его кончине, стали приподнимать его за руки, то заметили, что в последних судорогах он крепко ухватил ногу своей дочери, впился в нее костяными пальцами, которые замерли на нежном теле... О, это было ужасно... они смеялись!..

Божественная, милая девушка! И ты погибла, погибла без возврата... один удар – и свежий цветок склонил голову!.. Твое слабое сердце, как нить истлевшая – разорвалось... Ни одно рыдание, ни одно слово мира и люб-

ви не усладило отлета души твоей, резвой, чистой, как радужный мотылек, невинной, как первый вздох младенца... грозные лица окружали твое сырое смертное ложе, проклятие было твоим надгробным словом!.. Какая будущность! Какое прошедшее! И всё в один миг разлетелось; так иногда вечером облака дымные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе, свиваются в столпы огненные, сплетаются в фантастические хороводы, и замок с башнями и зубцами, чудный, как мечта поэта, растет на голубом пространстве... но дунул северный ветер... и разлетелись облака, и упадают росой на бесчувственную землю!.. Мир с тобою, дева красоты, да ангел твой хранитель споет над твоим прахом песнь мира, любви и прощанья...

А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт! Он, чье неуместное слово было всему виною...

Погодите, это легко объяснить вам.

Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде

самых ужасных мук человеческих – и нашел, что душу ничего не волнует.

Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может дойти непоколебимость человека... и нашел, что есть испытания, которых перенести никто не в силах... это ему подало надежду увидеть слезы, раскаяние Палицына – увидеть его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха... надежда усладительная, нет никакого сомнения.

Уж было темно; огни догорали, толпа постепенно умолкала, и многие уж спали беззаботно...

Луна, всплывая на синее небо, осеребрила струи виющейся речки и туманную отдаленность; черные облака медленно проходили мимо нее, как ночной сторож ходит взад и вперед мимо пылающего маяка...

Вадим сидел на своем прежнем месте, под толстой березой, сложа руки и угрюмо глядя на небо. К нему подошел Орленко:

– Посмотри, как весело! Отчего ты один сердит, задумчив, горбач? – сказал он, ударив его по плечу.

– Ты видишь это облако, которое как медвежья косматая шуба висит над месяцем?.. – отвечал Вадим, приподняв голову с презрительной усмешкой.

– Вижу!

– Ну а как ты думаешь, что таится в глубине его?..

– Что?.. По-моему, гром и молния – вишь как насупилось...

– И ты спрашиваешь, зачем я угрюм и молчалив?..

Орленко, не поняв горбача, пожал плечами и отошел прочь...

## Глава XXIV

Теперь оставим пирующую и сонную ватагу казаков и перенесемся в знакомую нам деревеньку, в избу бедной солдатки; дело подходило к рассвету, луна спокойно озаряла соломенные кровли дворов, и всё казалось погруженным в глубокий мирный сон; только в избе солдатки светилась тусклая лучина и по временам раздавался резкий грубый голос солдатки, коему отвечал другой, необычайно жалобный и плаксивый – и это покажется необычайно обыкновенным, когда я скажу,

что солдатка била своего сына! Я бы с великим удовольствием пропустил эту неприятную, пошлую сцену, если б она не служила необходимым изъяснением всего следующего; а так как я предполагаю в своих читателях должную степень любопытства, то не считаю за необходимость долее извиняться.

– Ах ты лентяй! Чтоб тебе сдохнуть... собачий сын!.. – говорила мать, таская за волосы своего детища.

– Матушки, батюшки! Помилуй!.. Золотая, серебряная... не буду! – ревел длинный балбес, утирая глаза кулаками!.. – я вчера вишь понес им хлеба да квасу в кувшине... вот, слышь, мачка, я шел... шел... да меня леший и обошел... а я устал да и лег спать в кусты, мачка... вот, когда я проснулся... мне больно есть захотелось... я всё и съел...

– Ах ты разбойник... экого болвана вырастила, запорю тебя до смерти... – и удары снова градом посыпались ему на голову. «Чай, он, мой голубчик, – продолжала солдатка, – там либо с голоду помер, либо вышел да попался в руки душегубам... а ты, нечесаная голова, и не подумал об этом!.. Да знаешь ли, что за это те-

бя черти на том свете живого зажарят... вот родила я какого негодяя, на свою голову... уж кабы знала, не видать бы твоему отцу от меня ни к....а!» – и снова тяжкие кулаки ее застучали о спину и зубы несчастного, который, прижавшись к печи, закрывал голову руками и только по временам испускал стоны почти нечеловеческие.

И за дело! Бедные изгнанники по милости негодяя более суток оставались без пищи, и отчаяние уже начинало вкрадываться в их души!.. И в самом деле, как выйти, где искать помощи, когда по всем признакам последние покровители их покинули на произвол судьбы?

Между тем, пока солдатка била своего парня, кто-то перелез через частокол, ощупью пробрался через двор, заставленный дровнями и колодами, и вошел в темные сени неверными шагами; усталость говорила во всех его движениях; он прислонился к стене и тяжело вздохнул; потом тихо пошел к двери избы, приложил к ней ухо и, узнав голос солдатки, отворил дверь – и вошел; догорающая лучина слабо озарила его бледное исхудав-

шее лицо... не говоря ни слова, он в изнеможении присел на скамью и закрыл лицо руками...

Хозяйка вскрикнула при виде незваного гостя, но вскоре, вероятно узнав его и опасаясь свидетелей, поспешно притворила дверь и подошла к нему с видом простодушного участия.

– Что с тобою, мой кормилец!.. Ах, мать божия!.. Да как ты зашел сюда... слава богу! Я думала, что тебя злодеи-то давным-давно извели!..

– Случайно я нашел батюшку в Чертовом логовище, – отвечал он слабым голосом... – ты его спасла! Благодарю... я пришел за хлебом.

– Ах я проклятая! Ах я безумная! – а вы там, чай, родимые, голодали, голодали... нет, я себе этого не прощусь... а ты, болван неотесанный, – закричала она, обратясь к сыну, – всё это по твоей милости! Собачий сын... и снова удары посыпались на бедняка.

– Дай мне чего-нибудь! – сказал Юрий...

Эти слова напомнили ей дело более важное! Она вынула из печи хлеба, поставила перед ним горшок снятого молока, и он с жадно-

стью кинулся на предлагаемую пищу... в эту минуту он забыл всё: долг, любовь, отца, Ольгу, всё, что не касалось до этого благодатного молока и хлеба. Если б в эту минуту закричали ему на ухо, что сам грозный Пугачев в 30 шагах, то несчастный еще подумал бы: оставить ли этот неоцененный ужин и спастись – или утолить голод и погибнуть!.. У него не было уже ни ума, ни сердца – он имел один только желудок!

Пока он ел и отдыхал, прошел час, драгоценный час; восток белел неприметно; и уже дальние края туманных облаков начинали одеваться в утреннюю свою парчевую одежду, когда Юрий, обремененный ношею съестных припасов, собирался выйти из гостеприимной хаты; вдруг раздался на улице конский топот, и кто-то проскакал мимо окон; Юрий побледнел, уронил мешок и значительно взглянул на остолбеневшую хозяйку... она подбежала к окну, всплеснула руками, и простодушное загорелое лицо ее изобразило ужас.

– Делать нечего! – сказал Юрий, призвав на помощь всю свою твердость... – не правда ли!

Я погиб. Говори скорее, потому что я не люблю неизвестности!..

Но хозяйка не отвечала; она приподняла половицу возле печи и указала на отверстие пальцем; Юрий понял сей выразительный знак и поспешно спустился в небольшой холодный погреб, уставленный домашней утварью!

– Что бы ты ни слышал, что бы в избе ни творили со мной, барин, – не выходи отсюда прежде двух ден, боже тебя сохрани, здесь есть молоко, квас и хлеб, на два дни станет! – и тяжелая доска, как гробовая крышка, хлопнула над его головою!..

Хозяйка, чтоб не возбудить подозрений, стала возиться у печи, как будто ни в чем не бывало.

Скоро дверь распахнулась с треском, и вошли казаки, предводительствуемые Вадимом.

– Здесь был Борис Петрович Палицын с охотниками, – спросил Вадим у солдатки, – где они?..

– На заре, чем свет, уехали, кормилец!

– Лжешь; охотники уехали – а он здесь!..

– И, помилуйте, отцы родные, да что мне

его прятать! Ведь он, чай, не мой барин...

– В том-то и сила, что не твой! – подхватил Орленко... и, ударив ее плетью, продолжал:

– Ну, живо поворачивайся, укажи, где он у тебя сидит... а не то...

– Делайте со мною, что угодно, – сказала хозяйка, повесив голову, – а я знать не знаю, вот вам Христос и святая богородица!.. Ищите, батюшки, а коли не найдете, не пеняйте на меня грешную.

Несколько казаков по знаку атамана отправились на двор за поисками и через  $\frac{1}{4}$  часа возвратились, объявив, что ничего не нашли!..

Орленко недоверчиво посмотрел на Вадима, который, прислонясь к печи и приставив палец ко лбу, казался погружен в глубокое размышление; наконец, как будто пробудившись, он сказал почти про себя: «он здесь, непременно здесь!..»

– Отчего же ты в том уверен? – сказал Орленко.

– Отчего! Боже мой! Отчего? – я вам говорю, что он здесь, я это чувствую... я отдаю вам свою голову, если его здесь нет!..

– Хорош подарок, – заметил кто-то сзади.

– Но какие доказательства! И как его найти? – спросил Орленко.

Грицко осмелился подать голос и советовал употребить пытку над хозяйкой.

При грозном слове *пытка* она приметно побледнела, но ни тени нерешимости или страха не показалось на лице ее, оживленном, быть может, новыми для нее, но не менее того благородными чувствами.

– Пытать так пытать, – подхватили казаки и обступили хозяйку; она неподвижно стояла перед ними, и только иногда губы ее шептали неслышно какую-то молитву. К каждой ее руке привязали толстую веревку и, перекинув концы их через брус, поддерживающий полати, стали понемногу их натягивать; пятки ее отделились от полу, и скоро она едва могла прикоснуться до земли концами пальцев. Тогда палачи остановились и с улыбкой взглянули на ее надувшиеся на руках жилы и на покрасневшее от боли лицо.

– Что, разбойница, – сказал Орленко.... – теперь скажешь ли, где у тебя спрятан Палицын?

Глубокий вздох был ему ответом.

Он подтвердил свой вопрос ударом нагайки.

– Хоть зарежьте, не знаю, – отвечала несчастная женщина.

– Тащи выше! – было приказание Орленка, и в две минуты она поднялась от земли на аршин... глаза ее налились кровью, стиснув зубы, она старалась удерживать невольные крики... палачи опять остановились, и Вадим сделал знак Орленке, который его тотчас понял. Солдатку разули; под ногами ее разложили кучку горячих угольев... от жару и боли в ногах ее начались судороги – и она громко застонала, моля о пощаде.

– Ага, так наконец разжала зубы, проклятая... небось, как начнем жарить, так не только язык, сами пятки заговорят... ну, отвечай же скорее, где он?

– Да, где он? – повторил горбач.

– Ох!.. Ох! Батюшки... голубчики... дайте дух перевести... опустите на землю...

– Нет, прежде скажи, а потом пустим...

– Воля ваша... не могу слова вымолвить... ох!.. Ох, господи... спаси... батюшки...

– Спустите ее, – сказал Орленко.

Когда ноги невинной жертвы коснулись до земли, когда грудь ее вздохнула свободно, то казак повторил прежние свои вопросы.

– Он убежал! – сказала она... – в ту же ночь... вон по той тропинке, что идет по оврагу... больше, вот вам Христос, я ничего не знаю.

В эту минуту два казака ввели в избу рыжего, замасленного болвана, ее сына. Она бросила ему взгляд, который всякий бы понял, кроме его.

– Кто ты таков? – спросил Орленко.

– *Петруха*, – отвечал парень.

– Да, дурачина, кто ты таков?

– А почему я знаю... говорят, что мачкин сын...

– Хорош! – сказал захохотав Орленко... – да где вы его нашли?..

– Зарылся в соломе по уши около анбара; мы идем, ан, глядь, две ноги торчат из соломы... вот мы его оттуда за ноги... уже тащили... тащили... словно лодку с отмели...

– Послушай, Орленко, – прервал Вадим, – мы от этого дурака можем больше узнать,

чем от упрямой ведьмы, его матери!..

Казак кивнул головой в знак согласия.

– Только его надо вывести, иначе она нам помешает.

– И то правда, – выведи-ка его на двор, – сказал Орленко, – а эту чертовку мы запрем здесь...

Услышав это, хозяйка вспыхнула, глаза ее засверкали...

– Послушай, Петруха, – закричала она звонким голосом, – если скажешь хоть единое словцо, я тебя прокляну, сгоню со двора, заморю, убью!..

Он затрепетал при звуках знакомого ему голоса; онемение, произведенное в нем присутствием стольких незнакомых лиц, еще удвоилось; он боялся матери больше, чем всех казаков на свете, ибо привык ее бояться; сопроводив свои угрозы значительным движением руки, она впала в задумчивость и казалась спокойною.

Прошло около десяти ужасных минут; вдруг раздались на дворе удары плети, ругательства казаков и крик несчастного. Ее материнское сердце сжалось, но вскоре мысль, что

он не вытерпит мучений до конца и выскажет ее тайну, овладела всем ее существом... она и молилась, и плакала, и бегала по избе, в нерешимости, что ей делать, даже было мгновенье, когда она почти покушалась на предательство... но вот сперва утихли крики; потом удары... потом брань... и наконец она увидела из окна, как казаки выходили один за одним за ворота, и на улице, собравшись в кружок, стали советовать между собою. Лица их были пасмурны, омрачены обманутой надеждой; рыжий Петруха, избитый, полуживой, остался на дворе; он, охая и стоная, лежал на земле; мать содрогаясь подошла к нему, но в глазах ее сияла какая-то высокая, неизъяснимая радость: он не высказал, не выдал своей тайны душегубцам.

# Княгиня Лиговская

*Поди! – Поди! Раздался крик!*[23]  
*Пушкин*

Роман

## Глава I

**В** 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополуночи по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народу, и между прочим шел один молодой чиновник; заметьте день и час, потому что в этот день и в этот час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы. – Итак, по Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента, утомленный однообразной работой, и мечтая о награде и вкусном обеде – ибо все чиновники мечтают! – На нем был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником; черты лица его различить было трудно: причиною тому козырек, воротник – и сумерки; – каза-

лось, он не торопился домой, а наслаждался чистым воздухом морозного вечера, разливавшего сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлям домов, соблазнительным блистаньем магазинов и кондитерских; порою подняв глаза кверху с истинно поэтическим умилением, сталкивался он с какой-нибудь розовой шляпкой и, смутившись, извинялся; коварная розовая шляпка сердилась, – потом заглядывала ему под картуз и, пройдя несколько шагов, оборачивалась, как будто ожидая вторичного извинения; напрасно! Молодой чиновник был совершенно недогадлив!.. Но еще чаще он останавливался, чтоб поглазеть сквозь цельные окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великолепной позолотою. Долго, пристально, с завистью разглядывал различные предметы, – и, опомнившись, с глубоким вздохом и стоическою твердостью продолжал свой путь; – самые же ужасные мучители его были извозчики, – и он ненавидел извозчиков; «барин! Куда изволите? – прикажете подавать? – подавать-с!» Это была пытка Тантала, и он в душе глубоко ненавидел извозчиков.

Спустясь с Вознесенского моста и собираясь повернуть направо по канаве,[24] вдруг слышит он крик: «берегись, поди!..» Прямо на него летел гнедой рысак; из-за кучера мелькал белый султан, и развевался воротник серой шинели. – Едва он успел поднять глаза, уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетающий клубами из ноздрей бегуна, обдал ему лицо; машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом лошади был отброшен несколько шагов в сторону на тротуар... раздалось кругом: «задавил, задавил», извозчики погнались за нарушителем порядка, – но белый султан только мелькнул у них перед глазами и был таков.

Когда чиновник очнулся, боли он нигде не чувствовал, но колена у него тряслись еще от страха; он встал, облокотился на перилы канавы, стараясь придти в себя; горькие думы овладели его сердцем, и с этой минуты перенес он всю ненависть, к какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых рысаков и белые султаны.

Между тем белый султан и гнедой рысак

пронеслись вдоль по каналу,[25] поворотили на Невский, с Невского на Караванную, оттуда на Симионовский мост, потом направо по Фонтанке – и тут остановились у богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой.

– Ну, сударь, – сказал кучер, широкоплечий мужик с окладистой рыжей бородой, – Васька нынче показал себя!

Надобно заметить, что у кучеров любимая их лошадь называется всегда Ваською, даже вопреки желанию господ, наделяющих ее громкими именами Ахилла, Гектора... она всё-таки будет для кучера не Ахел и не Нектор, а Васька.

Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и вошел на блестящую лестницу; – об раздавленном чиновнике не было и помину... Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и вошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность – к несчастью, вовсе не привлекательную; он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного

сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века, – если это не плеоназм. – Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты; когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться, и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, – и в свете утверждали, что язык его зол и опасен... ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: – свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера[26] и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания

будущности... толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то...

В заключение портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад, и что притом ему было 23 года, – и что у родителей его было 3 тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии, – последнее я прибавляю, чтоб немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей! – виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, 16-летней девочки, которая была очень недурна собою и, по словам маменьки (папеньки уж не было на свете), не нуждалась в приданом и могла занять высокую степень в обществе, с помощью божией и хорошенького личика и блестящего воспитания.

Григорий Александрович, войдя в свой кабинет, повалился в широкие кресла; лакей вошел и доложил ему, что, дескать, барыня изволила уехать обедать в гости, а сестра изволила уж откусать... «Я обедать не буду, – был ответ: я завтракал!..» Потом вошел маль-

чик лет тринадцати в красной казачьей куртке, быстроглазый, беленький, и с виду большой плут, – и подал, не говоря ни слова, визитную карточку: Печорин небрежно положил ее на стол и спросил, кто принес.

– Сюда нынче приезжали молодая барыня с мужем, – отвечал Федька, – и велели эту карточку подать Татьяне Петровне (так называлась мать Печорина).

– Что ж ты принес ее ко мне?

– Да я думал, что это всё равно-с!.. Может быть, вам угодно прочесть?

– То есть, тебе хочется узнать, что тут написано.

– Да-с, – эти господа никогда еще у нас не были.

– Я тебя слишком избаловал, – сказал Печорин строгим голосом, – набей мне трубку.

Но эта визитная карточка, видно, имела свойство возбуждать любопытство... Долго Жорж не решался переменить удобного положения на широких креслах и протянуть руку к столу... притом в комнате не было свеч – она озарялась красноватым пламенем камина, а велеть подать огню и расстроить очаро-

вательный эффект каминного освещения ему также не хотелось. – Но любопытство превозмогло, – он встал, взял карточку и с каким-то непонятным волнением ожидания поднес ее к решетке камина... на ней было напечатано готическими буквами: князь Степан Степаных Лиговской, с княгиней. – Он побледнел, вздрогнул, глаза его сверкнули, и карточка полетела в камин. Минуты три он ходил взад и вперед по комнате, делая разные странные движения рукою, разные восклицания, – то улыбаясь, то хмурия брови; наконец он остановился, схватил щипцы и бросился вытаскивать карточку из огня: – увы! Одна ее половина превратилась в прах, а другая свернулась, почернела, – и на ней едва только можно было разобрать *Степан Степ...*

Печорин положил эти бранные остатки на стол, сел опять в свои креслы и закрыл лицо руками – и хотя я очень хорошо читаю побуждения души на физиономиях, но по этой именно причине не могу никак рассказать вам его мыслей. В таком положении сидел он четверть часа, и вдруг ему послышался шорох, подобный легким шагам, шуму платья,

или движению листа бумаги... хотя он не верил привидениям... но вздрогнул, быстро поднял голову – и увидел перед собою в сумраке что-то белое и, казалось, воздушное... с минуту он не знал, на что подумать, так далеко были его мысли... если не от мира, то по крайней мере от этой комнаты...

– Кто это? – спросил он.

– Я! – отвечал принужденный контраalto – и раздался звонкий женский хохот.

– Варенька! – какая ты шалунья.

– А ты спал!.. Ужасно весело!..

– Я бы желал спать. Оно покойнее!..

– Это стыд! – отчего нам на балах, в обществах так скушно!.. Вы все ищете спокойствия... какие любезные молодые люди...

– А позвольте спросить, – возразил Жорж зевая, – из каких благ мы обязаны забавлять вас...

– Оттого, что мы дамы.

– Поздравляю. Но ведь нам без вас не скушно...

– Я почему знаю!.. И что мы станем говорить между собою?

– Моды, новости... разве мало? Поверяйте

друг другу ваши тайны...

– Какие тайны? – у меня нет тайн... все молодые люди так несносны...

– Большая часть из них не привыкли к женскому обществу.

– Пускай привыкают – они и этого не хотят попробовать!..

Жорж важно встал и поклонился с насмешливой улыбкой:

– Варвара Александровна, я замечая, что вы идете большими шагами в храм посвящения.

Варенька покраснела и надула розовые губки... а брат ее преспокойно опять опустился в свои кресла. Между тем подали свеч, и пока Варенька сердится и стучит пальчиком в окно, я опишу вам комнату, в которой мы находимся. – Она была вместе и кабинет и гостиная; и соединялась коридором с другой частью дома; светло-голубые французские обои покрывали ее стены... лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного. Драпировка над окнами была в китайском вкусе, но вечером или когда солнце

ударяло в стекла, опускались пунцовые шторы, – противоположность резкая с цветом горницы, но показывающая какую-то любовь к странному, оригинальному. Против окна стоял письменный стол, покрытый кипю картинок, бумаг, книг, разных видов чернильниц и модных мелочей, – по одну его сторону стоял высокий трельяж, увитый непроницаемой сеткой зеленого плюща, по другую кресла, на которых теперь сидел Жорж... На полу под ним разостлан был широкий ковер, разрисованный пестрыми арабесками; – другой персидский ковер висел на стене, находящейся против окон, и на нем развешаны были пистолеты, два турецкие ружья, черкесские шашки и кинжалы, подарки сослуживцев, погулявших когда-то за Балканом...[27] на мраморном камине стояли три алебастровые карикатурки[28] Паганини, Иванова и Россини... остальные стены были голые, кругом и вдоль по ним стояли широкие диваны, обитые шерстяным штофом пунцового цвета; – одна-единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в спальню; она изображала неизвестное муж-

ское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения и которому никто об нем не позаботился намекнуть. – Картина эта была фантазия, глубокая, мрачная. – Лицо это было написано прямо, безо всякого искусственного наклона или оборота, свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо, – казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке... Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упали по обеим сторонам лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие и сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая; всякий раз, когда Жорж смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение; – она сделалась его собеседником в минуты одиночества и мечтания – и он, как партизан Бай-

рона, назвал ее портретом Лары.[29] – Товарищи, которым он ее с восторгом показывал, называли ее порядочной картинкой.

Между тем, покуда я описывал кабинет, Варенька постепенно придвигалась к столу, потом подошла ближе к брату и села против него на стул; в ее голубых глазах незаметно было ни даже искры минутного гнева, но она не знала, чем возобновить разговор. Ей попала под руки полустгоревшая визитная карточка.

– Что это такое? Степан Степ... А! Это, верно, у нас нынче был князь Лиговской!.. Как бы я желала видеть Верочку! Замужем, – она была такая добрая... я вчера слышала, что они приехали из Москвы!.. Кто же сжег эту карточку... Её бы надо подать маменьке!

– Кажется, я, – отвечал Жорж, – раскуривал трубку!..

– Прекрасно! Я бы желала, чтоб Верочка это узнала... ей было бы очень приятно!.. Так-то, сударь, ваше сердце изменчиво!.. Я ей скажу, скажу – непременно!.. Впрочем, нет! Теперь ей должно быть всё равно!.. Она ведь замужем!..

– Ты судишь очень здраво для твоих лет!.. – отвечал ей брат и зевнул, не зная, что прибавить...

– Для моих лет! Что я за ребенок! Маменька говорит, что девушка в 17 лет так же благо-разумна, как мужчина в 25.

– Ты очень хорошо делаешь, что слушаешься маменьки.

Эта фраза, по-видимому похожая на похвалу, показалась насмешкой; таким образом согласие опять расстроилось, и они замолчали... Мальчик взошел и принес записку: приглашение на бал к барону Р\*\*\*.

– Какая тоска! – воскликнул Жорж. – Надо ехать.

– Там будет mademoiselle Negouroff!.. – возразила ироническим тоном Варенька. – Она еще вчера об тебе спрашивала!.. Какие у нее глаза! – прелесть!..

– Как уголь, в горниле раскаленный!..[30]

– Однако сознайся, что глаза чудесные!

– Когда хвалят глаза, то это значит, что остальное никуда не годится.

– Смейся!.. А сам неравнодушен...

– Положим.

– Я это расскажу Верочке!..

– Давно ли ты уверяла, что я для нее – всё равно!..[31]

– Поверьте, я лучше этого говорю по-русски – я не монастырка.

– О! Совсем нет! – очень далеко...

Она покраснела и ушла.

Но я вас должен предупредить, что это был на них черный день... они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Жорж любил сестру самой нежною братскою любовью.

Последний намек на mademoiselle Negouroff (так будем мы ее называть впоследствии) заставил Печорина задуматься; наконец неожиданная мысль прилетела к нему свыше, он придвинул чернильницу, вынул лист почтовой бумаги – и стал что-то писать; покуда он писал, самодовольная улыбка часто появлялась на лице его, глаза искрились – одним словом, ему было очень весело, как человеку, который выдумал что-нибудь необыкновенное. – Кончив писать, он положил бумагу в конверт и надписал: Милостивой гос<ударыне> Елизавете Львовне Негуровой в собственные руки; – потом кликнул Федьку и ве-

лел ему отнесть на городскую почту – да чтоб никто из людей не видал. Маленький Меркурий,[32] гордясь великой доверенностию господина, стрелой помчался в лавочку; а Печорин велел закладывать сани и через полчаса уехал в театр; однако в этой поездке ему не удалось задавить ни одного чиновника.

## Глава II

Давали Фенеллу[33] (4-е представление). В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу... Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За 15 рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны – и с краю: важное преимущество для тех, которые берегут свои ноги и ходят пить чай к Фениксу.[34] – Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась, и в ложи не все еще съехались; – между прочим, прямо над ним в бельэтаже была пустая ложа, возле пустой ложи сидели Негуровы, отец, мать и дочь; – дочка была бы недурна, если б бледность, худоба и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух

огромных глаз и не разрушивали гармонию между чертами довольно правильными и остроумным выражением. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просияла улыбкой.

«Видно, еще письмо не дошло по адресу!» – подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи; в них он узнал множество бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет; смотря по тому, замечали его или нет; он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену; он знал, что заставить говорить об себе легко, но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом; ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы... ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие создания... В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы (рауты в сторону), где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетушек, и не встречая чересчур строгих и неприступных дев, в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают

чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего, но увы! Друзья мои! Зато как мало вы там и услышите.

На балах Печорин с своей невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален – или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, которые сидели весь вечер у стенки, – а с этими-то именно он никогда не знакомился... У него прежде было занятие – сатира, – стоя вне круга мазурки, он разбирал танцующих, – и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу; – но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какою-то княжною... Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хотала во всё горло; – Печорин вспомнил, что

когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад – она только пожалала плечами и не взяла на себя даже труд понять его; с этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно; – и даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он начал постигать, что *по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается!*

Загремела увертюра; всё было полно, одна ложа рядом с ложей Негуровых оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина; это ему казалось странно, – и он желал бы очень наконец увидеть людей, которые пропустили увертюру Фенеллы.

Занавес взвился, – и в эту минуту застучали стулья в пустой ложе; Печорин поднял голову, – но мог видеть только пунцовый берет и круглую белую божественную ручку с божественным лорнетом, небрежно упавшую на малиновый бархат ложи; несколько раз он пробовал следить за движениями неизвестной, чтобы разглядеть хоть глаз, хоть щечку; напрасно, – раз он так закинул голову назад,

что мог бы видеть лоб и глаза... но как на зло ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица. – У него заболела шея, он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу. Первый акт кончился, Печорин встал и пошел с некоторыми из товарищей к Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ненавистную ложу.

Феникс – ресторация весьма примечательная по своему топографическому положению в отношении к задним подъездам Александринского театра. Бывало, когда неуклюжие рыдваны, влекомые парюю хромым кляч, теснились возле узких дверей театра, и юные нимфы, окутанные грубыми казенными платками, прыгали на скрипучие подножки, толпа усатых волокит, вооруженных блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпились на крыльце твоём, о Феникс! Но скоро промчались эти буйные дни: и там, где мелькали прежде черные и белые султаны, там ныне чинно прогуливаются треугольные шляпы без султанов; великий пример переворотов судьбы человеческой!

Печорин взошел к Фениксу с одним преоб-  
раженским и другим конноартиллерийским  
офицером. — Он велел подать чаю и сел с ни-  
ми подле стола; народу было много всякого;  
за тем же столом, где сидел Печорин, сидел  
также какой-то молодой человек во фраке, не  
совсем отлично одетый и куривший соб-  
ственные пахитосы к великому соблазну  
трактирных служителей. — Этот молодой че-  
ловек был высокого роста, блондин и удиви-  
тельно хорош собою; большие томные голу-  
бые глаза, правильный нос, похожий на нос  
Аполлона Бельведерского, греческий овал ли-  
ца и прелестные волосы, завитые природою,  
должны были обратить на него внимание  
каждого; одни губы его, слишком тонкие и  
бледные в сравнении с живостию красок, раз-  
литых по щекам, мне бы не понравились; по  
медным пуговицам с гербами на его фраке  
можно было отгадать, что он чиновник, как  
все молодые люди во фраках в Петербурге. Он  
сидел задумавшись и, казалось, не слушая  
разговора офицеров, которые шутили, смея-  
лись и рассказывали анекдоты, запивая дым  
трубки скверным чаем. Между прочим стали

говорить о лошадях: один артиллерийский поручик хвастался своим рысаком; начался спор. Печорин á rporos[35] рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта, и умчался от погони... Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись. Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтоб взять шляпу со стола, сдернул на пол поднос с чайником и чашками; движение было явно умышленное; все глаза на него обратились; но взгляд Печорина был дерзче и вопросительнее других; – кровь кинулась в лицо неизвестному господину, он стоял неподвижен и не извинялся – молчание продолжалось с минуту. Сделался кружок, и все предугадывали *историю*. Вдруг Печорин опять сел и громко крикнул служителя: «что стоит посуду?» – ему сказали цену втрое дороже.

– Этот чиновник так был неловок, что разбил ее, – продолжал Жорж холодно; – вот деньги! – Он бросил деньги на стол – и прибавил:

– Скажи ему, что теперь он может отсюда

уйти свободно.

Служитель при всех доложил с почтением чиновнику, что он всё получил, – и просил на водку!.. Но тот, ничего не отвечая, скрылся: толпа хохотала ему вослед; – офицеры смеялись еще больше... и хвалили товарища, который так славно отделал противника, не запутавшись между тем в *историю*. – О! История у нас вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю... всё равно, вы теряете всё: расположение общества, карьер, уважение друзей... попасться в историю! Ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась! Частная известность уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить два дня. – Страдайте ж двадцать лет за это. Суд общего мнения, везде ошибочный, происходит, однако, у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе; в Англии, например, банкротство – бесчестие неизгладимое, – достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества

(о Франции я не говорю: в одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете) – а у нас?.. Объявленный взяточник принимается везде очень хорошо: его оправдывают фразою: и! Кто этого не делает!.. Трус обласкан везде, потому что он смиренный малый, а замешанный в историю! – О! Ему нет пощады: маменьки говорят об нем: «бог его знает, какой он человек», и папеньки прибавляют: «мерзавец!..»

Офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли; Печорин вышел после всех; на крыльце кто-то его остановил за руку, при молвив: «я имею с вами поговорить!» По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник; нечего делать: не миновать истории.

– Извольте говорить, – отвечал он небрежно. – Только не здесь на морозе.

– Пойдемте в коридор театра! – возразил чиновник. – Они пошли молча.

Второй акт уже начался: коридоры и широкие лестницы были пусты; на площадке одной уединенной лестницы, едва освещенной далекой лампой, они остановились, и Печо-

рин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищулив глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал:

– Я вас слушаю!..

– Милостивый государь, – голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели, – милостивый государь!.. Вы меня обидели! Вы меня оскорбили смертельно.

– Это для меня не секрет, – отвечал Жорж, – и вы могли бы объясниться при всех: – я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу... когда ж вам угодно стреляться? Нынче? Завтра? – я думаю, что угадал ваше намерение; по крайней мере разбитие чашек не было случайностью: вы хотели с чего-нибудь начать... и начали очень остроумно, – прибавил он, насмешливо поклонившись...

– Милостивый государь! – отвечал он задыхаясь, – вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами... и этим хвастаетесь, вам весело! – а по какому праву? Потому что у вас есть рысак, белый султан? Золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? – Я беден! – да, я беден! Хожу пешком – ко-

нечно, после этого я не человек, не только дворянин! – А! Вам это весело!.. Вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол!.. Нет, никогда! Никогда, никогда я вам этого не прощу!..

В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как буря; Печорин смотрел на него с холодным любопытством и наконец сказал:

– Ваши рассуждения немножко длинны – назначьте час – и разойдемтесь: вы так кричите, что разбудите всех лакеев: – и точно, некоторые из них, спавшие на барских солопах в коридоре первого яруса, начали поднимать головы...

– Какое дело мне до них! – пускай весь мир меня слушает!..

– Я не этого мнения... Если угодно завтра в восемь часов утра я вас жду с секундantom.

Печорин сказал свой адрес...

– Драться! Я вас понимаю! – насмерть драться!.. И вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешенье!.. Нет, я

б желал, что <б> вы жили вечно, и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! Нет!.. Тут успех слишком неверен...

– В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать, – возразил Печорин, пожав плечами, и хотел идти.

– Нет, постойте, – сказал чиновник, придя несколько в себя, – и выслушайте меня!.. Вы думаете, что я трус? Как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов? Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы! Моя жизнь горька, будущности у меня нет... я беден, так беден, что хожу в стулья;[36] я не могу раз в год бросить 5 рублей для своего удовольствия, я живу жалованьем, без друзей, без родных – у меня одна мать, старушка... я всё для нее: я ее провидение и подпора. Она для меня: и друзья и семейство; с тех пор, как живу, я еще никого не любил, кроме ее: – потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо, умрет с голоду...

Он остановился, глаза его налились слезами и кровью...

– И вы думали, что я с вами буду драться?..

– Чего ж, наконец, вы от меня хотите? – сказал Печорин нетерпеливо.

– Я хотел вас заставить раскаяться.

– Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору.

– А разве задавить человека ничего – шутка – потеха?

– Я вам обещаю высечь моего кучера.

– О, вы меня выведете из терпения!..

– Что ж? Мы тогда будем стреляться!..

Чиновник не отвечал, он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние, казалось, он рыдал, и наконец он воскликнул:

«Нет, не могу, не погублю ее!..» – и убежал.

Печорин с сожалением посмотрел ему вслед и пошел в кресла: второй акт Фенеллы уж подходил к концу... Артиллерист и преображенец, сидевшие с другого края, не заметили его отсутствия.

### Глава III

**П**очтенные читатели, вы все видели сто раз Фенеллу, вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда,[37] и поэтому я перескочу через остальные 3 акта и подыму свой за-

навес в ту самую минуту, как опустился занавес Александринского театра, замечу только, что Печорин мало занимался пьесой, был рассеян и забыл даже об интересной ложе, на которую он дал себе слово не смотреть.

Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду... внизу раздавался крик жандармов и лакеев. Дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду – и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперед, стучали – одни саблями и шпорами, другие калошами. Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок, – и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные, увы! Гордости и блеску необыкновенных.

У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых

услужливые и порой неловкие!.. В середине же теснился кружок людей не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, – кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями. – Это была миньютюрная картина всего петербургского общества.

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался продраться к дверям. Он поравнялся с Лизаветою Николавной Негуровой; на выразительную улыбку отвечал сухим поклоном и хотел продолжать свой путь, но был задержан следующим вопросом: «Отчего вы так серьезны, monsieur George?[38] – вы недовольны спектаклем?»

– Напротив, я во всё горло вызывал Голландца!

– Не правда ли, что Новицкая очень мила!

– Ваша правда.

– Вы от нее в восторге?

– Я очень редко бываю в восторге.

– Вы этим никого не ободряете! – сказала она с досадою и стараясь иронически улыбнуться...

– Я не знаю никого, кто бы нуждался в моем ободрении! – отвечал Печорин небрежно. –

И притом восторг есть что-то такое детское...

– Ваши мысли и слова удивительно подвержены перемене... давно ли...

– Право...

Печорин не слушал, его глаза старались проникнуть пеструю стену шуб, салопов, шляп... ему показалось, что там, за колонною, мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое... в эту минуту жандарм крикнул, и долговязый лакей повторил за ним: «каре́та князя Лиговско́ва!»... С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям... перед ним человека за четыре, мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки... лакей подсадил розовый салоп в блестящий купе, потом вскарабкалась в него медвежья шуба, дверцы хлопнули, – «на Морскую! Пошел!».. Интересную карету заменила другая, может быть, не менее интересная, только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. Мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть... Княгиня сидела в ней, ее розовая ручка покоилась на малиновом бархате; ее глаза, может быть, часто покоились на нем, а он да-

же и не подумал обернуться, магнетическая сила взгляда любимой женщины не подействовала на его бычачьи нервы, – о, бешенство! Он себе этого никогда не простит! Раздосадованный, он пошел по тротуару, отыскивал свои сани, разбудил толчком кучера, который лежал свернувшись, покрытый медвежьей полостью, и отправился домой. А мы обратимся к Лизавете Николавне Негуровой и последуем за нею.

Когда она села в карету, то отец ее начал длинную диссертацию насчет молодых людей нынешнего века. «Вот, например, Печорин, – говорил он, – нет того, чтоб искать во мне или в Катеньке (Катенька его жена, 55 лет) нет, и смотреть не хочет!.. Как бывало в наше время: влюбится молодой человек, старается угодить родителям, всей родне... а не то, чтоб всё по углам с дочкой перешептываться, да глазки делать... что это нынче, страм смотреть!.. И девушки не те стали!.. Бывало, слово лишнее услышат – покраснеют да и баста, уж от них не добьешься ответа... а ты, матушка, 25 лет девка, так на шею и вешаешься... замуж захотелось!»

Лизавета Николаевна хотела отвечать, слезы навернулись у нее на глазах... – и она не могла произнести ни слова; Катерина Ивановна за нее заступилась!..

«Уж ты всегда на нее нападаешь... понапрасну!.. Что ж делать, когда молодые люди не женятся... надо самой не упускать случая! Печорин жених богатый... хорошей фамилии, чем не муж? Ведь не век же сидеть дома... – слава богу что мне ее наряды-то стоят... а ты свое: замуж хочешь, замуж хочешь... – Да кабы замуж не выходили, так что бы было...» и проч...

Эти разговоры повторялись в том или другом виде всякий раз, когда мать, отец и дочь оставались втроем... дочь молчала, а что происходило в ее сердце в эти минуты, один бог знает.

Приехали домой. Катерина Ивановна с ворчливым супругом отправились в свою комнату – а дочка в свою. Родители ее принадлежали и к старому и к новому веку; прежние понятия, полузабытые, полустертые новыми впечатлениями жизни петербургской, влиянием общества, в котором Николай

Петрович по чину своему должен был находиться, проявлялись только в минуты досады, или во время спора; они казались ему сильнейшими аргументами, ибо он помнил их грозное действие на собственный ум, во дни его молодости; Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа; женщина хитрая и лукавая, во мнении других старух; добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи... истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три вышесказанные мнения... и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь[39] – слушать певчих!..

Лизавета же Николаевна... О! Знак восклицания... погодите!.. Теперь она вошла в свою спальню и кликнула горничную Марфушу – толстую, рябую девицу!.. Дурной знак!.. Я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. Терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипают-

ся и рыжеют, с руками шероховатыми, как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой, и (что всего хуже) четверугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу уже, чем вверху... Такая горничная, сидя за работой в задней комнате порядочного дома, подобна крокодилу[40] на дне светлого американского колодца... такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья – приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ... о, любезные друзья, не дай бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горничная, если вы разделяете мои мнения, – то очарование ваше погибло навеки.

Лизавета Николавна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, бросила небрежно головной убор на туалет, черные ее волосы упали на плеча; – но я не продолжаю описания: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, худощавой ножкой,

жилистой шеею и сухими плечами, на которых обозначались красные рубцы от узкого платья. Всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман – Марфуша вышла... тишина воцарилась в комнате. Книга выпала из рук печальной девушки, она вздохнула и предалась размышлениям.

Конечно, ни одна отцветшая красавица не поверяла мне дум и чувств, волновавших ее грудь после длинного бала или вечеринки, когда в одинокой своей комнате она припоминала всё свое прошедшее, пересчитывала все любовные объяснения, которые некогда выслушала с притворной холодностию, притворной улыбкой – или с истинным наслаждением и которые не имели для нее других следствий, кроме лишних десяти строк в альбоме или мстительной эпиграммы отвергнутого обожателя, брошенной мимоходом позади ее стула во время длинной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышления должны быть тяжелы, несносны для самолюбия и

сердца – если оное налицо имеется, ибо натуральная история[41] нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ – именно классом женщин без сердца. Чтоб легче угадать, об чем Лизавета Николавна изволила думать, я принужден, к моему великому сожалению, рассказать вам некоторые частности ее жизни... тем более, что для объяснения следующих происшествий это необходимо. Она родилась в Петербурге – и никогда не выезжала из Петербурга – правда, один раз на два месяца в Ревель[42] на воды... – но вы сами знаете, что Ревель не Россия, и потому направление ее петербургского воспитания не получало никакого изменения; у нас, в России, несколько вывелись из моды французские мадамы, а в Петербурге их вовсе не держат... Агличанку нанимать ее родители были не в силах... агличанки дороги – немку взять было также неловко: бог знает, какая попадетя: здесь так много всяких... Лизавета Николавна осталась вовсе без мадамы – по-французски она выучилась от маменьки, а больше от гостей, потому что с самого детства она проводила дни свои в гости-

ной, сидя возле маменьки и слушая всякую всячину... Когда ей исполнилось 13 лет, взяли учителя по билетам:[43] в год она кончила курс французского языка... и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слышал, чтоб она играла... танцевать она выучилась на детских балах... романы она начала читать, как только перестала учить склады... и читала их удивительно скоро... Между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место – и стал жить открытее... 15 лет ее стали вывозить, выдавая за 17-летнюю, и до 25 лет условный этот возраст не изменялся... 17 лет точка замерзания: они растягиваются сколько угодно, как резинные помочи. Лизавета Николавна была недурна, – и очень интересна: бледность и худоба интересны... потому что француженки бледны, а англичанки худощавы... надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении, и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой «казармно-

сти».

При первом вступлении Лизаветы Николавны на паркет гостиных у нее нашли <сь> поклонники. Это всё были люди, всегда аплодирующие новому водевилю, скачущие слушать новую певицу, читающие только новые книги. Их заменили другие: эти волочились за нею, чтоб возбудить ревность в остывающей любовнице или чтоб кольнуть самолюбие жестокой красоты; – после этих явился третий род обожателей: люди, которые влюблялись от нечего делать, чтоб приятно провести вечер, ибо Лизавета Николавна приобрела навык светского разговора и была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна... Некоторые из этих волокит влюбились не на шутку и требовали ее руки: но ей хотелось попробовать лестную роль непреклонной... и к тому же они все были прескушные: им отказали... один с отчаяния долго был болен, другие скоро утешились... между тем время шло: она сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всех в лорнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора – и вокруг нее

стали увиваться розовые юноши, пробующие свои силы в словесной перестрелке и посвящавшие ей первые свои опыты страстного красноречия, – увы, на этих было еще меньше надежды, чем на всех прежних; она с досадою и вместе тайным удовольствием убивала их надежды, останавливала едкой насмешкой разливы красноречия – и вскоре они уверились, что она непобедимая и чудная женщина; вздыхающий рой разлетелся в разные стороны... и наконец для Лизаветы Николавны наступил период самый мучительный и опасный сердцу отцветающей женщины...

Она была в тех годах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно; в тех годах, когда какой-нибудь ветреный или беспечный фронт не почитает уже за грех уверять шутя в глубокой страсти, чтобы после, так, для смеху, скомпрометировать девушку в глазах подруг ее, думая этим придать себе более весу... уверить всех, что она от него без памяти, и стараться показать, что он ее жалеет, что он не знает, как от нее отделаться... говорит ей нежности шепотом, а вслух колкости... бедная, предчувствуя, что

это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих... напрасно: она более и более запутывается, – и наконец... увы... за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже... одни мечты.

Лизавета Николавна вступила в этот период, но последний удар нанес ей не беспечный шалун и не бездушный франт; – вот как это случилось.

Полтора года тому назад Печорин был еще в свете человек – довольно новый: ему надобно было, чтоб поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностью, т. е. прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается; несколько времени он напрасно искал себе пьедестала,[44] вставши на который, он бы мог заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Лизавету Николавну, которая не была ни то, ни другое. Как быть? В

нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций – значит почти: он выиграл столько-то сражений.

Лизавета Николавна и он были давно знакомы. Они кланялись. Составив план свой, Печорин отправился на один бал, где должен был с нею встретиться. Он наблюдал за нею пристально и заметил, что никто ее не пригласил на мазурку: знак был подан музыкантам начинать, кавалеры шумели стульями, устанавливая их в кружок, Лизавета Николавна отправилась в уборную, чтобы скрыть свою досаду: Печорин дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась в залу, начиналась уже вторая фигура: Печорин торопливо подошел к ней.

– Где вы скрывались, – сказал он, – я искал вас везде – приготовил даже стулья: так я сильно надеялся, что вы мне не откажете.

– Как вы самоуверенны.

И неожиданное удовольствие вспыхнуло в ее глазах.

– Однако ж вы меня не накажете слишком строго за эту самоуверенность?

Она не отвечала и последовала за ним.

Разговор их продолжался во время всего танца, блистая шутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики. Печорин не щадил ни одной из ее молодых и свежих соперниц. За ужином он сел возле нее, разговор подвигался всё далее и далее, так что наконец он чуть-чуть ей не сказал, что обожает ее до безумия (разумеется двусмысленным образом). Огромный шаг был сделан, и он возвратился домой, довольный своим вечером.

Несколько недель сряду после этого они встречались на разных вечерах; разумеется, он неутомимо искал этих встреч, а она по крайней мере их не избегала. Одним словом, он пошел по следам древних волокит и действовал по форме, классически. Скоро все стали замечать их постоянное влечение друг к другу, как явление новое и совершенно оригинальное в нашем холодном обществе. Печорин избегал нескромных вопросов, но зато действовал весьма открыто. Лизавета Николавна была также этим очень довольна, потому что надеялась завлечь его дальше и дальше и потом, как говорили наши матушки, же-

нить его на себе. Ее родители, не имея еще об нем никакого мнения, так, безо всяких видов пригласили, однако же, его посещать свой дом, чтоб узнать его короче. Многие уже стали над ним подсмеиваться, как над будущим женихом, добрые приятели стали уговаривать его, отклонять от безрассудного поступка, который ему не входил и в голову. Из этого всего он заключил, что минута решительного кризиса наступила.

Был блестящий бал у барона \*\*\*. Печорин по обыкновению танцевал первую кадрили с Лизаветою Николавной.

– Как хороша сегодня меньшая Р., – заметила Лизавета Николавна.

Печорин навел лорнет на молодую красавицу, долго смотрел молча и наконец отвечал:

– Да, она прекрасна. – С каким вкусом перевиты эти пунцовые цветы в ее густых, русых локонах, я непременно дал себе слово танцевать с нею сегодня, именно потому, что она вам нравится; не правда ли, я очень догадлив, когда хочу вам сделать удовольствие.

– О, без сомнения, вы очень любезны, – от-

вечала она вспыхнув.

В эту минуту музыка остановилась, первая кадрили кончилась, и Печорин очень вежливо раскланялся. Остальную часть вечера он или танцевал с Р... или стоял возле ее стула, старался говорить как можно больше и казаться как можно довольнее, хотя, между нами, девица Р\*\* была очень проста и почти его не слушала; но так как он говорил очень много, то она заключила, что Печорин – кавалер очень любезный. После мазурки она подошла к Лизавете Николавне, и та ее спросила с иронической улыбкою:

– Как вам кажется ваш постоянный нынешний кавалер?

– Il est très aimable,[45] – отвечала Р.

Это был жестокий удар для Лизаветы Николавны, которая почувствовала, что лишается своего последнего кавалера, – ибо остальные молодые люди, видя, что Печорин занимается ею исключительно, совершенно ее оставили.

И точно, с этого дня Печорин стал с нею рассеянее, холоднее, явно старался ей делать те мелкие неприятности, которые замечают-

ся всеми и за которые между тем невозможно требовать удовлетворения. Говоря с другими девушками, он выражался об ней с оскорбительным сожалением, тогда как она, напротив, вследствие плохого расчета, желая кольнуть его самолюбие, поверяла своим подругам под печатью строжайшей тайны свою чистейшую, искреннейшую любовь. Но напрасно, он только наслаждался излишним торжеством, а она, уверяя других, мало-помалу сама уверилась, что его точно любит. Родители ее, более проницательные в качестве беспристрастных зрителей, стали ее укорять, говоря: «Вот, матушка, целый год пропустила даром, отказала жениху с 20 тысячами дохода, правда, что он стар и в параличе, – да что нынешние молодые люди! Хорош твой Печорин, мы заранее знали, что он на тебе не женится, да и мать не позволит ему жениться! Что ж вышло? Он же над тобой и насмехается».

Разумеется, подобные слова не успокоят ни уязвленного самолюбия, ни обманутого сердца. Лизавета Николавна чувствовала их истину, но эта истина была уже для нее не нова. Кто долго преследовал какую-нибудь цель,

много для нее пожертвовал, тому трудно от нее отступить, а если к этой цели примыкают последние надежды увядающей молодости, то невозможно. В таком положении мы оставили Лизавету Николавну, приехавшую из театра, лежащую на постеле, с книжкой в руках, – и с мыслями, бродящими в минувшем и в будущем.

Наскучив пробежать глазами десять раз одну и ту же страницу, она нетерпеливо бросила книгу на столик и вдруг заметила письмо с адресом на ее имя и с штемпелем городской почты. Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конверт, но любопытство превозмогло, конверт сорван дрожащими руками, свеча придвинута, и глаза ее жадно пробегают первые строки. Письмо было написано приметно искаженным почерком, как будто боялись, что самые буквы изменят тайне. Вместо подписи имени внизу рисовалась какая-то египетская каракуля, очень похожая на пятна, видимые на луне, которым многие простолюдины придают какое-то символическое значение. Вот письмо от слова до слова:

«Милостивая Государыня!  
Вы меня не знаете, я вас знаю:[46] мы встречаемся часто, история вашей жизни так же мне знакома, как моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слышали. Я принимаю в вас участие именно потому, что вы никогда на меня не обращали внимания, и притом я нынче очень доволен собою и намерен сделать доброе дело: мне известно, что Печорин вам нравится, что вы всячески думаете снова возжечь в нем чувства, которые ему никогда не снились, он с вами пошутил – он недостоин вас: он любит другую, все ваши старания послужат только к вашей гибели, свет и так указывает на вас пальцами, скоро он совсем от вас отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вам такие неосторожные и смелые советы. И чтобы вы более убедились в моем бескорыстии, то я клянусь вам, что вы никогда не узнаете моего имени. Вследствие чего остаюсь ваш покорнейший слуга: Каракула».

От такого письма с другою сделалась бы

истерика, но удар, поразив Лизавету Николавну в глубину сердца, не подействовал на ее нервы, она только побледнела, торопливо сожгла письмо и сдула на пол легкий его пепел.

Потом она погасила свечу и обернулась к стене: казалось, она плакала, но так тихо, так тихо, что если бы вы стояли у ее изголовья, то подумали бы, что она спит покойно и безмятежно.

На другой день она встала бледнее обыкновенного, в десять часов вышла в гостиную, разливала сама чай по обыкновению. Когда убрали со стола, отец ее уехал к должности, мать села за работу, она пошла в свою комнату: проходя через залу, ей встретился лакей.

– Куда ты идешь? – спросила она.

– Доложить-с.

– О ком?

– Вот тот-с... офицер... Господин Печорин...

– Где он?

– У крыльца остановился.

Лизавета Николавна покраснела, потом снова побледнела и потом отрывисто сказала лакею:

– Скажи ему, что дома никого нет. И когда он еще придет, – прибавила она, как бы с трудом выговаривая последнюю фразу, – то не принимать!..

Лакей поклонился и ушел, а она опрометью бросилась в свою комнату.

## **Глава IV**

**П**олучив такой решительный отказ, Печорин, как вы сами можете догадаться, не удивился: он приготовился к такой развязке и даже желал ее. Он отправился на Морскую, сани его быстро скользили по сыпучему снегу: утро было туманное и обещало близкую оттепель. Многие жители Петербурга, прошедшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию здешнего неба. Какое-то печальное равнодушие, подобное тому, с каким наше северное солнце отворачивается от неблагодарной здешней земли, закрадывается в душу, приводит в оцепенение все жизненные органы. В эту минуту сердце неспособно к энтузиазму, ум к размышлению. В подобном расположении находился Печорин. Неожиданный успех увенчал его легкомысленное предприятие, и он даже не обрадовал-

ся. Через несколько минут он должен был увидеться с женщиною, которая была постоянно его мечтою в продолжении нескольких лет, с которою он был связан прошедшим, для которой был готов отдать свою будущность, — и сердце его не трепетало от нетерпения, страха, надежды. Какое-то болезненное замирание, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которые подобно тяжелым облакам осаждали ум его, предвещали одни близкую бурю душевную. Вспоминая прежнюю пылкость, он внутренно досадовал на теперешнее свое спокойствие.

Вот сани его остановились перед одним домом; он вышел и взялся за ручку двери, но прежде чем он отворил ее, минувшее как сон проскользнуло в его воображении, и различные чувства внезапно, шумно пробудились в душе его. Он сам испугался громкого биения сердца своего, как пугаются сонные жители города при звуке ночного набата. Какие были его намерения, опасения и надежды, известно только богу, но, по-видимому, он готов был сделать решительный шаг, дать новое направление своей жизни. Наконец дверь отво-

рилась, и он медленно взошел по широкой лестнице. На вопрос швейцара, кого ему угодно, он отвечал вопросом: «дома ли княгиня Вера Дмитриевна?»

– Князь Степан Степанович у себя-с.

– А княгиня? – повторил нетерпеливо Печорин.

– Княгиня также-с.

Печорин сказал швейцару свою фамилию, и тот пошел доложить.

Сквозь полураскрытую в залу дверь Печорин бросил любопытный взгляд, стараясь сколько-нибудь по убранству комнат угадать хотя слабый оттенок семейной жизни хозяев, но увы! В столице все залы схожи между собою, как все улыбки и все приветствия. Один только кабинет иногда может разоблачить домашние тайны, но кабинет так же непрозрачен для посторонних посетителей, как сердце; однако же краткий разговор с швейцаром позволил догадаться Печорину, что главное лицо в доме был князь. «Странно, – подумал он, – она вышла замуж за старого, неприятного и обыкновенного человека, вероятно, для того, чтоб делать свою волю, и что

же, если я отгадал правду, если она добровольно переменяла одно рабство на другое, то какая же у нее была цель? Какая причина?.. Но нет, любить она его не может, за это я ручаюсь головой».

В эту минуту швейцар взошел и торжественно произнес:

– Пожалуйте, князь в гостиной.

Медленными шагами Печорин прошел через зал, взор его затуманился, кровь прилила к сердцу. Он чувствовал, что побледнел, когда перешел через порог гостиной. Молодая женщина в утреннем атласном капоте и блондовом чепце сидела небрежно на диване; возле нее на креслах в мундирном фраке сидел какой-то толстый, лысый господин с огромными глазами, налитыми кровью, и бесконечно широкой улыбкой; у окна стоял другой в сертуке, довольно сухощавый, с волосами, обстриженными под гребенку, с обвислыми щеками и довольно неблагоприятным выражением лица, он просматривал газеты и даже не обернулся, когда взошел молодой офицер. Это был сам кн<язь> Степан Степанович.

Молодая женщина поспешно встала, обра-

тясь к Печорину с каким-то очень неясным приветствием, потом подошла к князю и сказала ему:

– Mon ami, вот господин Печорин, он старинный знакомый нашего семейства... Monsieur Печорин, рекомендую вам моего мужа.

Князь бросил газеты на окно, раскланялся, хотел что-то сказать, но из уст его вышли только отрывистые слова:

– Конечно... мне очень приятно... семейство жены моей... что вы так любезны... я поставил себе за долг... ваша матушка такая почтенная дама, – я имел честь быть вчерась у нее с женой.

– Матушка с сестрой хотела сама быть у вас сегодня, но она немного нездорова и поручила мне засвидетельствовать вам свое почтение.

Печорин сам не знал, что говорил. Опомившись и думая, что он сказал глупость, он принял какой-то холодный принужденный вид. Княгине показалось, вероятно, что этой фразой он хотел объяснить свой визит, как будто бы невольный. Выражение лица ее

также сделалось так же принужденно. Она подозревала намерение упрекнуть, щеки ее готовы были вспыхнуть, но она быстро отвернулась, сказала что-то толстому господину, тот захохотал и громко произнес: «о, да!» – Потом она пригласила Печорина сесть, заняла сама прежнее место, а князь взял опять в руки свои газеты.

Княгиня Вера Дмитриевна была женщина 22 лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и таким образом, резко отличая ее от других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна. Бесперывная изменчивость ее физиономии, по-видимому, несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещаю-

щую столько наслаждений догадливому любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принести счастье в жертву правилам, но не молве. Увидавши же ее в минуту страсти и волнения, вы сказали бы совсем другое – или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать.

Несколько минут Печорин и она сидели друг против друга в молчании, затруднительном для обоих. Толстый господин, который был по какому-то случаю барон, воспользовался этим промежутком времени, чтоб объяснить подробно свои родственные связи с прусским посланником. Княгиня разными вопросами очень ловко заставляла барона еще более растягивать речь свою; Жорж, пристально устремив глаза на Веру Дмитриевну, старался, но тщетно, угадать ее тайные мысли; он видел ясно, что она не в своей тарелке, озабочена, взволнованна. Ее глаза то тускнели, то блистали, губы то улыбались, то сжи-

мались; щеки краснели и бледнели попеременно: но какая причина этому беспокойству?.. Может быть, домашняя сцена, до него случившаяся, потому что князь явно был не в духе, может быть, радость и смущение воскресавшей или только вновь пробуждающейся любви к нему, может быть, неприятное чувство при встрече с человеком, который знал некоторые тайны ее жизни и сердца, который имел право и, может быть, готов был ее упрекнуть...

Печорин, не привыкший толковать женские взгляды и чувства в свою пользу, – остановился на последнем предположении... из гордости он решился показать, что, подобно ей, забыл прошедшее и радуется ее счастью... Но невольно в его словах звучало оскорбленное самолюбие; – когда он заговорил, то княгиня вдруг отвернулась от барона... и тот остался с отверстым ртом, готовясь произнести самое важное и убедительнейшее заключение своих доказательств.

– Княгиня, – сказал Жорж... – извините, я еще не поздравил вас... с княжеским титулом!.. Поверьте однако, что я с этим намере-

нием спешил иметь честь вас увидеть... но когда вошел сюда... то происшедшая в вас перемена так меня поразила, что признаюсь... забыл долг вежливости...

– Я постарела, не правда ли? – отвечала Вера, наклонив головку к правому плечу.

– О! Вы шутите! Разве в счастья стареют... напротив, вы пополнили, вы...

– Конечно, я очень счастлива, – прервала его княгиня.

– Это молва всеобщая: многие молодые девушки вам завидуют... впрочем вы так благо-разумны, что не могли не сделать такого достойного выбора... весь свет восхищается любовью, умом и талантами вашего супруга... (барон сделал утвердительный знак головой), – княгиня чуть-чуть не улыбнулась, потом вдруг досада изобразилась на ее лице.

– Я вам отплачу комплиментом за комплимент, monsieur Печорин... вы также переменились к лучшему.

– Как быть? Время всеильно... даже наши одежды, подобно нам самим, подвержены чудным изменениям – вы теперь носите блондовый чепчик, я вместо фрака москов-

ского недоросля или студенческого сертука ношу мундир с эполетами... Вероятно, от этого я имею счастье вам нравиться больше, чем прежде... вы теперь так привыкли к блеску!

Княгиня хотела отомстить за эпиграмму:

– Прекрасно! – воскликнула она: – вы отгадали... и точно, нам бедным москвитянкам гвардейский мундир истинная диковинка!.. – она насмешливо улыбнулась, барон захохотал, – и Печорин на него взбесился.

– У вас такой усердный союзник, княгиня, – сказал он, – что я должен признаться побежденным. Я уверен, что барон при данном знаке готов меня сокрушить всей своей тяжестью.

Барон плохо понимал по-русски, хотя родился в России; он захохотал пуще прежнего, думая, что это комплимент, относящийся к нему вместе с Верою Дмитриевной. – Печорин пожал плечами; и разговор снова остановился. – К счастью, князь подошел, преважно держа в руке газеты.

– Вот это до тебя касается, – сказал он жене, – новый магазин на днях открыт на Невском. Я покажу вам, – сказал он, обращаясь к

гостям, – петербургский гостинец, который я вчера купил жене: все говорят, что серьги самые модные, а жена говорит, что нет, как будут по вашему вкусу?

Он пошел в другую комнату и принес сафьянную коробочку. Часто повторяемое князем слово жена как-то грубо и неприятно отзывалось в ушах Печорина; он с первого слова узнал в князе человека недалекого, а теперь убедился, что он даже человек не светский. Серьги переходили из рук в руки, барон произнес над ними несколько протяжных восклицаний, Печорин после него стал машинально их рассматривать.

– А как вы думаете, – спросил князь Степан Степанович, спрятавшись в галстух и одной рукой вытаскивая накрахмаленный воротничок, – сколько я за них заплатил, отдайте!

Серьги по большей мере стоили 80 рублей, а были заплочены 75. Печорин нарочно сказал 150. Это озадачило князя. Он ничего не отвечал, стыдясь сказать правду, и сел на канapé, очень немилостиво поглядывая на Печорина. Разговор сделался общим разменом го-

родских новостей, московских известий: князь, несколько развеселившись, объявил очень откровенно, что если б не тяжёбое дело, то никак бы не оставил Москвы и Английского клуба, прибавляя, что здешний Английский клуб ничто перед московским. Наконец Печорин встал, раскланялся и дошел уже до двери, как вдруг княгиня вскочила с своего места и убедительно просила его не позабыть поцеловать за нее милую Вареньку сто раз, тысячу раз. Печорину хотелось ей заметить, что он не может передать словесных поцелуев, но ему было не до шуток, и он очень важно опять поклонился. Княгиня улыбнулась ему той ничего не выражающей улыбкою, которая разливается на устах танцовщицы, оканчивающей пируэт.

С горьким предчувствием он вышел из комнаты: пройдя залу, обернулся, княгиня стояла в дверях, неподвижно смотрела ему вслед: заметив его движение, она исчезла.

– Странно, – подумал Печорин, садясь в сани, – было время, когда я читал на лице ее все движенья мысли так же безошибочно, как собственную рукопись, а теперь я ее не пони-

маю, совершенно не понимаю.

## Глава V

До 19-летнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и наконец увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, то сделался бы странствующим студентом. Но скажите ради бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой повелителю 3 т<ысяч> душ и племяннику 20 т<ысяч> московских тетушек. Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпою таких же негодяев,[47] как он, в Петровский, в Сокольники и Марьино рощу. Можете вообразить, что они не брали с собою тетрадей и книг, чтоб не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были все молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и аксельбантам, не догадываясь, что в наш

век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение.

Печорин с товарищи являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их *la bande joyeuse*. [48]

Приближалось для Печорина время экзамена: он в продолжение года почти не ходил на лекции и намеревался теперь пожертвовать несколько ночей науке и одним прыжком догнать товарищей: вдруг явилось обстоятельство, которое помешало ему исполнить это геройское намерение. У матери Печорина Татьяны Петровны бывали детские вечера для маленькой дочери: на эти вечера съезжались и взрослые барышни и переспелые девы, жадные до всяких возможных вечеров. Дети ложились спать в 10 часов, их сменяли на паркете большие. На эти вечера являлись часто отец и дочь Р-вы. Они были старинные знакомые Татьяны Петровны и даже несколь-

ко ей сродни. Дочь этого госпо<дина> Р\* называлась тогда просто Верочка. Жорж, привыкнув видеться с нею часто, не находил в ней ничего особенного, она же избегала его разговора. Раз собралась большая компания ехать в Симонов монастырь[49] ко всенощной молиться, слушать певчих и гулять. Это было весною: уселись в длинные линии, запряженные каждая в 6 лошадей, и тронулись с Арбата веселым караваном. Солнце склонялось к Воробьевым горам, и вечер был в самом деле прекрасен.

По какому-то случаю Жоржу пришлось сидеть рядом с Верочкою, он этим был сначала недоволен: ее 17-летняя свежесть и скромность казались ему верными признаками холодности и чересчур приторной сердечной невинности: кто из нас в 19 лет не бросался очертя голову вослед отцветающей кокетке, которых слова и взгляды полны обещаний, и души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их – блеск очаровательный, внутри смерть и прах.

Выехав уже за город, когда растворенный воздух вечера освежил веселых путешествен-

ников, Жорж разговорился с своей соседкою. Разговор ее был прост, жив и довольно свободен. Она была несколько мечтательна, но не старалась этого выказывать, напротив, стыдилась этого, как слабости. Суждения Жоржа в то время были резки, полны противуречий, хотя оригинальны, как вообще суждения молодых людей, воспитанных в Москве и привыкших без принуждения постороннего развивать свои мысли.[50]

Наконец приехали в монастырь. До всенощной ходили осматривать стены, кладбище; лазили на площадку западной башни, ту самую, откуда в древние времена наши предки следили движения, и последний Новик открыл так поздно имя свое и судьбу свою[51] и свое изгнанническое имя. Жорж не отставал от Верочки, потому что неловко было бы уйти, не кончив разговора, а разговор был такого рода, что мог продолжиться до бесконечности. Он и продолжался всё время всенощной, исключая тех минут, когда дивный хор монахов и голос отца Виктора погружал их в безмолвное умиление. Но зато после этих минут разгоряченное воображение и чувства, взвол-

нованные звуками, давали новую пищу для мыслей и слов. После всенощной опять гуляли и возвратились в город тем же порядком, очень поздно. Жорж весь следующий день думал об этом вечере, потом поехал к Р-вым, чтоб поговорить об нем и передать свои впечатления той, с которой он их разделял. Визиты делались чаще и продолжительнее, по короткости обоих домов они не могли обратиться на себя никакого подозрения; так прошел целый месяц, и они убедились оба, что влюблены друг в друга до безумия. В их лета, когда страсть есть наслаждение, без примеси забот, страха и раскаяния, очень легко убедиться во всем. У Жоржа была богатая тетушка, которая в той же степени была родня и Р-вым. Тетушка пригласила оба семейства погостить к себе в Подмосковную недели на две, дом у нее был огромный, сады большие, одним словом, все удобства. Частые прогулки сблизили еще более Жоржа с Верочкой; несмотря на толпу мадамов и детей тетушки, они как-то всегда находили средство быть вдвоем: средство впрочем очень легкое, если обоим этого хочется.

Между тем в университете шел экзамен.

Жорж туда не явился: разумеется, он не получил аттестата, но о будущем он не заботился, и уверил мать, что экзамен отложен еще на три недели, и что он всё знает. Вечерние прогулки имели необходимым следствием объяснение, потом клятвы в верности, наконец, когда двухнедельный срок кончился, надобно было возвращаться в Москву. Накануне рокового дня (это было вечером) они стояли вдвоем на балконе, какой-то невидимый демон сблизил их уста и руки в безмолвное пожатие, в безмолвный поцелуй!.. Они испугались самих себя, и хотя Жорж рано с помощью товарищей вступил на соблазнительное поприще разврата... но честь невинной девушки была еще для него святыней. На другой день, садясь в экипажи, они раскланялись по-прежнему, очень учтиво, но Верочка покраснела, и глаза ее блистали.

Обман Жоржа открылся, как скоро приехали в Москву, отчаяние Татьяны Петровны было ужасно, брань ее неистощима. Жорж с покорностью и молча выслушал всё как стоик; но гроза невидимая сбиралась над ним. В комитете дядюшек и тетюшек было положено,

что его надобно отправить в Петербург и отдать в Юнкерскую школу: другого спасения они для него не видали. «Там, – говорили они, – его прошколят и выучат дисциплине».

В это время открылась Польская кампания, вся молодежь спешила определяться в полки, вступить в школу было для Жоржа невыгодно, потому что юнкера 2 класса не должны были идти в поход. Он почти на коленях выпросил у матери позволение вступить в Н... гусарский полк, стоявший недалеко от Москвы. После многого плаканья и оханья получил он ее благословение, но самое трудное оставалось ему еще сделать: надобно было объявить об этом Верочке. Он был так еще невинен душою, что боялся убить ее неожиданным известием. Однако ж она выслушала его молча и устремила на него укоризненный взгляд, не веря, чтоб какие бы то ни было обстоятельства могли его заставить разлучиться с нею: клятва и обещания ее успокоили.

Через несколько дней Жорж приехал к Р-вым, чтоб окончательно проститься. Верочка была очень бледна, он посидел недолго в го-

стиной, когда же вышел, то она, пробежав через другие двери встретила его в зале. Она сама схватила его за руку, крепко ее сжала и произнесла неверным голосом: «Я никогда не буду принадлежать другому». – Бедная, она дрожала всем телом. Эти ощущения были для нее так новы, она так боялась потерять друга, она так была уверена в собственном сердце. Напечатлев жаркий поцелуй на холодном девственном челе ее, Жорж посадил ее на стул, опрометью сбежал с лестницы и поскакал домой. Вечером пришел лакей от Р. к Татьяне Петровне просить склянку с какими-то каплями и спирту, потому, что, дескать, барышня очень нездорова и раза три была без памяти. Это был ужасный удар для Жоржа, он целую ночь не спал, чем свет сел в дорожную коляску и отправился в полк.

До сих пор, любезные читатели, вы видели, что любовь моих героев не выходила из общих правил всех романов и всякой начинающейся любви. Но зато впоследствии... О! Впоследствии вы увидите и услышите чудные вещи.

Печорин в продолжение кампании отли-

чался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат, любезничал с многими паннами, но минуты последнего расставанья и милый образ Верочки постоянно тревожили его воображение. Чудное дело! Он уехал с твердым намерением ее забыть, а вышло наоборот (что почти всегда и выходит в таких случаях). Впрочем Печорин имел самый несчастный нрав: впечатления, сначала легкие, постепенно врезывались в его ум всё глубже и глубже, так что впоследствии эта любовь приобрела над его сердцем право давности, священнейшее из всех прав человечества.

После взятия Варшавы[52] он был переведен в гвардию, мать его с сестрою переехали жить в Петербург, Варенька привезла ему поклон от своей милой Верочки, как она ее называла, – ничего больше как поклон. Печорина это огорчило – он тогда еще не понимал женщин. Тайная досада была одна из причин, по которым он стал волочиться за Лизаветой Николавной, слухи об этом, вероятно, дошли до Верочки. Через полтора года он узнал, что она вышла замуж; через два года приехала в

Петербург уже не Верочка, а княгиня Лиговская и князь Степан Спеп<анович>.

Тут, кажется, мы остановились в предыдущей главе.

## Глава VI

Дни через три после того, как Печорин был ду князя, Татьяна Петровна пригласила несколько человек знакомых и родных отобедать. Степан Степанович с супругою был, разумеется, в числе.

Печорин сидел в своем кабинете и хотел уже одеваться, чтоб выйти в гостиную, когда взошел к нему артиллерийский офицер.

– А, Браницкий, – воскликнул Печорин, – я очень рад, что ты так кстати заехал, ты непременно будешь у нас обедать. Вообрази, у нас ныне полон дом молодых девушек, и я один, отдан им на жертву, ты всех их знаешь, сделай одолжение останься обедать!

– Ты так убедительно просишь, – отвечал Браницкий, – как будто предчувствуешь отказ.

– Нет, ты не смеешь отказаться, – сказал Печорин, он кликнул человека и велел отпустить сани Браницкого домой.

Дальнейший разговор их я не передаю, потому что он был бессвязен и пуст, как разговоры всех молодых людей, которым нечего делать. И в самом деле, скажите, об чем могут говорить молодые люди? Запас новостей скоро истощается, в политику благоразумие мешает пускаться, об службе и так слишком много толкуют на службе, а женщины в наш варварский век утратили вполовину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно.

Когда несколько гостей съехалось, Печорин и Браницкий вошли в гостиную. Там на 3-х столах играли в вист. Покуда маменьки считали козыри, дочери, усевшись вокруг небольшого столика, разговаривали о последнем бале, о новых модах. Офицеры подошли к ним, Браницкий искусно оживил непринужденной болтовней их небольшой кружок, Печорин был рассеян. Он давно замечал, что Браницкий ухаживал за его сестрой и, не входя в рассмотрение дальнейших следствий, не тревожил приятеля наблюдением, а сестру нескромными вопросами. Вареньке казалось очень приятно, что такой ловкий молодой че-

ловек приметно отличает ее от других, ее, которая даже еще не выезжает.

Мало-помалу гости съезжались. Кн<язь> Лиговской и княгиня приехали одни из последних. Варенька бросилась навстречу своей старой приятельнице, княгиня поцеловала ее с видом покровительства. Вскоре сели за стол.

Столовая была роскошно убранная комната, увешанная картинами в огромных золотых рамах: их темная и старинная живопись находилась в резкой противоположности с украшениями комнаты, легкими, как всё, что в новейшем вкусе. Действующие лица этих картин – одни полунагие, другие живописно завернутые в греческие мантии или одетые в испанские костюмы, в широкополых шляпах с перьями, с прорезными рукавами, пышными манжетами, – брошенные на этот холст рукою художника в самые блестящие минуты их мифологической или феодальной жизни, казалось, строго смотрели на действующих лиц этой комнаты, озаренных сотнею свеч, не помышляющих о будущем, еще менее о прошлом, съехавшихся на пышный обед не столько для того, чтобы насладиться дарами

роскоши, но одни, чтоб удовлетворить тщеславию ума, тщеславию богатства, другие из любопытства, из приличий, или для каких-либо других сокровенных целей. В одежде этих людей, так чинно сидевших вокруг длинного стола, уставленного серебром и фарфором, так же как в их понятиях, были перемешаны все века. В одеждах их встречались глубочайшая древность с самой последней выдумкой парижской модистки, греческие прически, увитые гирляндами из поддельных цветов, готические серьги, еврейские тюрбаны, далее волосы, вздернутые кверху *à la chinoise*,<sup>[53]</sup> букли *à la Sévigné*,<sup>[54]</sup> пышные платья наподобие *фижм*, рукава, чрезвычайно широкие или чрезвычайно узкие. У мужчин прически *à la jeune France*,<sup>[55]</sup> *à la russe*,<sup>[56]</sup> *à la moyen âge*,<sup>[57]</sup> *à la Titus*,<sup>[58]</sup> гладкие подбородки, усы, испаньолки, бакенбарды и даже бороды, кстати было бы тут привести стих Пушкина: «какая смесь одежд и лиц!»<sup>[59]</sup> Понятия же этого общества были такая путаница, которую я не берусь объяснить.

Печорину пришлось сидеть наискось про-

тиву княгини Веры Дмитриевны, сосед его по левую руку был какой-то рыжий господин, увешанный крестами, который ездил к ним в дом только на званые обеды, по правую же сторону Печорина сидела дама лет 30-ти, чрезвычайно свежая и моложавая, в малиновом токе,[60] с перьями, и с гордым видом, потому что она слыла неприступною добродетелью. Из этого мы видим, что Печорин, как хозяин, избрал самое дурное место за столом.

Возле Веры Дмитриевны сидела по одну сторону старушка, разряженная, как кукла, с седыми бровями и черными пуклями, по другую дипломат, длинный и бледный, причесанный à la russe и говоривший по-русски хуже всякого француза. После 2-го блюда разговор начал оживляться.

– Так как вы недавно в Петербурге, – говорил дипломат княгине, – то, вероятно, не успели еще вкусить и постигнуть все прелести здешней жизни. Эти здания, которые с первого взгляда вас только удивляют как всё великое, со временем сделаются для вас бесценны, когда вы вспомните, что здесь развилось и выросло наше просвещение, и когда

увидите, что оно в них уживается легко и приятно. Всякий русский должен любить Петербург: здесь всё, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно собралось, чтоб подать дружескую руку Европе. Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь жизнь, здесь наши надежды...

Так высокопарно и мудрено говорил художавый дипломат, который имел претензию быть великим патриотом. Кн<ягиня> улыбнулась и отвечала рассеянно:

– Может быть, со временем я полюблю и Петербург, но мы, женщины, так легко предаемся привычкам сердца и так мало думаем, к сожалению, о всеобщем просвещении, о славе государства! Я люблю Москву. С воспоминанием об ней связана память о таком счастливом времени! А здесь, здесь всё так холодно, так мертво... О, это не мое мнение; это мнение здешних жителей. – Говорят, что въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно.

Эти слова она сказала, улыбаясь дипломату и взглянув на Печорина.

Дипломат взбеленился:

– Какие ужасные клеветы про наш милый город, – воскликнул он, – а всё это старая сплетница Москва, которая из зависти клеветает на молодую свою соперницу.

При слове «старая сплетница» разряженная старушка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею.

– Чтоб решить наш спор, – продолжал дипломат, – выберемте посредника, княгиня: вот хоть Григория Александровича, он очень прилежно слушал наш разговор. Как вы думаете об этом? Monsieur Печорин, скажите по совести и не принесите меня в жертву учтивости. Вы одобряете мой выбор, княгиня?

– Вы выбрали судью довольно строгого, – отвечала она.

– Как быть, наш брат всегда наблюдает свои выгоды, – возразил дипломат с самодовольной улыбкою. – Monsieur Печорин, извольте же решить.

– Мне очень жаль, – сказал Печорин, – что вы ошиблись в своем выборе. Из всего вашего спора я слышал только то, что сказала княгиня.

Лицо дипломата вытянулось.

– Однако ж, – сказал он, – Москве или Петербургу отдадите вы преимущество?

– Москва моя родина, – отвечал Печорин, стараясь отделаться.

– Однако ж которая?.. – дипломат настаивал с упорством.

– Я думаю, – прервал его Печорин, – что ни здания, ни просвещение, ни старина не имеют влияния на счастье и веселость. А меняются люди за петербургской заставой и за московским шлагбаумом потому, что если б люди не менялись, было бы очень скучно.

– После такого решения, княгиня, – сказал дипломат, – я уступаю свое дипломатическое звание господину Печорину. Он увернулся от решительного ответа, как Талейран или Меттерних.[61]

– Григорий Александрович, – возразила княгиня, – не увлекается страстью или пристрастием, он следует одному холодному рассудку.

– Это правда, – отвечал Печорин, – я теперь стал взвешивать слова свои и рассчитывать поступки, следуя примеру других. Когда я

увлекался чувством и воображением, надомною смеялись и пользовались моим просто-сердечием, но кто же в своей жизни не делал глупостей! И кто не раскаивался! Теперь по чести я готов пожертвовать самую чистейшую, самую воздушную любовь для 3 т<ысяч> душ с винокуренным заводом и для какого-нибудь графского герба на дверцах кареты! Надобно пользоваться случаем, такие вещи не падают с неба! Не правда ли? – Этот неожиданный вопрос был сделан даме в малиновом берете.

Молчаливая добродетель пробудилась при этом неожиданном вопросе, и страусовые перья заколышались на берете. Она не могла тотчас ответить, потому что ее невинные зубки жевали кусок рябчика с самым добродетельным старанием: все с нетерпением молча ожидали ее ответа. Наконец она открыла уста и важно молвила:

- Ко мне ли ваш вопрос относится?
- Если вы позволите, – отвечал Печорин.
- Не хотите ли вы разделить со мною вашу роль посредника и судьи?
- Я б желал вам передать ее совсем.

– Ах, избавьте!

В эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себе на тарелку и продолжала:

– Вот, адресуйтесь к княгине, она, я думаю, гораздо лучше может судить о любви и об графском или о княжеском титуле.

– Я бы желал слышать ваше мнение, – сказал Печорин, – и решился победить вашу скромность упрямством.

– Вы не первые, и вам это не удастся, – сказала она с презрительной улыбкой. – Притом я не имею никакого мнения о любви.

– Помилуйте! В ваши лета не иметь никакого мнения о таком важном предмете для всякой женщины.

Добродетель обиделась,

– То есть, я слишком стара, – воскликнула она покраснев.

– Напротив, я хотел сказать, что вы еще так молоды.

– Слава богу, я уж не ребенок... вы оправдались очень неудачно.

– Что делать! – я вижу, что увеличил единицею несметное число несчастных, которые

вам напрасно стараются понравиться...

Она от него отвернулась, а он чуть не засмеялся вслух.

– Кто эта дама? – шепотом спросил у него рыжий господин с крестами.

– Баронесса Штраль, [62] – отвечал Печорин.

– Аа! – сделал рыжий господин.

– Вы, конечно, об ней много слышали?

– Нет-с, ничего формально.

– Она уморила двух мужей, – продолжал Печорин, – теперь за третьим, который верно ее переживет.

– Ого! – сказал рыжий господин и продолжал уписывать соус, униженный трюфелями.

Таким образом разговор прекратился, но дипломат взял на себя труд возобновить его.

– Если вы любите искусства, – сказал он, обращаясь к княгине, – то я могу вам сказать весьма приятную новость, картина Брюлова: «Последний день Помпеи» едет в Петербург. [63] Про нее кричала вся Италия, французы ее разбранили. Теперь любопытно знать, куда склонится русская публика, на сторону истинного вкуса или на сторону моды.

Княгиня ничего не отвечала, она была в рассеянности – глаза ее бродили без цели вдоль по стенам комнаты, и слово «картина» только заставило их остановиться на изображении какой-то испанской сцены, висевшем противу нее. Это была старинная картина, довольно посредственная, но получившая ценность оттого, что краски ее полиняли и лак растрескался. На ней были изображены три фигуры: старый и седой мужчина, сидя на бархатных креслах, обнимал одною рукою молодую женщину, в другой держал он бокал с вином. Он приближал свои румяные губы к нежной щеке этой женщины и проливал вино ей на платье. Она, как бы нехотя повинувшись его грубым ласкам, перегнувшись через ручку кресел и облокотясь на его плечо, отворачивалась в сторону, прижимая палец к устам и устремив глаза на полуотворенную дверь, из-за которой во мраке сверкали два яркие глаза и кинжал.

Княгиня несколько минут со вниманием смотрела на эту картину и наконец попросила дипломата объяснить ее содержание.

Дипломат вынул из-за галстуха лорнет,

прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это должна быть копия с Рембранта или Мюрилла.

– Впрочем, – прибавил он, – хозяин ее должен лучше знать, что она изображает.

– Я не хочу вторично затруднять Григория Александровича разрешениями вопросов, – сказала Вера Дмитриевна и опять устремила глаза на картину.

– Сюжет ее очень прост, – сказал Печорин, не дожидаясь, чтобы его просили, – здесь изображена женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобы удобнее обманывать богатого и глупого старика. В эту минуту она, кажется, что-то у него выпрашивает и удерживает бешенство любовника ложными обещаниями. Когда она выманит искусственным поцелуем всё, что ей хочется, она сама откроет дверь и будет хладнокровною свидетельницей убийства.

– Ах, это ужасно! – воскликнула княгиня.

– Может быть, я ошибаюсь, дав такой смысл этому изображению, – продолжал Печорин, – мое истолкование совершенно про-

извольное.

– Неужели вы думаете, что подобное коварство может существовать в сердце женщины?

– Княгиня, – отвечал Печорин сухо, – я прежде имел глупость думать, что можно понимать женское сердце. Последние случаи моей жизни меня убедили в противном, и поэтому я не могу решительно ответить на ваш вопрос.

Княгиня покраснела, дипломат обратил на нее испытующий взор и стал что-то чертить вилокю на дне своей тарелки. Дама в малиновом берете была как на иголках, слыша такие ужасы, и старалась отодвинуть свой стул от Печорина, а рыжий господин с крестами значительно улыбнулся и проглотил три трюфели разом.

Остальное время обеда дипломат и Печорин молчали, княгиня завела разговор с старушкою, добродетель горячо об чем-то спорила с своей соседкой с правой стороны, рыжий господин ел.

За десертом, когда подали шампанское, Печорин, подняв бокал, обратился к княгине:

– Так как я не имел счастья быть на вашей свадьбе, то позвольте поздравить вас теперь.

Она посмотрела на него с удивлением и ничего не ответила. Тайное страдание изобразилось на ее лице, столь изменчивом, – рука ее, державшая стакан с водою, дрожала... Печорин всё это видел, и нечто похожее на раскаяние закралось в грудь его: за что он ее мучил? – с какой целью? – какую пользу могло ему принести это мелочное мщение?.. – Он себе в этом не мог дать подробного отчета.

Вскоре стулья зашумели: встали из-за стола и пошли в приемные комнаты... Лакеи на серебряных подносах стали разносить кофе, некоторые мужчины, не игравшие в вист – и в их числе князь Степан Степ<анович>, пошли в кабинет Печорина курить трубки, а княгиня под предлогом, что у нее развились локоны, удалилась в комнату Вареньки. Она притворила за собою двери, бросилась в широкие кресла; неизъяснимое чувство стеснило ее грудь, слезы набежали на ресницы, стали капать чаще и чаще на ее разгоревшиеся ланиты, и она плакала, горько плакала, покуда ей не пришло в мысль, что с красными гла-

зами неловко будет показаться в гостиную. Тогда она встала, подошла к зеркалу, осушила глаза, натерла виски одеколоном и духами, которые в цветных и граненых склянках стояли на туалете. По временам она еще всхлипывала, и грудь ее подымалась высоко, но это были последние волны, забытые на гладком море пролетевшим ураганом.

Об чем же она плакала, спрашиваете вы, и я вас спрошу, об чем женщины не плачут? Слезы их оружие наступательное и оборонительное. Досада, радость, бессильная ненависть, бессильная любовь имеют у них одно выражение: Вера Дмитриевна сама не могла дать отчета, какое из этих чувств было главной причиною ее слез. Слова Печорина глубоко ее оскорбили; но странно, она его за это не возненавидела. Может быть, если б в его упреке проглядывало сожаление о минувшем, желание ей снова нравиться, она бы сумела отвечать ему колкой насмешкой и равнодушием, но, казалось, в нем было оскорблено одно самолюбие, а не сердце, — самая слабая часть мужчины, подобная пятке Ахиллеса, и по этой причине оно в этом сражении

оставалось вне ее выстрелов. Казалось, Печорин гордо вызывал на бой ее ненависть, чтобы увериться, так же ли она будет недолговременна, как любовь ее, – и он достиг своей цели. Ее чувства взволновались, ее мысли смутились, первое впечатление было сильное, а от первого впечатления зависело всё остальное: он это знал и знал также, что самая ненависть ближе к любви, нежели равнодушие.

Княгиня уже собиралась возвратиться в гостиную, как вдруг дверь легонько скрипнула, и вошла Варенька.

– Я тебя искала, *chère amie*, – воскликнула она, – ты, кажется, нездорова...

Вера Дмитриевна томно улыбнулась ей и сказала:

– У меня болит голова, там так жарко...

– Я за столом часто на тебя взглядывала, – продолжала Варенька, – ты всё время молчала, мне досадно было, что я не села возле тебя, тогда, может быть, тебе не было <бы> так скучно.

– Мне вовсе не было скучно, – отвечала княгиня, горько улыбнувшись, – Григорий

Александрович был очень любезен.

– Послушай, мой ангел, я не хочу, чтоб ты называла брата Григорий Александрович. Григорий Александрович – это так важно: точно вы будто вчера только познакомились. Отчего не называть его просто Жорж, как прежде, он такой добрый.

– О, я этого последнего достоинства в нем ныне не заметила, он мне ныне наговорил таких вещей, которые б другая ему никогда не простила.

Вера Дмитриевна почувствовала, что проговорилась, но успокоилась тем, что Варенька, ветреная девочка, не обратит внимания на ее последние слова или скоро позабудет их. Вера Дмитриевна, к несчастью ее, была одна из тех женщин, которые обыкновенно осторожнее и скромнее других, но в минуты страсти проговариваются.

Поправя свои локоны перед зеркалом, она взяла под руку Вареньку, и обе возвратились в гостиную, а мы пойдем в кабинет Печорина, где собралось несколько молодых людей и где князь Степан Степанович с цигаркою в зубах тщетно старался вмешаться в их разговор. Он

не знал ни одной петербургской актрисы, не знал ключа ни одной городской интриги и, как приезжий из другого города, не мог рассказать ни одной интересной новости. Женившись на молодой женщине, он старался казаться молодым на зло подставным зубам и некоторым морщинам. В продолжение всей своей молодости этот человек не пристрастился ни к чему – ни к женщинам, ни к вину, ни к картам, ни к почестям, и со всем тем, в угодность товарищей и друзей, напивался очень часто, влюблялся раза три из угождения в женщин, которые хотели ему нравиться, проиграл однажды 30 т<ысяч>, когда была мода проигрывать, убил свое здоровье на службе потому, что начальникам это было приятно. Будучи эгоист в высшей степени, он, однако, слыл всегда добрым малым, готовым на всякие услуги, женился же он, потому что всем родным этого хотелось. Теперь он сидел против камина, куря сигарку и допивая кофе и внимательно слушая разговор двух молодых людей, стоявших против него. Один из них был артиллерийский офицер Браницкий, другой статский. Этот последний был одно из

характеристических лиц петербургского общества.

Он был порядочного роста и так худ, что английского покроя фрак висел на плечах его как на вешалке. Жесткий атласный галстух подпирал его угловатый подбородок. Рот его, лишенный губ, походил на отверстие, прорезанное перочинным ножичком в картонной маске, щеки его, впалые и смугловатые, местами были испещрены мелкими ямочками, следами разрушительной оспы. Нос его был прямой, одинаковой толщины во всей своей длине, а нижняя оконечность как бы отрублена, глаза, серые и маленькие, имели дерзкое выражение, брови были густы, лоб узок и высок, волосы черны и острижены под гребенку, из-за галстуха его выглядывала борода *à la St-Simoniennne*. [64]

Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, возвращаясь получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил про связи свои с знатью, волочился за богатыми невестами, подавал множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки на разные книги, знаком был

со всеми литераторами и журналистами, приписывал себе многие безымянные статьи в журналах, издал брошюру, которую никто не читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое утро проводил на Невском проспекте. Чтоб закончить портрет, скажу, что фамилия его была малороссийская, хотя вместо Горшенко он называл себя Горшенков.[65]

– Что вы ко мне никогда не заедете? – говорил ему Браницкий.

– Поверите ли, я так занят, – отвечал Горшенко, – вот завтра сам должен докладывать министру; – потом надобно ехать в комитет, работы тьма, не знаешь, как отделаться; еще надобно писать статью в журнал, потом надобно обедать у князя N, всякий день где-нибудь на бале, вот хоть нынче у графини Ф. Так и быть, уж пожертвую этой зимой, а летом опять запрусь в свой кабинет, окружу себя бумагами и буду ездить только к старым приятелям.

Браницкий улыбнулся и, насвистывая арию из Фенеллы, удалился.

Князь, который был мысленно занят своим делом, подумал, что ему не худо будет по-

знакомиться с человеком, который всех знает и докладывает сам министру. Он завел с ним разговор о политике, о службе, потом о своем деле, которое состояло в тяжбе с казною о 20 т<ысячах> десятин лесу. Наконец князь спросил у Горшенки, не знает ли он одного чиновника Красинского, у которого в столе разбираются его дела.

– Да, да, – отвечал Горшенко, – знаю, видал, но он ничего не может сделать, адресуйте к людям, которые более имеют весу, я знаю эти дела, мне часто их навязывали, но я всегда отказывался.

Такой ответ поставил в тупик кн<язя> Степана Степановича. Ему казалось, что перед ним в лице Горшенки стоит весь комитет министров.

– Да, – сказал он, – ныне эти вещи стали ужасно затруднительны.

Печорин, слышавший разговор и узнав от кн<язя>, в каком департаменте его дело, обещался отыскать Красинского и привести его к князю.

Степан Степанович в восторге от его любезности пожал ему руку и пригласил его за-

езжать к себе всякий раз, когда ему нечего будет делать.

## Глава VII

На другой день Печорин был на службе, провел ночь в дежурной комнате и сменился в 12 часов утра. Покуда он переоделся, прошел еще час. Когда он приехал в департамент, где служил чиновник Красинский, то ему сказали, что этот чиновник куда-то ушел; Печорину дали его адрес, и он отправился к Обухову мосту. Остановясь у ворот одного огромного дома, он вызвал дворника и спросил, здесь ли живет чиновник Красинский.

– Пожалуйста в 49 номер, – был ответ.

– А где вход?

– Со двора-с. 49 номер, и вход со двора!

Этих ужасных слов не может понять человек, который не провел по крайней мере половины жизни в отыскивании разных чиновников, 49 номер есть число мрачное и таинственное, подобное числу 666 в Апокалипсисе. Вы пробираетесь сначала через узкий и угловатый двор, по глубокому снегу, или по жидкой грязи; высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас своим падени-

ем, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов, вы находите желанную дверь, темную и узкую, как дверь в чистилище; поскользнувшись на пороге, вы летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте, потом неверною рукой ощупываете лестницу и начинаете взбираться наверх. Взойдя на первый этаж и остановившись на четверугольной площадке, вы увидите несколько дверей кругом себя, но увы, ни на одной нет номера; начинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходит кухарка с сальной свечой, а из-за нее раздаётся брань или плач детей.

– Кого вам угодно?

– 49 номер.

– Здесь эдаких нет-с.

– Кто ж здесь живет?

Ответ бывает обыкновенно или какое-нибудь варварское имя, или: «какое вам дело,

ступайте выше!» Дверь захлопывается. Во всех других дверях та же сцена повторяется в разных видах, чем выше вы взбираетесь, тем хуже. Софист наблюдатель мог бы заключить из этого, что человек, приближаясь к небу, уподобляется растению, которое на вершинах гор теряет цвет и силу. Помучившись около часу, вы наконец находите желанный 49 номер или другой столько же таинственный, и то если дворник не был пьян и понял ваш вопрос, если не два чиновника с одинаковым именем в этом доме, если вы не попали на другую лестницу, и т. д. Печорин претерпел все эти мучения и наконец, вскарабкавшись на 4-й этаж, постучал в дверь; вышла кухарка, он сделал обычный вопрос, ему отвечали: «здесь». Он вошел, снял шинель в кухне и хотел идти далее, как вдруг кухарка остановила его, сказав, что господин Красинский не воротился еще из департамента. «Я подожду», – отвечал он, и вошел. Кухарка следовала за ним и разглядывала его с видом удивления. Белый султан и красивый кавалерийский мундир были, по-видимому, явление необыкновенное на четвертом этаже. При входе Печорина

в гостиную, если можно так назвать четырехугольную комнату, украшенную единственным столом, покрытым клеенкою, перед которым стоял старый диван и три стула, низенькая и опрятная старушка встала с своего места и повторила вопрос кухарки.

– Я ищу господина Красинского, может быть, я ошибся...

– Это мой сын, – отвечала старушка, – он скоро будет.

– Если вы мне позволите подождать, – продолжал Печорин.

– Сделайте одолжение, – прервала его старушка и торопливо придвинула стул.

Печорин сел. Окинув взором комнату и всё в ней находящееся, ему стало как-то неловко; если б судьба неожиданно бросила его во дворец персидского шаха, он бы скорей нашелся, нежели теперь.

Старушке с первого взгляда можно было дать лет 60, хотя она в самом деле была моложе, но ранние печали сторбили ее стан, иссушили кожу, которая сделалась похожа цветом на старый пергамент. Синеватые жилы рисовались по ее прозрачным рукам, лицо ее

было сморщено, в одних ее маленьких глазах, казалось, сосредоточились все ее жизненные силы, в них светили необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствие. Печорин, не зная, как начать разговор, стал перелистывать книгу, лежавшую на столе; он думал вовсе не о книге, но странное заглавие привлекло его внимание: *«Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым»* сочинение Н. П. Москва, в тип. И. Глазунова, цена 25 копеек. Улыбка появилась на лице Печорина, эта книжка, как пустой лотерейный билет, была резкое изображение мечтаний обманутых, надежд несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде печальную сущность. Старушка заметила его улыбку и сказала:

– Я просила сына моего, прочитав объявление в газетах, чтоб он мне достал эту книжку, да в ней ничего нет.

– Я думаю, – возразил Печорин, – что никакая книга не может выучить быть счастливым. О, если б счастье было наука! Дело другое!

– Разумеется, – возразила старуха, – утопа-

ющий за щепку хватается, мы не всегда были в таком положении, как теперь. Муж мой был польский дворянин, служил в русской службе, вследствие долгой тяжбы он потерял бóльшую часть своего имения, а остатки разграблены были в последнюю войну, однако же я надеюсь, скоро всё поправится. Мой сын, – продолжала она с некоторой гордостью, – имеет теперь очень хорошее место и хорошее жалованье.

После минутного молчанья она спросила:

– Вы, конечно, к моему сыну по какому-нибудь делу? Может быть, вам скучно будет дожидаться, так не угодно ли сказать мне, я ему передам.

– Мне препоручил, – отвечал Печорин, – кн<язь> Лиговской попросить вашего сына, чтобы он сделал одолжение, заехал к нему, у кн<язя> есть тяжба, которая теперь должна рассматриваться в столе у г. Красинского. Я вас попрошу передать ему адрес князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына к нему заехать хоть завтра вечером, я там буду.

Написав адрес, Печорин раскланялся и по-

дошел к двери. В эту минуту дверь отворилась, и он вдруг столкнулся с человеком высокого роста; они взглянули друг на друга, глаза их встретились, и каждый сделал шаг назад. Враждебные чувства изобразились на обоих лицах, удивление сковало их уста, наконец Печорин, чтобы выйти из этого странного положения, сказал почти шепотом:

– Милостивый государь, вспомните, что я не знал, что вы г. Красинский, иначе бы я не имел счастья встретиться с вами здесь. Ваша матушка объяснит вам причину моего посещения.

Они разошлись – не поклонившись. Печорин уехал. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что он в Красинском узнал того самого чиновника, которого несколько дней назад едва не задавил и с которым имел в театре историю.

Между тем Красинский, не менее пораженный этою встречей, сел противу своей матери на кресла, опустил голову на руку и глубоко задумался. Когда мать передала ему поручения Печорина, стараясь объяснить, как выгодно было бы взяться за дело князя, и

стала удивляться тому, что Печорин не объяснился сам, тогда Красинский вдруг вскочил с своего места, светлая мысль озарила лицо его, и воскликнул, ударив рукою по столу: «Да, я пойду к этому князю!» Потом он стал ходить по комнате мерными шагами, делая иногда бессвязные восклицания. Старушка, по-видимому, привыкшая к таким странным выходкам, смотрела на него без удивления. Наконец он опять сел, вздохнул и посмотрел на мать с таким видом, чтоб только начать разговор; она его угадала.

– Ну что, Станислав, – сказала она, – скоро ль тебе выйдет награждение? У нас денег осталось мало.

– Не знаю, – отвечал он отрывисто.

– Ты верно не сумел угодить начальнику отделения, – продолжала она, – ну что за беда, что он твоими руками жар загребает; придет и твое время, а покаместь, если не будешь искать в людях, и бог тебя не взыщет.

Горькое чувство изобразилось на прекрасном лице Станислава, он отвечал глухим голосом:

– Матушка, вы хотите, чтобы я пожертво-

вал для вас даже характером, пожалуй, после всех жертв, которые я принес вам, это будет капля воды в море.

Она подняла к нему глаза, полные слез, и молчание снова воцарилось. Станислав стал перелистывать книгу и вдруг сказал, не отрывая глаз от параграфа, где безымянный сочинитель доказывал, что дружба есть ключ истинного счастья:

– Знаете ли, матушка, кто этот офицер, который был сегодня у нас?

– Не знаю, а что?

– Мой смертельный враг, – отвечал он.

Лицо старушки побледнело сколько могло побледнеть, она всплеснула руками и воскликнула:

– Боже мой, чего же он от тебя хочет?

– Вероятно, он мне не желает зла, но зато я имею сильную причину его ненавидеть. Разве когда он сидел здесь против вас, блистая золотыми эполетами, поглаживая белый султан, разве вы не чувствовали, не догадались с первого взгляда, что я должен непременно его ненавидеть? О, поверьте, мы еще не раз с ним встретимся на дороге жизни и встретим-

ся не так холодно, как ныне. Да, я пойду к этому князю, какое-то тайное предчувствие шепчет мне, чтобы я повиновался указаниям судьбы.

Напрасны были все старания испуганной матери узнать причину такой глубокой ненависти. Станислав не хотел рассказывать, как будто боялся, что причина ей покажется слишком ничтожна. Как все люди страстные и упорные, увлекаемые одной постоянною мыслию, он больше всех препятствий старался избегать убеждений рассудка, могущих отвлечь его от предположенной цели.

На другой день он оделся как можно лучше. Целое утро он прилежно, может быть, в первый раз от роду, рассматривал с ног до головы департаментских франтиков, чтоб выучиться повязывать галстух и запомнить, сколько пуговиц у жилета надобно застегнуть; и пожертвовал четвертак Фаге, который бесовестно взбил его мягкие и волнистые кудри в жесткий и неуклюжий хохол; а когда пробило 7 часов вечера, Красинский отправился на Морскую, полный смутных надежд и опасений!..

## Глава VIII

У князя Лиговского были гости, кое-кто из родных, когда Красинский взошел в лакейскую.

– Князь принимает? – спросил он, нерешительно взглядывая то на того, то на другого лакея.

– Мы не здешние, – отвечал один из них, даже не приподнявшись с барской шубы.

– Нельзя ли, любезный, вызвать швейцара?..

– Он, верно, сейчас сам выйдет, – был ответ, – а нам нельзя!

Наконец явился швейцар.

– Князь Лиговской дома?

– Пожалуйста-с.

– Доложи, что пришел Красинский, – он меня знает!

Швейцар отправился в гостиную и, подойдя к к<нязю> Степан Степанычу, сказал ему тихо:

– Господин Красинский приехал-с; он говорит, что вы изволите его знать.

– Какой Красинский? Что ты врешь? – воскликнул князь, важно прищурясь.

Печорин, прислушавшись в чем дело, поспешил на помощь сконфуженному швейцару.

– Это тот самый чиновник, – сказал он, – у которого ваше дело. Я к нему нынче заезжал.

– А! Очень обязан, – отвечал Степан Степ<анович>.

Он пошел в кабинет и велел просить туда чиновника.

Мы не будем слушать их скучных толков о запутанном деле, а останемся в гостиной; две старушки, какой-то камергер и молодой человек обыкновенной наружности играли в вист; княгиня Вера и другая молодая дама сидели на канаве возле камина, слушая Печорина, который, придвинув свои кресла к камину, где сверкали остатки каменных угольев, рассказывал им одно из своих походов во время Польской кампании. Когда Степан Степаныч ушел, он занял праздное место, чтоб находиться ближе к княгине.

– Итак, вам велели отправиться со взводом в эту деревню, – сказала молодая дама, которую Вера называла кузиною, продолжая прерванный разговор.

– И я, как разумеется, отправился, хотя ночь была темная и дождливая, – сказал Печорин, – мне велено было отобрать у пана оружие, если найдется, а его самого отправить в главную квартиру... Я только что был произведен в корнеты, и это была первая моя откомандировка. К рассвету мы увидели перед собою деревню с каменным господским домом, у околицы мои гусары поймали мужика и притащили ко мне. Показания его об имени пана и о числе жителей были согласны с моею инструкциею.

– А есть ли у вашего пана жена или дочери? – спросил я.

– Есть, пане капитане.

– А как их зовут, графиню, жену вашего Острожского?

– Графиня Рожа.

– Должно быть красавица, – подумал я на морщась.

– Ну а дочери ее такие же рожи, как их маменька?

– Нет, пане капитане, старшая называется Амалия и меньшая Эвелина.

– Это еще ничего не доказывает, – подумал

я. Гр<афиня> рожа меня мучила, я продолжал расспросы:

– А что, сама гр<афиня> Рожа старуха?

– Ни, пане, ей всего 33 года.

– Какое несчастье!

Мы въехали в деревню и скоро остановились у ворот замка.

Я велел людям слезть и в сопровождении унтер-офицера вошел в дом. Всё было пусто. Пройдя несколько комнат, я был встречен самим графом, дрожащим и бледным, как полотно. Я объявил ему мое поручение, разумеется он уверял, что у него нет оружия, отдал мне ключи от всех своих кладовых и, между прочим, предложил завтракать. После второй рюмки хереса граф стал просить позволения представить мне свою супругу и дочерей.

– Помилуйте, – отвечал я, – что за церемония. – Я, признаться, боялся, чтобы эта Рожа не испортила моего аппетита, но граф настаивал и, по-видимому, сильно надеялся на могущественное влияние своей Рожи. Я еще отнекивался, как вдруг дверь отворилась и вошла женщина, высокая, стройная, в черном платье. Вообразите себе польку и красавицу

польку в ту минуту, как она хочет обворовать русского офицера. Это была самая графиня Розалия или Роза, по-простонародному Рожа.

Эта случайная игра слов показалась очень забавна двум дамам. Они смеялись.

– Я предчувствую, вы влюбились в эту Рожу, – воскликнула наконец молодая дама, которую княгиня Вера называла кузиной.

– Это бы случилось, – отвечал Печорин, – если б я уже не любил другую.

– Ого! Постоянство, – сказала молодая дама. – Знаете, что этой добродетелью не хвастаются?

– Во мне это не добродетель, а хроническая болезнь.

– Вы, однако же, вылечились?

– По крайней мере лечусь, – отвечал Печорин.

Княгиня на него быстро взглянула, на лице ее изобразилось что-то похожее на удивление и радость. Потом вдруг она сделалась печальна. Этот быстрый переход чувств не ускользнул от внимания Печорина, он переменял разговор, анекдот остался неконченным и

скоро был забыт среди веселой и непринужденной беседы. Наконец подали чай, и вошел князь, а за ним Красинский, князь отрекомендовал его жене и просил садиться. Взоры маленького кружка обратились на него, и молчание воцарилось. Если б князь был петербургский житель, он бы задал ему завтрак в 500 р<ублей>; если имел в нем нужду, даже пригласил бы его к себе на бал или на шумный раут потолкаться между разного рода гостями, но ни за что в мире не ввел бы <в> свою гостиную запросто человека постороннего и никаким образом не принадлежащего к высшему кругу; но князь воспитывался в Москве, а Москва такая гостеприимная старушка. Княгиня из вежливости обратилась к Красинскому с некоторыми вопросами, он отвечал просто и коротко.

– Мы очень благодарны, – сказала она наконец, – г<осподину> Печорину за то, что он доставил нам случай с вами познакомиться.

При этих словах Печорин и Красинский невольно взглянули друг на друга и последний отвечал скоро:

– Я еще более вас должен быть благодарен

г<осподину> Печорину за эту неоцененную услугу.

По губам Печорина пробежала улыбка, которая могла бы выразиться следующей фразой: – «Ого, наш чиновник пускается в комплименты»; – понял ли Красинский эту улыбку или же сам испугался своей смелости, потому что, вероятно, это был его первый комплимент, сказанный женщине, так высоко поставленной над ним обществом, не знаю, – но он покраснел и продолжал неуверенным голосом:

– Поверьте, княгиня, что я никогда не забуду приятных минут, которые позволили мне провести в вашем обществе: – прошу вас не сомневаться: я исполню всё, что будет зависеть от меня... и к тому же ваше дело только запутано, – но совершенно правое...

– Скажите, – спросила его княгиня с тем участием, которое похоже на обыкновенную вежливость, когда не знают, что сказать незнакомому человеку, – скажите: вы, я думаю, ужасно замучены делами... Я воображаю эту скуку: с утра до вечера писать и прочитывать длинные и бессвязные бумаги... это

нестерпимо: – поверите ли, что мой муж каждый день в продолжение года толкует и объясняет мне наше дело, а я до сих пор ничего еще не понимаю.

– Какой любезный и занимательный супруг, – подумал Печорин...

– Да и зачем вам, княгиня? – сказал Красинский, – ваш удел забавы, роскошь, а наш – труд и заботы; оно так и следует: если б не мы, кто бы стал трудиться.

Наконец и этот разговор истоцился: Красинский встал, раскланялся... Когда он ушел, то кузина княгини заметила, что он вовсе не так неловок, как бы можно ожидать от чиновника, и что он говорит вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «*et savez-vous, ma chère, qu'il est très bien!...*»[66] – Печорин при этих словах стал превозносить до невозможности его ловкость и красоту: он уверял, что никогда не видывал таких темноглазых глаз ни у одного чиновника на свете, и уверял, что Красинский, судя по его глубоким замечаниям, непременно будет великим государственным человеком, если не останется вечно титулярным советником... «Я непременно узнаю, –

прибавил он очень серьезно, – есть ли у него университетский аттестат!..»

Ему удалось рассмешить двух дам и обратить разговор на другие предметы: несмотря на то, выражение княгини глубоко врезалось в его памяти: оно показалось ему упреком, хотя случайным, но тем не менее язвительным. – Он прежде сам восхищался благородной красотой лица Красинского, но когда женщина, увлекавшая все его думы и надежды, обратила особенное внимание на эту красоту... он понял, что она невольно сделала сравнение для него убийственное, и ему почти показалось, что он вторично потерял ее навеки. И с этой минуты в свою очередь возненавидел Красинского. Грустно, а надо признаться, что самая чистейшая любовь наполовину перемешана с самолюбием.

Увлекаясь сам наружной красотой и обладая умом резким и пронизательным, Печорин умел смотреть на себя с беспристрастием и, как обыкновенно люди с пылким воображением, переувеличивал свои недостатки. Убедясь по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сде-

лался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин – расчетом или случайностью. То, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви, – пренебрегал он часто как приметы обманчивые, слова, сказанные без намерения, взгляды, улыбки, брошенные на ветер, первому, кто захочет их поймать; другой бы упал духом и уступил соперникам поле сражения... но трудность борьбы увлекает упорный характер, и Печорин дал себе честное слово остаться победителем: следуя системе своей и вооружась несносным наружным хладнокровием и терпением, он мог бы разрушить лукавые увертки самой искусной кокетки... Он знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе необъясненному; можно было наверное сказать, что он достигнет своей цели... если страсть, всемогущая страсть не разрушит, как буря, одним порывом высокие подмостки его рассудка и старание... Но это *если*, это ужасное *если*, почти похоже на «если» Архимеда, который обещался приподнять земной шар,

если ему дадут точку упора.

Толпа разных мыслей осаждала ум Печорина, так что под конец вечера он сделался рассеян и молчалив; князь Степан Степаныч рассказывал длинную историю, почерпнутую из семейных преданий; дамы украдкой зевали.

– Отчего вы сделались так печальны? – спросила наконец у Печорина кузина Веры Дмитриевны.

– Причину даже совестно объявить, – отвечал Печорин...

– Однако ж!..

– Зависть!..

– Кому ж вы завидуете?.. Например...

– Не мне ли? – сказал князь, тонко улыбаясь и не воображая важности этого вопроса: Печорину тотчас пришло в мысль, что княгиня рассказала мужу прежнюю их любовь, покаялась в ней как в детском заблуждении; если так, то всё было кончено между ними, и Печорин неприметно мог сделаться предметом насмешки для супругов, или жертвою коварного заговора; я удивляюсь, как это подозрение не потревожило его прежде, но уве-

ряю вас, что оно пришло ему в голову именно теперь; он обещал себе постараться узнать, исповедовалась ли Вера своему мужу, и между тем отвечал:

– Нет, князь; не вам, хотя бы я мог, и всякий должен вам завидовать... но признаюсь, я бы желал иметь счастливый дар этого Красинского – нравиться всем с первого взгляда...

– Поверьте, – отвечала княгиня, – кто скоро нравится, об том скоро и забывают.

– Боже мой! Что на свете не забывается?.. И если считать ни во что минутный успех – то где же счастье? Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочного богатства... глядишь... смерть, болезнь, пожар, потоп, война, мир, соперник, перемена общего мнения – и все труды пропали!.. А забвенье? – забвенье равно неумолимо к минутам и столетиям. – Если б меня спросили, чего я хочу: минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастья... я бы скорей решил сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновенье и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по нумерам в промежутках скуки

или печали.

– Я во всем с вами согласна, кроме того, что всё на свете забывается – есть вещи, которых забыть невозможно... особенно горести, – сказала княгиня.

Ее милое лицо приняло какой-то полухолодный, полугрустный вид, и что-то похожее на слезу пробежало, блистая, вдоль по длинным ее ресницам, как капля дождя, забытая бурей на листке березы, трепеща перекачивается по его краям, покуда новый порыв ветра не умчит ее – бог знает куда.

Печорин с удивлением взглянул на нее... но увы! Он не мог ничем объяснить этот странный припадок грусти! Он так давно разлучен был с нею: и с тех пор он не знал ни одной подробности ее жизни... даже очень вероятно, что чувства Веры в эту минуту относились вовсе не к нему? – мало ли могло быть у нее обожателей после его отъезда в армию; может быть, и ей изменил который-нибудь из них, – как знать!..

Кто объяснит, кто растолкует

Очей двусмысленный язык...

Когда он встал, чтоб уезжать, княгиня его

спросила, будет ли он послезавтра на бале у баронессы Р., ее родственницы... «Мне досадно, что баронесса так убедительно нас звала, – прибавила она; – я почти вовсе не знаю здешнего круга и уверена, что мне там будет скушно...»

Печорин отвечал, что он еще не зван...

– Теперь я понимаю, – подумал он, садясь в сани, – ей хочется иметь на этом бале знакомого кавалера... Дай бог, чтоб меня не звали: там, верно, будет Лиза Негурова... Ах! Боже мой, да, кажется, они с Верой давнишние знакомые... О! Но если она осмелится...

Тут сани его остановились, и мысли также. – Взойдя к себе в кабинет, он нашел на столе пригласительный билет от баронессы.

## Глава IX

Баронесса Р\*\* была русская, но замужем за Курляндским бароном, который каким-то образом сделался ужасно богат; она жила на Мильонной в самом центре высшего круга. С 11 часа вечера кареты, одна за одной, стали подъезжать к ярко освещенному ее подъезду: по обеим сторонам крыльца теснились на тротуаре прохожие, остановленные любопыт-

ством и опасностью быть раздавленными. В числе их был Красинский: прижавшись к стене, он с завистью смотрел на разных господ со звездами и крестами, которых длинные лакеи осторожно вытаскивали из кареты, на молодых людей, небрежно выскакивавших из саней на гранитные ступени, и множество мыслей теснилось в голове его. «Чем я хуже их? – думал он. – Эти лица, бледные, истощенные, искривленные мелкими страстями, уже ли нравятся женщинам, которые имеют право и возможность выбирать? Деньги, деньги и одни деньги, на что им красота, ум и сердце? О, я буду богат непременно, во что бы то ни стало, и тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость».

Бедный, невинный чиновник! Он не знал, что для этого общества, кроме кучи золота, нужно имя, украшенное историческими воспоминаниями (какие бы они ни были), имя, столько уже знакомое лакейским, чтоб швейцар его не исковеркал, и чтобы в случае, когда его произнесут, какая-нибудь важная дама, законодательница и судия гостиных, спросила бы – который это? Не родня ли он

князю В, или графу К? И так, Красинский стоял у подъезда, закутанный в шинель. Вот подъехала карета; из нее вышла дама: при блеске фонарей брильянты ярко сверкали между ее локонами, за нею вылез из кареты мужчина в медвежьей шубе. Это были князь Лиговской с княгиней; Красинский поспешно высунулся из толпы зевак, снял шляпу и почтительно поклонился, как знакомым, но уввы! Его не заметили или не узнали, что еще вероятнее. И в самом деле, женщине, видевшей его один только раз и готовой предстать на грозный суд лучшего общества, и пожилому мужу, следующему на бал за хорошенькою женою, право, не до толпы любопытных зевак, мерзнущих у подъезда, но Красинский приписал гордости и умышленному небрежению вещь чрезвычайно простую и случайную, и с этой минуты тайная неприязнь к княгине зародилась в его подозрительном сердце. «Хорошо, – подумал он, удаляясь, – будет и на нашей улице праздник», – жалкая поговорка мелочной ненависти.

Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться; тут было всё, что

есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски (что, впрочем, вовсе неудивительно) и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах, несколько генералов и государственных людей, – один английский лорд, путешествующий из экономии[67] и поэтому не почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу blue stockings[68] и некогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стекла двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское, и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове. Они гордо посматривали из-за накрахмаленных галстухов на военную молодежь, по-видимому, так беспечно и необдуманно

преданную удовольствию: они были уверены, что эти люди, затянутые в вышитый золотом мундир, неспособны ни к чему, кроме машинальных занятий службы. Тут могли бы вы также встретить несколько молодых и розовых юношей, военных с тупеями, штатских, причесанных *à la russe*, [69] скромных подобно наперсникам классической трагедии, недавно представленных высшему обществу каким-нибудь знатным родственником: не успев познакомиться с большею частью дам, и страшась, приглашая незнакомую на кадрили или мазурку, встретить один из тех ледяных ужасных взглядов, от которых переворачивается сердце, как у больного при виде черной микстуры, – они робкою толпою зрителей окружали блестящие кадрили и ели мороженое – ужасно ели мороженое. – Исключительно танцующие кавалеры могли разделиться на два разряда; одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без усталости, садились на край стула, обратившись лицом к своей даме, улыбались и кидали значительные взгляды при каждом слове, – короче, исполняли свою обязанность как нельзя луч-

ше – другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица, скользили небрежно по паркету, как бы из милости или снисхождения к хозяйке; и говорили только с дамою своего vis-à-vis,[70] когда встречались с нею, делая фигуру.

Но зато дамы... О! Дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. Сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы, и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые на прокат из лавки... Я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете, судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, всё равно, что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью.

У двери, ведущей из зала в гостиную, сиде-

ли две зрелые девы, вооруженные лорнетками и разговаривающие с двумя или тремя молодыми людьми – не танцующими. Одна из них была Лизавета Николаевна. Пунцовое платье придавало ее бледным чертам немного более жизни, и вообще она была к лицу одета. В надежде на это преимущество она довольно холодно отвечала на вежливый поклон Печорина, когда тот подошел к ней. (Надобно заметить между прочим, что дама дурно одетая обыкновенно гораздо любезнее и снисходительнее – это, впрочем, вовсе не значит, что они должны дурно одеваться.) Печорин стал возле Лизаветы Николаевны, ожидая, чтобы она начала разговор, и рассеянно смотрел на танцующих. Так прошло несколько минут, и наконец она принуждена была сорвать с своих уст печать молчания.

– Отчего вы не танцуете? – спросила она его.

– Я всегда и везде следую вашему примеру.

– Разве с нынешнего дня.

– Что ж, лучше поздно, чем никогда. Не правда ли?

– Иногда бывает слишком поздно.

– Боже мой! Какое трагическое выражение!

Лизавета Николавна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвечала:

– Я с некоторых пор перестала удивляться вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я вас теперь очень хорошо знаю.

– А нельзя ль узнать, кто так искусно объяснил вам мой характер?

– О, это тайна, – сказала она, взглянув на него пристально и прижав к губам свой веер.

Он наклонился и с притворной нежностью шепнул ей на ухо:

– Одну тайну вашего сердца вы мне давно уже поверили, – ужели другая важнее первой?

Она покраснела при всей своей неспособности краснеть, но не от стыда, не от воспоминания, не от досады; – невольное удовольствие, тайная надежда завлечь снова непостоянного поклонника, выйти замуж или хотя отомстить со временем по-своему, по-женски, промелькнули в ее душе. Женщины никогда не отказываются от таких надежд, ко-

гда представляется какая-нибудь возможность достигнуть цели, и от таких удовольствий, когда цель достигнута.

Приняв тотчас серьезный, печальный вид, она отвечала с расстановкою:

– Вы мне напоминаете вещи, об которых я хочу забыть.

– Но еще не забыли? – сказал он с нежностью.

– О, не продолжайте, я ничему не поверю более, вы мне дали такой урок...

– Я?

В этом я было больше удивления, чем в пяти восклицательных знаках, поставленных рядом. Потом Печорин задумался.

– Да, – сказал он, – теперь я начинаю понимать; кто-нибудь меня оклеветал перед вами, у меня столько врагов и особенно друзей, теперь понимаю, отчего намердны, когда я заезжал к вам, это было поутру, и я знаю, что у вас были гости, но меня не приняли; о, конечно, я сам не буду искать вторично такого оскорбления.

– Но вы не знаете, что этому причиною, – сказала поспешно Лизавета Николавна, – я

получила письмо от неизвестного, в котором...

– В котором меня хвалят и толкуют мои поступки в самую лучшую сторону, – отвечал, горько улыбаясь, Печорин, – о, я догадываюсь, кто мне оказал эту услугу, однако ж прошу вас, верьте, верьте всему, что там написано, как вы верили до сей минуты.

Он засмеялся и хотел отойти прочь.

– Но если я не верю? – воскликнула испугавшись Лизавета Николавна.

– Напрасно, всегда выгоднее верить дурному, чем хорошему... один против двадцати, что... – он не кончил фразы, глаза его устремились на другую дверь залы, где произошло небольшое движение, глаза Лизаветы Николавны боязливо обратились в ту же сторону.

Сквозь толпу приближалась к гостининой княгиня Лиговская и за нею князь Степан Степ<анович>.

Она была одета со вкусом, только строгие законодатели моды могли бы заметить с важностью, что на ней было слишком много бриллиантов. Она медленно подвигалась сквозь толпу, небрежно раздавную перед

нею. Ни одно приветствие не удерживало ее на пути, и сто любопытных глаз, озиравших с головы до ног незнакомую красавицу, вызвали краску на нежные щеки ее, – глаза покрылись какою-то электрической влагой, грудь неровно подымалась, и можно было догадаться по выражению лица, что настала минута для нее мучительна<я>. Она была похожа на неизвестного оратора, всходящего в первый раз по ступеням кафедры... от этого бала зависел успех ее в модном свете... некстати пришитый бант, не на месте приколотый цветок мог навсегда разрушить ее будущность... И в самом деле, может ли женщина надеяться на успех, может ли она нравиться нашим франтам, если с первого взгляда скажут: elle a l' air bourgeois[71] – это выражение, так некстати вкравшееся в наше чисто дворянское общество, имеет, однако же, ужасную власть над умами – и отнимает все права у красоты и любезности:

Вкус, батюшка, отменная манера.[72]

Когда княгиня поровнялась с Печориным, то едва отвечала легким наклонением головы и мимолетной улыбкой на его поклон, –

он хотел что-то сказать, но она отвернулась; глаза ее беспокойно бегали кругом, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо... и упали на Лизавету Николавну... Узнав друга друга, соперницы очень ласково обменялись приветствиями... Потом кто-то еще высунулся из толпы мужчин и с радостным видом стал спрашивать Веру, когда она из Москвы и проч... – Она постепенно делалась приветливей, так что можно почти держать пари, что если б она встретила здесь 99 знакомых, то девяносто девятый остался бы в счастливом убеждении, что одним взглядом победил ее сердце.

Только что княгиня и князь прошли в гостиную, Лизавета Николавна тотчас обратилась к Печорину, чтоб возобновить прерванный разговор, – но он был так бледен, так неподвижен, что ей стало страшно.

– Появление этой дамы, – сказала она наконец ему, – сделало на вас очень странное впечатление!.. Вы давно ее знаете?

– С детства! – отвечал Печорин.

– Я также ее когда-то знала... за кем она замужем?

Печорин сказал.

– Как! – неужели этот господин, который за нею шел так смиренно, ее муж?.. Если б я их встретила на улице, то приняла бы его за лакея. – Я думаю, она делает из него всё, что хочет.

– По крайней мере всё, что можно из него сделать!..

– Однако она счастлива...

– Разве вы не заметили, сколько на ней бриллиантов?

– Богатство не есть счастье!..

– Всё-таки оно ближе к нему, нежели бедность: – нет ничего безвкуснее, как быть довольну своей судьбою в скромной хижине... за чашкою грешневой каши.

– Кто ж вам говорит о бедности? Везде надо уметь выбирать середину...

– Я вам желаю мужа, который бы так ду- мал.

Он отошел. Кадрили кончались, – музыка замолкла: в широкой зале раздавался смешанный говор тонких и толстых голосов, шарканье сапогов и башмачков; – составились группы. – Дамы пошли в другие комна-

ты подышать свежим воздухом, пересказать друг другу свои замечания, немногие кавалеры за ними последовали, не замечая, что они лишние, и что от них стараются отделаться; – княгиня пришла в залу и села возле Негуровой. Они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор.

### **«Я хочу рассказать вам»**

**Я** хочу рассказать вам историю женщины, которую вы все видали и которую никто из вас не знал. Вы ее встречали ежедневно на бале, в театре, на гулянье, у нее в кабинете. Теперь она уже сошла со сцены большого света; ей 30 лет, и она схоронила себя в деревне; но когда ей было только двадцать, весь Петербург шумно занимался ею в продолжение целой зимы. Об этом совершенно забыли, и слава богу! Потому что иначе я бы не мог печатать своей повести. В обществе про нее было в то время много разногласных толков. Старушки говорили об ней, что она прехитрая и прелукавая, приятельницы – что она преглупенькая, соперницы – что она предобрая, мо-

лодые женщины – что она кокетка, а раздушенные старики значительно улыбались при ее имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность. Иные жалели, что такой правильной и свежей красоте недостает физиономии, тогда как другие утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженья в ее лице заменяет все прочие недостатки. Притом муж ее, пятидесятилетний мужчина, имел графский титул и сомнительно-огромное состоянье. Всего этого, кажется, довольно, чтобы доставить молодой женщине ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой они все так жадно гоняются и за которую некоторые из них так дорого платят.

Подробности моего рассказа покажутся не очень нравственными, но ручаюсь вам, что в нем будет заключаться глубокий, нравственный смысл, который не ускользнет ни от кого, разве от 18-летних барышень – да им моей книги не дадут; а если она им и попадется случайно, то умоляю их, после этих строк закрыть ее и не класть на ночь под подушку, потому что от этого находят дурные сны. Мо-

лодые же дамы, прочитав эти правдивые страницы, верно, отдадут справедливость моим описаниям и замечаниям, вспомнив нечто подобное в своей жизни; но они, конечно, этого никому не скажут, тогда как многие молодые франты станут уверять, что такие приключения были с ними на днях, тогда как с большею частию из них ничего такого случиться даже не может. Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или иметь один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнью, только бы достать ключ самой незамысловатой, по-видимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая, потому что всё для нас в мире тайна, и тот, кто думает отгадать чужое сердце или знать все подробности жизни своего лучшего друга, горько ошибается. Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, и они-то самые важные и есть,

они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам.

В нашем равнодушном веке любопытных и страстных людей немного; но около 10 лет тому назад случился один такой чудак в Петербурге, и судьба, как нарочно, поставила его перед непонятной женщиной, которой историю я хочу вам рассказать.

Александр Сергеевичу Арбенину было тридцать лет – возраст силы и зрелости для мужчины, если только молодость его прошла не слишком бурливо и не слишком спокойно. Известно, что в природе противоположные причины часто производят одинакие действия: лошадь равно падает на ноги от застоя и от излишней езды.

Вот какова была молодость Арбенина!

Начнем сначала.

Он родился в Москве. Скоро после появления его на этот свет его мать разъехалась с его отцом по неизвестным причинам. Сообразив все городские толки, можно было сделать только одно верное заключение, а именно что Сергей Васильевич разъехался с своей супругой. Саша остался на руках отца. Когда ему

минуло год, его посадили с кормилицей и няней в карету и отвезли в симбирскую деревню. Сергей Васильевич вскоре сам туда приехал и поселился на житье. Деревня эта находилась на берегу Волги. От барского дома по скату горы до самой реки расстилался фруктовый сад. С балкона видны были дымящиеся села луговой стороны, синеющие степи и желтые нивы. Весной, во время разлива, река превращалась в море, усеянное лесистыми островами; по ней мелькали белые паруса барок, и вечером раздавались песни бурлаков. Барский дом был похож на все барские дома: деревянный, с мезонином, выкрашенный желтой краской, а двор обстроен был одноэтажными, длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведен валом, на котором качались и сохли жидкие ветлы; среди двора красовались качели; по воскресеньям дворня толпилась вокруг них, и порой две горничные садились на полусгнившую доску, висящую меж двух сомнительных веревок, и двое из самых любезных лакеев, взявшись каждый за конец толстого каната, взбрасывали скромную чету под облака; мальчишки били в ла-

дони, когда пугливые девы начинали визжать, – и всем было очень весело. Надо заметить, что качели среди барского двора – признак отечески-добротного правления, а между тем вот как хорошо судят о нас иностранцы: в путевых записках одного француза я недавно читал, что у нас против господского дома обыкновенно торчит виселица. Француз замечал остроумно, что это, должно быть, злоупотребление, ибо смертная казнь в России уничтожена. Бедные качели!..

Мужики Арбенина большею частью занимались рыбной ловлей. Во время бури жены и дочери рыбаков выбегали с плачем на берег; в жаркие летние дни толпы крестьянских девок купались в студеных струях Волги; их русые косы мелькали над пенистой влагой; их громкий смех раздавался далеко. Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую, во-первых, потому что няне Саши было поручено женское хозяйство, а во-вторых, чтоб потешать маленького барчонка. Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его

воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятиями противуобщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет уже он заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уж волновало ему душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жесткие! Отец им вовсе не занимался, хозяйничал и ездил на охоту. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презреньем улыбнуться на низкую лесь толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие <цветы>, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если б не при-

шла на помощь корь, болезнь, опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки. Целые три года оставался он в самом жалком положении; и если б он не получил от природы железного телосложения, то верно бы отправился на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Не даром учат детей, что с огнем играть не должно. Но увы! Никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он обхватил всё существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури. Вероятно, что раннее

развитие умственных способностей немало помешало его выздоровлению.

## Ашик-Кериб

Турецкая сказка

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери: хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца – и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; – на одной свадьбе он увидел Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку – и он стал грустен как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник),

отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, – запела она, – вставай, безумный, твоя газель идет мимо»; он проснулся – девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить: «Если б ты знала, – отвечала та, – кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб»; – «Веди меня к нему», – сказала Магуль-Мегери; – и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать; «Как мне не грустить, – отвечал Ашик-Кериб, – я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею». – «Проси мою руку у отца моего, – говорила она, – и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». – «Хорошо, – отвечал он, – положим, Аян-Ага ничего не пожалеет для своей доч<sup>ер</sup>и; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; – нет, милая Магуль-Мегери; я положил зарок на свою душу; обещаю 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это,

то по истечении срока будешь моею». – Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за нее сватается.

Пришел Ашик-Кериб к своей матери; взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, – он смотрит – это Куршуд-бек. «Добрый путь, – кричал ему бек, – куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу – но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду; – «Плыви вперед, – сказал Куршуд-бек, – я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад – о горе! О всемогущий аллах! Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери: «Твой сын утонул в глубокой реке, – говорит он, – вот его одежда»; в

невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, – сказала она ей, – Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем»; она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город; и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он наконец в Халаф; [73] по обыкновению вошел в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до пельничков: многих к нему приводили – ни один ему не понравился; его чауши измучились, бегая по городу; вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда: «Иди с нами к великому паше, – за-

кричали они, – или ты отвечаешь нам головою». «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, – говорит Ашик-Кериб; – хочу пойду, хочу нет; пою, когда придется, и ваш паша мне не начальник»; однако несмотря на то его схватили и привели к паше. «Пой», – сказал паша, и он запел. И в этой песни он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблестали на нем богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, толь<ко> срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться: в это время отправлялся один купец с керваном из Тифлиза с сорока верблюдами и 80-ю невольниками: призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо: «Возьми ты это блюдо, – говорит она, – и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это,

получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признавался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф: объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай: и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца. «Это мое», – сказал он, схватив его рукою. «Точно, твое, – сказал купец: – я узнал тебя, Ашик-Кериб: ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выдет за другого»; – в отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только 3 дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами – и поскакал, не жалея коня; наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дни. «Аллах всемогущий, – воскликнул он, – если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле де-

лать»; и хочет он броситься с высокого утеса; вдруг видит внизу человека на белом коне; и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» «Хочу умереть», – отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною», – сказал грозно всадник; «Как я могу за тобою следовать, – отвечал Ашик, – твой конь летит как ветер, а я отягощен сумою»; – «Правда; повесь же суму свою на седло мое и следуй»; – отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать: «Что ж ты отстаешь», – спросил всадник; «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». – «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче», – отвечал Ашик. – «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой»; – смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, – сказал Ашик, – я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс»; – «То-то же, – отвечал всадник, – я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза, – теперь от-

крой»; – Ашик себе не верит то, что это Карс: он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб: но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня: мне по-настоящему надо в Тифлиз». – «Экой ты неверный, – сказал сердито всадник, – но нечего делать: прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», – прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». – «Наклонись, – сказал тот улыбувшись, – и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху: и тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза – и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но толь-

ко он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз[74] (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой: стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость: я холоден и голоден; прошу ради странствующего твоего сына,пусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных: есть теперь в городе свадьбы – ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». – «Ана, – отвечал он, – я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сынапусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». – «Негодная, – отвечала старуха: – ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отперла двери ипустила Ашик-Кериба: сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит

он на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» – «Любопытный ты гость, – отвечала она, – будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». – «Я уж сказал тебе, – возразил он, – что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» – «Это сааз, сааз», – отвечала старуха сердито, не веря ему. – «А что значит сааз?» – «Сааз то значит: что на ней играют и поют песни». – И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. – «Нельзя, – отвечала старуха: – это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене, и ничья живая рука до него не дотрогивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему: тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! Всемогущий аллах! Если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Ке-

риб (нищий) – и слова мои бедны; но великий Хадрилияз помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: – «Как тебя зовут?» – «Рашид» (храбрый), – отвечал он. – «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, – сказала она: – своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слез: скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами». – «Не позволю, – отвечала старуха; – с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». – Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, – «а если хоть одна струна порвется, – продолжал Ашик, – то отвечаю моим имуществом». Ста-

руха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделать себя женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пирувал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и зато я спою вам песню». – «Почему же нет, – сказал Куршуд-бек. – Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: – спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» – «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)». – «Что это за имя, – воскликнул тот

со смехом. – Я в первый раз такое слышу!» – «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал: им отвечали – шинди гёрузез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился – мне дали это имя». – После этого он взял сааз и начал петь.

– В городе Халафе я пил мисирское вино, [75] но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день.

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжешь; как можно из Халафа приехать сюда в <день>?»

– За что ж ты меня хочешь убить, – сказал Ашик: – певцов обыкновенно со всех четырех сторон собирают в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте.

– Пускай продолжает, – сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

– Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, [76] полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Ти-

флизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери.

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую: – «Так-то ты сдержала свою клятву, – сказали ее подруги; – стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». – «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», – отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула; бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

– Теперь точно видно, что ты Ашик-Ке-

риб, – сказал жених; – но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство? – «В доказательство истины, – отвечал Ашик, – сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы 7 лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение». – Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! – закричала она, – это точно брат, и точно твой сын Ашик-Кериб»; и, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комочек земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, приговаривая: «Знайτε все люди, как могущ и велик Хадрилиаз», – и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми ее за себя – и будьте так же счастли-

вы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

*Конец*

## **Герой нашего времени**

### **<Предисловие>**

**В**о всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела оружие более острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов,

принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования

всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сладостями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж бог знает!

## **Часть первая**

### **Бэла**

**Я** ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного

небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан, с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую Долину. Осетин-извозчик неумоимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую Гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской Горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб

втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, – а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкой четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывала, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сертук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

– Мы с вами попутчики, кажется?

Он, молча, опять поклонился.

– Вы верно едете в Ставрополь?

– Так-с точно... с казенными вещами.

– Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

– Вы верно недавно на Кавказе?

– С год, – отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

– А что ж?

– Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников: увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут.

– А вы давно здесь служите?

– Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче,[77] – отвечал он, приосанившись. – Когда он приехал на Линию,[78] я был подпоручиком, – прибавил он, – и при нем получил

два чина за дела против горцев.

– А теперь вы?..

– Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину, – но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

– Ведь этакой народ, – сказал он: – и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

– Завтра будет славная погода, – сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

– Что ж это? – спросил я.

– Гуд-Гора.

– Ну так что ж?

– Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-Гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уже мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело, и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

– Нам придется здесь ночевать, – сказал он с досадою: – в такую метель через горы не переедешь. Что? Были ль обвалы на Крестовой? – спросил он извозчика.

– Не было, господин, – отвечал осетин-извозчик: – а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к

ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

– Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолебении.

– Преглупый народ, – отвечал он. – Поверьте ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере на-

ши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

– А вы долго были в Чечне?

– Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода,[79] знаете?

– Слышал.

– Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазелся, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

– А, чай, много с вами было приключений? – сказал я, подстрекаемый любопытством.

– Как не бывать! Бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку – желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел, я вытащил из чемодана два походные

стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет *здравствуйте* (потому что фельдфебель говорит *здравия желаю*). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

– Не хотите ли подбавить рома? – сказал я моему собеседнику: – у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

– Нет-с, благодарствуйте, не пью.

– Что так?

– Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! Чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно, другой раз це-

лый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка – пропавший человек.

Услышав это, я почти потерял надежду.

– Да вот хоть черкесы, – продолжал он: – как напьются бузы[80] на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирно́ва князя был в гостях. [81]

– Как же это случилось?

– Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), – вот извольте видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой – этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно, – спросил я его: – переведены сюда из России?» – «Точно так, господин штабс-капитан», – отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно, ну да мы с вами будем жить по-прия-

тельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста – к чему эта полная форма? Приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

– А как его звали? – спросил я Максима Максимыча.

– Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все иззябнут, устанут, – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха. Да-с, с большими был странностями, и должно быть богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещей!..

– А долго он с вами жил? – спросил я опять.

– Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помя-

нут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.

– Необыкновенные? – воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

– А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишко его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить. Всякий день бывало то за тем, то за другим; и уж точно избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? На другую же ночь притащил его за рога. А, бывало, мы его вздуваем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, – говорил я ему: – яман будет твоя башка!»[82]

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а

мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», – сказал мне Григорий Александрович. «Погодите», – отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли с всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

– Как же у них празднуют свадьбу? – спросил я штабс-капитана.

– Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу, потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом,

когда смеркнется, в кунацкой начинается, по нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?...вроде комплимента.

– А что ж такое она пропела, не помните ли?

– Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу: «Ну что, какова?»

– Прелесть! – отвечал он: – а как ее зовут? – «Ее зовут Бэлою», – отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича.[83] Он, знаете, был не то чтоб мирной, не то чтоб не мирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, – хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками,[84] и, правду сказать, рожь у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес. Бешмет всегда изорван-

ный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! Скачи хоть на 50 верст; а уж выезжена – как собака бегают за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был утрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, – подумал я: – уж он верно что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно по-

глядывал, приговаривая: *якши тхе, чек якши!*  
[85]

Пробираюсь вдоль забора, и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был по-веса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они толкуют? – подумал я: – уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

– Славная у тебя лошадь! – говорил Азамат: – если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А, Казбич!» – подумал я и вспомнил кольчугу.

– Да, – отвечал Казбич после некоторого молчания: – в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, – это было за Тереком, – я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не повезло, и мы рассыпались, кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя Ал-

лаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача[86] били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, – и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался – и прыгнул. Задние его копыты обрвались с противного берега, и он повис на передних ногах; я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня; он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать: они верно думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, – смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз;[87] все кинулись за ним с криком; долго, долго они

за ним гонялись, особенно один раз два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их – и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! Это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? Во мраке слышу, бегают по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названья.

– Если б у меня был табун в тысячу кобыл, – сказал Азамат, – то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

– Йок, [88] не хочу, – отвечал равнодушно Казбич.

– Послушай, Казбич, – говорил, ласкаясь к нему, Азамат: – ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не

пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку – что только пожелаешь; а шашка его настоящая гурда:[89] приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

– В первый раз как я увидел твоего коня, – продолжал Азамат: – когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым как стрела хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! – сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо

вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

– Послушай! – сказал твердым голосом Азамат: – видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! Как поет! А вышивает золотом, чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? Дождись меня завтра ночью там, в ущельи, где бежит поток: я пойду с нею мимо соседний аул, – и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса:[90]

*Много красавиц в аулах у нас,[91]  
Звезды сияют во мраке их глаз,  
Сладко любить их, завидная доля;  
Но веселей молодецкая воля.  
Золото купит четыре жены,  
Конь же лихой не имеет цены:  
Он и от вихря в степи не отста-  
нет,  
Он не изменит, он не обманет.*

Напрасно упрасивал его Азамат согласиться и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

– Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

– Меня! – крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» – подумал я, кинулся в конюшню, взнуздal лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уже в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья – и пошла потеха. Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом пиру похмелье, – сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку: – не лучше ли нам поскорее убраться?»

– Да погодите, чем кончится.

– Да уж верно кончится худо; у этих азиатов всё так: натянулись бузы, и пошла резня! – Мы сели верхом и ускакали домой.

– А что Казбич? – спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

– Да что этому народу делается! – отвечал он, допивая стакан чая: – ведь ускользнул.

– И не ранен? – спросил я.

– А бог его знает! Живуци, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь искомлот, как решето, штыками, а все махает шашкой. – Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

– Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу всё, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, – такой хитрый! – а сам задумал кое-что.

– А что такое? Расскажите, пожалуйста.

– Ну уж нечего делать! Начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил

лакомствами. Я был тут; зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, – ну, просто, по его словам, такой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду; раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..»

– Всё, что захочет, – отвечал Азамат.

– В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

– Клянусь... Клянись и ты.

– Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

– Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул. «А мой отец?» – сказал он.

– Разве он никогда не уезжает?

– Правда...

– Согласен?..

– Согласен, – прошептал Азамат, бледный как смерть. – Когда же?

– В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное – мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело – по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что по-ихнему он все-таки ее муж, а что Казбич разбойник, которого надо было наказать. Са-

ми посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день. «Азамат! – сказал Григорий Александрович: – завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...»

– Хорошо! – сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, – только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

– А лошадь? – спросил я у штабс-капитана.

– Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком.[92]

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменялся в лице – и

к окну; но окно, к несчастью, выходило на задворье. «Что с тобой?» – спросил я.

– Моя лошадь!.. Лошадь! – сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это верно какой-нибудь казак приехал...»

– Нет! Урус яман, яман! – заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем: он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль – Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его в дребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости – он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов – он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал про-

силь, чтобы ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

– Что ж отец?

– Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал; верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в

замке не было. Я всё это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, – только он притворялся, будто не слышит.

– Господин прапорщик! – сказал я как можно строже. – Разве вы не видите, что я к вам пришел?

– Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? – отвечал он, не приподнимаясь.

– Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

– Всё равно. Не хотите ли чая? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

– Я всё знаю, – отвечал я, подошед к кровати.

– Тем лучше: я не в духе рассказывать.

– Г. прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

– И полноте! Что ж за беда? Ведь у нас давно всё пополам.

– Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу.

– Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «По-

слушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».

– Что нехорошо?

– Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, – сказал я ему.

– Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это? Я стал втупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

– Вовсе не надо.

– Да он узнает, что она здесь?

– А как он узнает?

Я опять стал втупик. «Послушайте, Максим Максимыч! – сказал Печорин, приподнявшись; – ведь вы добрый человек, – а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...»

– Да покажите мне ее, – сказал я.

– Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу

духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, – прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился. Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

– А что? – спросил я у Максима Максимыча: – в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

– Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, а этим дикарям больше ничего не нужно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! Чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону. Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и всё грустила, напевала свои песни вполголоса, так

что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею. «Послушай, моя пери, – говорил он: – ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею – отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой». – Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. «Или, – продолжал он: – я тебе совершенно ненавистен?» – Она вздохнула. – «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» – Она побледнела и молчала. – «Поверь мне, аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?» – Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! Они так и сверкали, будто два угля.

«Послушай, милая, добрая Бэла, – продолжал Печорин, – ты видишь, как я тебя люблю;

я всё готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?» Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала. – «Я твоя пленница, – говорила она: – твоя раба; конечно ты можешь меня принудить», – и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед. «Что, батюшка?» – сказал я ему. – «Дьявол, а не женщина, – отвечал он: – только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...» – Я покачал головою. «Хотите пари? – сказал он: – через неделю!» – «Извольте!» – Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками;

привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

– Как вы думаете, Максим Максимыч! – сказал он мне, показывая подарки: – устоит ли азиатская красавица против такой батареи? – «Вы черкешенок не знаете, – отвечал я: – это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, – совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны». – Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину: она стала ласковее, доверчивее – да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! – сказал он: – ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: – прощай! Оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, – ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду – куда? Почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударом

пашки; тогда вспомни обо мне и прости меня». – Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль – такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал – и сказать ли вам? Я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. – Поверите ли? Я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так – глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

– Да, признаюсь, – сказал он потом, теребя усы: – мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

– И продолжительно было их счастье? – спросил я.

– Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да,

они были счастливы!

– Как это скучно! – воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. – Да неужели, – продолжал я, – отец не догадался, что она у вас в крепости?

– То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

– Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь; по крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали, – это было в сумерки, – он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья – и был таков; некоторые уздени все это видели с пригорка: они бросились догонять, только не догнали.

– Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил, – сказал я, чтоб вызвать мнение мо-

его собеседника.

– Конечно, по-ихнему, – сказал штабс-капитан, – он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает невероятную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными

снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было всё на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. – Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-Гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она всё поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-Горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливалась в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром, – чувство детское, не

спору, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: всё приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-Гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурей; но на востоке всё было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

– Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? – сказал я ему.

– Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное бие-

ние сердца.

– Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

– Разумеется, если хотите, оно и приятно; только всё же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, – прибавил он, указывая на восток: – что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская Долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую – и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, – воскликнул он, – что

нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» – закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных,[93] – а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лезть в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», – и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б

все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться.

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? – Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите, или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую Гору (или, как называет ее ученый Гамба,[94] le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. Итак, мы спустились с Гуд-Горы в Чертову Долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, – не тут-то было: название Чертовой Долины происходит от слова «черта», а не «черт», – ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напомиавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие *милые* места нашего отечества.

– Вот и Крестовая! – сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову Долину,

указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались: лошади падали; — налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. — В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую Гору, — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья,

ревел, свистал, как Соловей-Разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набежали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр 1-й, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, – думал я, – плачешь о своих широких раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

– Плохо! – говорил штабс-капитан: – посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег – того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, [95] что и не переедешь. Уж эта мне Азия! Что люди, что речки – никак нельзя положиться. – Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов. «Ваше благородие, – сказал наконец один: – ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеет, – верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку», – прибавил он, указывая на осетина.

– Знаю, братец, знаю без тебя, – сказал штабс-капитан; – уж эти бестии! Рады придраться, чтоб сорвать на водку.

– Признайтесь, однако, – сказал я, – что без них нам было бы хуже.

– Всё так, всё так, – пробормотал он: – уж эти мне проводники! Чутьем слышат, где

можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги. Вот мы свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурей. «Всё к лучшему, – сказал я, присев у огня: – теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось».

– А почему ж вы так уверены? – отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою.

– Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

– Ведь вы угадали...

– Очень рад.

– Хорошо вам радоваться, а мне так право грустно, как вспомню. Славная была девочка, эта Бэла! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать,

что у меня нет семейства; об отце и матери я лет 12 уж не имею известия, а заpastись женой не догадался раньше, – так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в благородном собрании, лет 20 тому назад, – только куда им! Совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее, как куколку, холил и лелеял; и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках, – уж какая, бывало, веселая, и всё надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!...

– А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

– Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре всё шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж кажется говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанамии или козами, – а

тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, – целое утро пропадал; раз и другой, всё чаще и чаще... Нехорошо, подумал я: верно между ними черная кошка проскочила! Одно утро захожу к ним – как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

– А где Печорин? – спросил я.

– На охоте.

– Сегодня ушел? – Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

– Нет, еще вчера, – наконец сказала она, тяжело вздохнув.

– Уж не случилось ли с ним чего?

– Я вчера целый день думала, думала, – отвечала она сквозь слезы, – придумывала разные несчастья: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

– Право, милая, ты хуже ничего не могла

придумать. – Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

– Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его – я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать. «Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке; он человек молодой, любит погоняться за дичью – походит да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь».

– Правда, правда, – отвечала она: – я буду весела. – И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно, она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался: думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «хочешь, пойдём про-

гуляться на вал, погода славная!» – Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно как-кая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками,[96] оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; – с другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть всё. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, всё ближе и ближе, и наконец остановился по ту сторону речки саженьях во сте от нас и начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча!.. «Посмотри-ка, Бэла, – сказал я: – у тебя глаза молодые, что это за

джигит: кого это он приехал тешить?..»

Она взглянула и вскрикнула: «это Казбич!..»

– Ах он разбойник! Смеяться что ли приехал над нами? – Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный, как всегда. – «Это лошадь отца моего», – сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали: – «Ага! – подумал я: – и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь».

– Подойди-ка сюда, – сказал я часовому: – осмотри ружье, да ссади мне этого молодца, – получишь рубль серебром. «Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...» – «Прикажи!» – сказал я смеясь... – «Эй, любезный! – закричал часовой, махая ему рукой: – подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?» – Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно думал, что с ним заводят переговоры, – как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. Мимо, – только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стремянах, крикнул что-то по-

своему, погрозил нагайкой – и был таков.

– Как тебе не стыдно! – сказал я часовому.

– Ваше высокоблагородие! Умирать отпра-  
вился, – отвечал он: – такой проклятый народ,  
сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с  
охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни од-  
ной жалобы, ни одного упрека за долгое от-  
сутствие... Даже я уж на него рассердился.  
«Помилуйте, – говорил я: – ведь вот сейчас тут  
был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли:  
ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти гор-  
цы народ мстительный: вы думаете, что он не  
догадывается, что вы частью помогли Азамат-  
ту? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал  
Бэлу. Я знаю, что год тому назад она ему боль-  
но нравилась – он мне сам говорил, и если б  
надеялся собрать порядочный калым, то вер-  
но бы посватался...» Тут Печорин задумался: –  
«Да, – отвечал он, – надо быть осторожнее...  
Бэла, с нынешнего дня ты не должна более хо-  
дить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объясне-  
ние: мне было досадно, что он переменялся к  
этой бедной девочке; кроме того, что он поло-

вину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Бэла? Ты печальна?» – «Нет!» – «Тебе чего-нибудь хочется?» – «Нет!» – «Ты тоскуешь по родным?» – «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, – отвечал он, – у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиной несчастья других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение – только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был лю-

бим – но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться – науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой; если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее

отдам жизнь, только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне всё мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, – только не в Европу, избави боже! – поеду в Америку, в Аравию, в Индию, – авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». – Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, – продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, – вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое, что есть, вероятно, и такие,

которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. – Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

– А всё, чай, французы ввели моду скучать?

– Нет, англичане.

– А-га, вот что!.. – отвечал он, – да ведь они всегда были отъявленные пьяницы?

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее; чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

– Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, нет зверя. «Эй, не воротиться ли? – говорил я: – к чему упрямитесь? Уж видно такой задался несчастный день». Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи; таков уж был человек: что задумает, подавай; видно в детстве был маменькой избалован. Наконец в полдень отыскали проклятого кабана – паф! Паф! Не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день!.. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. – Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение; опрометью поскакали мы на выстрел, – смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит

что-то белое на седле. – Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла, и туда – я за ним.

К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были всё ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «это Казбич!»... Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! – кричу я ему: – берегите заряд; мы и так его догоним». – Уж эта молодежь! Вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени; Каз-

бич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрую... Это была Бэла... бедная Бэла! – Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил в свою очередь, наудачу; верно пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку. – Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь, и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда – да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил – ну, так уже и быть, одним разом всё бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! – Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно ту же; напрасно Печорин целовал ее холодные губы – ничего не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович

вич сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую». – «Правда!» – сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел; осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

– Выздоровела? – спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

– Нет, – отвечал он: – а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

– Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

– А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, – цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подошли.

– Да зачем Казбич ее хотел увезти?

– Помилуйте, да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и не нужно, а всё украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

– И Бэла умерла?

– Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. – «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», – отвечал он, взяв ее за руку. – «Я умру!» – сказала она. – Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; – она покачала головой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку.

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во всё время не заметил ни одной слезы на ресницах его; в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою – не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью: я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости, и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменялась в этот день!.. Бледные щеки впали, глаза сделались большие, большие, – губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней

лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. – Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбילה перевязку, и кровь потекла снова. – Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте, – говорил я ему: – ведь вы сами сказали,

что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» – «Все-таки лучше, Максим Максимыч, – отвечал он, – чтоб совесть была покойна». – Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна; но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати – ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда – признак приближения конца, и сказал это Печорину. – «Воды, воды!..» – говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен, как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню, какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это всё не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а кажется, я ее любил, как отец... ну да бог ее простит!.. И вправду молвить: что же я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?..

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась.

Приложили зеркало к губам – гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частью для развлечения занялся этим; у меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утро мы ее похоронили, за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

– А что Печорин? – спросил я.

– Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в е...й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались; да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже – вероятно для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел речь о Бэле и о Печорине.

– А не слышали ли вы, что сделалось с Казбичем? – спросил я.

– С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном

бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко, да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

### **Максим Максимыч**

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавли-

ваются все проезжие, и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. Но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я для развлечения вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это – прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил ме-

ня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на суходении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе всё, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегаются шире и шире, мелькали из-за деревьев, а дальше синелись зубчатую стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начал расходиться в долинах, когда на улице

раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина – нечто вроде русского Фигаро.[97] – «Скажи, любезный, – закричал я ему в окно, – что это – оказия пришла, что ли?» – Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно. – «Слава богу! – сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. – Экая чудная коляска! – прибавил он: – верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть англин-

скую!» – «А кто бы это такое был – подойдем-те-ка узнать...» Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

– Послушай, братец, – спросил у него штабс-капитан: – чья эта чудесная коляска?.. А?.. Прекрасная коляска!.. – Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: «Я тебе говорю, любезный...»

– Чья коляска?.. Моего господина...

– А кто твой господин?

– Печорин...

– Что ты? Что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!.. Да не служил ли он на Кавказе?.. – воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

– Служил, кажется – да я у них недавно.

– Ну так!.. Так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, – прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

– Позвольте, сударь; вы мне мешаете, – сказал тот, нахмурившись.

– Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? Мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где ж он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

– Да не зайдет ли он вечером сюда? – сказал Максим Максимыч: – или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

– Ведь сейчас прибежит!.. – сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом: – пойду за ворота его дожидаться... Эх! Жалко, что я незнаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; хотя, по рассказу

штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник. – «Максим Максимыч, не хотите ли чаю?» – закричал я ему в окно.

– Благодарствуйте; что-то не хочется.

– Эй выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

– Ничего, благодарствуйте...

– Ну, как угодно! – Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик: – «А ведь вы правы; все лучше выпить чайку, – да я всё ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да, видно, что-нибудь задержало».

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча.

ча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, – он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уж очень поздно, Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

– Не клопы ли вас кусают? – спросил я.

– Да, клопы... – отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот сидящего на скамейке. – «Мне надо сходить в комендатуру, – сказал он, – так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась

широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье: босые мальчишки осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать; подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бар-

хатный сертучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, – верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала.[98] С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от

природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные – признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади; чтоб закончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; об глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! – Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его, непродолжительный, но пронизатель-

ный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что всё готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему: «Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...»

– Ах, точно! – быстро отвечал он: – мне вчера говорили; но где же он? – Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать, пот градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

– Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? – сказал Печорин.

– А... ты... а вы?.. – пробормотал со слезами на глазах старик... – сколько лет... сколько дней... да куда это?..

– Еду в Персию – и дальше...

– Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

– Мне пора, Максим Максимыч, – был ответ.

– Боже мой, боже мой! Да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? В отставке?.. Как?.. Что поделывали?..

– Скучал! – отвечал Печорин, улыбаясь.

– А помните наше житье-бытье в крепости?.. Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

– Да, помню! – сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно пообедаем, – говорил он: – у меня есть два фазана, а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..»

– Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... – прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забывать! –

проворчал он: – я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»

– Ну полно, полно! – сказал Печорин, обняв его дружески: – неужели я не тот же?.. Что делать?.. Всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться – бог знает!.. – Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

– Постой, постой! – закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски: – совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

– Что хотите! – отвечал Печорин. – Прощайте...

– Так вы в Персию?.. А когда вернетесь?.. Кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! Да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой до-

роге, а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

– Да, – сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах; – конечно, мы были приятели, – ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. Сколько поклажи... и лакей такой гордый!.. – Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. – Скажите, – продолжал он, обратясь ко мне, – ну что вы об этом думаете?.. Ну какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нету проку в том, кто старых друзей забывает!.. – Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

– Максим Максимыч, – сказал я, подошедши к нему, – а что за бумаги вам оставил Печорин?

– А бог его знает! Какие-то записки...

– Что вы из них сделаете?

– Что? А велю сделать патронов.

– Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю, потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...

– Вот они все, – сказал он: – поздравляю вас с находкою...

– И я могу делать с ними все, что хочу?

– Хоть в газетах печатайте! Какое мне дело?.. Что я разве друг его какой?.. Или родственник? Правда, мы жили долго под одною кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать. Штабс-капитан

вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

– А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

– Нет-с.

– А что так?

– Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кой-какие казенные вещи...

– Да ведь вы же были у него?

– Был, конечно, – сказал он заминаясь... – да его дома не было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*, говоря языком бумажным, – и как же он был награжден!

– Очень жаль, – сказал я ему, – очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

– Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

– Я не заслужил этих упреков, Максим

Максимыч.

– Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем желаю вам всякого счастья и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

## **Журнал Печорина** **Предисловие**

**Н**едавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать

эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга – понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставил наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщ-

славного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переименовал все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно, себя узнают и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность, по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? – Мой ответ – заглавие этой книги. – «Да это злая ирония!» – скажут они. – Не знаю.

**Тамань**

Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем – занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! Хоть к черту, только к месту!» – закричал я. «Есть еще одна фатера, – отвечал десятник, почесывая затылок: – только вашему благородию не понравится, там нечисто». – Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой

хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, – подумал я: – завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина – молчат; стучу – молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет 14-ти.

«Где хозяин?» – «Нема». – «Как? Совсем нету?» – «Совсим». – «А хозяйка?» – «Побигла в слободку». – «Кто ж мне отопрет дверь?» – сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась, из хаты повеяло сыростью. Я засветил

серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мной неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение противу всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочесть на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? Я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» – спросил я его нако-

нец. – «Ни». – «Кто же ты?» – «Сирота, убогой». – «А у хозяйки есть дети?» – «Ни, была дочь, да утнула за море с татариним». – «С каким татариним?» – «А бис его знает! Крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа – дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мной во мраке всё вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часу. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега, однако иначе ему некуда было деваться. Я

встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. *В тот день немые возопиют и слепые прозрят,*[99] подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из виду.

Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что, казалось, сейчас волна его схватит и унесет, но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за

выдавшемуся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

«Что, слепой, – сказал женский голос: – буря сильна. Янко не будет». – «Янко не боится бури», – отвечал тот. – «Туман густеет», – возразил опять женский голос, с выражением печали. – «В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов», – был ответ. «А если он утонет?» – «Ну что ж? В воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты».

Последовало молчание; меня, однако, поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

– Видишь, я прав, – сказал опять слепой, ударив в ладоши: – Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей: прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь, это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

– Ты бредишь, слепой, – сказала она: – я ни-

чего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять, и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно подымаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние 20 верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку, но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги, но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по бе-

регу, и скоро я потерял их из виду. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дни через три, четыре придет почтовое судно, – сказал комендант: – и тогда мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит; меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

- Плохо, ваше благородие, – сказал он мне.
- Да, брат, бог знает, когда мы отсюда

уедем. – Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

– Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника, он мне знаком, был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! Ходит везде один, и на базар за хлебом, и за водой... уж видно здесь к этому привыкли.

– Да что ж? По крайней мере показалась ли хозяйка?

– Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

– Какая дочь? У ней нет дочери.

– А бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я вошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, – сказал я, взяв его за ухо: – говори, куда

ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?.. Никуды не ходив... с узлом? Яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «вот выдумывают, да еще на убогого! За что вы его? Что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая в даль; передо мной тянулось ночью бурю взволнованное море, однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напоминал мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часу, может быть и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский свежий голосок, – но откуда?.. Прислушиваюсь... напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь – никого нет кругом; прислушиваюсь снова – звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными

косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

*Как по вольной волюшке –  
По зелено морю,  
Ходят всё кораблики  
Белопарусники.  
Промеж тех корабликов  
Моя лодочка,  
Лодка неснащенная,  
Двухвесельная.  
Буря ль разыграется –  
Старые кораблики  
Приподымут крылушки,  
По морю размечутся.  
Стану морю кланяться  
Я низёхонько:  
«Уж не тронь ты, злое море,  
Мою лодочку:  
Везет моя лодочка  
Вещи драгоценные,  
Правит ею в темну ночь  
Буйная головушка».*

Мне невольно пришло на мысль, что но-

чью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундица; поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры: пеньё и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою пронизательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетической властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и

насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции.[100] Она, т. е. порода, а не Юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более 18 лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах, и особенно правильный нос – всё это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такая сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гётеву Миньону,[101] это причудливое создание его немецкого воображения; – и точно, между ними было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...

Пóд-вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица, – спросил я: – что ты делала сегодня на кровле?» – «А смотрела, откуда ветер дует». – «Зачем тебе?» – «Откуда ветер, оттуда и счастье». – «Что же, разве ты песнью зазывала счастье?» – «Где поется, там и счастливится». – «А как неравно напоешь себе горе?» – «Ну что ж? Где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять не далеко». – «Кто ж тебя выучил эту песню?» – «Никто не выучил; вздумается – запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слышать, тот не поймет». – «А как тебя зовут, моя певунья?» – «Кто крестил, тот знает». – «А кто крестил?» – «Почему я знаю?» – «Экая скрытная! А вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевелила губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить ее, – нимало! Она захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком». – «А если б я, например, вздумал до-

нести коменданту?» – и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чаю, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, – то была она, моя ундина; [102] она села против меня тихо и безмолвно, и устремила на меня глаза свои, и, не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моей жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высо-

ко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чаю, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «нынче ночью, как все уснут, выходи на берег» – и стрелою выскочила из комнаты. В снях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес девка!» – закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда всё на пристани умолкло, я разбудил своего казака: «Если я выстрелю из пистолета, – сказал я ему, – то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была бо-

лее нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

– Идите за мной, – сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», – сказала моя спутница; я колебался, я не охотник до сентиментальных прогулок по морю, но отступить было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» – сказал я сердито. – «Это значит, – отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками: – это значит, что я тебя люблю»... И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хватить за пояс – пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула

мне в голову. Оглядываюсь – мы от берега около пятидесяти сажень, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя – она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» – закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

– Ты видел, – отвечала она: – ты донесешь, – и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки, ее волосы касались воды, минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно бросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал.

На дне лодки я нашел половину старого

весла, и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса всё, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих, мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась в дали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был покацапки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, – сказала она: – всё пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. – «А где же слепой?» – сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», – был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

«Послушай, слепой, – сказал Янко: – ты береги то место... знаешь? Там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул, а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит. – После некоторого молчания Янко продолжал: – Она поедет со мною, ей нельзя здесь оставаться, а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажила, надо знать и честь. Нас же больше не увидит».

– А я? – сказал слепой жалобным голосом.

– На что мне тебя? – был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». – «Только?» – сказал слепой. – «Ну вот тебе еще», – и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между

темных волн; слепой всё сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание; слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов*? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и вошел в хату. Увы! Моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, – подарок приятеля, – всё исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что случилось с ста-

рухой и с бедным слепым – не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

*Конец первой части*

**Часть вторая**  
**(Окончание Журнала Печорина)**  
**Княжна Мери**  
**11-го мая.**

**В**чера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»;<sup>[103]</sup> на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький

городок; шумят целебные ключи, шумит разноречивая толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. – Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё, – чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления? – Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается всё водяное общество...

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору: то были большею частью семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сертукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся *водяная* молодежь была уже на перечеке, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покррой сертука ввел их в заблужде-

ние, но скоро, узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.[104]

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под номерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют – однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом... Они играют и жалуется на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы; штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брызжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столич-

ных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодец!.. На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрыв костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любителейниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

– Печорин! Давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и по минутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение: они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами – иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош

поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. – Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается

вперед зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать.

Приезд его на Кавказ – также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «нет, вы (или ты) этого не должны знать!.. Ваша чистая душа содрогнется!.. Да и к чему?.. Что я для вас! – Поймете ли вы меня?..» и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К... полк, останется вечною тайной между им и небесами.

Впрочем в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его спрашивать об образе жизни на

водах и о примечательных лицах.

– Мы ведем жизнь довольно прозаическую, – сказал он вздохнув. – Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино по вечерам несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель – как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! – На второй было закрытое платье gris de perles; [105] легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки couleur ruse [106] стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул хотя от удивленья. Ее легкая, но благородная походка имела в се-

бе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

– Вот княгиня Лиговская, – сказал Грушницкий: – и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.

– Однако ты уж знаешь ее имя?

– Да, я случайно слышал, – отвечал он, покраснев. – Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться; эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

– Бедная шинель! – сказал я, усмехаясь. – А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стаканы?

– О! Это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость: точно у Робинзона Крузое! [107] Да и борода кстати, и прическа à la moujik. [108]

– Ты озлоблен против всего рода человеческого.

– И есть за что...

– О! Право?

В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:

– Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.[109]

Хорошенькая княжна обернулась и подавила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренне от души его поздравил.

– Эта княжна Мери прехорошенькая, – сказал я ему. – У нее такие бархатные глаза, – именно бархатные, я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах: нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска, они так мягки, они будто бы тебя гладят. – Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что у нее зубы бе-

лы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

– Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади, – сказал Грушницкий с негодованием.

– Mon cher, – отвечал я ему, стараясь поддаться под его тон: – je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.[110]

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам с висящими между них кустарниками. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бедняжка! Как он ухитрялся, опираясь на костыль, и всё напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела всё это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянувшись на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтоб поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, – даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вот ее шляпка мелькнула через улицу, она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска; за нею про-

шла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.

– Ты видел? – сказал он, крепко пожимая мне руку: – это просто ангел!

– Отчего? – спросил я с видом чистейшего простодушия.

– Разве ты не видал?

– Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

– И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

– Нет.

Я лгал. Но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крепким холодом, и, я думаю, частые сноше-

ния с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу: это чувство было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить

стеклышко на московскую княжну!

### **13-го мая.**

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер исподтишка насмеялся над своими больными, но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него

был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, – больные взбеленились! – почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упавший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов. Надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом и худ и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы

под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сертук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; – рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление;

толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

– Что до меня касается, то я убежден только в одном, – сказал доктор.

– В чем это? – спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

– В том, – отвечал он, – что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру.

– Я богаче вас, – сказал я: – у меня, кроме этого, есть еще убеждение, – именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона,[111] мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вер-

нер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, – и мы оба замолчали.

– Заметьте, любезный доктор, – сказал я, – что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите: вот нас двое умных людей, мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим, мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга, одно слово для нас целая история, видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть, мы знаем один о другом всё, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство: рассказывать новости. – Скажите же мне какую-нибудь новость!

Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул.

Он отвечал подумавши:

– В вашей галиматье, однако ж, есть идея!

– Две, – отвечал я.

– Скажите мне одну, я сам скажу другую.

– Хорошо, начинайте, – сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

– Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

– Доктор! Решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг у друга.

– Теперь другая...

– Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь, во-первых потому, что слушать менее утомительно, во-вторых, нельзя проговориться, в-третьих, можно узнать чужую тайну, в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

– Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?..

– Совершенно убежден.

– Почему?

– Потому что княжна спрашивала об Груш-

НИЦКОМ.

– У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль...

– Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении...

– Разумеется.

– Завязка есть! – закричал я в восхищении: – об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится об том, чтоб мне не было скучно.

– Я предчувствую, – сказал доктор, – что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...

– Дальше, доктор...

– Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо... Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума! Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделали героем романа в новом вкусе... Я не про-

тивуречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

– Достойный друг! – сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

– Если хотите, я вас представлю...

– Помилуйте! – сказал я, всплеснув руками: – разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

– И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

– Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, – продолжал я после минуты молчания: – я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж, вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

– Во-первых, княгиня – женщина 45 лет, – отвечал Вернер: – у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена: на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она прове-

ла в Москве, и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна, как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего: я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать: она питает уважение к уму и знаниям дочери, которая читала Байрона по-англински и знает алгебру; в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, – право! Наши мужчины так нелюбезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. – Княгиня очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! – Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.

– А вы были в Москве, доктор?

– Да, я имел там некоторую практику.

– Продолжайте.

– Да я, кажется, всё сказал... Да! Вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и проч... Она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

– Вы никого у них не видали сегодня?

– Напротив: был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по муже, очень хорошенькая, но очень, кажется, большая... Не встретили ль вы ее у колодца? – она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своей выразительностью.

– Родинка! – пробормотал я сквозь зубы. – Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце: «Она вам знакома». Мое сердце, точно, билось сильнее обыкновенного.

– Теперь ваша очередь торжествовать, – сказал я: – только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, кото-

рую любил в старину. – Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, относитесь обо мне дурно.

– Пожалуй, – сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. И как мы встретимся?.. И потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мной: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее всё те же звуки; я глупо создан: ничего не забываю, ничего.

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать; – видно, было смешно, потому что они начали хохотать, как

сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упавая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

– Что он вам рассказывал? – спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости: – верно очень занимательную историю – свои подвиги в сражениях?.. – Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «А-га! – подумал я: – вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень ра-

да, потому что ей скучно.

## **16-го мая.**

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, – и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя – теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют – и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок.

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал 40 рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где

блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение: я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял таинственный вид: ходит закинув руки за спину и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромотает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне: она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

– Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? – сказал он мне вчера.

– Решительно.

– Помилуй, самый приятный дом на водах! Всё здешнее лучшее общество!..

– Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоедо. А ты у них бываешь?

– Нет еще; я говорил раза два с княжной и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если б я носил эполеты...

– Помилуй, да эдак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением: да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем, страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

– Какой вздор! – сказал он.

– Я уверен, – продолжал я, – что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! Ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар.

– У тебя всё шуточки, – сказал он, показывая, будто сердится: – во-первых, она меня еще так мало знает...

– Женщины любят только тех, которых не знают.

– Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, напри-

мер, другое дело! – вы, победители петербургские, только посмотрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?..

– Как? Она тебе уж говорила обо мне?..

– Не радуйся однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; и третье слово ее было: «кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? Он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. – Вам не нужно сказывать дня, – отвечал я ей, – он вечно будет мне памятен. Мой друг, Печорин, я тебя не поздравляю, ты у нее на дурном замечании... А, право, жаль! Потому что Мери очень мила!..

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря об женщине, с которой они едва знакомы, называют ее *моя Мери*, *моя Sophie*, если она имела счастье им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

– Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не

примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор – никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить – а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может! Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобою накокетничается вдоволь, а года через два выдет замуж за уроды, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и

стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренне хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным! – Я стал его рассматривать, и что же? Мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом – число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний! Я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться...

.....

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодезю – никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот;

мне было грустно. Я думал о той молодой женщине, с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? – и она ли? И почему я думаю, что это она?.. И почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках! Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уж вернуться, чтоб не нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

– Вера! – вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

– Я знала, что вы здесь, – сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку: давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами; в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

– Мы давно не видались, – сказал я.

– Давно – и переменились оба во многом!

– Стало быть, уж ты меня не любишь?..

– Я замужем, – сказала она.

– Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала; но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

– Может быть, ты любишь своего второго мужа?

Она не отвечала и отвернулась.

– Или он очень ревнив?

Молчание.

– Что же? Он молод, хорош, особенно верно богат, и ты боишься... – Я взглянул на нее и испугался: ее лицо выражало глубокое отчаянье, на глазах сверкали слезы.

– Скажи мне, наконец, – прошептала она, – тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... – Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, – подумал я: – ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!..»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались

долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны, как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем, – тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре; она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца! И будет обманывать, как мужа!.. Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г...в, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтоб отвлечь от нее внимание. Таким образом мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело!

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жиз-

ни душевной, когда ищут только счастья, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь: теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины, напротив: я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? – оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? Или это – магнетическое влияние сильного организма? Или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщин с характером: их ли это дело!

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волею, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, – и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтоб не было у нее чахотки или той болезни, которую называют *fièvre lente*[112] – болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечно-стью; и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть! – Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание об ней останется неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это

только ее прощальный взгляд, последний подарок, – на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо, члены гибки и стройны, густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся всё яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, всё в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках*, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме

верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего, оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию,[113] куда часто водяное общество ездит *en rîquenie*. [114] Дорога идет извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются си-

ние громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Опустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии *балками*, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь *черкесского с нижегородским*;[115] впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил пашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть всё и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

– И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? – говорила княжна.

– Что для меня Россия! – отвечал ее кавалер: – страна, где тысячи людей, потому что

они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь, – здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

– Напротив... – сказала княжна, покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

– Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один подобный тому...

В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста...

– Mon Dieu, un Circassien!..[116] – вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

– Ne craignez rien, madame, – je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier.[117]

Она смутилась, – но отчего? От своей ошибки, или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в 11, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем?.. Что делает теперь Вера? Думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно, Грушницкий... Так и есть!

– Откуда?

– От княгини Лиговской, – сказал он очень важно. – Как Мери поет!..

– Знаешь ли что? – сказал я ему: – я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

– Может быть! Какое мне дело!.. – сказал он рассеянно.

– Нет, я только так это говорю...

– А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость, – я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

– Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

– Мне жаль, что я не имею еще этого права...

«О-го! – подумал я: – у него, видно, есть уже надежды...»

– Впрочем для тебя же хуже, – продолжал Грушницкий: – теперь тебе трудно познакомиться с ними, – а жаль! Это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

– Самый приятный дом для меня теперь мой, – сказал я зевая и встал, чтоб идти.

– Однако, признайся, ты раскаиваешься?..

– Какой вздор! Если я захочу, то завтра же

буду вечером у княгини...

– Посмотрим...

– Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

– Да, если она захочет говорить с тобой...

– Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

– А я пойду шататься, – я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторан, там игра... мне нужны нынче сильные ощущения...

– Желаю тебе проиграться...

Я пошел домой.

## **21-го мая.**

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны – когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он *не жених*. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежных взгляда, – надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она, с тех пор как мы встретились в гроте, не выходила из дому. Мы в одно время

опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:

– Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими!.. Мы только там можем видеться...

Упрек!.. Скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной ма-зурку.

## **22-го мая.**

Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания. В 9 часов все съехались. Княгиня с дочерью явились из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин – там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закру-

жились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи счастливую эпоху мушек из черной тафты; самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

– Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет. *C'est imprayable!*..[118] И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

– За этим дело не станет! – отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату. Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид: она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я

не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горячей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое «merci, monsieur».

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

– Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?..

– И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? – отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии.

– Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость, просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

– Вам это будет довольно трудно...

– Отчего же?

– Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.

Это значит, подумал я, что их двери для меня навеки закрыты.

– Знаете, княжна, – сказал я с некоторой досадой, – никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

– Пермете... ну, да что тут!.. Просто ангажи-

рую вас на мазурку...

– Что вам угодно? – произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! Ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, всё это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

– Что же? – сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками, – разве вам не угодно?.. Я-таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure...[119] Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страха и негодования.

Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться, – потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

– Ну, нечего делать!.. В другой раз! – сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели

его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей всё, та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.

– Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, – прибавила она: – но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрилли тянулись ужасно долго.

Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень

мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен, ее замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

– Вы странный человек! – сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

– Я не хотел с вами знакомиться, – продолжал я, – потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

– Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

– Все? – Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и наконец произнесла решительно: *все!*

– Даже мой друг Грушницкий?

– А он ваш друг? – сказала она, показывая некоторое сомнение.

– Да.

– Он, конечно, не входит в разряд скуч-

НЫХ...

– Но в разряд несчастных, – сказал я смеясь.

– Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

– Что ж? Я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

– А разве он юнкер?.. – сказала она быстро и потом прибавила: – а я думала...

– Что вы думали?..

– Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменял направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы распростались – до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.

– А-га! – сказал он: – так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

– Я сделал лучше, – отвечал я ему, – спас ее от обморока на бале!..

– Как это? Расскажите!..

– Нет, отгадайте, – о вы, отгадывающий всё на свете!

**23-го мая.**

Около 7 часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

– Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?..

– Нет; но во всяком случае не стоит благодарности, – отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.

– Как? А вчера? Ты разве забыл?.. Мери мне всё рассказала...

– А что? Разве у вас уж нынче всё общее? И благодарность?

– Послушай, – сказал Грушницкий очень важно: – пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я ее люблю, до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером... обещаю мне замечать всё: я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин... Женщины! Женщины! Кто их поймет? Их улыбки противуречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их

голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков... Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

– Это, может быть, следствие действия вод, – отвечал я.

– Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист! – прибавил он презрительно. – Впрочем переменим материю – и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет – и, может быть, не оши-

бается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

– Довольна ль ты моим послушанием, Вера? – сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяны; все просили ее спеть что-нибудь, – я молчал, и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло – вздор...

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор, немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... впрочем я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «*charmant! Délicieux*».[120]

– Послушай, – говорила мне Вера: – я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты

должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь всё, что захочешь. Мы здесь только будем видеться...

– Только?..

Она покраснела и продолжала:

– Ты знаешь, что я твоя раба: я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя, не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе... Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки... а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю

губу, и присела очень насмешливо.

– Мне это тем более лестно, – сказала она, – что вы меня вовсе не слушали... но вы, может быть, не любите музыки?..

– Напротив, – после обеда особенно.

– Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

– Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном; у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово; следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична.

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась

показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, – вам не удастся! И если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадою наконец удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать!.. Как быть? У меня есть предчувствие... Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет ли она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине! За что она меня так любит, право, не знаю! – Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими

слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

– Ну, что?..

«Ты глуп», – хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

## **29-го мая.**

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой; но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада, или старалась показать; во второй рассердилась на меня, в третий – на Грушницкого.

– У вас очень мало самолюбия, – сказала она мне вчера. – Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

– И моим, – прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с нею ни слова... Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивей; когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подалее и украдкой стал наблюдать за ней; она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза.

Решительно, Грушницкий ей надоел.

Еще два дня не буду с ней говорить.

### **3-го июня.**

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское ко-

кетство? – Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то может быть, я бы завлекся трудно-стью предприятия. Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство – истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности – только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? – Из зависти к Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:

– Мой друг, со мною было то же самое! И ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю

преспокойно и надеюсь, сумею умереть без крика и слез!

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пи-

ца нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности; идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; [121] тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это

спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы: полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя и, следовательно, всё, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

.....

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним.

– Я вас не поздравляю, – сказал он Грушницкому.

– Отчего?

– Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пешотный мундир, сшитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

– Толкуйте, толкуйте, доктор! Вы мне не помешаете радоваться; он не знает, – прибавил Грушницкий мне на ухо: – сколько надежд придали мне эти эполеты... О, эполеты, эполеты! Ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! Я теперь совершенно счастлив.

– Ты идешь с нами гулять к провалу? – спросил я его.

– Я? Ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

– Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

– Нет, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить!..

– Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать, – и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

– Как ты думаешь, любит ли она тебя?..

– Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. Как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

– Хорошо! И, вероятно, по-твоему порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

– Эх, братец! На всё есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

– Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

– Она! – отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись: – мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.

По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку

княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась; я начал шутя – и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

– Вы опасный человек, – сказала она мне: – я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, – я думаю, это вам не будет очень трудно.

– Разве я похож на убийцу?..

– Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

– Да! Такова была моя участь с самого детства.[122] Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали – и они родились. Я был скромн – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня

не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их – меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаянье, – не то отчаянье, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное, отчаянье, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, – тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы

теперь во мне разбудили воспоминание о ней – и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна – пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит ни-мало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали... ей было жаль меня! Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во всё время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала... а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои

вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

– Любили ли вы? – спросил я ее наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой... и опять впала в задумчивость; явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась... Как быть! Кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку; все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они готовят, располагают ее сердце к принятию священного огня – а все-таки первое прикосновение решает дело.

– Не правда ли, я была очень любезна сегодня? – сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались...

Она недовольна собой: она себя обвиняет в холодности! – о, это первое, главное торжество. Завтра она захочет вознаградить меня. Я всё это уж знаю наизусть, вот что скучно!

**4-го июня.**

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

– Я отгадываю, к чему всё это клонится, – говорила мне Вера: – лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

– Но если я ее не люблю?

– То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск: послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят... Приедешь?..

Я обещал – и тот же день послал занять эту квартиру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

– Наконец я буду с нею танцевать целый вечер... Вот наговорюсь! – прибавил он.

– Когда же бал?

– Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

– Пойдем на бульвар...

– Ни за что! – в этой гадкой шинели...

– Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

– Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, – сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

– Вы будете завтра приятно удивлены, – сказал я ей.

– Чем?..

– Это секрет... на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вни-

манием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера всё это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружаясь в широкие кресла; мне стало жаль ее.

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, – разумеется, прикрыв всё это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги – я в таком выгодном свете выставил ее поступки и характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подсела к нам, оживилась... и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велют ложиться спать в одиннадцать.

## **5-го июня.**

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел

двойной лорнет; эполеты невероятной величины были загнуты кверху, в виде крылышек амура; сапоги его скрыпели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол; самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, накрученный на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы, – ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, – лицо его налилось кровью.

– Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной, – сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

– Где нам дуракам чай пить! – отвечал я

ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.[123]

– Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. Как подмышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

– Помилуй, чего тебе еще? От тебя и так уж несет розовой помадой...

– Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстух, в носовой платок, на рукава.

– Ты будешь танцевать? – спросил он.

– Не думаю.

– Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, – я не знаю почти ни одной фигуры...

– А ты звал ее на мазурку?

– Нет еще...

– Смотри, чтоб тебя не предупредили...

– В самом деле, – сказал он, ударив себя по лбу. – Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда. – Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна

его светились; звуки полковой музыки доносили ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно. Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов, – или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать!.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титюлярными советниками?..

Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение,

глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько пошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

– Вы меня мучите, княжна, – говорил Грушницкий: – вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

– Вы также переменились, – отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

– Я? Я переменялся? – О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ.

– Перестаньте!..

– Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

– Потому что я не люблю повторений, – отвечала она смеясь...

– О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...

– В самом деле, вам шинель гораздо более

к лицу...

В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

– Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет мсье Грушницкому?..

– Я с вами не согласен, – отвечал я: – в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара: как все мальчишки, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

– А признайтесь, – сказал я княжне, – что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или *vis-à-vis*; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

– Я этого не ожидал от тебя, – сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

– Чего?

– Ты с нею танцуешь мазурку? – спросил он торжественным голосом. – Она мне призналась...

– Ну, так что ж? А разве это секрет?

– Разумеется, я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки... Уж я отомщу!

– Пеняй на свою шинель или на свои эпoletы, а зачем же обвинять ее! Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

– Зачем же подавать надежды?

– Зачем же ты надеялся? – Желать и добиваться чего-нибудь – понимаю! – а кто ж надеется?

– Ты выиграл пари, – только не совсем, – сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали: это явно был заговор против меня. Тем лучше. Ей хочется говорить со мною, ей мешают, – ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

– Я дурно буду спать эту ночь, – сказала она мне, когда мазурка кончилась.

– Этому виноват Грушницкий.

– О, нет! – И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собой.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид...

Очень рад. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком

опрокинуть всё огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов – вот что я называю жизнью!

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

## **6-го июня.**

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой, во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват! Зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, – без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла, – больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. – Я рад, что княжна больна: они сделали б ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид: он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние за-

бавно.

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. *Я не видал ее! – Она больна!* Уж не влюбился ли я в самом деле? – Какой вздор!

## 7-го июня.

В одиннадцать часов утра, – час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, – я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила.

Я вошел в переднюю; людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны; она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошел к ней и сказал: – Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами, она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

– Что с вами? – сказал я, взяв ее за руку.

– Вы меня не уважаете!.. О! Оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов. Она выпрямилась на креслах, глаза ее засверкали...

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал:

– Простите меня, княжна! Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры!.. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей! Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился в постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

– Правда ли, – спросил он, – что вы женитесь на княжне Лиговской?

– А что?

– Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: всё знают!

«Это штуки Грушницкого!» – подумал я.

– Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

– И княгиня также?..

– Нет, она остается еще на неделю здесь...

– Так вы не женитесь!..

– Доктор, доктор! Посмотрите на меня: неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное?

– Я этого не говорю! – но вы знаете, есть случаи, – прибавил он, хитро улыбаясь, – в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев. Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее! Здесь на водах преопасный воздух; сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи, и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже поверите ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастье сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей

дочери и всё свое состояние – пятьдесят душ, кажется! Но я отвечал, что я к этому не способен.

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет.

### **10-го июня.**

Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условленного знака. Мы встречаемся будто нечаянно в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле: здесь всё дышит уединением, здесь всё таинственно – и густые сени липо-

вых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, – и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок; – с этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину: по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз как я на нее взгляну, мне всё кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге, – а той всё нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздаётся до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.

*Но смешивать два эти ремесла  
Есть тьма охотников – я не из их  
числа.[124]*

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мною почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поспориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно – несчастья развивают в нем воинственный дух.

## **11-го июня.**

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! – Зато Вера ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу! Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь,

надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален; чтоб выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня – но я замужем, – следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить – ибо я замужем – но он меня любит, – следовательно... тут несколько точек, ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большею частию язык, глаза и вслед за ними сердце, если оное имеется.

Что если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? – Клевета! – закричит она с негодованием.

С тех пор как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом...

Некстати было бы мне говорить о них с такой злостью, – мне, который кроме их на свете ничего не любил, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью... Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, всё, что я говорю о них, есть только следствие –

*Ума холодных наблюдений  
И сердца горестных замет.[125]*

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Ерусалиме».[126]«Только приступи, – говорил он, – на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что боже упаси: долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение... Надо только

не смотреть, а идти прямо; – мало-помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт; – зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад».

## **12-го июня.**

Сегодняшний вечер был обилён происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом*; это ворота, образованные природой; они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал об солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок в брод. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их – совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться на-

искось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предупредить княжну Мери.

Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулася. «Мне дурно!» – проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию.

– Смотрите наверх, – шепнул я ей: это ничего, только не бойтесь, я с вами.

Ей стало лучше, она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

– Что вы со мною делаете!.. Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова, из любопытства. Мне хотелось видеть, как

она выпутается из этого затруднительного положения.

– Или вы меня презираете, или очень любите! – сказала она наконец голосом, в котором были слезы. – Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... о, нет! Не правда ли, – прибавила она голосом нежной доверенности: – не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение; ваш дерзкий поступок, – я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. – В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться. – Я ничего не отвечал.

– Вы молчите? – продолжала она: – вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю...

Я молчал...

– Хотите ли этого? – продолжала она, быстро обратясь ко мне. В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

– Зачем? – отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочери просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю Вампира!.. [127] А еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия.

Слезши с лошадей, дамы взошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин; каждый шаг моей некованой лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я наполнил коня, жадно вдохнул в себя раза два све-

жий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну: неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

– Господа! – сказал он, – это ни на что не похоже; Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

– И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус – да, трус!

– Я думаю то же, – сказал Грушницкий. –

Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин всё обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

– Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, – сказал кто-то.

– Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

– Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, – о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! – сказал опять драгунский капитан. – Господа, никто здесь его не защищает? Никто!.. Тем лучше; хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит...

– Хотим – только как?

– А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит – ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите: вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль: хорошо! Всё это –

вызов, приготовления, условия, будет как можно торжественнее и ужаснее, – я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в pistolеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит – на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

– Славно придумано, согласны, почему же нет, – раздалось со всех сторон.

– А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответ Грушницкого: холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть: за что они все меня ненавидят? Думал я. За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я

принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство? И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. Берегитесь, господин Грушницкий! Говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате: со мной эдак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка...

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

– Вы больны? – сказала она, пристально посмотрев на меня.

– Я не спал ночь.

– И я также... я вас обвиняла... может быть напрасно? – Но объяснитесь: я могу вам простить всё...

– Всё ли?..

– Всё... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше

собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее, – сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку. Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатья.

– Я вам скажу всю истину, – отвечал я княжне: – не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; – я вас не люблю...

Ее губы слегка побледнели...

– Оставьте меня, – сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

## **14-го июня.**

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне: son coeur et sa fortune!.. [128] Но надо мною слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только

почувствовать, что я должен на ней жениться – прости любовь! Мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней?.. Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены*; это меня тогда глубоко поразило: в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере я буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

### **15-го июня.**

Вчера приехал сюда фокусник *Апфельбаум*. [129] На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный уди-

вительный фокусник, акробат, химик и оптик, будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в 8 часов вечера, в зале благородного собрания (иначе – в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе, одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. – Я жду тебя. Приходи непременно».

– А-га! – подумал я: – наконец-таки вышло по-моему.

В 8 часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини.

Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и проч.

Грушницкий мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Всё это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор; лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. У окон ее толпился народ. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою, и человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу.

Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку...

– Никто тебя не видал? – сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

– Никто!

– Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю?.. О, я долго колебалась, долго мучилась... но ты из меня делаешь всё, что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны, как лед. Начались упреки ревности, жалобы – она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаньями и проч.

– Так ты не женишься на Мери? Не любишь ее?.. А она думает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия... бедняжка!..

.....

.....

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то ме-

ня толкнуло к этому окну. Занавесь был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики; ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробежали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом; я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо. «А-га! – сказал грубый голос: – попался!.. Будешь у меня к княжнам ходить ночью!..»

– Держи его крепче! – закричал другой, вскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком,

сшиб его с ног и бросился в кусты; все тропинки сада, покрывающего отлогость против наших домов, были мне известны.

– Воры! Караул!.. – кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

– Печорин! Вы спите? Здесь вы?.. – кричал капитан.

– Сплю, – отвечал я сердито.

– Вставайте, – воры... черкесы...

– У меня насморк, – отвечал я: – боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Всё зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах – и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников

остались бы на месте.

## 16-го июня.

Нынче поутру у колодца только и было толков, что об ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! – говорил он: – ведь надобно ж, чтобы это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которых был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и следственно, я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

– Да неужто в самом деле это были черкесы? – сказал кто-то: – видел ли их кто-нибудь?

– Я вам расскажу всю историю, – отвечал Грушницкий, – только, пожалуйста, не выда-

вайте меня; вот как это было: вчера же один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливец.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

– Вот видите ли, – продолжал Грушницкий, – мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтобы поугагать. До двух часов ждали в саду; наконец – уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, – наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? А? Ну, уж признаюсь, московские барышни! После этого чему же можно

верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и как заяц бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

– Вы не верите? – продолжал он: – даю вам честное, благородное слово, что всё это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

– Скажи, скажи, кто ж он! – раздалось со всех сторон.

– Печорин, – отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза – я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

– Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

– Прошу вас, – продолжал я тем же тоном: – прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдум-

ка. Я не думаю, чтобы равнодушные женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не подымая глаз:

– Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю, и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на всё...

– Последнее вы уж доказали, – отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

– Что вам угодно? – спросил капитан.

– Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

– Вы отгадали, – отвечал он: – я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с

ним вчера ночью, – прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

– А! Так это вас ударил я так неловко по голове!..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

– Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта, – прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

– Благородный молодой человек! – сказал он с слезами на глазах. – Я всё слышал; экой мерзавец! Неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, – продолжал он: – я сам был молод и служил в военной службе; знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! Радуется, что у него нет доче-

рей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему всё – отношения мои к Вере и княжне, и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурчить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки; они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтоб дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

– Против вас, точно, есть заговор, – сказал он. – Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню; я на минуту остановился в передней, чтоб снять калоши; у них был ужасный шум и спор... «Ни за что не согла-

шусь! – говорил Грушницкий: – он меня оскорбил публично – тогда было совсем другое...» – «Какое тебе дело? – отвечал капитан: – я всё беру на себя. Я был секундантом на 5 дуэлях, и уж знаю, как это устроить. Я всё придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Пострадать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» – В эту минуту я взошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в 4 часа утра, а мы выедем полчасом после них; стреляться будете на 6 шагах – этого требовал сам Грушницкий. Убитого – на счет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяют; только Грушницкий, кажется, полагороднее своих товарищей. Как вы думаете? Должны ли мы показать им, что догадались?

– Ни за что на свете, доктор; будьте спокойны, я им не поддамся.

– Что же вы хотите делать?

– Это моя тайна.

– Смотрите, не попадитесь... ведь на 6 шагах!

– Доктор, я вас жду завтра в 4 часа; лошади будут готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, – я велел сказать, что болен.

.....

Два часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем на 6 шагах промахнуться трудно. А! Господин Грушницкий! Ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жеребий!.. И тогда... тогда... что если его счастье перетянет? Если моя звезда наконец мне изменит?.. И не мудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на

небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? Умереть, так умереть: потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова? – прощайте!

Пробегаю в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагоприятных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил; я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную по-

требность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания – и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вины; он пожирает с восторгом воздушные дары воображенья, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. И не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец!.. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А всё живешь – из любопытства; ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

\* \* \*

Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту. Я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни. Скучно. Стану продолжать свой жур-

нал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! – Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

Как всё прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время.

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Валтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские Пуритане». Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом. Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало: тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали

гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук[130] и черкесская шапка. Я расхохотался, увидав эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой; у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

– Отчего вы так печальны, доктор? – сказал я ему. – Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка! Я могу выздороветь, могу и умереть: то и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, – и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени: вы можете надо мною сделать теперь несколько важ-

ных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились. Мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томленье. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня: он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню – в этот раз, больше

чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую родинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь всё становился уже, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.

– Написали ли вы свое завещание? – вдруг спросил Вернер.

– Нет.

– А если будете убиты?..

– Наследники отыщутся сами.

– Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прощание?..

Я покачал головой.

– Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

– Хотите ли, доктор, – отвечал я ему, – чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос.

Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе; иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет бог знает какие небывлицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, – бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей – и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю и разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй... Посмотрите, доктор: видите ли вы на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундан-

том, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слышал.

– Мы давно уж вас ожидаем, – сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому:

– Мне кажется, – сказал он, – что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объяснить и кончить это дело полюбовно.

– Я готов, – сказал я.

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

– Объясните ваши условия, – сказал он, – и всё, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

– Вот мои условия: вы нынче же публично

откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

– Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

– Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

– Мы будем стреляться...

Я пожал плечами.

– Пожалуй: только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

– Я желаю, чтоб это были вы...

– А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но всё начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

– Послушайте, – сказал он с явным беспокойством: – вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! Подстрелят вас, как пти-

цу...

– Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я всё так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

– Господа, это становится скучно! – сказал я им громко: – драться, так драться; вы имели время вчера наговориться...

– Мы готовы, – отвечал капитан. – Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

– Становитесь! – повторил Иван Игнатьич пискливым голосом.

– Позвольте! – сказал я: – еще одно условие; так как мы будем драться на смерть, то мы обязаны сделать всё возможное, чтоб это осталось тайною и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

– Совершенно согласны.

– Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? Оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана

будет смертельна; это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жеребий, кому первому стрелять... Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

– Пожалуй, – сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей, или наконец оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел,

как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак, – сказал он Грушницкому довольно громко: – ничего не понимаешь! Отправимтесь же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

– Я вам удивляюсь, – сказал доктор, пожав мне крепко руку. – Дайте пощупать пульс!.. Ого! Лихорадочный... но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатались нам под ноги. Что это? Грушницкий спотыкнулся, ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если бы его секунданты не поддержали.

– Берегитесь! – закричал я ему: – не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря![131]

Вот мы взобрались на вершину выдавшей-

ся скалы: площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка.

Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозой и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили 6 шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда всё устроилось бы к лучшему; но самолюбие

и слабость характера должны были торжествовать!.. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала: кто не заключал таких условий с своею совестью?

– Бросьте жеребий, доктор, – сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

– Решетка! – закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

– Орел! – сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

– Вы счастливы, – сказал я Грушницкому: – вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь! – даю вам честное слово.

Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство – выстрелить на

воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

– Пора, – шепнул мне доктор, дергая за рукав: – если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то всё пропало... Посмотрите, он уж заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

– Ни за что на свете, доктор! – отвечал я, удерживая его за руку: – вы всё испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

– О! Это другое!.. Только на меня на том свете не жалуйтесь.

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то, другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колена его дрожали. Он целил мне прямо в лоб.

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, поблещав как полотно, повернулся к своему секунданту:

– Не могу, – сказал он глухим голосом.

– Трус! – отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

– Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся, – сказал капитан: – теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! – Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха: – Не бойся, – прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, – всё вздор на свете!.. Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь – копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличной важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного

самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить, как собаку; ибо раненый в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

– Я вам советую перед смертью помолиться богу, – сказал я ему тогда.

– Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

– И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

– Господин Печорин! – закричал драгунский капитан: – вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по

ущелью – и нас увидят.

– Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! Он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор.

– Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, – и хорошенько!

– Не может быть! – кричал капитан: – не может быть! Я зарядил оба пистолета, – разве что из вашего пуля выкатилась... Это не моя вина! – А вы не имеете права переряжать... никакого права... это совершенно против правил, – я не позволю...

– Хорошо, – сказал я капитану: – если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях...

Он замаялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

– Оставь их! – сказал он, наконец, капитану, который хотел вырвать пистолет мой из

рук доктора. – Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки, – Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.

Увидав это, капитан плюнул и топнул ногой: «Дурак же ты, братец, – сказал он: – пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! Околевай себе, как муха...» Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «а всё-таки это совершенно против правил».

– Грушницкий, – сказал я: – еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу всё; тебе не удалось меня подурочить, и мое самолюбие удовлетворено, – вспомни, мы были когда-то друзьями.

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

– Стреляйте, – отвечал он. – Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил.

Когда дым рассеялся, Грушницкого на пло-

щадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

– *Finita la comedia!*[132] – сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза.

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе незнакомом. Я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него – дружную... от Веры.

Я распечатал первую: она была следующего содержания.

«Всё устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиной его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой – но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно, *если можете*. Прощайте».

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне писать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

*«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобой, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью; я обязана сказать тебе всё,*

что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя – ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла с начала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий; прошло с тех пор много времени, я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей; она потемнела, но не угасла.

Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого; моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! Но в

твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, – и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив:

невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла, – но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, – не говорю уж любить, – нет, только помнить... Прощай: идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? Ты не женишься на ней?[133] – Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла всё на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученно-

го коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдохавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! – одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья. Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы родились в голове моей... И между тем я всё скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте... Оставалось 5 верст до Есентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Всё было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на 10 минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из

гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, держая за повод – напрасно; едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком – ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал.

И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, всё мое хладнокровие – исчезали как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? – ее видеть? – зачем? Не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только

труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроены нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Всё к лучшему! Это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти 15 верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в 5 часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.[134]

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул арха-лук, и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас всё было тихо; в доме княгини было темно.

Взошел доктор. Лоб у него был нахмурен, и он против обыкновения не протянул мне ру-

ки.

– Откуда вы, доктор?

– От княгини Лиговской; дочь ее больна – расслабление нервов! Да не в этом дело, а вот что. Начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей всё этот старичок рассказал: – как бишь его? – Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте, может быть мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь...

Он на пороге остановился, ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден как камень, – и он вышел.

Вот люди! Все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, – а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость

ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N, я зашел к княгине проститься. Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? Я отвечал, что желаю ей быть счастливой, и проч.

– А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так прерывистым голосом:

– Послушайте, мсье Печорин! Я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

– Я даже в этом уверена, – продолжала она, – хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, следственно рисковали

жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит – и, надеюсь, вам также!.. Что до меня касается, то я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиной. Она мне всё сказала... я думаю, всё, вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей! (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, – разувьетесь! Я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение не завидно, но оно может поправиться, – вы имеете состояние, вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастье мужа, – я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь – вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

– Княгиня, – сказал я: – мне невозможно от-

вечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью – наедине...

– Никогда! – воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

– Как хотите, – отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла. Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились, и вошла она. Боже! Как переменилась с тех пор, как я не видал ее, – а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась: я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее, мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

– Княжна, – сказал я: – вы знаете, что я над вами смеялся!.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал: – Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

– Боже мой, – произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

– Итак, вы сами видите, – сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой: – вы сами видите, что я не могу на вас жениться; если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объяснить с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот всё, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели – я ему покоряюсь. Видите ли, я пе-

ред вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

– Я вас ненавижу... – сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Есентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято – вероятно проезжим казакom, – и вместо седла на спине его сидели два ворона. – Я вздохнул и отвернулся!..

И теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное... Нет! Я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он хо-

дит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

### **Фаталист**

**М**не как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С\*\*\* очень долго; разговор против обыкновения был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra.[135]

– Всё это, господа, ничего не доказывает, –

сказал старый майор: – ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения...

– Конечно никто! – сказали многие: – но мы слышали от верных людей...

– Всё это вздор! – сказал кто-то: – где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? Почему мы должны давать отчет в наших поступках?..

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, скинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные пронзительные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, – всё это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями

с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн, вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не выдав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была равнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал всё, и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу. Все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» – кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтёров. – «Идет семерка», – отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху Вулич докинул талью. Карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пу-

лях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтёра.

– Семерка дана! – закричал он, увидав его, наконец, в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

– Господа, – сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного): – господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

– Не мне, не мне! – раздалось со всех сторон: – вот чудак! Придет же в голову!..

– Предлагаю пари, – сказал я шутя.

– Какое?

– Утверждаю, что нет предопределения, – сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, что было у меня в кармане.

– Держу, – отвечал Вулич глухим голосом. – Майор, вы будете судьей; вот 15 червонцев, остальные пять вы мне должны и сделаете мне дружбу прибавить их к этим.

– Хорошо, – сказал майор: – только не понимаю, право, в чем дело... и как вы решите спор...

Вулич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

– Что ты хочешь делать? Послушай, это су-масшествие! – закричали ему.

– Господа, – сказал он медленно, освобождая свои руки: – кому угодно заплатить за меня 20 червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у сто-

ла. Все последовали за ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его: я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

– Вы нынче умрете, – сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

– Может быть да – может быть и нет...

Потом, обратясь к майору, спросил, заряжен ли пистолет. Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

– Да полно, Вулич! – закричал кто-то: – уж верно заряжен, коли в головах висел... что за охота шутить!..

– Глупая шутка, – подхватил другой.

– Держу 50 рублей против пяти, что пистолет не заряжен! – закричал третий.

Составились новые пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

– Послушайте, – сказал я: – или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдете спать.

– Разумеется, – воскликнули многие, – пойдете спать.

– Господа, я вас прошу не трогаться с места, – сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

– Господин Печорин, – прибавил он: – возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось, все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

– Слава богу, – вскрикнули многие: – не заряжен...

– Посмотрим, однако ж, – сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном, – выстрел раздался, дым наполнил комнату! Когда он рассеялся, сняли фуражку; она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во всё время не спускал глаз с пистолета.

– Вы счастливы в игре, – сказал я Вуличу...

– В первый раз от роду, – отвечал он, самодовольно улыбаясь: – это лучше банка и штоса.

– Зато немножко опаснее.

– А что, вы начали верить предопределению?

– Верю... только не понимаю теперь, отчего

мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

– Однако ж довольно, – сказал он вставая: – пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... – Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным, – и не даром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за ка-

кие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? Эти лампы, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, по неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность, и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою.

И много других подобных дум проходило в

уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем: я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? – одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал неволью в их колею; но я остановил себя вовремя на этом

опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не верить, слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по видимому, неживое. Наклоняюсь – месяц уж светил прямо на дорогу – и что же? Предомною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Едва я успел ее рассмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка; один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

– Экой разбойник! – сказал второй казак: – как напьется чихиря, так и пошел крошить всё, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартиры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хоро-

шенькую дочку, Настю.

Она по обыкновению дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась – но мне было не до нее. «Прощай, Настя», – сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то ответить, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В 4 часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» – кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» – сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.

– Что?

– Вулич убит.

Я остолбенел.

– Да, убит, – продолжали они: – пойдем ско-

рее.

– Да куда же?

– Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне всё, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «кого ты, братец, ищешь?» – Тебя! – отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца..... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня, я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате на конце станции. Мы шли туда. Множество женщин бе-

жалю с плачем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот, наконец, мы пришли: смотрим, вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние; она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой ре-

шимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

– Согрешил, брат Ефимыч, – сказал есаул: – так уж нечего делать, покорись.

– Не покорюсь, – отвечал казак.

– Побойся бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; – ну уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь.

– Не покорюсь! – закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

– Эй, тетка, – сказал есаул старухе: – поговори сыну: авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

– Василий Петрович, – сказал есаул, подойдя к майору: – он не сдастся: я его знаю. А если

дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? В ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу я вздумал испытать судьбу.

– Погодите, – сказал я майору: – я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

– Ах ты окаянный! – кричал есаул: – что ты над нами смеешься, что ли? Али думаешь, что мы с тобой не совладаем? – Он стал стучать в дверь изо всей силы: я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, – и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не про-

шло трех минут, как преступник был уж связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли – и точно, было с чем!

После всего этого, как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверняка, убежден ли он в чем или нет?.. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера – напротив; что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу всё, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения; он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

– Да-с! Конечно-с! – это штука довольно мудреная! Впрочем эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или недо-

вольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны, – приклад маленький, того и гляди нос обожжет... Зато уж шашки у них – просто мое почтение!..

Потом он примолвил, несколько подумав:

– Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано....

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

*Конец*

## **Кавказец**

**В**о-первых, что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы?

Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; склонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; [136] за горами, в Грузии, они имеют другой

оттенков; статские кавказцы редки; они большею частью неловкое подражание, и если вы между ними встретите *настоящего*, то разве только между полковых медиков.[137]

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. [138] До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского Пленника» и воспламенился страстью к Кавказу.[139] Он с 10 товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маленьким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе ахалук,[140] достал мохнатую шапку и черкесскую плетть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал, и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. [141] Наконец он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку пока до экспедиции; всё прекрасно! Сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два гор-

цев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги – мечта, вздор, неприятеля не видеть, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! Промелькнуло пять, шесть лет: всё одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды.

Между тем хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит! Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту. Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем.

Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с одним мир-

ным черкесом; стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного.[142] Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая *гурда*, [143] кинжал – старый *базалай*, [144] пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь – чистый *Шаллох* [145] и весь костюм черкесский, [146] который надевается только в важных случаях и шит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия. Он готов целый день толковать с грязным узденем о дрянной лошади и ржавой винтовке и очень любит посвящать других в таинства азиатских обычаев. С ним бывали разные казусы предивные, только послушай-

те. Когда новичок покупает оружие или лошадь у его приятеля узденя, он только исподтишка улыбается. О горцах он вот так отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дряннь, зато уж кабардинцы просто молодцы; ну есть и между шапсугами народ изрядный,[147] только всё с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхом проехать... хотя и чисто живут, очень чисто!»

Надо иметь предубеждение кавказца, чтобы отыскать что-нибудь чистое в черкесской сакле.

Опыт долгих походов не научил его изобретательности, свойственной вообще армейским офицерам; он франтит своей беспечностью и привычкой переносить неудобства военной жизни, он возит с собой только чайник, и редко на его бивачном огне варятся щи. Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате и на голове баранью шапку; у него сильное предубеждение против шинели в пользу бурки; бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает – ничего! Бурка,[148] про-

славленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую Андийскую бурку, [149] особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым презрением. По его словам, его лошадь скачет удивительно – вдаль! Поэтому-то он с вами не захочет скакаться только на 15 верст. Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.

Но годы бегут, кавказцу уже 40 лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет *на пенсион*; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проез-

жающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий*, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу; на Кавказе он скромнен – но ведь кто ж ему в России докажет, что лошадь не может проскакать одним духом 200 верст и что никакое ружье не возьмет на 400 сажень в цель? Но увы, большею частью он слагает свои косточки в земле басурманской. Он женится редко, а если судьба и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от губительной для русского человека привычки.

Теперь еще два слова о других кавказцах, *не настоящих*. Грузинский кавказец отличается тем от настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые шаровары. Статский кавказец редко облачается в азиатский костюм; он кавказец более душою, чем телом: занимается археологическими откры-

тиями, толкует о пользе торговли с горцами, о средствах к их покорению и образованию. Послужив там несколько лет, он обыкновенно возвращается в Россию с чином и красным носом.

## <Штосс>

### 1

У графа В... был музыкальный вечер.[150] Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер.[151] Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; всё шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту как новоприезжая певица[152] подходила к роялю и развертывала ноты... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал

бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

– Здравствуйте, мсье Лугин, – сказала Минская кому-то; – я устала... скажите что-нибудь! – и она опустилась в широкое пате возле камина: тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

– Скучно, – сказала Минская и снова зевнула, – вы видите, я с вами не церемонюсь! – прибавила она.

– И у меня сплин! – ...отвечал Лугин.

– Вам опять хочется в Италию! – сказала она после некоторого молчания. – Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слышал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы: – Вообразите, какое со

мною несчастье: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! – вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, – и одни только люди! Добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! Всё остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась. – Призовите доктора, – сказала она.

– Доктора́ не помогут – это сплин!

– Влюбитесь! – (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «мне бы хотелось его немножко помучить!»)

– В кого?

– Хоть в меня!

– Нет! Вам даже кокетничать со мною было бы скучно – и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

– А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

– Вот видите, – отвечал задумчиво Лугин, – я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти – но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастью; – я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? – вышло нет; – я дурен – и, следовательно, женщина меня любить не может, это ясно: артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне невероятных трудов и жертв – но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости – всё это грустно – а правда!..

– Какой вздор! – сказала Минская, – но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным <в> обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; большие и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии, – и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.[153]

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

– Куда вы? – спросила Минская.

– Прощайте.

– Еще рано.

Он опять сел.

– Знаете ли, – сказал он с какою-то важно-стью, – что я начинаю сходить с ума?

– Право?

– Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера – и как

вы думаете что? – адрес: – вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного сове<тника> Штосса, квартира номер 27. – И так шибко, шибко, – точно торопится... несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

– Вы, однако, не видите того, кто говорит? – спросила она рассеянно.

– Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

– Когда же это началось?

– Признаться ли? Я не могу сказать наверное... не знаю... ведь это, право, презабавно! – сказал он, принужденно улыбаясь.

– У вас кровь приливает к голове, и в ушах звенит.

– Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

– Самое лучшее средство, – сказала Минская, подумав с минуту, – идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, – то для приличия закажите ему работу, и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы в самом деле нездоровы!.. – прибавила она, взглянув на его встре-

воженное лицо с участием.

– Вы правы, – отвечал угрюмо Лугин, – я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вослед с удивлением.

## 2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, – да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было ви-

деть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повесив голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

– Где Столярный переулок? – спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатой полостью и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

– Столярный? – сказал мальчик, – а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, – первый переулок и будет Столяр-

ный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидел небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше 10 высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

– Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, – а подалее...

– Да мне надо Штосса...

– Ну не знаю, – Штосса! – сказал лавочник, почесав затылок, – и потом прибавил: – нет, не слышать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидел над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам – и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похоже-

го даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой давно небритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

– Эй! Дворник, – закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

– Чей это дом?

– Продан! – отвечал грубо дворник.

– Да чей он был.

– Чей? – Кифейкина, купца.

– Не может быть, верно Штосса! – вскрикнул невольно Лугин.

– Нет, был Кифейкина – а теперь так Штосса! – отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилося, как будто предчувствуя несчастье. Должен ли он был продолжать свои исследования? Не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные

страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться – хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом.

– Новый хозяин здесь живет?

– Нет.

– А где же?

– А черт его знает.

– Ты уж давно здесь дворником?

– Давно.

– А есть в этом доме жильцы?

– Есть.

– Скажи, пожалуйста, – сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, – кто живет в 27 номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

– В 27 номере?.. Да кому там жить! – он уж бог знает сколько лет пустой.

– Разве его не нанимали?

– Как не нанимать, сударь, – нанимали.  
– Как же ты говоришь, что в нем не живут!  
– А бог их знает! Так-таки не живут. Наймут на год – да и не переезжают.

– Ну а кто его последний нанимал?  
– Полковник, из анженеров, что ли!  
– Отчего же он не жил?  
– Да переехал было... а тут, говорят, его послали в Вятку – так номер пустой за ним и остался.

– А прежде полковника?  
– Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев – да этот и не переезжал; слышно, умер.

– А прежде барона?  
– Нанимал купец для какой-то своей... гм! – да обанкрутился, так у нас и задаток остался...

«Странно!» – подумал Лугин.  
– А можно посмотреть номер?  
Дворник опять пристально взглянул на него.

– Как нельзя? – можно! – отвечал он и пошел переваливаясь за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно гряз-

ной лестнице. Ключ закрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подзрительно; в простенках висели овальные заркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не знаю почему, понравились Лугину.

– Я беру эту квартиру, – сказал он. – Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! – да надо хорошенько вытопить... – В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображавший человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины.

На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, платье, волосы, рука, перстни, всё было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случилось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно брошенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! Вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, – и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление – и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то *неизъяснимое*, возможное толь-

ко гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» – подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

– Что ж, барин? – проговорил он наконец.

– А!

– Как же? – коли берете, так пожалуйста задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в 9 часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить», – думал Лугин. «Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться – это, конечно, странно! – Но я взял свои меры: переехал тотчас! – что-ж? – ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым ка-

мердинером Никитой расставлял вещи...

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем, чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: *Середа*.

– Какой нынче день? – спросил он Никиту.

– Понедельник, сударь...

– Послезавтра среда! – сказал рассеянно Лугин.

– Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

– Пошел вон! – закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

### 3

В числе недоконченных картин, большею частью маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зе-

лено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал – женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушным ребенком. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более, что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это

правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать – кисти выпадали из рук; пробовал читать – взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда

смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; – он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка: она играл<a> какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал – ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться... он бросился на постель и заплакал: ему представилось всё его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, – и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной, – и ему стало так больно! Так тяжело!

Около полуночи он успокоился; – сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; – всё было тихо вокруг. – Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, – и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он под-

нял глаза на портрет, висевший против него, – сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, за скрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

– Кто там? – вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол. «Кто это»? – повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; – дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты, серые мутные глаза, обведенные красной каймой, смотрели прямо без цели. И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой, и улыбнулся.

– Что вам надобно? – сказал Лугин с храбростью<ю> отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

– Это несносно! – сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съежился; наконец принял прежний вид.

«Хорошо, – подумал Лугин, – если это привидение, то я ему не поддамся».

– Не угодно ли, я вам промечу штосс? – сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном: «а на что же мы будем играть? – я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (он думал этим озадачить привидение)... а если хотите, – продолжал он, – я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке».

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

«У меня в банке вот это!» – отвечал он, протянув руку. «Это? – сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево; – Что это?» – Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся. «Мечите!» – потом сказал он оправившись и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. «Идет, темная». Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

– Еще талью! – сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

– Что же это значит?

– В середу, – сказал старичок.

– А! В середу! – вскрикнул в бешенстве Лугин; так нет же! – не хочу в середу! – завтра или никогда! Слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно за сверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

– Хорошо, – наконец сказал он, встал, поклонился и вышел приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате

опять захлопали туфли... и мало-помалу всё утихло. У Лугина кровь стучала в голову молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему! – говорил он, стараясь себя утешить: – переупрямил. В середине! – как бы не так! Что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. Он у меня не отделается».

– А как похож на этот портрет!.. Ужасно, ужасно похож! – а! Теперь я понимаю!..

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него <в> банке! – думал он, – верно что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфель, кашель старика, и в дверях показалась его

мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился.

– Позвольте, – сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

– Что бишь я хотел сказать! – позвольте, – да! – Лугин запутался. Наконец сделав усилие, он медленно проговорил:

– Хорошо... я с вами буду играть – я принимаю вызов – я не боюсь – только с условием: я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

– Я иначе не играю, – проговорил Лугин, –

и меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

– Что-с? – проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

– Штос? – кто? – У Лугина руки опустились: он испугался. В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание; и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Станный, сладкий и вместе <болез>ненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье <обернул> голову и тотчас опять устремил взор на карты: <но э>того минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить <его пр>оиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное – то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль

вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, – то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему – одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решил играть, пока не выиграет; эта цель сделалась целью его жизни: он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

– Завтра, – сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проиг-

рывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши: он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку – за которые он готов был отдать всё на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; – она – не знаю, как назвать ее? – она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лутина была убита и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, <казалось>, говорили: «смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! Я тебя люблю...» и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. – И всякий вечер, когда они расставались, у Лутина болезненно сжималось сердце – отчаянием и бе-

шенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.

# Приложения

## Панорама Москвы

Кто никогда не был на вершине Ивана Великого,[154] кому никогда не случилось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! У нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн коло-

колов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена,[155] в которой густой рев контрбаса, треск литавр с пением скрипки и флейты образуют одно великое целое; – и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..

О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая, витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что всё это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!.. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир – с высоты!

На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка,[156] чернеет романиче-

ская Марьяна роща, и пред нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью бульваров, устроенных на древнем городском валу; на крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четверугольная, сизая, фантастическая громада – Сухарева башня.[157] Она гордо взирет на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.

Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.

Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделан-

ное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою вззирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!..

На восток картина еще богаче и разнообразнее: за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой, как чешуею, зелеными черепицами; – немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно.

Она, как древний Вавилонский столп, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей (если простят мне сравнение) на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам ярусов множество вто-

роклассных глав, совершенно не похожих одна на другую; они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева, пресмыкающиеся по обнаженным корням его.

Витые тяжелые колонны поддерживают железные кровли, повисшие над дверями и наружными галереями, из коих выглядывают маленькие темные окна, как зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон; изредка тусклая лампада светится сквозь стекла их, загороженные решетками, как блещет ночью мирный светляк сквозь плющ, обвивающий полуразвалившуюся башню. Каждый придел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжение многих лет прибавлял по одному, в честь своего ангела.

Весьма немногие жители Москвы решились обойти все приделы сего храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние; кажется, видишь перед собою

самого Иоанна Грозного, – но таковым, каков он был в последние годы своей жизни!

И что же? – рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей, кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булошники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину; гремят модные кареты, лепечут модные барыни... всё так шумно, живо, беспокойно!..

Вправо от Василия Блаженного, под крутым скатом, течет мелкая, широкая, грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжелых судов, нагруженных хлебом и дровами; их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерями, встают из-за Москворецкого моста, их скрипучие канаты, колеблемые ветром, как паутина, едва чернеют на голубом небосклоне. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых восточной роскошью или исполненных духом средних веков. Далее к востоку на трех холмах, между коих

извивается река, пестреют широкие массы домов всех возможных величин и цветов; утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на котором рисуются группы нескольких монастырей, между которыми Симонов[158] примечателен особенно своею почти между небом и землей висящею платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар.

К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот,[159] протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквами, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидел его вещее пламя: этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение!

На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки (ибо она, будучи построена после французов,[160] не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены ее расперты крестообразно поставленными брусьями), возвышаются арки каменного моста, который дугою перегибается с одного берега

на другой; вода, удержанная небольшой запрудой, с шумом и пеною вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особливо весною, привлекают любопытство московских зевак, а иногда принимают в свои недра тело бедного грешника. Далее моста, по правую сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря; [161] по левую, на равнине между кровлями купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря... [162] А там – за ним одеты голубым туманом, восходящим от студеных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристою чешуей.

Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске, ибо подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление.

Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?.. Он алтарь России, на нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?!

Что величественнее этих мрачных храмин, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни в память царей великих?!..

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Надо видеть, видеть... надо чувствовать всё, что они говорят сердцу и воображению!..

*Юнкер Л. Г. Гусарского Полка Лермантов.*

# Планы, наброски, сюжеты

## <1.> Сюжет трагедии

Отец с дочерью, ожидают сына, военного, который приедет в отпуск. Отец разбойничает в своей деревне, и дочь самая злая убийца. Сын хочет сюрприз сделать отцу и прежде, нежели писал, отправляется. Приехав, недалеко от деревни становится в трактире. Он находит здесь любезную свою с матерью. Они просят, чтоб он ночевал, ибо боятся разбойников. Он соглашается. Вдруг разбойники ночью приезжают. Он защищается и отрубает руку у одного. Его запирают в его комнате. Когда всё утихло, он вырывается. Уходит и приносит труп своей любезной, клянется отомстить ее. Для этого спешит к отцу, чтоб там найти помощь.

*Ночь у отца.* Дочь примеривает платья убитых несколько дней тому назад; люди прибирают мертвые тела. Прибегает вскоре сын, рассказывает о себе, его впускают, он рассказывает сестре свое несчастье – вдруг отец – он без руки... сын к нему – и видит – в отчаянии убегает. Смятение в дому. Меж тем

полиция узнала не о сем, но о другом недавнем злодеянии и приходит; сын сам объявляет об отце: вбегает с *ними*. Полиция. Отца схватывают и уводят. Сын застреливается. Тут вбегает служитель старый сына, добрый, хочет его увидеть и видит его мертвого.

## **<2.> Сюжет трагедии**

В Америке (дикие, угнетенные испанцами. Из романа французского Аттала).

## **<3>**

Прежде от матерей и отцов продавали дочерей казакам на ярмарках как негров: это в трагедии поместить.

## **<4.> Сюжет трагедии**

Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальниками (он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казенный счет). – Он застреливается.

## **<5.> Эпитафия плодовитого писаки**

Здесь покоится человек, который никогда не видал перед собою белой бумаги.

## **<6>**

В следующей сатире всех разругать, и одну

грустную строфу. Под конец сказать, что я напрасно писал и что если б это перо в палку обратилось, а какое-нибудь божество новых времен приударило в них, оно – лучше.

<7>

(Написать записки молодого монаха 17-и лет. – С детства он в монастыре; кроме священных книг не читал. – Страстная душа томится. – Идеалы...).

<8>

Написать шутливую поэму, приключения богатыря.

<9>

*Метор*: [163] перевести в прозе: *The Dream of Lord Byron* – pour miss Alexandrine. [164]

<10>

*Метор*: написать трагедию: *Марий, из Плу-тарха*.

1) *действ<вие>*. Его жизнь в Риме во время его конс<ульства> и изгнание Силлою.

2) Когда Марий в изгнании бродит, и взят, и Цибрский невольник не смеет убить его.

3) Сын Мария при дворе сатрапа освобождает невольницу, и Марий в Карфагене.

4) Цинна в Риме, пришествие Мария, ти-

ранства, убийства, и проч. (между прочим: Антония, оратора убили).

5) Марий предчувствует гибель. Он умирает. Сластолюбивый сын его тиранствует, но, угрожаем Силлою, бежит из Рима и в Пренесте убивает себя.

Сыну Мария перед смертью в 5-м дейст<вии> является тень его отца и повелевает умереть; ибо род их должен ими кончиться.

## <11>

*Метор:* прибавить к «Странному человеку» еще сцену, в которой читают историю его детства, которая нечаянно попалась Белинскому. [165]

## <12>

[При дворе князя Владимира был один молодой витязь, варяг, прекрасный, умный, но честолюбивый и гордый; пылкость его была во всем; он много наслаждался, и всё начинало ему надоедать, говорили, что он не христианин и что волшебная сила над ним владеет. Однажды ночью он стоял на часах у дворца, при свете лампы; вдруг является тень деви и зовет его жалобно, умоляя спасти ее; он сле-

дует за нею; выходит из ворот; она исчезла, взяв от него клятву, что он спасет ее, и сказав, что она под властью чародея. На другой день витязь уезжает, ни с кем не простившись, ибо он был сирота; – едет витязь степью, лесом и горами; и видит крест на холме; и несколько пещер, и слышит звон; подъезжает и видит: один *инок* звонит, читает молитву, а двое копают могилу; тут на траве лежит мертвая женщина, прекрасная и бледная. – Он взглянул, и сердце его забилося; он не заплакал, но чувство, полное муки и тайного удовольствия, пролилось по его сердцу; – он любит мертвую? – нет, это одно расстройство воображения. – Витязь удаляется; подъезжает к реке; и вечером засыпает при свете молодого месяца и при песни лебедя; – видит страшный сон. – Поутру его будит поцелуй; дева, которая манила его, стоит перед ним и ведет в свой хрустальный чертог; там всё полно неги, но витязь не любит ее; мысли его летят к умершей, сердце ноет, и он должен подавлять его. Дева рассказывает ему свою повесть, как царь Стамфул превратил ее в лебедя и как она посредством старухи избегнула его люб-

ви; он уходит от нее, чтоб достать цветок жизни в замке Стамфула, который за рекой великой; он пускает коня и садится в лодку; пловец этот ему рассказывает свою повесть и за что он осужден всегда ездить и не может вылезть.

Переехав речку, витязь видит два ворона, которые всё вокруг него летают; «что? Ужели вы мне предвещаете смерть?» – сказал он им; «нет, витязь, – говорит один ворон, – я хочу тебе помочь, я тебя проведу куда надо». Витязь идет за вороном и спрашивает, отчего он говорит как человек; ворон рассказывает ему, что их два брата было и за что Стамфул превратил их в воронов, он рассказывает, как достать цветок жизни; они подходят к древнему замку; ворота открыты; всё пусто; ворон просил витязя ничего, кроме цветка, не трогать: – витязь взял в садах цветок и возвращаясь видит меч золотой на воротах, и едва прикоснулся, как раздался шум и звон; он выходит из замка быстро, стрела летит за ним и поражает ворона; витязь оборачивается; Стамфул на него несется; последний принимает разные виды, наконец сражен. Витязь бросает

его тело в море, ибо замок на берегу моря; и видит мертвого ворона, а над ним другой умер. – Витязь примечает, что его преследует что-то свыше. Он помнит умершую деву и чувствует, что любит ее. – На дороге он видит издали пыль, и крик и звон мечей, подходит, и что же? – горсть воинов обороняются против толпы врагов; он бросается в бой и освобождает их; они ведут его к своему царю; царь угощает витязя; но сам печален; и рассказывает, что у него была одна дочь; но что умерла на 17 году, и что когда ее похоронили, то рассказывают, что три чернеца с крестами унесли ее тело бог весть куда; царь показывает витязю портрет дочери своей, говоря, что ей было предсказано паломником за то, что она его напоила и накормила, что она выдет замуж за такого-то витязя. Наш витязь слышит свое имя и трепещет; но когда увидел портрет, то упал без чувств, ибо узнал умершую деву, которую любил; – он тотчас удаляется из дворца, взяв лошадь только; не берет проводников, хотя гроза свирепствует на дворе – род бешенства или сумасшествия обладает им. – Наконец он приезжает к берегам реч-

ки, где лебедь, и бросает ему цветок жизни; лебедь тотчас делается девицей, она выходит из воды; он отвергает ее ласки, говоря, что не любит ее; она просит один поцелуй прощанья, и только что поцеловала, как исчезает с хохотом и визгом; – прекрасное местоположение переменялось в дикое, розовые кусты, река исчезли. – Овраг или пропасть, скалы одни остались, и вихорь едва не увлек туда героя; луна встала; витязь сидит на берегу пропасти. Вдруг на облаке является ему старец; и говорит, что он его отец; что он был язычник и оттого долго мучился, но теперь бог ему простил, и что злой дух преследует витязя, ибо он язычник. Витязь обещает креститься; а отец его дает ему крест и говорит, что он чудотворный; – он едет к известной могиле; роет; – и вдруг видит не гроб, но широкое подземелье; и дева при блеске свечей спит на подушке; она спит, ибо дышит; он выносит ее оттуда в исступлении любви; кладет на лошадь и скачет в Киев; приезжает туда вечером и приносит ее в церковь, где народ слушал вечерню; прикладывает крест к ее груди, и она оживает; и падает в ее объятия; – их венчают; но он

позабыл креститься; когда кончился обряд, и он выходил из церкви, чей-то голос ему напомнил вдруг об этом, говоря: «ты не будешь счастлив!» – на другой день свадьбы она умерла; – он скрылся.]

### **<13.> Написать поэму «Ангел смерти»**

Ангел смерти при смерти девы влетает в ее тело из сожаления к любезному и раскаивается, ибо это был человек мрачный и кровожадный, начальник греков. – Он ранен в сражении и должен умереть; ангел уже не ангел, а только дева, и его поцелуй не облегчает смерти юноши, как бывало прежде. Ангел покидает тело девы, но с тех пор его поцелуи мучительны умирающим.

### **<14>**

*Metor:* написать длинную сатирическую поэму: приключения демона.

### **<15>**

(Ecrire une tragédie: Néron).[166]

### **<16>**

Имя героя Мстислав, – Черный прозвание от его задумчивости, – его сестра – Ольга.

Мстислав три ночи молится на кургане,

чтоб не погибло любезное имя Россия.

Поместить песню: печальную, о любви или *Что за пыль пылит*; Ольга молодая, невинная, ангел – поет ее; входит брат ее – после паломник.

Все сначала укоряют Мстислава в равнодушии к бедствиям родины, ибо он молчит.

Юный князь Василий утонул в крови во время битвы.

## <17.> Сюжет

### 1

1) Молодежь, разговаривают о том, что татары приедут толпой, и всё берут: никто не смеет и слова сказать: зарево видно; иные говорят, что лучше предаваться татарам, чем умирать и тому подобное; Мстислав вскакивает – и уходит; он всё сначала молчал. Он кажется равнодушен к бедствиям отечества, и его порицают за это.

2) Паломник у Ольги; он рассказывает про Ерусалим, путешествия и разрушенный Киев; Мстислав ходит; и, слыша рассказы о прежней вольности, ему приходит в голову мысль освободить родину от татар; Ольге один богатый татарин дал подарки; ее мать

позволила; он ей нравится.

## 2

3) В городе; послы татарские; пир у князя, унижение князя; один посол за то, что русский не низко поклонился, велит его казнить; – Мстислав убивает посла и скрывается.

4) Татарин любит Ольгу; мать не против, он обольщает ее. – Это длинная сцена. – Между тем множество заговорщиков разговаривают о возмущении против татар; они ищут начальника; и выбор падет на Мстислава; они идут искать его.

## 3

5) Мстислав на кургане; три ночи он молился; проходит паломник; и узнает его. Мстислав спрашивает его о сестре; паломник говорит, что про сестру его носят дурные слухи, будто она в связи с мурзой татарским, это еще более воспаляет его. Приходят заговорщики, избирают его начальником; он клянется им. Они хотят напасть на стан татар, кои приближались опять, чтобы грабить; и надеялись, что Россия последует их примеру.

6) Мстислав возвращается домой; печален,

озабочен, угрюм. Сцена, где видна его любовь к сестре; он ее спрашивает, любит ли его одного; она смущается; он приговаривает ее к тому, что сам, может быть, погибнет; и спрашивает, готова ли она всё пожертвовать для отечества; потом как будто всё знал, но чтобы испытать, правда ли, вдруг говорит: «ты любишь татарина!» – она ему признается в испуге; он мрачен; но выносит этот удар; говорит ей сильно, какая она преступница, и заставляет ее согласиться, что на будущую ночь она его пригласит, и тогда его убьют; это будет сигнал кровопролития; однако после этой вести, узнав позор сестры своей, Мстислав предчувствует ужасное, однако не теряет духа.

#### 4

7) Ольга колеблется между отечеством и любовником; однако придумывает; в свидании умоляет, чтоб он не приходил сам к ней, ибо его жизнь в опасности; мурза допытывается и догадывается, что есть заговор; она бежит с мурзой, боясь братнина гнева.

8) Мстислав проходит мимо деревни; одна женщина поет, баюкая ребенка. (*Что за пыль... Злы татаровья*) – он радуется тому,

что эта песня вдохнет ребенку ненависть против татар; и что если он погибнет, то останется еще мститель за отечество; – он идет в назначенное место, где все собрались; однако он удивляется тому, что мурза не пришел.

## 5

9) Стан татар; сонный; стражи пьют русское вино и засыпают, разговаривая о красоте девушки, которая досталась мурзе; – приходят русские и убивают сонных; Мстислав считает удары; – он входит в палатку мурзы; и выносит оттуда деву, говоря, что как всех согласено убить, то ее жалко; вдруг узнает, что это его сестра. Она спит и бредит; и просыпается; вскрикивает; узнает его; упадает; он думает, что она умерла; склоняется над ней; – между тем крик разбудил нескольких татар, кои еще не могут опомниться: «Боже, – говорит Мстислав, – зачем одно чувство любви должно погубить мое отечество! – как я ее любил, как она прекрасна!» Выбегает мурза; он его убивает; начинается битва, русских перерезали.

10) День. Мстислав раненый под деревом; старый воин приходит; он спрашивает, все ли убиты, и узнает, что все, что татары взяли

то же утро город и разграбили; проходят несколько мужчин и женщин, которые хотят скрыться в лесах, с воем отчаяния указывая на зарево; Мстислав спрашивает, не видал ли он женщины в стане, может быть она не умерла; – тот его не понимает; – Мстислав умирает; и просит, чтоб над ним поставил крест. – И чтоб рассказал его дела какому-нибудь певцу; чтоб этой песнью возбудить жар любви к родине в душе потомков.

## **<18.> Программа**

Его история.

Его любовь к отцу.

Приезд архиерея.

Что про него сказал архиерей.

История одного монаха.

Весна.

Любовь к неизвестной.

Зеркало.

Колокольчик.

Родители.

Несправедливости.

Пострижение.

Убийство: один хотел быть игуменом и для того убил другого и посадил его так, будто он

сам себя убил.

Последняя любовь.

Разочарование.

Болезнь.

## **<19.> Племя на Кавказе**

Герой – пророк.

### **<20>**

[Монах впоследствии сидит у окна. Подходит старый нищий и девушка. Он узнает отца и сестру. Хочет броситься – но ост<анавливается> и закрывает окно в отчаянье. Он украл денег; и на другой день ищет их, но нигде не находит; потом, не зная, что с ними делать, зовет товарища-слугу – в кабаке и пропивает их; так узнали, что он украл; и он посажен в тюрьму.]

### **<21>**

Он угрожает ей гибелью отца, и она обещается завтра прислать к нему свою рабу. Она заражается чумой; он приходит, проводит ночь и умирает в ее объятьях в саду.

## **<22.> Демон. Сюжет**

Во время пленения евреев в Вавилоне (из Библии). Еврейка; отец слепой; он в первый раз видит ее спящую. – Потом она поет отцу

про старину и про близость ангела; – и проч<sup><ее></sup> как прежде. – Евреи возвращаются на родину – ее могила остается на чужбине.

### <23>

Алекс<sup><андр></sup>: у него любовница, которую он взял из жалости; он был знаком в Москве в одном знатном доме и любим дочерью; говорят, что у нее миллионы. Здесь его принимают худо, она ничего прежнего не хочет помнить, а в высшем кругу его не принимают. Граф за ней волочится и хочет жениться. Этот граф всегда был на дороге Алекс<sup><андра></sup>. – Александр хочет заставить его отказаться; тот над ним смеется. Потом Александр клеветает на него ей; но графы приезжают и они над Алекс<sup><андром></sup> трунят.

\* \* \*

Александр дома с любовницей, хочет денег; но у нее, кроме любви, ничего нет. Он ее не любит и ту не любит, и хочет денег. Входит ростовщик, живущий за стеной, и предлагает ему денег, а тот дает ему вексель на всё имение; ростовщик открывает, что у нее ничего нет.

\* \* \*

Посредством денег Александр пробирается в комнату Софьи, говорит ей, что он знает, что у нее ничего нет и что она хочет выйти за графа, ибо он богат, и что если она хочет, чтоб он не отказался от нее, узнав, что у нее ничего нет, то она должна его любить. Она уже колеблется; вдруг входит горничная, говоря, что граф приехал; Александра прячут за гардину. — Граф изъясняется в любви, говорит, что ибо ему позволяют вход во всякое время, то это показывает, что родители не прочь; она ему клянется, что любит его одного; в эту минуту Александр выходит и говорит: это правда; смущение; — сцена. — Вдруг входит отец с дядей и говорит, что его дочь обещана, что граф должен жениться, что иначе они его лишат места, убьют и проч<ее>. — Граф в отчаянии. Алекс<андра> выгоняют — но он [рад] — дочь в обмороке. Александр с ней прощается.

\* \* \*

Александр болен; он в размолв<ке> с любовницей, рассказывает жизнь. Входит ростовщик; жалеет и говорит, что вчера вечером была свадьба графа. — Посылают за графом. — Граф приходит, подносит свечу к кро-

вати и ужасается. Александр ему говорит, что он отомстил ему, что написал к своим приятелям всю историю; и потом говорит, что у нее ничего нет, и ставит в свидетели ростовщика. – Сам упадает без чувств. – Любовница в отчаянии прокликает графа; – Александр <кается> и говорит, что жалеет, что не имеет миллиона оставить ей. – И умирает.

## <24>

Я в Тифлисе у Петр. Г. – ученый татар<ин> Али и Ахмет; иду за груз<инкой> в бани; она делает знак; но мы не входим, ибо суббота. Выходя, она опять делает знак; я рисовал углем на стене для забавы татар, и делаю ей черту на спине; следую за ней; она соглашается дать, только чтоб я поклялся сделать, что она велит; надо вынести труп. Я выношу и бросаю в Куру. Мне делается дурно. Меня <?> нашли и отнесли на гауптвахту: я забыл ее дом наверное. Мы решаемся отыскать; я снял с мертвого кинжал для доказательства... несем его к Геургу. Он говорит, что делал его русскому офицеру. Мы говорим Ахмету, чтоб он узнал, кого имел этот офицер. Узнают от денщика, что этот офицер долго ходил по со-

седству к одной старухе с дочерью; но дочь вышла замуж; а через неделю он пропал. Наконец, узнаем, за кого эта дочь вышла замуж, находим дом, но ее не видать. Ахмет бродит кругом и узнает, что муж приехал, и кто-то ему сказал, что видели, как из окошка вылез человек намедни, и что муж допрашивал и вся семья. – Раз мы идем по караван-сераю – видим: идет мужчина с женой; они остановились и посмотрели на нас. Мы прошли и видим, она показала на меня пальцем, а он кивнул головой. После ночью оба на меня напали на мосту, схватили меня и – как зовут: я сказал. Он: «я муж такой-то» и хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил.

## <25>

У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем.

Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжелого сна – и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать...

Такова Россия.

# Автобиографические заметки

## <1.> 1830. Замечание

Когда я начал марасть стихи в 1828 году, я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же – это сходство меня поразило![167]

## <2>

Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. Ни одного звука не мог я извлечь из скрипки, из фортепьяно, чтоб они не возмутили моего слуха.

## <3.> Записка 1830 года, 8 июля. Ночь

Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?

Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. – К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. – Один раз, я помню, я вбежал в комнату: она была тут и

играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. – Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! Сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! – И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. – Я не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. – Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят ее существованию – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет; с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я

никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны... И так рано! В 10 лет... о эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!.. Иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстию! – но чаще плакать.[168]

#### **<4.> (1830)**

Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.

#### **<5.> 1830**

Я помню один сон; когда я был еще 8-ми лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один раз ехал в грозу, куда-то; и помню облако, которое небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро несло по небу: это так живо передо мною, как будто вижу.

Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разнovidные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее; будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства.

## **<6.> 1830 (мне 15 лет)**

Я однажды (3 года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет, и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок; он и теперь у меня хранится. Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей.[170] – Как я был глуп!..

## **<7.> (1830)**

Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в 15 же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. – Однако же, если захочу вдаваться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. – Как жалко, что у меня была мамушкой немка,[171] а не русская – я не слыхал сказок народных; – в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности.

## **<8.> Мое завещание**

(про дерево, где я сидел с А. С.)[172]

Схороните меня под этим сухим деревом, чтобы два образа смерти предстояли глазам вашим; я любил под ним и слышал волшеб-

ное слово: «люблю», которое потрясло судорожным движением каждую жилу моего сердца; в то время это дерево, еще цветущее, при свежем ветре покачало головою и шепотом молвило: «безумец, что ты делаешь?» – Время постигло мрачного свидетеля радостей человеческих прежде меня. Я не плакал, ибо слезы есть принадлежность тех, у которых есть надежды; – но тогда же взял бумагу и сделал следующее завещание: «Похороните мои кости под этой сухою яблоней; положите камень; – и – пускай на нем ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие!»

### <9.> 1830

Еще сходство в жизни моей с *лордом* Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет *великий человек* и будет два раза *женат*;[173] про меня на Кавказе предсказала *то же самое* старуха моей бабушке. Дай бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя бы я был так же несчастлив, как Байрон.

### <10>

Я читаю Новую Элоизу.[174] Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания при-

роды, и истины. – Ума слишком много; идеалы – что в них? – они прекрасны, чудесны; но несчастные софизмы, одетые блестящими выражениями, не мешают видеть, что они всё идеалы. – Вертер лучше; там человек – более человек. У Жан-Жака даже пороки не таковы, какие они есть. – У него герои насильно хотят уверить читателя в своем великодушии, – но красноречие удивительное. И после всего я скажу, что хорошо, что у Руссо, а не у другого, родилась мысль написать Новую Элоизу.

## **<11.> 2-го декабря: св. Варвары. Вечером, возвратясь**

Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья!

Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиною страданья?

## **<12>**

Маико Мая.[175]

## **<13>**

Ахвердов<а> – на Кирочн<ой.>. Г<рафиня> Завадовск<ая>. Лео<нид> Голицы<н> в доме Ростовцова. Понед<ельник> Смир<нова>. Втор<ник> Ростоп<чина>. Веч<ером>: Лаваль именины.

**<14>**

Суб<б>оту обе<д> у Дегая.[176]

**<15>**

Семен Осипович Жигимонд  
в Костенецком пере<улке> дом Нащокина  
<Кн.> <?> Голи<цын> <?>  
Погодину; Кашинцеву.

**<16>**

19-го мая – буря.

# Письма

## 1. М. А. Шан-Гирей <Осень 1827 г. Из Москвы в Апалиху>

**М**илая тетенька,  
Наконец настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лености, но оттого, что у меня не будет время. Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять; я к вам это пишу не для похвальбы, но собственно оттого, что вам это будет приятно; в географии я учу математическую; по небесному глобусу градусы планеты, ход их и пр...; прежнее учение истории мне очень помогло. – Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры, мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода; но я лучше стал рисовать; однако ж мне запрещено рисовать свое. Катюше в знак благодарности за подвязку посылаю ей бисерный ящик моей работы.

Я еще ни в каких садах не был, но я был в театре, где я видел оперу «Невидимку», ту самую, что я видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть (сделайте милость, пришлите мои воски). Я нарочно замечаяю, чтобы вы в хлопотах не были, я думаю, что эта пунктуальность не мешает; я бы приписал к братцам здесь, но я им напишу особливо; Катюшу же целую и благодарю за подвязку.

Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки; и остаюсь ваш покорный племянник.

*М. Лермантов.*

**2. М. А. Шан-Гирей**  
**<Около 21 декабря 1828 г. Из**  
**Москвы в Апалиху>**

**М**илая тетенька!

Зная вашу любовь ко мне, я не могу медлить, чтобы обрадовать вас: экзамен кончился и вакация началась до 8-го января, следовательно она будет продолжаться 3 недели. Испытание наше продолжалось от 13-го до 20-го числа. Я вам посылаю баллы, где вы увидите, что г-н Дубенской поставил 4 русск<ий> и 3 лат<инский>, но он продолжал мне ставить 3 и 2 до самого экзамена. Вдруг как-то сжалился и накануне переправил, что произвело меня вторым учеником.

Папенька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего portefeuille...[177] слава богу! Что такими любезными мне руками!..

Скоро я начну рисовать с (buste) бюстов... какое удовольствие! К тому ж Александр Степанович мне показывает также, как должно рисовать пейзажи.

Я продолжал подавать сочинения мои Ду-

бенскому, а Геркулеса и Прометея взял инспектор, который хочет издавать журнал, «Каллиопу» (подражая мне! (?)), где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется; Павлов мне подражает, перенимает у... меня! – стало быть... стало быть... – но выводите заключения, какие вам угодно.

Бабушка была немного нездорова зубами, однако же теперь гораздо лучше, а я, – O! Je me porte comme à l'ordinaire... bien![178]

Прощайте, милая тетенька, желаю, чтобы вы были внутренне покойны, след<ователь-но,> здоровы, ибо: Les douleurs du corps proviennent des maux de l'âme![179]

*Остаюсь ваш покорный*

*Племянник:*

*М. Лермантов.*

**NB.** Прилагаю вам, милая тетенька, стихи, кои прошу поместить к себе в альбом, а картинку я еще не нарисовал. На вакацию надеюсь исполнить свое обещание.

Вот стихи:

*Когда Рафаель вдохновенный  
Пречистой девы лик священный  
Живою кистью окончал;*

*Своим искусством восхищенный  
Он пред картиною упал!  
Но скоро сей порыв чудесный  
Слабел в груди его молодой,  
И утомленный и немой,  
Он забывал огонь небесный.*

*Таков поэт: чуть мысль блеснет,  
Как он пером своим прольет  
Всю душу; звуком громкой лиры  
Чарует свет, и в тишине  
Поет, забывшись в райском сне,  
Вас, вас! Души его кумиры!  
И вдруг хладеет жар ланит,  
Его сердечные волненья  
Всё тише, и призрак бежит!  
Но долго, долго ум хранит  
Первоначальны впечатленья.*

*М. Л.*

**P. S.** Не зная, что дяденька в Апалихе, я не писал к нему, но прошу извинения и свидетельствую ему мое почтение.

<К письму приложена копия ведомости, сделанная рукой Лермонтова:>

***Ведомость о поведении и успехах  
университетского Благородного***

**пансиона воспитанника 4-го класса**

**М. Лермантова**

Поведение; прилежание – Весьма похвально

Успехи:

Закон божий – 3

Математика – 4

Русский язык – 4

Латинский язык – 3

История – 4

География – 4

Немецкий язык – 4

Французский язык – 4

Заключение:

30. За 24 балла перевод в 5-й класс

Инспектор Павлов

**NB.** 4 означает высшую степень, 0 низшую!  
Я сижу 2-м учеником.

### 3. М. А. Шан-Гирей

## <Весна 1829 г. Из Москвы в Апалиху>

Милая тетенька!

Извините меня, что я так долго не писал... Но теперь постараюсь почаще уведомлять вас о себе, зная, что это вам будет приятно. Вакации приближаются и... прости! Достопочтенный пансион. Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому учение прекратится; нет! Дома я заниматься буду еще более, нежели там.

Вы спрашивали о баллах, милая тетенька, уввы! – у нас в пятом классе с самого нового года еще не все учителя поставили сии *вывески нашей премудрости!*[180] Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видали здесь «Игрока», трагедию «Разбойники». Вы бы иначе думали. Многие из петербургских господ соглашаются, что эти пьесы лучше идут, нежели там, и что Мочалов в многих местах превосходит Каратыгина. Бабушка, я и Еким, все, слава богу, здоро-

вы, но m-r G. Gendroz[181] был болен, однако теперь почти совсем поправился.

Постараюсь следовать советам вашим, ибо я уверен, что они служат к моей пользе. Целую ваши ручки. Покорный ваш племянник

*М. Лермантов.*

**P. S.** Прошу вас дяденьке засвидетельствовать мое почтение и у тетеньки Анны Акимовны целую ручки. Также прошу поцеловать за меня: Алешу, двух Катюш и Машу.

*М. Л.*

#### **4. М. А. Шан-Гирей**

**<Февраль 1830 г. или февраль 1831 г.  
Из Москвы в Апалиху>**

**М**a chère tante.[182]  
Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в Гамлете; если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир – то это в Гамлете. Начну с того, что имеете вы перевод не с Шекспира, а перевод перековерканной пиесы Дюсиса, который,

чтобы удовлетворить приторному вкусу французов, не умеющих обнять высокое, и глупым их правилам, переменял ход трагедии и выпустил множество характеристических сцен: эти переводы, к сожалению, играют у нас на театре. – Верно, в вашем Гамлете нет сцены могильщиков, и других, коих я не запомню.

Гамлет по-английски написан половина в прозе, половина в стихах. – Верно, нет той сцены, когда Гамлет говорит с своей матерью и она показывает на портрет его умершего отца; в этот миг с другой стороны, видимая одному Гамлету, является тень короля, одетая, как на портрете; и принц, глядя уже на тень, отвечает матери – какой живой контраст, как глубоко! Сочинитель знал, что, верно, Гамлет не будет так поражен и встревожен, увидев портрет, как при появлении призрака.

Верно, Офелия не является в сумасшествии! Хотя сия последняя одна из трогательнейших сцен! Есть ли у вас сцена, когда король подсылает двух придворных, чтоб узнать, точно ли помешан притворившийся принц, и сей обманывает их; я помню

несколько мест этой сцены; они, придворные, надоели Гамлету, и этот прерывает одного из них, спрашивая:

**Гам<лет>**. Не правда ли, это облако похоже на пилу?

**1 придворный**. Да, мой принц.

**Гамлет**. А мне кажется, что оно имеет вид верблюда, что похоже на животное!

**2 придвор<ный>**. Принц, я сам лишь хотел сказать это.

**Гамлет**. На что же вы похожи оба? – и проч.

\* \* \*

Вот как кончается эта сцена: Гамлет берет флейту и говорит:

Сыграйте что-нибудь на этом инструменте.

**1 прид<ворный>**. Я никогда не учился, принц, я не могу;

**Гам<лет>**. Пожалуста.

**1 прид<ворный>**. Клянусь, принц, не могу (и проч. извиняется).

**Гамлет**. Ужели после этого не чудачки вы оба? Когда из такой малой вещи вы не можете исторгнуть согласных звуков, как хотите из меня, существа одаренного сильной волею,

исторгнуть тайные мысли?..

\* \* \*

И это не прекрасно!..

Теперь следуют мои извинения, что я к вам, любезная тетенька, не писал: клянусь, некогда было; ваше письмо меня воспламенило: как обижать Шекспира?..

Мне здесь довольно весело: почти каждый вечер на бале. – Но великим постом я уже совсем засяду. В университете всё идет хорошо.

Прощайте, милая тетенька: желаю вам здоровья и всего, что вы желаете; если говорят: одна голова хорошо, а две лучше, зачем не сказать: одно сердце хорошо, а два лучше.

Целую ваши ручки и остаюсь покорный ваш племянник

*М. Лермантов.*

**P. S.** Поклонитесь от меня дяденьке и поцелуйте, пожалуйста, деточек...

## 5. Н. И. Поливанову

<7 июня 1831 г. Из Москвы в имение  
Поливанова>

Любезный друг, здравствуй!

Протяни руку и думай, что она встречает мою; я теперь сумасшедший совсем. Нас судьба разносит в разные стороны, как ветер листы осени. – Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, *на которой* меня не будет (??); впрочем, мне теперь не до подробностей. – Черт возьми все свадебные пиры. – Нет, друг мой! Мы с тобой не для света созданы; – я не могу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. – Source intarissable.[183] – Много со мной было; прощай, напиши что-нибудь веселее. Что ты делаешь? – Прощай, друг мой.

*М. Лермантов.*

## 6. С. А. Бахметевой

### <Июль – начало августа 1832 г. Из Твери в Москву>

**В**аше Атмосфераторство!

Милостивейшая государыня,

София, дочь Александрова!..

Ваш раб всепокорнейший Михайло, сын Юрьев, бьет челом вам.

Дело в том, что я обретаюсь в ужасной тоске: извозчик едет тихо, дорога пряма, как палка, на квартире вонь, и перо скверное!..

Кажется довольно, чтоб истощить ангельское терпение, подобное моему.

Что вы делаете?

Приехала ли Александра, Михайлова дочь, – и какие ее речи? Всё пишете – а моего писания никому не являйте.

Растрясло меня и потому к благоверной кухне не пишу – а вам мало; извините моей немощи!..

До Петербурга с обоими прощаюсь:

*раб ваш М. Lerma.*

Прошу засвидетельствовать мое нижай-

шее почт(ение) тетеньке и всем домочадцам.

**7. С. А. Бахметевой**  
**<Август 1832 г. Из Петербурга в**  
**Москву>**

**Л**юбезная Софья Александровна;  
до самого нынешнего дня я был в ужасных хлопотах; ездил туда-сюда, к Вере Николаевне на дачу и проч., рассматривал город по частям и на лодке ездил в море – короче, я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений!.. Преглупое состояние человека то, когда он принужден занимать себя, чтоб жить, как занимали некогда придворные старых королей; быть своим шутом!.. Как после этого не презирать себя; не потерять доверенность, которую имел к душе своей... одну добрую вещь скажу вам: наконец я догадался, что не годюсь для общества, и теперь больше, чем когда-нибудь; вчера я был в одном доме NN, где, просидев 4 часа, я не сказал ни одного путного слова; – у меня нет ключа от их умов – быть может, слава богу! – Вашей комиссии я еще не исполнил, ибо мы только вчера перебрались

на квартиру. – Прекрасный дом – и со всем тем душа моя к нему не лежит; мне кажется, что отныне я сам буду пуст, как был он, когда мы въехали. – Пишите мне, что делается в странах вашего царства? Как свадьба? Всё ли вы в Средниково или в Москве: чай, Александра Михайловна да Елизавета Александровна покою не знают, всё хлопочут! –

Странная вещь! Только месяц тому назад я писал:

*Я жить хочу! Хочу печали  
Любви и счастья назло;  
Они мой ум избаловали  
И слишком сгладили чело;  
Пора, пора насмешкам света  
Прогнать спокойствия туман: –  
Что без страданий жизнь поэта?  
И что без бури океан?*

И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее, чем когда-нибудь.

Надоел я вам своими диссертациями!.. Я короче сошелся с Павлом Евреиновым: – у него есть душа в душе!

– Одна вещь меня беспокоит: я почти совсем лишился сна – бог знает, надолго ли; – не скажу, чтоб от горести; были у меня и больше горести, а я спал крепко и хорошо; – нет, я не знаю; тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит.

Дорогой я еще был туда-сюда; приехавши – не гожусь ни на что; право, мне необходимо путешествовать; – я цыган.

– Прощайте, – пишите мне, чем поминаете вы меня? – Обещаю вам, что не все мои письма будут такие; теперь я болтаю вздор, потому что натоцак. – Прощайте;

*член вашей bande joyeuse[184]*

*M. Lerma.*

**P. S.** У тетушек моих целую ручки и прошу вас от меня отнести поклон всем моим друзьям... во втором разряде коих Achille арап; а если вы не в Москве, то мысленно.

Прощайте.

## 8. С. А. Бахметевой <Август 1832 г. Из Петербурга в Москву>

*Примите дивное посланье[185]  
Из края дальнего сего;  
Оно не Павлово писанье –  
Но Павел вам отдаст его.  
Увы! Как скучен этот город,  
С своим туманом и водой!..  
Куда ни взглянешь, красный во-  
рот,  
Как шиш, торчит перед тобой;  
Нет милых сплетен – всё сурово,  
Закон сидит на лбу людей;  
Всё удивительно и ново –  
А нет не пошлых новостей!  
Доволен каждый сам собою,  
Не беспокоясь о других,  
И что у нас зовут душою,  
То без названия у них!..  
– И наконец я видел море,  
Но кто поэта обманул?..  
Я в роковом его просторе  
Великих дум не почерпнул.  
Нет! Как оно, я не был волен;  
Болезнью жизни, скукой болен,*

*(На зло былым и новым дням)  
Я не завидовал, как прежде,  
Его серебряной одежде,  
Его бунтующим волнам. –*

Экспромтом написал я вам эти стихи, любезная Софья Александровна, и не имею духу продолжать таким образом. – В самом деле; не знаю отчего, поэзия души моей погасла;

*По произволу дивной власти  
Я выкинут из царства страсти;  
Как после бури на песок  
Волной расшибенный челнок; –  
Пускай прилив его ласкает;  
Не слышит ласки инвалид:  
Свое бессилие он знает  
И притворяется, что спит;  
Никто ему не поверит боле  
Себя иль ноши дорогой;  
Он не годится, и на воле!  
Погиб – и дан ему покой!*

\* \* \*

Мне кажется, что это недурно вышло; пожалуста, не рвите этого письма на нужные вещи. – Впрочем, если б я начал писать к вам за час прежде, то, быть может, писал бы вовсе другое; каждый миг у меня новые фантазии...

– Прощайте, дражайшая.

– Я к вам писал из Твери и отсюда – а до сих пор не получил ответа.

Стыдно – однако я прощаю.

– И прощаюсь. –

*M. Lerma.*

Тетеньке и всем нижайшее мое почтение.

Пишите – что делается, и слышится, и говорится.

\* \* \*

У Демидовой был,[186] дома не застал; она была у какой-то директорши, – бог знает; – я письма не отдал и на-днях поеду опять. – Не имею слишком большого влечения к обществу: надоело! – Всё люди, такая тоска, хоть бы черти для смеха попадались.

9. М. А. Лопухиной

<28 августа 1832 г. Из Петербурга в  
Москву>

S.-Pétersb<ourg> le 28 Août.

Dans le moment où je vous écris, je suis très inquiet, car grand'maman est très malade, et depuis deux jours au lit; – ayant reçu une seconde lettre de vous, c'est maintenant une consolation que je me donne: – vous nommer toutes les personnes que je fréquente? – *moi*, c'est la personne que je fréquente avec le plus de plaisir; en arrivant je suis sorti, il est vrai assez souvent, chez des parents avec lesquels je devais faire connaissance, mais à la fin j'ai trouvé que mon meilleur parent c'était moi; j'ai vu des échantillons de la société d'ici, des dames fort aimables, des jeunes gens fort polis – tous ensemble ils me font l'effet d'un jardin français, bien étroit et simple, mais où l'on peut se perdre pour la première fois, car entre un arbre, et un autre, le ciseau du maître a ôté toute différence!..

– J'écris peu, je ne lis pas plus; mon roman devient une œuvre de désespoir; j'ai fouillé dans

mon âme pour en retirer tout ce qui est capable de se changer en haine – et je l’ai versé pêle-mêle sur le papier: vous me plaindriez en le lisant!.. à propos de votre mariage, chère amie, vous avez deviné mon enchantement d’apprendre qu’il soit rompu (*pas français*); – j’ai déjà écrit à ma cousine que ce nez en l’air n’était bon que pour flairer les alouettes – cette expression m’a beaucoup plu à moi-même. Dieu soit loué que ça soit fini comme cela, et pas autrement! – Au reste n’en parlons plus; on n’en a que trop parlé. –

– J’ai une qualité que vous n’avez pas; quand on me dit qu’on m’aime, je ne doute plus, ou (ce qui est pire) je ne fais pas semblant de douter; – vous avez ce défaut, et je vous prie de vous en corriger, du moins dans vos chères lettres.

– Hier il y a eu, à 10 heures du soir, une petite inondation et même on a tiré deux fois du canon à trois différentes reprises, à mesure que l’eau baissait et montait. Il y avait clair de lune, et j’étais à ma fenêtre qui donne sur le canal; voilà ce que j’ai écrit! –

*Для чего я не родился  
Этой синюю волной? –  
Как бы шумно я катился*

Под серебряной луной,  
О! Как страстно я лобзал бы  
Золотистый мой песок,  
Как надменно презирал бы  
Недоверчивый челнок;  
Всё, чем так гордятся люди  
Мой набег бы разрушал;  
И к моей студёной груди  
Я б страдальцев прижимал;  
Не страшился б муки ада,  
Раем не был бы прельщен;  
Беспокойство и прохлада  
Были б вечный мой закон;  
Не искал бы я забвенья  
В дальном северном краю;  
Был бы волен от рожденья  
Жить и кончить жизнь мою! –

\* \* \*

– Voici une autre; ces deux pièces vous expliqueront mon état moral, mieux que j'aurais pu le faire en prose;

Конец! Как звучно это слово!  
Как много, – мало мыслей в нем!  
Последний стон – и всё готово  
Без дальних справок; – а потом?  
Потом вас чинно в гроб положут  
И черви ваш скелет обгложут,

А там наследник в добрый час  
Придавит монументом вас;  
Простив вам каждую обиду,  
Отслужит в церкви панихиду,  
Которой – (я боюсь сказать)  
Не суждено вам услышать;  
И если вы скончались в вере  
Как христианин, то гранит  
На сорок лет по крайней мере  
Названье ваше сохранит,  
С двумя плачевными стихами,  
Которых, к счастью, вы сами  
Не прочитаете вовек. –  
Когда ж чиновный человек  
Захочет место на кладбище,  
То ваше тесное жилище  
Разроет заступ похорон  
И грубо выкинет вас вон;  
И, может быть, из вашей кости,  
Подлив воды, подсыпав круп,  
Кухмейстер изготовит суп –  
(Всё это дружески, без злости).  
А там голодный аппетит  
Хвалить вас будет с восхище-  
нием;  
А там желудок вас сварит,  
А там – но с вашим позволеньем  
Я здесь окончу мой рассказ;

*И этого довольно с вас.*

– Adieu... je ne puis plus vous écrire, la tête me tourne à force de sottises; je crois que c'est aussi la cause qui fait tourner la terre depuis 7000 ans, si Moïse n'a pas menti.

*Mes compliments à tout le monde.*

*– Votre ami le plus sincère*

*M. Lerma.*

## **Перевод**

С.-Петербург <ург> 28 августа.

Пишу вам сильно встревоженный тем, что бабушка очень больна и уже два дня как в постели; отвожу душу ответом на второе ваше письмо: назвать вам всех, у кого я бываю? Я сам – вот та особа, у которой я бываю с наибольшим удовольствием; правда, по приезде я выезжал довольно часто к родным, с которыми должен был познакомиться, но в конце концов нашел, что лучший мой родственник – это я сам; видел я образчики здешнего общества: любезнейших дам, учтивейших молодых людей – все вместе они производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские

ножницы уничтожили всякое различие между деревьями!

Пишу мало, читаю не больше; мой роман становится произведением, полным отчаяния; я рылся в своей душе, чтобы извлечь из нее всё, что способно обратиться в ненависть, – и в беспорядке излил всё это на бумагу: читая его, вы бы пожалели меня! Кстати, о вашем замужестве, милый друг: вы угадали мой восторг при вести, что он расстроился (*не французский оборот*); я уже писал кузине, что этот господин был способен только на то, чтобы держать нос по ветру и вынюхивать журавля в небе – это выражение мне самому очень понравилось. Слава богу, что это кончилось так, а не иначе. Впрочем, не будем больше говорить об этом – и бед того уж много говорили.

У меня есть свойство, которого нет у вас: когда мне говорят, что меня любят, я больше не сомневаюсь или (что хуже) не показываю вида, что сомневаюсь; у вас же этот недостаток есть, и я вас прошу от него избавиться, по крайней мере в ваших милых письмах.

Вчера, в 10 часов вечера, было небольшое

наводнение, и даже трижды было сделано по два пушечных выстрела, по мере того, как вода убывала и прибывала. Ночь была лунная, я сидел у своего окна, которое выходит на канал; вот что я написал!

*Для чего я не родился...*

Вот другое; эти два стихотворения выразят вам мое душевное состояние лучше, чем я бы мог это сделать в прозе;

*Конец! Как звучно это слово...*

Прощайте... не могу больше писать вам, голова кружится от глупостей; думаю, что по той же причине и земля вертится вот уже 7000 лет, если Моисей не солгал.

*Кланяйтесь всем.*

*Ваш искреннейший друг*

*М. Лерма.*

10. М. А. Лопухиной

<2 сентября 1832 г. Из Петербурга в  
Москву>

2 Septembre.

Dans ce moment même je commence à dessiner quelque chose pour vous; et je vous l'enverrai peut-être dans cette lettre – savez vous, chère amie, comment je vous écrirai – par moments! – une lettre durera quelquefois plusieurs jours, – une pensée me viendra-t-elle je l'inscrirai; quelque chose de remarquable se gravera-t-il dans mon esprit – je vous en ferai part – êtes-vous contente de ceci? –

Voilà plusieurs semaines déjà que nous sommes séparés, peut-être pour bien longtemps, car je ne vois rien de trop consolant dans l'avenir, et pourtant je suis toujours le même, malgré les malignes suppositions de quelques personnes que je ne nommerai pas. – Enfin, pensez vous que j'ai été aux anges de voir Наталью Алексеевну, parce qu'elle vient de nos contrées; – car Moscou est et sera toujours ma patrie. – J'y suis *né*, j'y ai beaucoup *souffert*, et j'y

ai été *trop heureux!* – ces trois choses auraient bien mieux fait de ne pas arriver... mais que faire!

Mademoiselle Annette m'a dit qu'on n'avait pas effacé la célèbre tête sur la muraille! – pauvre ambition! – cela m'a réjoui... et encore comment! – cette drôle passion de laisser partout des traces de son passage! – une idée d'homme, quelque grande qu'elle soit vaut-elle la peine d'être répétée dans un objet matériel, avec le seul mérite de se faire comprendre à l'âme de quelques-uns; – il faut que les hommes ne soient pas nés pour penser, puis qu'une idée forte et libre est pour eux chose si rare! –

Je me suis proposé pour but de vous enterrer sous mes lettres et mes vers; cela n'est pas bien amical ni même philanthropique, mais chacun doit suivre sa destination.

Voici encore des vers, que j'ai faits au bord de la mer:

*Белеет парус одинокой  
В тумане моря голубом. –  
Что ищет он в стране далекой?  
Что кинул он в краю родном?  
Играют волны, ветер свищет,*

*И мачта гнется и скрипит;  
Увы! – он счастья не ищет,  
И не от счастья бежит! –*

*Струя под ним светлей лазури,  
Над ним луч солнца золотой: –  
А он, мятежный, просит бури,  
Как будто в бурях есть покой!*

.....

– Adieu donc, adieu – je ne me porte pas bien: un songe heureux, un songe divin m'a gâté la journée... je ne puis ni parler, ni lire, ni écrire – chose étrange que les songes! Une doublure de la vie, qui souvent est plus agréable que la réalité... car je ne partage pas du tout l'avis de ceux qui disent que la vie n'est qu'un songe; je sens bien fortement sa réalité, son vide engageant! – je ne pourrai jamais m'en détacher assez pour la mépriser de bon cœur; car ma vie – c'est moi, moi, qui vous parle, – et qui dans un moment peut devenir rien, un nom, c'est à dire encore rien. – Dieu sait, si après la vie, le moi existera! C'est terrible, quand on pense qu'il peut arriver un jour, où je ne pourrai pas dire: moi! – à cette idée l'univers n'est qu'un morceau de boue. –

Adieu; n'oubliez pas de me rappeler au

souvenir de votre frère et de vos sœurs – car je ne suppose pas ma cousine de retour. –

– Dites moi, chère miss Mary, si monsieur mon cousin Evreïnoff vous a rendu mes lettres; et comment vous le trouvez, car dans ce cas je vous choisis pour mon thermomètre.

– *Adieu.*

*Votre dévoué Lerma.*

**P. S.** J'aurais bien voulu vous faire une petite question – mais elle se refuse de sortir de ma plume. – Si vous me devinez – bien, je serai content; – si non – alors, cela veut dire que si même je vous avais dit la question, vous n'y auriez pas su répondre.

C'est le genre de question dont peut-être vous ne vous doutez pas! –

## Перевод

2 сентября.

Сейчас я начал рисовать кое-что для вас и, может быть, пошлю вам рисунок с этим же письмом. Знаете ли, милый друг, как я стану писать вам? Урывками – одно письмо иногда будет длиться несколько дней; придет мне в голову мысль, я запишу ее; если что примечательное займет мой ум, поделюсь с вами. До-

вольны ли вы этим?

Вот уже несколько недель, как мы расстались и, может быть, надолго, потому что впереди я не вижу ничего особенно утешительного; однако я всё тот же, вопреки лукавым предположениям некоторых лиц, которых не стану называть. Можете себе представить мой восторг, когда я увидел Наталью Алексеевну, она ведь приехала из наших мест, ибо Москва моя родина и всегда ею останется. Там я родился, там много *страдал* и там же был *слишком счастлив!* – лучше бы этих трех вещей не было, но что делать!

М-лле Аннет сообщила мне, что еще не стерли со стены знаменитую голову! – Жалкое честолюбие! Это меня обрадовало, да еще как! Что за глупая страсть оставлять везде следы своего пребывания! Стоит ли человеческая мысль, как бы значительна она ни была, вещественного закрепления только ради того, чтобы стать понятной нескольким душам; надо полагать, что люди вовсе не созданы мыслить, потому что мысль сильная и свободная – такая для них редкость!

Я поставил себе целью засыпать вас свои-

ми письмами и стихами; это не очень по-дружески и даже не человеколюбиво, но каждый должен следовать своему предназначению.

Вот еще стихи, которые я сочинил на берегу моря:

*Белеет парус одинокой...*

Прощайте же, прощайте, – я не совсем хорошо себя чувствую: счастливый сон, божественный сон испортил мне весь день... не могу ни говорить, ни читать, ни писать. Странная вещь эти сны! Обратная сторона жизни, часто более приятная, нежели реальность... ибо я отнюдь не разделяю мнения тех, кто говорит, будто жизнь всего только сон; я вполне осязательно чувствую ее реальность, ее манящую пустоту! Я никогда не смогу отрешиться от нее настолько, чтобы от всего сердца презирать ее, ибо жизнь моя – я сам, тот, кто говорит с вами, – и кто через мгновение может превратиться в ничто, в одно имя, то есть опять-таки в ничто. Бог знает, будет ли существовать это «я» после жизни! Страшно подумать, что наступит день, когда не сможешь сказать: Я! При этой мысли вселенная

есть только комок грязи.

Прощайте, не забудьте напомнить обо мне своему брату и сестрам, кузина же, я полагаю, еще не возвратилась.

Скажите, милая мисс Мери, передал ли вам мой кузен, господин Евреинов, мои письма и как он вам понравился? Потому что в этом случае я вас выбираю своим термометром.

*Прощайте.*

*Преданный вам Лерма.*

**P. S.** Мне бы очень хотелось задать вам один небольшой вопрос, но перо отказывается его написать. Если угадаете – хорошо, я буду рад; если нет – значит, задай я этот вопрос, вы всё равно не сумели бы на него ответить.

Это такого рода вопрос, какой, быть может, вам и в голову не приходит!

## 11. М. А. Лопухиной

**<Вторая половина октября 1832 г. Из  
Петербурга в Москву>**

Je suis extrêmement fâché que ma lettre pour ma cousine soit perdue ainsi que la vôtre pour grand'maman; – ma cousine pense peut-être que j'ai fait le paresseux, ou que je mens en disant que j'ai écrit; mais ni l'un ni l'autre ne serait juste de sa part; puisque je l'aime beaucoup, trop pour m'esquiver par un mensonge, et que, à ce que vous pouvez lui attester, je ne suis pas paresseux à écrire; je me justifierai peut-être avec ce même courrier, et si non, je vous prie de le faire pour moi; après-demain je tiens examen et suis enterré dans les mathématiques. – Dites lui de m'écrire quelquefois; ses lettres sont si aimables.

Je ne puis pas m'imaginer encore, quel effet produira sur vous ma grande nouvelle; moi, qui jusqu'à présent avais vécu pour la carrière littéraire, après avoir tant sacrifié pour mon ingrat idole, voilà que je me fais guerrier; – peut-être est-ce le vouloir particulier de la providence! – peut-être ce chemin est-il le plus

court; et s'il ne me mène pas à mon premier but, peut-être me mènera-t-il au dernier de tout le monde. Mourir une balle de plomb dans le cœur, vaut bien une lente agonie de vieillard; – aussi, s'il y a la guerre, je vous jure par dieu d'être le premier partout. – Dites, je vous en prie, à Alexis que je lui enverrai un cadeau dont il ne se doute pas; il avait il y a longtemps désiré quelque chose de semblable; et je lui envoie la même chose, seulement dix fois mieux; – maintenant je ne lui écris pas, car je n'ai pas le temps; dans quelques jours l'examen; une fois entré je vous assomme de lettres, et je vous conjure tous, et toutes, de me riposter; – mademoiselle Sophie m'a promis de m'écrire aussitôt après son arrivée; le *saint* du Voronège lui aurait-il conseillé de m'oublier? Dites lui que je voudrais savoir de ses nouvelles. – Que coûte une lettre? – une demi-heure! Et elle n'entre pas à l'école des gardes; – vraiment je n'ai que la nuit; – vous, c'est autre chose; il me paraît que, si je ne vous communique pas quelque chose d'important, arrivé à ma personne, je suis privé de la moitié de ma résolution. – Croyez ou non, mais cela est tout-à-fait vrai; je ne sais pourquoi, mais lorsque je

reçois une lettre de vous, je ne puis m'empêcher de répondre tout de suite, comme si je vous parlais.

Adieu donc, chère amie; je ne dis pas au revoir, puisque je ne puis espérer de vous voir ici, et entre moi et la chère Moscou il y a des barrières insurmontables, que le sort semble vouloir augmenter de jour en jour. – Adieu, ne soyez pas plus paresseuse que vous n'avez été jusqu'ici, et je serai content de vous; maintenant j'aurai besoin de vos lettres plus que jamais: enfermé comme <je> serai, cela sera ma plus grande jouissance; cela seul pourra relier mon passé avec mon avenir, qui déjà s'en vont chacun de son côté, en laissant entre eux une barrière de 2 tristes, pénibles années; prenez sur vous cette tâche ennuyeuse, mais charitable, et vous empêcherez une vie de se démolir; – à vous seule je puis dire tout ce que je pense, bien ou mal, ce que j'ai déjà prouvé par ma confession; et vous ne devez pas rester en arrière; vous ne devez pas – car ce n'est pas une complaisance que je vous demande, mais un bienfait. – J'ai été inquiet il y a quelques jours, maintenant je ne le suis plus: tout est fini; j'ai vécu, j'ai mûri trop tôt; et

les jours que vont suivre seront vides de sensations...

Он был рожден для счастья, для надежд  
И вдохновений мирных! – но безумный  
Из детских рано вырвался одежд  
И сердце бросил в море жизни шумной;  
И мир не пощадил – и бог не спас!  
–  
Так сочный плод до времени созре-  
лый  
Между цветов висит осиротелый;  
Ни вкуса он не радует, ни глаз;  
И час их красоты – его паденья  
час! –  
И жадный червь его грызет, гры-  
зет,  
И между тем как нежные подру-  
ги  
Колеблются на ветках – ранний  
плод  
Лишь тяготит свою... до первой  
вьюги!  
– Ужасно стариком быть без се-  
дин; –  
Он равных не находит; за толпою

Идет, хоть с ней не делится ду-  
шою; –  
Он меж людьми ни раб, ни вла-  
стелин,  
И всё, что чувствует, он чувству-  
ет один!

\* \* \*

*Adieu – mes poclony à tous – adieu, ne  
m'oubliez pas.*

*M. Lermantoff.*

**P. S.** Je n'ai jamais rien écrit par rapport à vous à Evreïnoff; et vous voyez que tout ce que j'ai dit de son caractère, est vrai; seulement j'ai eu tort en disant qu'il était hypocrite – il n'a pas assez de moyens pour cela; il n'est que menteur.

### **Перевод**

Мне крайне досадно, что мое письмо к кузине затерялось так же, как и ваше письмо к бабушке. Кузина, может быть, думает, что я поленился или лгу, уверяя, что писал; но и то и другое предположение было бы несправедливо с ее стороны, так как я слишком люблю ее, чтобы прибегать ко лжи, а вы можете засвидетельствовать, что я не ленюсь писать; я оправдаюсь, может быть даже с этой почтой;

в противном случае прошу вас сделать это за меня; послезавтра я держу экзамен и погружен в математику. Попросите ее писать ко мне иногда; ее письма так милы.

Не могу еще представить себе, какое впечатление произведет на вас такое важное известие обо мне: до сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вдруг становлюсь воином. Быть может, такая особая воля провидения! Быть может, это кратчайший путь, и если он не приведет меня к моей первоначальной цели, то, возможно, приведет к конечной цели всего существующего. Умереть с пулей в груди стоит медленной агонии старца; поэтому, если начнется война, клянусь вам богом, что везде буду впереди. Скажите, пожалуйста, Алексису, что я пришлю ему подарок, какого он не ожидает; ему давно хотелось чего-нибудь в таком роде, и я посылаю ему то самое, только в десять раз лучше. Не пишу к нему теперь, ибо нет времени; через несколько дней экзамен. Как только определяюсь, закидаю вас письмами, на которые заклиная вас всех отвечать мне.

М-лле Софи обещалась писать тотчас по приезде, – уж не воронежский ли угодник посоветовал ей забыть меня? Скажите ей, что я желал бы получить от нее весточку. Долго ли написать письмо? Полчаса! И она не поступает в гвардейскую школу. Право, в моем распоряжении только ночь; вы – другое дело. Мне кажется, что если бы я не сообщил вам что-нибудь важное, происшедшее со мною, то я бы утратил половину моей решимости. Верьте, не верьте, а это действительно так; не знаю почему, но, получив ваше письмо, я не могу удержаться, чтобы не отвечать тотчас же, как будто я с вами беседую.

Прощайте же, милый друг, не говорю до свиданья, потому что не надеюсь увидеть вас здесь; между мной и милой Москвой стоят непреодолимые преграды, и, кажется, судьба с каждым днем увеличивает их. Прощайте, постарайтесь и впредь лениться не больше, чем до сих пор, и я буду вами доволен. Теперь ваши письма мне нужнее, чем когда-либо; в моем будущем заточении они доставят мне величайшее наслаждение; они одни могут связать мое прошлое и мое будущее, которые

расходятся в разные стороны, оставляя между собой преграду из двух тягостных и печальных лет; возьмите на себя это скучное, но милосердное дело – и вы помешаете погибнуть человеческой жизни. Вам одной я могу сказать всё, что думаю, и хорошее, и дурное; я уже доказал это моей исповедью, и вы не должны отставать, не должны, потому что я прошу от вас не любезности, а благодеяния. Несколько дней тому назад я был в тревоге, но теперь это прошло: я успокоился; всё кончено; я жил, я слишком рано созрел, и грядущие дни не принесут мне новых впечатлений...

*Он был рожден для счастья, для надежд...*

*Прощайте, мои рослоны всем, прощайте, не забывайте меня.*

*М. Лермантов.*

**P. S.** Я никогда ничего не писал о вас Евреинову, вы видите, всё, что я говорил о его характере, – правда; я был только неправ, называя его лицемером: для этого у него не хватает способностей, он просто лгун.

12. А. М. Верещагиной  
<Конец октября 1832 г. Из  
Петербурга в Москву>

Femme injuste et crédule! (et remarquez que j'ai le plein droit de vous nommer ainsi, chère cousine). Vous avez crû aux paroles et à la lettre d'une jeune fille sans les analyser; Annette dit qu'elle n'a jamais écrit que j'avais une histoire, mais qu'on ne m'a pas compté les années que j'ai passées à Moscou, comme à tant d'autres; car il y a une réforme dans toutes les universités, et je crains qu'Alexis n'en souffre aussi, puisqu'on ajoute une année aux trois insupportables.

— Vous devez déjà savoir, notre dame, que j'entre à l'école des gardes; ce qui me privera malheureusement du plaisir de vous voir bientôt. — Si vous pouviez deviner tout le chagrin que cela me fait, vous m'auriez plaint; — ne grondez donc plus, et consolez moi, si vous avez un cœur. —

Je ne puis concevoir ce que vous voulez dire par *peser les paroles*, je ne me rappelle pas vous avoir écrit quelque chose de semblable. Au

surplus je vous remercie de m'avoir grondé, cela me servira pour l'avenir; et si vous venez à Pétersbourg j'espère me venger entièrement, – et par-dessus le marché – à coups de sabre – et point de quartier, entendez vous! – mais que cela ne vous effraye pas; venez toujours, et amenez avec vous une suite nombreuse; et mademoiselle Sophie, à laquelle je n'écris pas, parce que je boude contre elle; elle m'a promis de m'écrire en arrivant de Voronège – *une longue lettre*, et je ne m'aperçois que de la longueur du temps – qui remplace la lettre.

– Et vous, chère cousine, vous m'accusez de la même chose! – et pourtant je vous ai écrit deux lettres après monsieur Paul Evreïnoff. Mais comme elles étaient adressées dans la maison Stolypine à Moscou, je suis sûr que le Léthé les a englouties, ou que la femme d'un domestique entortilla des chandelles avec mes tendres épîtres.

– Donc, je vous attends cet hiver; point de réponses évasives; vous devez venir; un beau projet ne doit pas être ainsi abandonné, la fleur ne doit pas se faner sur sa tige, et cetera.

En attendant je vous dis adieu, car je n'ai plus

rien à vous communiquer d'intéressant; je me prépare pour l'examen, et dans une semaine, avec l'aide de dieu, je serai militaire; encore: vous attribuez trop à l'eau de la Néva; elle est un très bon purgatif, mais je ne lui connais point d'autre qualité; apparemment que vous avez oublié mes galanteries passées, et que vous n'êtes que pour le présent et le *futur*, qui ne manquera pas de se présenter à vous par la première occasion; adieu donc, chère amie, et mettez tous vos soins à me trouver une *future*; il faut qu'elle ressemble à Dachinka, mais qu'elle n'aie pas comme elle un gros ventre, car il n'y aurait plus de symétrie avec moi, comme vous savez; ou comme vous ne savez pas, car je suis devenu fin comme une allumette.

*Je baise vos mains*

*M. Lerma.*

**P. S.** Mes compliments aux tantes. —

## **Перевод**

Несправедливая и легковерная женщина! (заметьте, что я имею полное право так называть вас, милая кузина). Вы поверили словам и письму молодой девушки, не разобравшись в них. Аннет говорит, что она никогда не пи-

сала, будто у меня была неприятность, а только передавала, что мне не зачли, как многим другим, годы пребывания в Москве, ибо во всех университетах проведена реформа, и я опасаясь, как бы от этого не пострадал и Алексис, потому что к трем невыносимым годам прибавляют еще один.

Вы, конечно, уже знаете, милостивая государыня, что я поступаю в Школу гвардейских подпрапорщиков; это лишит меня, к сожалению, удовольствия вас скоро увидеть. Если бы вы могли угадать, сколько огорчения мне это причиняет, вы бы меня пожалели; не браните же меня больше, а утешьте, если у вас есть сердце.

Не понимаю, что вы хотите сказать выражением *взвешивать слова*, я не помню, чтобы я писал вам что-нибудь подобное. Впрочем, благодарю вас за то, что вы меня выбрали, это мне урок на будущее время, и, если вы приедете в Петербург, я надеюсь вполне отмстить за себя, да и вдобавок сабельными ударами и без пощады, — слышите ли! Но пусть это вас не пугает; все-таки приезжайте и привезите с собой многочисленную свиту и

m-ле Софи, которой я не пишу, потому что сердит на нее; она мне обещала написать по возвращении из Воронежа *длинное письмо*, но я замечаю только длительность времени, заменяющую письмо.

И вы, милая кузина, обвиняете меня в том же, а ведь я написал вам два письма после Павла Евреинова. Но так как они были адресованы на дом Столыпина в Москву, то я уверен, что их поглотила Лета или жена какого-нибудь лакея обернула свечи моими нежными посланиями.

Итак, я ожидаю вас этой зимой; никаких уклончивых ответов; вы должны приехать; доброе намерение не следует оставлять невыполненным, цветок не должен увянуть на стебле и т. д.

Пока говорю вам прощайте, потому что интересного ничего более сообщить вам не могу; готовлюсь к экзамену и через неделю с божьей помощью стану военным; кроме того, вы придаете слишком много значения невиской воде; она является хорошим слабительным, но других качеств я за ней не знаю; очевидно, вы забыли мои прежние ухаживания

и живете лишь настоящим и *будущим*, которое не замедлит представиться вам при первом случае; прощайте же, милый друг, и приложите все усилия, чтобы найти для меня *будущую*;[187] надо, чтобы она была похожа на Дашеньку, но только без ее большого живота, ибо тогда не будет соответствия со мной, как вам известно или как вам не известно, потому что я стад худ как щепка.

*Целую ваши руки*

*М. Лерма.*

P. S. Мое почтение тетенькам.

### **13. М. А. Лопухиной**

**<19 июня 1833 г. Из Петербурга в  
Москву>**

**19** Juin, Pétersbourg.

J'ai reçu vos deux lettres hier, chère amie, et je les ai – dévorées; il y a si longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles; hier c'est le dernier dimanche que j'ai passé en ville, car demain (mardi) nous allons au camp pour deux mois; – je vous écris assis sur un banc de l'école au milieu du bruit des préparatifs, etc... – Vous

serez, à ce que je crois, contente d'apprendre, que, n'ayant passé à l'école que deux mois, j'ai subi mon examen, pour la I-re classe, et suis, un des premiers... cela nourrit toujours l'espérance d'une prochaine liberté! –

Il faut pourtant absolument que je vous raconte une chose assez étrange; samedi avant de me réveiller je vois en songe, que je suis dans votre maison; vous êtes assise sur le grand canapé du salon; je m'approche de vous pour vous demander, si vous voulez définitivement que je me brouille avec vous – mais vous sans répondre m'avez tendu la main; le soir on nous laisse partir; j'arrive chez nous – et je trouve vos lettres. Cela me frappe! – je voudrais savoir: que faisiez vous ce jour-là? –

Maintenant il faut que je vous explique pourquoi j'adresse cette lettre à Moscou et non à la campagne; j'ai laissé votre lettre à la maison et l'adresse avec; et comme personne ne sait où je conserve vos lettres, je ne puis la faire venir ici.

Vous me demandez ce que signifie la phrase à propos du mariage du prince: удавится или женится! – ma parole d'honneur que je ne me rappelle pas avoir écrit quelque chose de

semblable. Car j'ai trop bonne opinion du prince et je suis sûr qu'il n'est pas un de ceux qui choisissent les promesses d'après un registre;

– Dites je vous prie à ma cousine que l'hiver prochain elle aura un cavalier aimable et beau. Jean Vatkofsky est officier des gardes; et tout cela parce que son colonel se marie avec sa sœur! – et dites après qu'il n'y a pas de hasard dans ce bas monde.

Dites moi à cœur ouvert: vous m'avez boudé pendant quelque temps? – et bien puisque c'est fini n'en parlons plus – adieu, on me demande – car le général est arrivé. –

*Adieu.*

*M. Lerma.*

*Mes compliments à tout le monde.*

Il fait tard; j'ai trouvé un moment de loisir pour continuer cette lettre. Il y a tant de choses qui se sont passées en moi depuis que je ne vous ai écrit, tant de choses étranges, que je ne sais moi-même, quelle route je vais prendre: celle du vice ou de la sottise; il est vrai que toutes les deux mènent souvent au même but; – je sais que vous m'exhorterez, que vous essayerez de me consoler – ce serait de trop! Je suis plus heureux

que jamais, plus gai que le premier ivrogne chantant dans la rue! – Les termes vous déplaisent – mais hélas: *dis moi qui tu hantes je te dirai qui tu es!* – Je vous crois que mademoiselle S. est fausse, car je sais que vous ne direz jamais de fausseté d'autant plus si c'est du mal! – que dieu la bénisse! – quant aux autres choses que j'aurais pu vous écrire, – je garde le silence, pensant que beaucoup de paroles ne valent pas une action, et comme je suis paresseux de nature, ainsi que vous le savez, chère amie, je m'endors sur mes lauriers, mettant une fin tragique à mes actions et paroles à la fois  
– adieu.

## Перевод

19 июня, Петербург.

Вчера я получил два ваших письма, милый друг, и – проглотил их: так давно не было от вас известий. Вчера последнее воскресенье провел я в городе, потому что завтра (во вторник) мы отправляемся на два месяца в лагерь; я вам пишу сидя на школьной скамье, среди шумных приготовлений и т. д. Вам будет, я думаю, приятно узнать, что я, пробыв в школе всего два месяца, выдержал экзамен в

первый класс и теперь один из первых... это вселяет надежду на скорое освобождение!

Надо, однако, непременно рассказать вам довольно странный случай: в субботу, перед тем как проснуться, я вижу во сне, будто я в вашем доме: вы сидите на большом диване в гостиной; я подхожу к вам и спрашиваю, желаете ли вы решительно, чтобы я поссорился с вами, – а вы вместо ответа протянули мне руку. Вечером нас распустили, приезжаю домой – и нахожу ваши письма. Это меня поразило! Мне хотелось бы знать, что вы делали в этот день?

Теперь надо вам объяснить, почему я адресую это письмо в Москву, а не в деревню; я оставил ваше письмо дома вместе с адресом, и так как никто не знает, где я храню ваши письма, то и не могу вытребовать его сюда.

Вы спрашиваете, что значит фраза по поводу женитьбы князя: удавится или женится! – честное слово, не помню, чтоб я писал что-нибудь подобное. Я слишком хорошего мнения о князе и уверен, что он не из тех, которые выбирают невест по описи приданого.

Скажите, пожалуйста, кузине, что будущей

зимою у нее будет любезный и красивый кавалер: Иван Ватковский – гвардейский офицер, потому лишь, что его полковник женится на его сестре, – и говорите после этого, что не бывает случайности в нашем мире.

Скажите откровенно, сердились ли вы на меня некоторое время? Ну, раз с этим покончено, то не будем об этом говорить. Прощайте, меня зовут, потому что приехал генерал.

*Прощайте.*

*М. Лерма.*

*Кланяюсь всем.*

Уже поздно; я улучил свободную минуту, чтобы продолжать письмо. С тех пор как я писал вам, со мной случилось столько странного, что я сам не знаю, каким путем пойду – путем порока или глупости. Правда, оба пути приводят к одной и той же цели. Знаю, что вы станете увещевать меня, постараетесь утешить – это было бы излишним! Я счастливее, чем когда-либо, веселее любого пьяницы, распевающего на улице! Вас коробит от этих выражений! Но увы! Скажи, с кем ты водишься – и я скажу, кто ты! Я вам верю, что m-lle С.[188] лгунья, ибо я знаю, что вы никогда не

скажете неправды, тем более если это что-нибудь дурное! Бог с ней! Что же касается других предметов, о которых я мог бы вам написать, то я храню молчание, полагая, что один поступок важнее тысячи слов, а так как вам известно, милый друг, что я от природы ленив, то и почию на лаврах, сразу положив трагический конец и поступкам и словам прощайте.

**14. М. А. Лопухиной**

**<4 августа 1833 г. Из Петербурга в  
Москву>**

**S**.-Pétersbourg. Le 4-me Août.

Je ne vous ai pas donné de mes nouvelles depuis que nous sommes allés au camp; et vraiment je n'aurais pu y réussir avec toute la bonne volonté possible; imaginez-vous une tente qui a 3 archines en long et en large et 2½ de hauteur, occupée par trois personnes et tout leur bagage, toute leur armure, comme: sabres, carabines, chakos etc., etc. — le temps a été horrible, une pluie qui ne finissait pas faisait, que souvent nous passions 2 jours de suite sans

pouvoir sécher nos habits; et pourtant cette vie ne m'a pas tout à fait déplu; vous savez, chère amie, que j'eus toujours un penchant très prononcé pour la pluie et la boue, et maintenant grâce à dieu j'en ai joui complètement.

– Nous sommes rentrés en ville, et bientôt recommencent nos occupations; la seule chose qui me soutient, c'est l'idée que dans un an je suis officier. – Et alors, alors – ...bon dieu! Si vous saviez la vie que je me propose de mener!.. Oh, cela sera charmant: d'abord, des bizarreries, des folies de toute espèce, et de la poésie noyée dans du champagne: – je sais vous allez vous recrier; mais hélas, le temps de mes rêves est passé; le temps de *croire* n'est plus; il me faut des plaisirs matériels, un bonheur palpable, un bonheur qui s'achète avec de l'or, que l'on porte dans sa poche comme une tabatière, un bonheur qui ne fasse que tromper mes sens en laissant mon âme tranquille et inactive!.. Voilà ce qui m'est nécessaire maintenant, et vous vous apercevez, chère amie, que je suis quelque peu changé depuis que nous sommes séparés; quand j'ai vu mes beaux rêves s'enfuir, je me suis dit que ça ne valait pas la peine d'en fabriquer d'autres; il vaut

mieux, pensai-je, apprendre à s'en passer; j'essayai; j'avais l'air d'un ivrogne qui peu à peu tâche de se déshabituer du vin; – mes efforts ne furent pas inutiles, et bientôt je ne vis dans le passé qu'un programme d'aventures insignifiantes et fort communes. Mais parlons d'autres choses; – vous me dites que le Prince T. et votre sœur son épouse se trouvent fort contents l'un de l'autre, je n'y ajoute pas une foi entière, car je crois connaître le caractère de tous les deux, et votre sœur ne paraît pas très disposée à la soumission, et il paraît que monsieur n'est pas non plus un agneau! – Je souhaite que ce calme factice dure le plus longtemps possible – mais je ne saurai prédire rien de bon. – Ce n'est pas que je vous trouve un manque de pénétration; mais je crois plutôt, que vous n'avez pas voulu me dire tout ce que vous pensiez; et c'est très naturel; car maintenant si mes suppositions sont vraies, vous n'avez pas même besoin de dire: oui. – Que faites vous à la campagne? Vos voisins sont-ils amusants, aimables, nombreux? Voici des questions qui vous auront l'air d'être faites sans aucune intention sérieuse!

Dans un an, peut-être, je viendrai vous voir; et quels changements ne trouverai-je pas? – me reconnaîtrez-vous, et voudrez-vous le faire? – Et moi, quel rôle jouerai-je? Sera-ce un moment de plaisir, pour vous, ou d'embarras pour nous deux? Car je vous avertis, que je ne suis plus le même, que je ne sens plus, que je ne parle plus de la même manière, et dieu sait ce que je deviendrai encore dans un an; – ma vie jusqu'ici n'a été qu'une suite de désappointements, qui me font rire maintenant, rire de moi et des autres; je n'ai fait qu'effleurer tous les plaisirs, et sans en avoir joui, j'en suis dégoûté.

– Mais ceci est un sujet bien triste que je tâcherai de ne pas ramener une autre fois; lorsque vous serez à Moscou annoncez le moi, chère amie... – je compte sur votre constance; adieu;

*M. Ler...*

**P. S.** Mes compliments à ma cousine, si vous lui écrivez, car je suis trop paresseux pour le faire moi-même.

**Перевод**

С.-Петербург, 4 августа.

Я не подавал о себе вестей с тех пор, как мы отправились в лагерь, да и, право, мне бы это не удалось при всем моем желании. Представьте себе палатку по 3 аршина в длину и ширину и 2½ в высоту, в которой живет три человека со всей поклажей и доспехами, как-то: сабли, карабины, кивера и проч., и проч. Погода была отвратительная из-за нескончаемого дождя, зачастую по два дня сряду мы не могли просушить платье; тем не менее эта жизнь мне отчасти нравилась; вы знаете, милый друг, что у меня всегда было пристрастие к дождю и грязи, и теперь, по милости божьей, я наслаждался этим вдоволь.

Мы возвратились в город, и скоро снова начинаются наши занятия; одно лишь меня ободряет – мысль, что через год я офицер! И тогда, тогда... боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести!.. О, это будет чудесно: во-первых, причуды, шалости всякого рода и поэзия, купающаяся в шампанском; я знаю, вы будете возражать; но, уввы, пора моих грез миновала, прошло время, когда я *верил*; мне нужны чувственные наслаждения,

ощутимое счастье, счастье, которое покупают за деньги, счастье, которое носят в кармане как табакерку, счастье, которое обманывает только мои чувства, оставляя душу в покое и бездействии!.. Вот что мне теперь необходимо, и вы видите, милый друг, что с тех пор, как мы расстались, я несколько изменился; как скоро я заметил, что мои прекрасные мечты разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые; гораздо лучше, подумал я, научиться жить без них. Я попробовал; я походил на пьяницу, который мало-помалу старается отвыкнуть от вина; мои усилия были не напрасны, и вскоре прошлое представилось мне лишь перечнем незначительных и весьма обиденных походов. Но поговорим о другом. Вы говорите, что князь Т. и ваша сестра, его супруга, очень довольны друг другом; я не вполне этому верю, потому что, кажется, знаю характер обоих: и ваша сестра не очень-то склонна к покорности, да, по-видимому, и князь тоже не агнец! Я очень хочу, чтобы это искусственное затишье продолжилось как можно долее, но не могу предсказать ничего хорошего. Это не означает, чтоб у вас

был недостаток проницательности; скорее, мне сдается, вы не хотели сказать мне всего, что думаете; и это вполне естественно, потому что теперь, если мои предположения верны, вам не придется даже сказать: да. Что вы делаете в деревне? Много ли у вас соседей, любезны ли они, забавны ли? Вот вопросы, в которых, кажется, нельзя увидеть никакого серьезного умысла.

Через год, может быть, я навещу вас, и какие перемены я найду? Узнаете ли вы меня и захотите ли узнать? И какую роль буду играть я? Будет эта встреча минутой радости для вас, или она смутит нас обоих? Ибо, предупреждаю вас, я уже не тот, каким был прежде: и чувствую и говорю иначе, и бог весть что из меня выйдет через год; моя жизнь до сих пор была лишь рядом разочарований, теперь они смешны мне, я смеюсь над собой и над другими; я только вкусил все удовольствия и, не насладившись ими, пресытился.

Но это очень грустный предмет, и я постараюсь в другой раз к нему не возвращаться. Когда вы будете в Москве, дайте мне знать,

милый друг... я надеюсь на ваше постоянство; прощайте.

*М. Лер...*

**P. S.** Мой поклон кузине, если будете писать ей, ведь я слишком ленив, чтобы самому сделать это.

## 15. М. Л. Симанской

**<20 февраля 1834 г. В Петербурге>**

**М**a chère cousine! Je me rends avec *extase* à votre aimable invitation, et, certainement je ne manquerai pas de venir féliciter mon oncle d'abord après diner, car – pour mon grand désespoir mon cousin Stolipine est mort avant hier, – et je suis sûr que vous ne trouverez pas mal que je me prive du plaisir de vous voir quelques heures plus tôt, pour aller, remplir un devoir aussi triste qu'indispensable; – à vous pour toute la soirée et toute la vie.

*M. L.*

### Перевод

Милая кузина! Я с *восторгом* принимаю ваше любезное приглашение и, конечно, не премину явиться с поздравлением к дяде, но

после обеда, ибо, к великому моему огорчению, мой кузен Столыпин умер позавчера, и, я уверен, вы не сочтете дурным, что я лишу себя удовольствия видеть вас на несколько часов раньше, чтобы пойти исполнить столь же печальную, сколь и необходимую обязанность; – преданный вам на весь вечер и на всю жизнь.

*М. Л.*

**16. М. Л. Симанской  
<1832–1839 г. В Петербурге>**

**J**e vous aime M-lle M. S.[189] Своею кровью.

## 17. М. А. Лопухиной

<23 декабря 1834 г. Из Петербурга в  
Москву>

S.-Pétersbourg. Le 23 décembre.

Chère amie! – quoi qu'il arrive je ne vous nommerai jamais autrement, car ce serait briser le dernier lien qui m'attache encore au passé – et je ne le voudrais pour rien au monde; car mon avenir quoique brillant à l'oeil, est vide et plat; je dois vous avouer que chaque jour je m'aperçois de plus en plus que je ne serai jamais bon à rien, avec tous mes beaux rêves, et mes mauvais essais dans le chemin de la vie... car: ou l'occasion me manque ou l'audace!.. On me dit: l'occasion arrivera un jour! L'expérience et le temps vous donneront de l'audace!.. Et qui sait, quand tout cela viendra, s'il me restera alors quelque chose de cette âme brûlante et jeune, que dieu m'a donnée fort mal à propos? Si ma volonté ne sera pas épuisée à force de patienter?.. Si enfin je ne serai pas tout à fait désabusé de tout ce qui nous force d'avancer dans l'existence?..

Je commence ainsi ma lettre par une

*confession*, vraiment sans y penser! – Eh bien, qu'elle me serve d'excuse: vous verrez là du moins que si mon caractère est un peu changé, mon cœur ne l'est pas. La vue seule de votre dernière lettre a déjà été pour moi un reproche – bien mérité certainement; mais que pouvais-je vous écrire? – vous parler de moi? – vraiment je suis tellement blasé sur ma personne, que lorsque je me surprends à admirer ma propre pensée, je cherche à me rappeler: où je l'ai lue!.. Et par suite de cela j'en suis venu à ne pas lire, pour ne pas penser!.. Je vais dans le monde maintenant... pour me faire connaître, pour prouver que je suis capable de trouver du plaisir dans la bonne *société*; – ah!!!.. Je fais la cour, et à la suite d'une déclaration je dis des impertinences: ça m'amuse encore un peu; et quoique cela ne soit pas tout à fait nouveau, du moins cela se voit rarement!.. Vous supposerez qu'on me renvoie après cela tout de bon... eh bien non, tout au contraire... les femmes sont ainsi faites; je commence à avoir de l'aplomb avec elles; rien ne me trouble, ni colère, ni tendresse: je suis toujours empressé et bouillant, avec un cœur assez froid, qui ne bat que dans

les grandes occasions: n'est-ce pas, j'ai fait du chemin!.. Et ne croyez pas que ce soit une fanfaronnade: je suis maintenant l'homme le plus modeste – et puis je sais bien que ça ne me donnera pas une couleur favorable à vos yeux; mais je le dis, parce que ce n'est qu'avec vous que j'ose être sincère, ce n'est que vous qui saurez me plaindre sans m'humilier, puisque je m'humilie déjà moi-même; si je ne connaissais votre générosité et votre bon sens je n'aurais pas dit ce que j'ai dit; et peut-être, puisque autrefois vous avez calmé un chagrin bien vif, peut-être, voudrez-vous maintenant chasser par de douces paroles cette froide ironie qui se glisse dans mon âme irrésistiblement, comme l'eau qui entre dans un bateau brisé. Oh! Combien j'aurais voulu vous revoir, vous parler: car c'est l'accent de vos paroles, qui me faisait du bien; vraiment on devrait en écrivant mettre des notes au-dessus des mots; – car maintenant lire une lettre, c'est comme regarder un portrait: point de vie, point de mouvement; l'expression d'une pensée immuable, quelque chose qui sent la mort!..

– J'étais à *Царское Село* lorsque Alexis est arrivé; quand j'en ai reçu la nouvelle, je suis

devenu presque fou de joie; je me suis surpris discourant avec moi-même, riant, me serrant les mains l'une l'autre; je suis retourné en un moment à mes joies passées, j'ai sauté deux années terribles, enfin...

Je l'ai trouvé bien changé, votre frère, il est gros, comme j'étais alors, il est rose, – mais toujours sérieux, pausé; pourtant nous avons ri comme des fous la soirée de notre entrevue, – et dieu sait de quoi?

Dites moi, j'ai cru remarquer qu'il a du tendre pour m-lle Catherine Souchkoff... est-ce que vous le savez? – les oncles de mamselle auraient bien voulu les marier!.. Dieu préserve!.. Cette femme est une chauve souris, dont les ailes s'accrochent à tout ce qu'ils rencontrent! – il y eut un temps où elle me plaisait, maintenant elle me force presque de lui faire la cour... mais, je ne sais, il y a quelque chose, dans ses manières, dans sa voix, quelque chose de dur, de saccadé, de brisé, qui repousse; tout en cherchant à lui plaire on trouve du plaisir à la compromettre, de la voir s'embarrasser dans ses propres filets.

Ecrivez-moi de grâce, chère amie, maintenant que tous nos différens sont réglés, que vous

н'avez plus à vous plaindre de moi, car je pense avoir été assez sincère, assez soumis dans cette lettre pour vous faire oublier mon crime de lèse-amitié!..

Je voudrais bien vous revoir encore: au fond de ce désir, pardonnez, il gît une pensée égoïste, c'est que, près de vous, je me retrouverais moi-même, tel que j'étais autrefois, confiant, riche d'amour et de dévouement, riche enfin de tous les biens que les hommes ne peuvent nous ôter, et que dieu m'a ôté, lui! – Adieu, adieu – je voudrais continuer mais je ne puis.

*M. Lerma.*

– **P. S.** Mes compliments à tous ceux auxquels vous jugerez convenable de les faire pour moi... adieu encore.

## **Перевод**

С.-Петербург, 23 декабря.

Милый друг! Что бы ни случилось, я никогда не назову вас иначе; это значило бы порвать последние нити, еще связывающие меня с прошлым, а этого я не хотел бы ни за что на свете, так как моя будущность, блистательная на первый взгляд, в сущности пуста и заурядна. Должен вам признаться, с каждым

днем я всё больше убеждаюсь, что из меня во-  
век не получится ничего путного со всеми мо-  
ими прекрасными мечтаниями и ложными  
шагами на жизненном пути... ибо недостает  
то удачи, то смелости!.. Мне говорят, что слу-  
чай когда-нибудь представится, а смелость  
приобретается временем и опытом!.. А  
кто знает, когда всё это будет, сберегу ли я в  
себе хоть частицу молодой и пламенной ду-  
ши, которой столь некстати одарил меня бог?  
Не иссякнет ли моя воля от долготерпения?..  
И, наконец, не разочаруюсь ли я окончатель-  
но во всем том, что движет вперед нашу  
жизнь?

Итак, я начинаю письмо *исповедью*, право,  
без умысла! Пусть же она послужит мне  
оправданием: вы увидите, по крайней мере,  
что если мой характер несколько изменился,  
сердце осталось то же. Один вид последнего  
письма вашего явился мне упреком, конечно  
вполне заслуженным. Но о чем я мог вам пи-  
сать? Говорить вам о себе? Право, я так надо-  
ел сам себе, что, когда я ловлю себя на том,  
что восхищаюсь собственными мыслями, я  
стараюсь припомнить, где я их вычитал!.. И

вследствие этого я дошел до того, что перестал читать, чтобы не мыслить! Я теперь бываю в свете... для того, чтобы меня узнали и чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем *обществе*; ах!!! Я ухаживаю и вслед за объяснением в любви говорю дерзости; это еще забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, но по крайней мере встречается не часто!.. Вы подумаете, что за это меня гонят прочь... о нет, совсем напротив... женщины уж так созданы, у меня появляется смелость в отношениях с ними; ничто меня не волнует – ни гнев, ни нежность; я всегда настойчив и горяч, но сердце мое довольно холодно и способно забиться только в исключительных случаях: не правда ли, я далеко пошел!.. И не думайте, что это бахвальство: я теперь скромнейший человек и притом хорошо знаю, что этим ничего не выиграю в ваших глазах; я говорю так, потому что только с вами решаюсь быть искренним; вы одна меня сумеете пожалеть, не унижая, ведь я сам себя унижаю; если бы я не знал вашего великодушия и вашего здравого смысла, то не сказал бы того, что сказал; и, может быть, от-

того что вы когда-то облегчили мне сильное горе, возможно и теперь вы пожелаете разогнать ласковыми словами холодную иронию, которая неудержимо прокрадывается мне в душу, как вода просачивается в разбитое судно! О! Как я хотел бы вас снова увидеть, говорить с вами: мне был бы благодотворен самый звук вашей речи; право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами; ведь теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет: ни жизни, ни движения; выражение застывшей мысли, что-то отзывающееся смертью!..

Я был в *Царском Селе*, когда приехал Алексис; узнав о том, я едва не сошел с ума от радости: я поймал себя на том, что разговаривал сам с собою, смеялся, потирал руки; вмиг возвратился я к прошедшим радостям, двух ужасных лет как не бывало, наконец...

На мой взгляд, ваш брат очень переменялся, он толст, как я когда-то был, румян, но всегда серьезен и солиден; и всё же мы хохотали как сумасшедшие в вечер нашей встречи – и бог знает над чем?

Послушайте, мне показалось, будто он чувствует нежность к m-lle Катерине Сушковой...

известно ли вам это? Дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать!.. Сохрани боже!.. Эта женщина – летучая мышь, крылья которой цепляются за всё встречное! Было время, когда она мне нравилась; теперь она почти принуждает меня ухаживать за ней... но, не знаю, есть что-то в ее манерах, в ее голосе жесткое, отрывистое, надломанное, что отталкивает; стараясь ей нравиться, находишь удовольствие компрометировать ее, видеть ее запутавшейся в собственных сетях.

Пишите мне, ради бога, милый друг, теперь, когда все наши недоразумения улажены и у вас больше нет повода жаловаться на меня; полагаю, что в этом письме я был достаточно искренен и предан вам, и вы забудете мой проступок против нашей дружбы.

Мне очень хотелось бы увидеть вас опять; в основе этого желания, прощу простить меня, покоится эгоистическая мысль, что возле вас я вновь мог бы обрести самого себя таким, каким я был когда-то, – доверчивым, полным любви и преданности, одаренным всеми благами, которых люди не в силах отнять и которые отнял у меня бог! Прощайте, прощайте, –

хотел бы продолжать письмо, но не могу.

*М. Лерма.*

**P. S.** Поклоны всем, кому сочтете уместным передать их от меня... еще раз прощайте.

**18. А. М. Верещагиной**  
**<Весна 1835 г. Из Петербурга в**  
**Москву>**

**М**a chère cousine!

Je me suis décidé de vous payer une dette que vous n'avez pas eu le bonté de réclamer, et j'espère que cette générosité de ma part touchera votre cœur devenu si dur pour moi depuis quelque temps; je ne demande en récompense que quelques gouttes d'encre et deux ou trois traits de plume pour m'annoncer que je ne suis pas encore tout à fait banni de votre souvenir; – autrement je serai forcé de chercher des consolations ailleurs (car ici aussi j'ai des cousines) – et la femme la moins aimante (c'est connu) n'aime pas beaucoup qu'on cherche des consolations loin d'elle. – Et puis si vous perséverez encore dans votre silence, je puis bientôt arriver à Moscou – et alors ma vengeance

n'aura plus de bornes; en fait de guerre (vous savez) on ménage la garnison qui a capitulé, mais la ville prise d'assaut est sans pitié abandonnée à la fureur des vainqueurs.

Après cette bravade à la hussard, je me jette à vos pieds pour implorer ma grâce en attendant que vous le fassiez à mon égard.

Les préliminaires finis, je commence à vous raconter ce qui m'est arrivé pendant ce temps, comme on fait en se revoyant après une longue séparation.

Alexis a pu vous dire quelque chose sur ma manière de vivre, mais rien d'intéressant si ce n'est le commencement de mes amourettes avec M-lle Souchkoff, dont la fin est bien plus intéressante et plus drôle. Si j'ai commencé par lui faire la cour, ce n'était pas un reflet du passé – avant c'était une occasion de m'occuper, et puis lorsque nous fûmes de bonne intelligence, ça devint un calcul: – voilà comment. – J'ai vu en entrant dans le monde que chacun avait son piédestal: une fortune, un nom, un titre, une faveur... j'ai vu que si j'arrivais à occuper de moi une personne, les autres s'occuperont de moi insensiblement, par curiosité avant, par rivalité

après.

– La demoiselle S. – voulant *m'attraper* (mot technique), j'ai compris qu'elle se compromettrait pour moi facilement; – aussi je l'ai compromise autant qu'il était possible, sans me compromettre avec, la traitant publiquement comme à moi, lui faisant sentir qu'il n'y a que ce moyen pour me soumettre... Lorsque j'ai vu que ça m'a réussi, mais qu'un pas de plus me perdait, je tente un coup de main. Avant je devins plus froid aux yeux du monde, et plus tendre avec elle pour faire voir que je ne l'aimais plus, et qu'elle m'adore (ce qui est faux au fond); et lorsqu'elle commença à s'en apercevoir et voulut secouer le joug, je l'abandonnai le premier publiquement, je devins dur et impertinent, moqueur et froid avec elle devant le monde, je fis la cour à d'autres et leur racontais (en secret) la partie, favorable à moi, de cette histoire. – Elle fut si confondue de cette conduite inattendue – que d'abord elle ne sut que faire et se résigna – ce qui fit parler et me donna l'air d'avoir fait une conquête entière; puis elle se réveilla – et commença à me gronder partout – mais je l'avais prévenue – et sa haine parut à ses amies (ou ennemies) de l'amour

piqué. – Puis elle tenta de me ramener par une feinte tristesse et en disant à toutes mes connaissances intimes qu'elle m'aimait – je ne revins pas – et profitai de tout habilement. Je ne puis vous dire combien tout ça m'a servi – ça serait trop long, et ça regarde des personnes que vous ne connaissez pas. Mais voici la partie plaisante de l'histoire: quand je vis qu'il fallait rompre avec elle aux yeux du monde et pourtant lui paraître fidèle en tête-à-tête, je trouvai vite un moyen charmant; – j'écrivis une lettre anonyme: *«M-lle: je suis un homme qui vous connaît et que vous ne connaissez pas, etc... je vous avertis de prendre garde à ce jeune homme: M. L. – il vous séduira – etc... voilà les preuves (des bêtises) etc...»* une lettre sur 4 pages!.. Je fis tomber adroitement la lettre dans les mains de la tante; orage et tonnerre dans la maison. – Le lendemain j'y vais de grand matin pour que en tout cas je ne sois pas reçu. – Le soir à un bal, je m'en étonne en le racontant à mademoiselle; mademoiselle me dit la nouvelle terrible et incompréhensible; et nous faisons des conjectures – je mets tout sur le compte d'ennemis secrets – qui n'existent pas; enfin elle me dit que ses parents lui défendent

de parler et danser avec moi, – j'en suis au désespoir, mais je me garde bien, d'enfreindre la défense de la tante et des oncles; – ainsi fut menée cette aventure touchante qui certes va vous donner une fort bonne opinion de moi. Au surplus les femmes pardonnent toujours le mal qu'on fait à une femme (*maximes de La Rochefoucauld*). Maintenant je n'écris pas de romans – j'en fais.

Enfin vous voyez que je me suis bien vengé des larmes que les coquetteries de m-lle S. m'ont fait verser il y a 5 ans; oh! Mais c'est que nos comptes ne sont pas encore réglés: elle a fait souffrir le cœur d'un enfant, et moi je n'ai fait que torturer l'amour propre d'une vieille coquette, qui peut-être est encore plus... mais néanmoins, ce que je gagne c'est qu'elle m'a servi à quelque chose! – oh c'est que je suis bien changé; c'est que, je ne sais pas comment ça se fait, mais chaque jour donne une nouvelle teinte à mon caractère et à ma manière de voir! – ça devait arriver, je le savais toujours... mais je ne croyais pas que cela arrivât si vite. Oh, chère cousine, il faut vous l'avouer, la cause de ce que je ne vous écrivais plus, à vous et à M-lle Marie,

c'est la crainte que vous ne remarquiez par mes lettres que je ne suis presque plus digne de votre amitié... car à vous deux je ne puis pas cacher la vérité, à vous qui avez été les confidentes de mes rêves de jeunesse, si beaux – surtout dans le souvenir.

Et pourtant à me voir maintenant on dirait que je suis rajeuni de 3 ans, tellement j'ai l'air heureux et insouciant, content de moi-même et de l'univers entier; ce contraste entre l'âme et l'extérieur ne vous paraît-il pas étrange? –

Je ne saurais vous dire combien le départ de grand'maman m'afflige, – la perspective de me voir tout-à-fait seul la première fois de ma vie m'effraye; dans toute cette grande ville il ne restera pas un être qui s'intéresse véritablement à moi...

Mais assez parler de ma triste personne – causons de vous et de Moscou. On m'a dit que vous avez beaucoup embelli, et c'est M-me Ouglitzki qui l'a dit; en ce cas seulement je suis sûr qu'elle n'a pas menti, car elle est trop femme pour cela: elle dit encore que la femme de son frère est charmante... en ceci je ne la crois pas tout-à-fait, car elle a intérêt de mentir... ce qui est

drôle c'est qu'elle veut se faire malheureuse à tout prix, pour attirer les condoléances de tout le monde, – tandis que je suis sûr qu'il n'y a pas au monde une femme qui soit moins à plaindre... à 32 ans avoir ce caractère d'enfant, et s'imaginer encore faire des passions!.. – et après cela se plaindre? – Elle m'a annoncé encore que mademoiselle Barbe allait se marier avec M. Bachmétieff; je ne sais pas si je dois trop lui croire – mais en tout cas je souhaite à M-lle Barbe de vivre en paix conjugale jusqu'au célébrément de sa noce *d'argent*, – et même plus, si jusque-là elle n'en est pas encore dégoûtée!..

Maintenant voici mes nouvelles, Наталья Алексеевна с чады и домочадцы s'en va aux pays étrangers!!! Pouah!.. Elle va donner là bas une fameuse idée de nos dames russes!..

Dites à Alexis que sa passion M-lle Ladigenski devient de jour en jour plus formidable!.. Je lui conseille aussi d'engraisser encore pour que le contraste ne soit pas si frappant. Je ne sais pas si la manière de vous ennuyer est la meilleure pour obtenir ma grâce; ma huitième page va finir et je craindrais d'en commencer une dixième... ainsi donc, chère et cruelle cousine, adieu, et si

vraiment vous m'avez remis dans votre faveur, faites le moi savoir, par une lettre de votre domestique, — car je n'ose pas compter sur un billet de votre main.

Adieu donc, j'ai l'honneur d'être ce qu'on met au bas d'une lettre...

*votre très humble*

*M. Lermantoff.*

**P. S.** Mes respects je vous pris à mes tantes, cousines, et cousins, et connaissances...

## Перевод

Милая кузина!

Я решил уплатить вам долг, который вы не сообразовали с меня требовать, и надеюсь, что мое великодушие тронет ваше сердце, с некоторых пор ставшее таким жестким ко мне. Я не прошу другого вознаграждения, кроме нескольких капель чернил и двух или трех штрихов пера, которые известили бы меня, что я еще не совершенно изгнан из вашей памяти; иначе мне придется искать утешения у других (ибо и здесь у меня есть кузины), а как бы мало женщина ни любила (это известно), она не очень-то любит, чтобы искали утешения вдали от нее. Затем, если вы будете

еще упорствовать в своем молчании, я могу вскоре прибыть в Москву – и тогда мое мщение не будет иметь границ. На войне (вы знаете) щадят сдавшийся гарнизон, но город, взятый приступом, без сожаления предают ярости победителей.

После этой гусарской бравады я падаю к вашим ногам, чтобы вымолить себе прощение, в ожидании, что вы мне его даруете.

После этого вступления я начинаю рассказ о том, что со мною случилось за это время, как это делают при свидании после долгой разлуки.

Алексис мог рассказать вам кое-что о моем образе жизни, но ничего интересного, разве что о начале моих приключений с m-lle Сушковой, конец которых несравненно интереснее и забавнее. Если я начал ухаживать за нею, то это не было отблеском прошлого – вначале это было для меня просто развлечение, а затем, когда мы поняли друг друга, стало расчетом: и вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, покровительство... я увидел, что если мне удастся

занять собою одно лицо, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества.

Я понял, что m-lle С., желая *изловить меня* (техническое выражение), легко скомпрометирует себя ради меня; потому я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя: я обращался с нею в обществе так, как если бы она была мне близка, давая ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня... Когда я заметил, что мне это удалось, но что еще один шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего в свете я стал более холоден с ней, а наедине более нежным, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности, это неправда); когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я в обществе первый покинул ее, я стал жесток и дерзок, насмешлив и холоден с ней, я ухаживал за другими и рассказывал им (по секрету) выгодную для меня сторону этой истории. Она так была поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, а это подало повод

к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее показалась ее друзьям (или врагам) уязвленной любовью. Затем она попыталась вновь вернуть меня напускною печалью, рассказывала всем близким моим знакомым, что любит меня, – я не вернулся к ней, а искусно всем этим воспользовался. Не могу сказать вам, как всё это при­годилось мне, – это было бы слишком долго и касается людей, которых вы не знаете. Но вот смешная сторона истории: когда я увидел, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел чудесный способ – я написал анонимное письмо: *«М-лле, я человек, знающий вас, но вам неизвестный и т. д... предупреждаю вас, берегитесь этого молодого человека: М. Л. Он вас соблазнит и т. д... вот доказательства (разный вздор) и т. д...»* Письмо на четырех страницах! Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки; в доме гром и молния. На другой день еду туда рано утром, чтобы, во всяком случае, не быть при-

нятым. Вечером на балу я с удивлением рассказываю ей это; она сообщает мне ужасную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения – я всё отношу насчет тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что ее родные запрещают ей разговаривать и танцевать со мною, – я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетки. Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Впрочем, женщина всегда прощает зло, которое мы причиняем другой женщине (*афоризмы Ларошфуко*). Теперь я не пишу романов – я их делаю.

Итак, вы видите, я хорошо отомстил за слезы, которые меня заставило пролить 5 лет тому назад кокетство m-lle С. О! Мы еще не расквитались: она заставляла страдать сердце ребенка, а я всего только подверг попытке самолюбие старой кокетки, которая, может быть, еще более... но, во всяком случае, я в выигрыше, она мне сослужила службу! О, я ведь очень изменился; я не знаю, как это происходит, но только каждый день дает новый оттенок моему характеру и взглядам! – это и

должно было случиться, я это всегда знал... но не ожидал, что произойдет так скоро. О милая кузина, надо вам признаться: причиной того, что я не писал вам и m-lle Мари, был страх, что вы по письмам моим заметите, что я почти не достоин более вашей дружбы... ибо от вас обеих я не могу скрывать истину, от вас, наперсниц юношеских моих мечтаний, таких прекрасных, особенно в воспоминании.

И все-таки, если посмотреть на меня, то покажется, что я помолодел года на три, такой у меня счастливый и беспечный вид человека, довольного собою и всем миром; не кажется ли вам странным этот контраст между душой и наружностью?

Не могу выразить, как огорчает меня отъезд бабушки, – перспектива остаться в полном одиночестве в первый раз в жизни меня пугает; во всем этом большом городе не останется ни единого существа, которое бы действительно мною интересовалось...

Но довольно говорить о моей скучной особе, – побеседуем о вас и о Москве. Мне передавали, что вы очень похорошели, и сказала это госпожа Углицкая,[190] и только в этом слу-

чае уверен я, что она не солгала: она слишком женщина для этого; она говорит также, что жена ее брата прелестна... в этом я ей не вполне верю, ибо она заинтересована в этой лжи... Что поистине смешно, так это ее желание во что бы то ни стало выказать себя несчастною, чтобы вызвать общее сочувствие, а между тем я уверен, нет в мире женщины, которая была бы менее ее достойна сожаления. В 32 года иметь такой детский характер и воображать, что можешь возбуждать страсти!.. И после этого жаловаться? Она мне также сообщила, что m-lle Varbe выходит замуж за г. Бахметева; не знаю, верить ли ей, но во всяком случае я желаю m-lle Varbe жить в супружеском согласии до празднования ее *серебряной* свадьбы – и даже долее, если до тех пор она не пресытится!..

Теперь вот вам мои новости. Наталья Алексеевна с чады и домочадцы едет в чужие края!!![191] Ну, и хорошее же она даст там представление о наших русских дамах!

Скажите Алексису, что его пассия, m-lle Ладыженская,[192] с каждым днем становится всё внушительнее!.. Я ему советую тоже еще

больше пополнить, чтобы контраст не был столь разителен. Не знаю, лучшее ли средство добиться прощения надоедать вам; восьмая страница подходит к концу, и я боюсь начать десятую... Итак, милая и жестокая кузина, прощайте, и если точно вы возвратили мне свое расположение, то известите меня об этом письмом от вашего лакея, ибо я не смею рассчитывать на собственноручную вашу записку.

Итак, прощайте, имею честь быть тем, что ставится в конце письма...

*ваш покорнейший М. Лермантов.*

**P. S.** Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение тетенькам, кузинам, кузенам и знакомым...

**19. А. М. Гедеонову**  
**<Около 20 декабря 1835 г. В**  
**Петербурге>**

**М**илостивый Государь,  
Александр Михайлович,

Возвращенную цензурою мою пьесу «Маскерад»[193] я пополнил четвертым актом, с которым, надеюсь, будет одобрена цензором; а как она еще прежде представления Вам подарена мною г-ну Раевскому, то и новый акт передан ему же для представления цензуре.

Отъезжая на несколько времени из Петербурга, я вновь покорнейше прошу Ваше Превосходительство оказать моему труду высокое внимание Ваше.

С отличным почтением и преданностью честь имею быть Вашего Превосходительства  
*покорнейший слуга М. Лермантов.*[194]

## 20. С. А. Раевскому

<16 января 1836 г. Из Тархан в  
Петербург>

Тарханы, 16 января.

Любезный Святослав!

Мне очень жаль, что ты до сих пор ле-  
нишься меня уведомить о том, что ты дела-  
ешь и что делается в Петербурге. Я теперь жи-  
ву в Тарханах, в Чембарском уезде (вот тебе  
адрес на случай, что ты его не знаешь), у ба-  
бушки, слушаю, как под окном воет мятель  
(здесь всё время ужасные, снег в сажень глу-  
бины, лошади вязнут и <...>, и соседи оставля-  
ют друг друга в покое, что, в скобках, весьма  
приятно), ем за десятерых, <...> не могу, пото-  
му что девки воняют, пишу четвертый акт но-  
вой драмы, взятой из происшествия, случив-  
шегося со мною в Москве. – О Москва, Москва,  
столица наших предков, златоглавая царица  
России великой, малой, белой, черной, крас-  
ной, всех цветов, Москва, <...> преподло со  
мною поступила. Надо тебе объяснить снача-  
ла, что я влюблен. И что же я этим выиграл? –

Одни <...>. Правда, сердце мое осталось покорно рассудку, но в другом не менее важном члене тела происходит гибельное восстание. Теперь ты ясно видишь мое несчастное положение и, как друг, верно, пожалеешь, а может быть, и позавидуешь, ибо всё то хорошо, чего у нас нет, от этого, верно, и <...> нам нравится. Вот самая деревенская философия!

Я опасаясь, что моего «Арбенина» снова не пропустили, и этой мысли подало повод твое молчание. Но об этом будет!

Также я боюсь, что лошадей моих не продали и что они тебя затрудняют. Если бы ты об этом раньше написал, то я бы прислал денег для прокормления их и людей, и потом если они не продадутся, то я отсюда не возьму столько лошадей, сколько намереваюсь. Пожалуйста, отвечай, как получишь.

Объявляю тебе еще новость: летом бабушка переезжает жить в Петербург, т. е. в июне месяце. Я ее уговорил потому, что она совсем истерзалась, а денег же теперь много, но я тебе объявляю, что мы все-таки не расстанемся.

Я тебе не описываю своего похождения в Москве в наказание за твою излишнюю

скромность, – и хорошо, что вспомнил об наказании – сейчас кончу письмо (ты видишь из этого, как я еще добр и великодушен).

*М. Лермонтов.*

## **21. Е. А. Арсеньевой**

**<Конец марта – первая половина  
апреля 1836 г. Из Царского Села в  
Тарханы>**

**М**илая бабушка.

Так как время вашего приезда подходит, то я уже ищу квартиру, и карету видел да высока; Прасковья Николавна Ахвердова в мае сдает свой дом, кажется, что будет для нас годиться, только всё далеко. – Лошади мои вышли, башкирки, так сносны, что чудо, до Петербурга скачу – а приеду, они и не вспотели; а большими парой, особенно одной вселюбуются, – они так выправились, что ожидать нельзя было. – Лошадь у генерала я еще не купил, а уже говорил ему об этом, и он согласен. Посылаю вам в оригинале письмо Григорья Васильевича, и я буду дожидаться вашего письма, чтоб ему отвечать; призна-

юсь вам, я без этого не знал бы, что и писать ему, – как вы рассудите: я боюсь наделать глупостей. – Скоро государь, говорят, переезжает в Царское Село – и нам начнется большая служба, и теперь я больше живу в Царском, в Петербурге нечего делать, – я там уж полторы недели не был; всё по службе идет хорошо – и я начинаю приучаться к царскосельской жизни.

Пожалуйста, растолкуйте мне, что отвечать Григорью Васильевичу.

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны на мой счет, а я, будьте уверены, всё сделаю, чтоб продолжить это спокойствие. Целую ваши ручки и прошу вашего благословения.

*Покорный внук  
М. Лермонтов.*

## 22. Е. А. Арсеньевой

<Вторая половина апреля 1836 г. Из  
Петербурга или Царского Села в  
Тарханы>

**М**илая бабушка,  
На днях Марья Акимовна уехала, – я узнал об ее отъезде в Царском, – приехал в город на один вечер, был у нее, но не застал, и потому не писал с нею, – вы, верно, получите мое письмо прежде ее приезда, то и не будете беспокоиться, что я с нею <не> пишу к вам.

Я на днях купил лошадь у генерала и прошу вас, если есть деньги, прислать мне 1580 рублей; лошадь славная и стоит больше, – а цена эта не велика.

Насчет квартиры я еще не решил, но есть несколько на примете; в начале мая они будут дешевле по причине отъезда многих на дачу. Я вам, кажется, писал, что Лизавета Аркадьевна едет нынче весной с Натальей Алексеевной в чужие края на год; теперь это мода, как было некогда в Англии; в Москве около двадцати семейств собираются на будущий

год в чужие края; пожалуйста, бабушка, не мешкайте отъездом: вы, я думаю, получили письмо мое, с которым я посылаю письмо Григорья Васильевича, – пожалуйста, объясните мне, что мне лучше ему писать.

Прощайте, милая бабушка, прошу вашего благословения, целую ваши ручки и остаюсь покорный внук.

*М. Лермонтов.*

## **23. Е. А. Арсеньевой**

**<Конец апреля – начало мая 1836 г.  
Из Царского Села в Москву>**

**М**илая бабушка.

Полагая, что вы уже в дороге, пишу к вам в Москву; последнее мое письмо от 25-го апреля, я думаю, вас не застанет в деревне, судя по тому, как вы хотели выехать, и к тому же Андрей получил письмо от жены, где она пишет, что вы думали выехать 20-го апреля, также и то, что не получаю от вас писем, заставляет меня думать, что вы уже в дороге. Также я думаю, милая бабушка, что вы не получили моего письма, где я писал вам о пись-

мах ко мне Григорья Васильевича, – и я всё еще жду вашего разрешения, если вы получили. – Квартиру я нанял на Садовой улице в доме князя Шаховского, за 2000 рублей – все говорят, что недорого, смотря по числу комнат. – Карета также ждет вас... а мы теперь все живем в Царском; государь и великий князь здесь; каждый день ученье, иногда два.

Ожидаю от вас письма, милая бабушка, оно разрешит мое недоумение.

Прощайте. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук

*М. Лермантов.*

**24. С. А. Раевскому**  
**<После 27 февраля 1837 г. В**  
**Петербурге>**

**М**илый мой друг Раевский.  
Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастья, что ты, желая мне же добра, за эту записку пострадаешь. Дубельт говорит, что Клейнмихель тоже виноват... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, – но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь и находишь еще достойным своей дружбы... Кто б мог ожидать!.. Я к тебе заеду непременно. Сожги эту записку.

*Твой – М. Л.*

## 25. С. А. Раевскому

<Начало марта 1837 г. В Петербурге>

Любезный друг.

Я видел нынче Краевского;[195] он был у меня и рассказывал мне, что знает про твое дело. Будь уверен, что всё, что бабушка может, она сделает... Я теперь почти здоров – нравственно... Была тяжелая минута, но прошла. Я боюсь, что будет с твоей хандрой? Если б я мог только с тобой видеться. Как только позволят мне выезжать, то вторично приступлю к коменданту.[196] Авось, позволит проститься.

– Прощай, твой навеки М. Л.

## 26. С. А. Раевскому

### <Первая половина марта 1837 г. В Петербурге>

Любезный друг Святослав.

Ты не можешь вообразить, как ты меня обрадовал своим письмом. У меня было на совести твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь. Дай бог, чтоб твои надежды сбылись. Бабушка хлопочет у Дубельта, и Афанасий Алексеевич также. Что до меня касается, то я заказал обмундировку и скоро еду. Мне комендант, я думаю, позволит с тобой видеться – иначе же я и так приеду. Сегодня мне прислали сказать, чтоб я не выезжал, пока не явлюсь к Клейнмихелю, ибо он теперь и мой начальник <...>. Я сегодня был у Афанасья Алексеевича, [197] и он меня просил не рисковать без позволения коменданта – и сам хочет просить об этом. Если не позволят, то я всё приеду. Что Краевский, на меня пеняет за то, что и ты пострадал за меня? – Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился, и если бы это не было очень

лестно, то право, меня бы огорчило... Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про страну чудес – восток. Меня утешают слова Наполеона: Les grands noms se font à l'Orient.[198] Видишь: всё глупости. Прощай, твой навсегда  
*M. Lermontoff.*

## 27. М. А. Лопухиной

**<31 мая 1837 г. Из Пятигорска в  
Москву>**

**31**-го мая.

Je tiens exactement ma promesse, chère et bonne amie, et je vous envoie ainsi qu'à madame votre sœur les souliers circassiens que je vous avais promis; il y en a six paires, et vous pouvez facilement partager sans vous quereller; je les ai achetés dès que j'ai pu en trouver; je suis maintenant aux eaux, je bois et je me baigne, enfin je mène une vie de canard tout-à-fait. Dieu veuille, que ma lettre vous trouve encore à Moscou, car si elle va voyager en Europe à vos troussees, elle vous attrapera peut être à Londres, à Paris, à Naples, que sais-je, – et toujours dans des endroits où elle sera pour vous la chose la

moins intéressante, de quoi dieu la garde et moi aussi. – J'ai ici un logement fort agréable; chaque matin je vois de ma fenêtre toute la chaîne des montagnes de neige et l'Elbrous; et maintenant encore, au moment où j'écris cette lettre, je m'arrête quelques fois pour jeter un coup d'oeil sur ces géants, tant ils sont beaux et majestueux. J'espère m'ennuyer joliment tout le temps que je passerai aux eaux, et quoiqu'il est très facile de faire des connaissances je tâche de n'en pas faire du tout; je rôde chaque jour sur la montagne, ce qui seul a rendu la force à mes pieds; aussi je ne fais que marcher; ni la chaleur ni la pluie ne m'arrêtent... Voici à peu près mon genre de vie, chère amie, ce n'est pas tort beau, mais... – dès que je serai guéri j'irai faire l'expédition d'automne contre les circassiens, quand l'empereur sera ici...

– Adieu, chère, je vous souhaite beaucoup de plaisir à Paris et à Berlin. – Alexis a-t-il reçu sa permission; – embrassez le de ma part – adieu.

*Tout à vous M. Lermontoff.*

**P. S.** De grâce, écrivez-moi – et dites si les souliers vous ont plu.

**Перевод**

31-го мая.

В точности держу слово и посылаю вам, милый и добрый друг, а также сестре вашей [199] туфельки черкесские, которые обещал вам; их шесть пар, так что поделить их вы легко можете без ссоры; купил их, как только удалось отыскать; я теперь на водах, пью и принимаю ванны, словом, веду жизнь настоящей утки. Дай бог, чтобы мое письмо еще застало вас в Москве, а то, если ему придется путешествовать вслед за вами по Европе, может быть, вы получите его в Лондоне, в Париже, в Неаполе, как знать, – во всяком случае в таком месте, где оно вовсе не будет для вас интересно, а от этого сохрани боже и его и меня. У меня здесь славная квартира; каждое утро из окна я смотрю на цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, сидя за письмом к вам, я то и дело останавливаюсь, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны. Надеюсь порядком поскучать всё время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомства, я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам, и одно это укрепило мне ноги; поэтому я только и

делаю, что хожу: ни жара, ни дождь меня не останавливают... Вот примерно мой образ жизни, милый друг; не так уж это хорошо, но... как только я выздоровлю, то отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов, когда государь будет здесь.

Прощайте, дорогая, желаю вам веселиться в Париже и в Берлине. Получил ли Алексис отпуск? – обнимите его за меня – прощайте.

*Весь ваш М. Лермонтов.*

P. S. Ради бога, пишите мне и сообщите, понравились ли вам туфельки.

## **28. Е. А. Арсеньевой**

**<18 июля 1837 г. Из Пятигорска в  
Петербург>**

**18** июля.  
Милая бабушка! Пишу к вам по тяжелой почте, потому что третьего дня по экстра-почте не успел, ибо ездил на железные воды и, виноват, совсем забыл, что там письма не принимают; боюсь, чтобы вы не стали беспокоиться, что одну почту нет письма. Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен ве-

лел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод не поеду в Грузию; итак прошу вас, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова и напишите к нему: он обещался мне доставлять их туда; иначе нельзя, ибо оттуда сообщение сюда очень трудно, и почта не ходит, а депеши с нарочными отправляют. От Алексея Аркадича я получил известия; он здоров, и некоторые офицеры, которые оттуда сюда приехали, мне говорили, что его можно считать лучшим офицером из гвардейских, присланных на Кавказ. То, что вы мне пишете об Гвоздеве,[200] меня не очень удивило; я, уезжая, ему предсказывал, что он будет юнкером у меня во взводе; а впрочем, жаль его.

Здесь погода ужасная: дожди, ветры, туманы; июль хуже петербургского сентября; так что я остановился брать ванны и пить воды до хороших дней. Впрочем, я думаю, что не возобновлю, потому что здоров как нельзя лучше. Для отправления в отряд мне надо будет сделать много покупок, а свои вещи я ду-

маю оставить у Павла Ивановича. Пожалуй-ста, пришлите мне денег, милая бабушка; на прожитье здесь мне достанет; а если вы пришлете поздно, то в Анапу трудно доставить. – Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь ваш вечно привязанный к вам и покорный  
*внук Михаил.*

Пуще всего не беспокойтесь обо мне; бог даст, мы скоро увидимся.

## **29. С. А. Раевскому**

**<Вторая половина ноября – начало декабря 1837 г. Из Тифлиса в Петрозаводск>**

**Л**юбезный друг Святослав!  
Я полагаю, что либо мои два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки.

Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли По-

селение веселее Грузии.

С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже...

Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить – в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную; пью вино только, когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь... – Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), – и чуть не попались шайке лез-

гин. – Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! – Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух – бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит – ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, – да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским.

Ты видишь из этого, что я сделался ужас-

ным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку.

Прощай, любезный друг, не позабудь меня, и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал.

*Вечно тебе преданный М. Лермонтов.*

### **30. П. И. Петрову**

**<1 февраля 1838 г. Из Петербурга в  
Ставрополь>**

**Л**юбезный дядюшка  
Павел Иванович.

Наконец, приехав в Петербург, после долгих странствований и многих плясок в Москве, я благословил, во-первых, всемогущего Аллаха, разостлал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний.

Бабушка выздоровела от моего приезда и надеется, что со временем меня опять перевер-

дут в лейб-гусары; и теперь я еще здесь обмундировываюсь; но мне скоро грозит приятное путешествие в великий Новгород, ужасный Новгород.

Ваше письмо я отдал в руки дядюшке Афанасью Алексеевичу, которого нашел в Москве. – Я в восторге, что могу похвастаться своею аккуратностью перед вами, которые видели столько раз во мне противное качество или порок, как угодно.

Боюсь, что письмо мое не застанет вас в Ставрополе, но, не зная, как вам адресовать в Москву, пускаюсь наудалую, и великий пророк да направит стопы почтальона.

С искреннейшею благодарностию за все ваши попечения о моем ветреном существе имею честь прикладывать к сему письму 1050 руб., которые вы мне одолжили.

Пожалуйста, любезный дядюшка, скажите милым кузинам, что я целую у них ручки и прошу меня не забывать,

*– остаюсь всей душою преданный вам  
М. Лермонтов.*

### 31. М. А. Лопухиной

<15 февраля 1838 г. Из Петербурга в  
Москву>

15 Février.

Je vous écris, chère amie, la veille de m'en aller à Novgorod; j'attendais jusqu'à présent qu'il m'arrivât quelque chose d'agréable pour vous l'annoncer, mais rien n'est venu; et je me décide à vous écrire que je m'ennuie à la mort; les premiers jours de mon arrivée je n'ai fait que courir – des présentations, des visites de cérémonie – vous savez, puis je suis allé chaque jour au spectacle: – il est fort bien c'est vrai, mais j'en suis déjà dégoûté; et puis on me persécute: tous les chers parents! – on ne veut pas que je quitte le service, quoique je l'aurais pu déjà, vu que ces messieurs qui sont passés à la garde avec moi, l'ont déjà quitté. – Enfin je suis passablement découragé, et je désire même quitter Pétersbourg au plus vite, pour aller n'importe où, que ce soit au régiment ou au diable; j'aurai au moins alors un prétexte pour me lamenter, ce qui est une consolation comme une autre.

Ce n'est pas très joli de votre part que vous attendez toujours ma lettre pour m'écrire; on dirait que vous faites la fière; – pour Alexis cela ne m'étonne pas, car il va se marier un de ces jours-ci avec je ne sais plus quelle riche marchande, comme on le dit ici, et je conçois que je ne puis pas espérer d'avoir dans son cœur une place pareille à celle d'une grosse marchande en gros. Il m'avait promis de m'écrire deux jours après mon départ de Moscou, – mais peut-être a-t-il oublié mon adresse, aussi je lui envoie deux:

1) В С.-Петербур<ург>: у Пантелеймоновского моста на Фонтанке, против Летнего сада, в доме Венецкой.

2) В Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений в штаб *Лейб-гвардии*, Гродненского гусарского полка.

Si après cela il ne m'écrit pas, je le maudis lui et sa grosse marchande en gros: je m'applique déjà à composer la formule de ma malédiction. Dieu! Que c'est embarrassant d'avoir des amis qui sont en train de se marier.

En arrivant ici j'ai trouvé un chaos de commérages dans la maison; j'y ai mis de l'ordre autant que possible, quand on a à faire à trois ou

quatre femmes qui ne veulent pas entendre raison: pardonnez-moi, si je parle ainsi de votre sesque ou sexe charmant, mais hélas! Si je vous le dis c'est aussi une preuve que je vous crois une exception. – Enfin quand je reviens à la maison, je n'entends que des histoires, des histoires – des plaintes, des reproches, des suppositions, des conclusions, – c'est quelque chose d'odieux, pour moi surtout qui en ai perdu l'habitude au Caucase, où la société des dames est très rare, ou très peu causante (celle des géorgiennes par exemple), car elles ne parlent pas russe, ni moi géorgien).

Je vous prie, chère Marie, écrivez-moi un peu, sacrifiez-vous, – écrivez-moi toujours, et ne faites pas de ces petites cérémonies – vous devez être audessus de cela! – car enfin si quelquefois je tarde à répondre, c'est que vraiment ou je n'ai rien à dire, ou j'ai trop à faire! – deux excuses valables.

J'ai été chez Joukofsky, et lui ai porté Тамбовскую казначейшу qu'il m'avait demandé, et qu'il porta à Wiazemsky pour lire ensemble; cela leur a beaucoup plu, – et cela sera inséré au prochain numéro du Современник.

Grand'maman espère que je serai bientôt passé au hussards de Царское Село, mais c'est parce que on le lui a fait espérer, dieu sait avec quel motif – et c'est pour cela qu'elle ne consent pas à ce que je prenne mon congé: quant à moi je n'espère rien du tout.

Pour la conclusion de ma lettre je vous envoie une pièce de vers que j'ai trouvée par hasard dans mes paperasses de voyage, et qui m'a plu assez, vu que je l'ai oublié, – mais cela ne prouve rien du tout.

*Я, мать божия, ныне с молит-  
вою,  
Пред твоим образом, – ярким сия-  
нием, –  
Не о спасении, не перед битвою,  
Не с благодарностью иль покая-  
нием;  
Не за свою молю душу пустын-  
ную,  
За душу странника в свете без-  
родного: –  
Но я вручить хочу деву невинную  
Теплой заступнице мира холодно-  
го.*

*Окружи счастьем счастья до-*

стойную,  
Дай ты ей спутников полных вни-  
мания,  
Молодость светлую, старость  
покойную, –  
Сердцу незлобному мир упования;  
Срок ли приблизится часу про-  
щальному,  
В утро ли шумное, в ночь ли без-  
гласную,  
Ты воспрять пошли к ложу пе-  
чальному  
Лучшего ангела душу прекрасную.

Adieu, chère amie – embrassez Alexis, et dites  
lui que c'est une honte, – et dites le aussi à  
mademoiselle Marie Lapouchine. –

*Lerma.*

## **Перевод**

15 февраля.

Пишу вам, милый друг, накануне отъезда  
в Новгород; я всё поджидал, не случится ли со  
мною что-нибудь приятное, чтобы сообщить  
вам, но ничего такого не случилось, и я реша-  
юсь писать вам, что мне смертельно скучно.  
Первые дни после приезда прошли в непре-  
рывной беготне: представления, парадные

визиты – вы знаете; да еще каждый день ездил в театр: он, правда, очень хорош, но мне уже надоел; вдобавок меня преследуют все эти милые родственники! – не хотят, чтобы я бросил службу, хотя я уже мог бы это сделать: ведь те господа, которые вместе со мною поступили в гвардию, теперь уже там не служат. Наконец, я порядком пал духом и хочу даже как можно скорее бросить Петербург и отправиться куда бы то ни было, в полк ли или хоть к черту; тогда по крайней мере у меня будет предлог жаловаться, а это утешение не хуже всякого другого.

С вашей стороны нехорошо, что вы всегда ожидаете моего письма, чтобы писать мне; можно подумать, что вы возгордились; что касается Алексиса, то это не удивительно, потому что на днях он женится, как здесь уверяют, на какой-то богатой купчихе, и понятно, что у меня нет надежды занимать в его сердце такое же место, какое он отводит толстой оптовой купчихе. Он обещался написать мне через два дня после моего отъезда из Москвы; но, может быть, забыл мой адрес, так вот ему два:

1) В С.-Петербур<ург>: у Пантелеймоновского моста на Фонтанке, против Летнего сада, в доме Венецкой.

2) В Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений в штаб *Лейб-гвардии* Гродненского гусарского полка.

Если и после этого он мне не напишет, прокляну его и его толстую оптовую купчиху: я уже занят составлением этого проклятия. Боже! Вот беда иметь друзей, которые собираются жениться.

Приехав сюда, я нашел дома целый ворох сплетен; я навел порядок, поскольку это возможно, когда имеешь дело с тремя или четырьмя женщинами, которым ничего не втолкуешь; простите, что я так говорю о вашем прекрасном поле, но увы! Раз я вам это говорю, это как раз доказывает, что вас я считаю исключением. Когда я возвращаюсь домой, я только и слышу, что истории, истории – жалобы, упреки, подозрения, заключения, – это просто несносно, особенно для меня: я отвык от этого на Кавказе, где общество дам – редкость или же они малоразговорчивы (в особенности грузинки: они не говорят по-

русски, а я по-грузински).

Прошу вас, милая Мари, пишите мне немножко, пожертвуйте собой – пишите мне всегда, не будьте церемонны – вы должны быть выше этого! Ведь если иногда я и медлю с ответом, это, право, значит, что либо мне нечего сказать, либо у меня слишком много дела – обе причины уважительные.

Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу»; он повез ее Вяземскому, чтобы прочесть вместе; сие им очень понравилось – и сие будет напечатано в ближайшем номере «Современника».

Бабушка надеется, что меня скоро переведут в царскосельские гусары, но дело в том, что ей внушили эту надежду бог знает с какой целью, а она на этом основании не соглашается, чтобы я вышел в отставку; что касается меня, то я ровно ни на что не надеюсь.

В заключение этого письма посылаю вам стихотворение, которое я случайно нашел в моих дорожных бумагах и которое мне даже понравилось именно потому, что я забыл его – впрочем, это ровно ничего не доказывает.

## Молитва странника

*Я, мать божия, ныне с молит-  
вою...*

Прощайте, милый друг, обнимите Алекси-  
са и скажите, что стыдно ему; скажите то же  
и m-lle Мари Лопухиной.

*Лерма.*

### 32. С. А. Раевскому

**<8 июня 1838 г. Из Петербурга или  
Царского Села в Петрозаводск>**

**И**юня 8 дня.

Любезный друг Святослав,

Твое последнее письмо огорчило меня: ты  
сам знаешь почему; но я тебя от души про-  
щаю, знаю твои расстроенные нервы. Как мог  
ты думать, чтоб я шутил твоим спокойствием  
или говорил такие вещи, чтобы отвязаться.  
Главное то, что я совсем этого не говорил или  
пусть говорил, да не про то. Я сказал, что от-  
зыв *непокорен к начальству* повредит тебе то-  
гда, когда ты еще здесь сидел под арестом, и  
что без этого ты, может быть, остался бы

здесь.

Я слышал здесь, что ты просился к водам и что просьба препровождена к военному министру; но резолюции не знаю; если ты поедешь, то, пожалуйста, напиши, куда и когда. Я здесь по-прежнему скучаю; как быть? Покойная жизнь для меня хуже. Я говорю *покойная*, потому что ученье и маневры производят только усталость. Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно.

Роман, который мы с тобою начали, затянулся и вряд ли кончится,[201] ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины.

Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее. Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа всё холодно, когда другим жарко, а уж здоровее того, как я теперь, кажется, быть невозможно. О Юрьеве [202] скажу тебе: вообрази, влюбился в актрису, вышел в отставку, живет у Балабина, та-

бак и чай уж в долг не дают и 30.000 долгу, и вон из города не выпускают, – видишь: у всякого свои несчастья.

Прощай, любезный друг, и прошу тебя, будь уверен во мне и думай, что я никогда не скажу и не сделаю ничего тебе огорчительно-го. Прощай, милый друг, бабушка также к тебе пишет.

*М. Лермонтов.*

### **33. А. И. Философова <Октябрь 1838 г. Царское Село>**

Сher o<n>cle, je prends la liberté de vous supplier d'intercéder pour moi dans une affaire que vous seul pouvez arranger, et je suis sûr que vous ne me refuserez pas votre protection. Grand'maman est dangereusement malade, tellement qu'elle n'a pas pu même me l'écrire, le domestique est venu me chercher croyant que j'étais déjà libéré. J'ai demandé au commandant quelques heures seulement pour aller la voir, j'ai écrit au général mais comme cela dépend du Monseigneur, il n'ont rien pu faire.

Ayez pitié de Grand'maman, si ce n'est de moi,

et obtenez un jour pour moi car le temps presse...

Je n'ai pas besoin de vous parler de ma reconnaissance et de mon chagrin, car votre cœur me comprendra complètement

*Je suis votre tout dévoué*

*M. Lermontoff.*

**На обороте:**

*Его Превосходительству*

*Милостивому Государю*

*Алексею Илларионовичу*

*Философову.*

## **Перевод**

Дорогой дядя, осмеливаюсь умолять вас ходатайствовать о моем деле, которое только вы можете уладить, и я уверен, что вы не откажете мне в вашем покровительстве. Бабушка опасно больна, настолько, что не могла даже написать мне об этом; слуга пришел за мною, думая, что я уже освобожден. Я просил у коменданта всего несколько часов, чтобы проведать ее, писал генералу, но так как это зависит от великого князя, то они ничего не могли сделать.

Пожалейте, если не меня, то бабушку, и до-

бейтесь для меня одного дня, ибо время не терпит...

Мне нет необходимости говорить вам о моей признательности и моем горе, так как ваше сердце вполне поймет меня.

*Преданный вам всецело*

*М. Лермонтов.*

**34. А. М. Верещагиной-Хюгель  
<16 ноября 1838 г. Из Петербурга в  
Париж>**

**S**t.-Pétersbourg, Novembre 16/28. Среда.

*Ma cousine,  
Je m'incline  
A genoux  
à cette place![203]  
qu'il est doux  
de faire grâce!*

*Pardonnez  
ma paresse, etc., etc.*

– Vraiment je n'ai trouvé que ce moyen pour me rappeler à votre souvenir, et obtenir mon pardon; soyez heureuse, et ne m'en voulez pas; demain je commence une énorme lettre pour

vous... Ma tante m'arrache la plume... ah!..

*M. Lermontoff.*

## Перевод

С.-Петербург, ноябрь 16/28. Среда

*Милая кузина,  
Преклоняю  
Колена  
на этом месте!  
как сладостно  
быть милостивой!*

*Простите  
мою лень, и т. п., и т. п.*

– Право, я не нашел ничего другого, чтобы напомнить о себе и вымолить прощение; будьте счастливы и не сердитесь на меня; завтра я приступаю к длиннейшему письму к вам... Тетя вырывает у меня перо... ах!..

*M. Лермонтов.*

**35. М. А. Лопухиной**  
**<Конец 1838 г. Из Петербурга в**  
**Москву>**

Il y a longtemps, chère et bonne amie, que je ne vous ai écrit et que vous ne m'avez donné de nouvelles de votre chère personne et de tous les vôtres; aussi j'ai l'espérance que votre réponse à cette lettre ne se fera pas longtemps attendre: il y a de la fatuité dans cette phrase, direz-vous; mais vous vous tromperez. Je sais que vous êtes persuadée que vos lettres me font un grand plaisir puisque vous employez le silence comme punition; mais je ne mérite pas cette punition car j'ai constamment pensé à vous, preuve: j'ai demandé un semestre d'un an, – refusé, de 28 jours – refusé, de 14 jours – le grand duc a refusé de même; tout ce temps j'ai été dans l'espérance de vous voir; je ferai encore une tentative – dieu veuille qu'elle réussisse. – Il faut vous dire que je suis le plus malheureux des hommes, et vous me croirez quand vous saurez que je vais chaque jour au bal: je suis lancé dans le *grand-monde*; pendant un mois j'ai été à la mode, on se

m'arrachait. C'est franc au moins. – Tout ce monde que j'ai injurié dans mes vers se plait à m'entourer de flatteries; les plus jolies femmes me demandent des vers et s'en vantent comme d'un triomphe. – Néanmoins je m'ennuie. – J'ai demandé d'aller au Caucase – refusé. – On ne veut pas même me laisser tuer. Peut-être, chère amie, ces plaintes ne vous paraîtront-elles pas de bonne foi? – peut-être vous paraîtra-t-il étrange qu'on cherche les plaisirs pour s'ennuyer, qu'on court les salons quand on n'y trouve rien d'intéressant? – eh bien je vous dirai mon motif: vous savez que mon plus grand défaut c'est la vanité et l'amour-propre: il fut un temps où j'ai cherché à être admis dans cette société comme novice, je n'y suis pas parvenu; les portes aristocratiques se sont fermées pour moi: et maintenant j'entre dans cette même société non plus en solliciteur, mais en homme qui a conquis ses droits; j'excite la curiosité; on me recherche, on m'engage partout, sans que je fasse mine de le désirer même; les femmes qui tiennent à avoir un salon remarquable veulent m'avoir, car je suis aussi un *lion*, oui, moi – votre Michel, bon garçon, auquel vous n'avez jamais cru une crinière. –

Convenez que tout cela peut éni vrer. Heureusement ma paresse naturelle prend le dessus; et peu à peu je commence à trouver tout cela par trop insupportable: mais cette nouvelle expérience m'a fait du bien, en ce qu'elle m'a donné des armes contre cette société, et si jamais elle me poursuit de ses calomnies (ce qui arrivera) j'aurai du moins les moyens de me venger; car certainement nulle part il n'y a tant de bassesses et de ridicules. Je suis persuadé que vous ne direz à personne mes vanteries, car on me trouverait encore plus ridicule que qui que cela soit, et puis avec vous je parle comme avec ma conscience, et puis c'est si doux de rire sous cape des choses briguées et enviées par les sots, avec quelqu'un qui, on le sait, est toujours prêt à partager vos sentiments; c'est de vous que je parle, chère amie, je vous le répète, car ce passage est tant soit peu obscur.

Mais vous m'écri rez n'est ce pas? – je suis sûr que vous ne m'avez pas écrit pour quelque raison grave? – êtes-vous malade? Y a-t-il quelqu'un de malade dans la famille? Je le crains. On m'a dit quelque chose de semblable. Dans la semaine prochaine j'attends votre réponse, qui j'espère

sera non moins longue que ma lettre, et certainement mieux écrite, car je crains bien que vous ne sachiez déchiffrer ce barbouillage.

Adieu, chère amie, peut-être si dieu veut me récompenser je parviendrai à avoir un semestre, et alors je serai toujours sûr d'une réponse telle- quelle.

*Saluez de ma part tous ceux qui ne m'ont pas oublié. – Tout à vous*

*M. Lermontoff.*

## **Перевод**

Давно уж я не писал вам, милый и добрый друг, а вы ничего не сообщали мне ни о вашей дорогой особе, ни о ваших; поэтому надеюсь, что ответа на это письмо долго ждать не придется: это звучит самоуверенно, скажете вы, но ошибетесь. Я знаю, вы убеждены, что ваши письма доставляют мне большое удовольствие, раз вы пользуетесь молчанием как способом наказания; я не заслуживаю этого наказания, потому что постоянно думал о вас; вот доказательство: просил отпуска на полгода – отказали, на 28 дней – отказали, на 14 дней – великий князь и тут отказал; всё это время я надеялся увидеть вас; сделаю еще од-

ну попытку – дай бог, чтоб она удалась. Надо вам сказать, что я самый несчастный человек, и вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы: я пустился в *большой свет*; в течение месяца на меня была мода, меня буквально разрывали. Это, по крайней мере, откровенно. Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как величайшей победой. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ – отказали.

Не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; может быть, вам покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать, слоняюсь по гостинным, когда я там не нахожу ничего интересного? Ну, так я открою вам свои побуждения: вы знаете, что мой самый большой недостаток – это тщеславие и самолюбие; было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов были для меня за-

крыты; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав; я возбуждаю любопытство, предо мною заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже лев, да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что всё это может опьянить. К счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить всё это более чем несносным; но этот новый опыт принес мне пользу, потому что дал мне в руки оружие против этого общества, и если оно когда-нибудь станет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), то у меня по крайней мере найдется средство отомстить; нигде ведь нет столько низкого и смешного, как там. Я уверен, что вы никому не расскажете, как я хвастаюсь, а то меня сочтут еще смешнее других; с вами же я говорю как со своей совестью, а потом так приятно исподтишка посмеяться над тем, чего так добиваются и чему так зави-

дуют глупцы, – с человеком, который заведомо всегда готов разделить ваши чувства; я имею в виду вас, милый друг, и повторяю это, ибо это место моего письма несколько неясно.

Но вы мне напишете, не правда ли? Я уверен, что вы не писали мне по какой-нибудь важной причине. Не больны ли вы? Не болен ли кто в семье? Боюсь, что так. Мне говорили что-то в этом роде. На следующей неделе жду вашего ответа и надеюсь, что он будет не короче моего письма и уж, наверно, лучше написан. Боюсь, что не разберете моего маранья.

Прощайте, милый друг; может быть, если богу угодно будет вознаградить меня, я добьюсь отпуска и тогда, во всяком случае, получу какой бы то ни было ответ.

Поклонитесь от меня всем, кто меня не забыл.

*Весь ваш*

*М. Лермонтов.*

## 36. А. А. Лопухину

<Конец февраля – первая половина  
марта 1839 г. Из Петербурга в  
Москву>

Милый Алексис.

Я был болен и оттого долго тебе не отвечал и не поздравлял тебя, но верь мне, что я искренно радуюсь твоему счастью и поздравляю тебя и милую твою жену. Ты нашел, кажется, именно ту узкую дорожку, через которую я перепрыгнул и отправился целиком. Ты дошел до цели, а я никогда не дойду: засяду где-нибудь в яме, и поминай как звали, да еще будут ли поминать? Я похож на человека, который хотел отведать от всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индигестию, которая, вдобавок, к несчастью, разрешается стихами. Кстати о стихах; я исполнил обещание и написал их твоему наследнику, они самые нравоучительные (à l'usage des enfants). [204]

*Ребенка милого рожденье  
Приветствует мой запоздалый*

стих.  
Да будет с ним благословенье  
Всех ангелов небесных и земных!  
Да будет он отца достоин;  
Как мать его, прекрасен и любим;  
Да будет дух его спокоен,  
И в правде тверд, как божий херувим.  
Пускай не знает он до срока  
Ни мук любви, ни славы жадных  
дум;  
Пускай глядит он без упрека  
На ложный блеск и ложный мира  
шум;  
Пускай не ищет он причины  
Чужим страстям и радостям  
своим,  
И выйдет он из светской тины  
Душою бел и сердцем невредим!

Je désire que le sujet de ces vers ne soit pas un mauvais sujet...[205]

Увы! Каламбур лучше стихов! Ну да всё равно! Если он вышел из пустой головы, то, по крайней мере, стихи из полного сердца. Тот, кто играет словами, не всегда играет чувствами, и ты можешь быть уверен, дорогой Алексис, что я так рад за тебя, что завтра же

начну сочинять новую ар<ию> для твоего маленького крикуна.

Напиши, пожалуйста, милый друг, еще тотчас, что у вас делается; я три раза зимой просился в отпуск в Москву к вам, хоть на 14 дней – не пустили! Что, брат, делать! Вышел бы в отставку, да бабушка не хочет – надо же ей чем-нибудь пожертвовать. Признаюсь тебе, я с некоторого времени ужасно упал духом.

.....

### 37. А. И. Тургеневу

#### <Декабрь 1839 г. В Петербурге>

**М**илостивый Государь  
Александр Иванович!

Посылаю вам ту строфу, о которой вы мне вчера говорили, для известного употребления, если будет такова ваша милость.

*...«Его убийца хладнокровно  
Навел удар – спасенья нет!  
Пустое сердце бьется ровно,  
В руке не дрогнул пистолет.  
И что за диво? – издалёка,  
Подобный сотне беглецов,*

*На ловлю денег и чинов,  
Заброшен к нам по воле рока,  
Смеясь, он дерзко презирал  
Чужой земли язык и нравы;  
Не мог щадить он нашей славы,  
Не мог понять в сей миг кровавый  
На что́ он руку поднимал!»*

За сим остаюсь навсегда вам преданный и  
благодарный

*Лермонтов.*

**На обороте:**

*Его Превосходительству*

*Милостивому Государю*

*Александру Ивановичу*

*Тургеневу.*

**38. А. П. Шувалову**  
**<Весна 1838 г. – весна 1840 г. в**  
**Петербурге>**

Сher comte!

Faites moi le plaisir de me prêter votre chien Mongo pour perpétuer une race que je lui dois déjà; vous m'obligerez infiniment.

*V<otre> T<out> D<évoué> Lermontoff.*

**На обороте:**

*Monsieur*

*le comte André*

*Chouvalof.*

**Перевод**

Дорогой граф!

Сделайте мне удовольствие, предоставьте мне вашего пса Монго, чтобы продлить породу, которая у меня уже повелась от него, вы меня чрезвычайно обяжете.

*Преданный вам Лермонтов.*

### 39. К. Ф. Опочинину

<Январь – начало марта 1840 г. В  
Петербурге>

**О**! Cher et aimable M-r Opotchinine! *Et hier soir*  
en revenant de chez vous, on m'a annoncé  
une nouvelle fatale avec tous les ménagements  
possibles. *Et à l'heure, au moment où vous lirez*  
ce billet, je ne serai  
plus.....

..... (tournez) à  
Pétersbourg. Car je monte la garde. *Et or* (style  
biblique et naïf) croyez à mes regrets sincères de  
ne pouvoir venir vous voir.

*Et tout à vous*  
*Lermontoff.*

### Перевод

О! Милый и любезный Опочинин! *И* вчера  
вечером, когда я вернулся от вас, мне сообщили  
со всеми возможными предосторожностями  
роковую весть. *И* сейчас, в то время, когда  
вы будете читать эту записку, меня уже не бу-  
дет.....

.....(переверните) в Петербурге. Ибо

я несую караул. *И посему* (стиль библейский и наивный) верьте моему искреннему сожалению, что не мог вас навестить.

*И весь ваш*

*Лермонтов.*

## 40. Н. Ф. Плаутину

**<Начало марта 1840 г. В Петербурге>**

**В**аше превосходительство,  
Милостивый государь!

Получив от Вашего превосходительства приказание объяснить вам обстоятельства поединка моего с господином Барантом, честь имею донести вашему превосходительству, что 16-го февраля на бале у графини Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного; я отвечал, что всё ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такой же колкостью, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы как кончить дело; тогда я отвечал, что в Рос-

сии следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались. 18-го числа в воскресенье в 12 часов утра съехались мы за Черною речкой на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видал. Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись.

Вот, Ваше превосходительство, подробный отчет всего случившегося между нами.

*С истинною преданностию  
честь имею пребыть  
Вашего превосходительства  
покорнейший слуга  
Михайла Лермонтов.*

**41. С. А. Соболевскому**  
**<Середина марта 1840 г. В**  
**Петербурге>**

Je suis bien fâché, mon cher Sobolevsky, de ne pouvoir profiter aujourd'hui de votre invitation, société et roastbeaf; j'espère que vous me pardonnerez de vous faire faux bond en faveur de ma position actuelle qui n'est rien moins qu'indépendante.

*Tout à vous*  
*Lermontoff.*

**Перевод**

Я очень огорчен, дорогой Соболевский, что не могу сегодня воспользоваться вашим приглашением, обществом и ростбифом; надеюсь, что вы простите мне мою измену в связи с моим теперешним положением, которое от меня никак не зависит.

*Весь ваш*  
*Лермонтов.*

## 42. С. А. Соболевскому

**<Конец марта – середина апреля  
1840 г. В Петербурге>**

Любезный Signor Соболевский, пришли мне, пожалуйста, с *сим* кучером *Sous les Tilleuls*, [206] да заходи потом сам, если успеешь; я в ордонансгаузе, наверху в особенной квартире; надо только спросить плац-майора.  
*Твой Лермонтов.*

## 43. В. кн. Михаилу Павловичу

**<20–27 апреля 1840 г. В Петербурге>**

Ваше императорское высочество!  
Признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердною службой загладить мой проступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в

ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести; но теперь мысль, что его императорское величество и ваше императорское высочество, может быть, разделяете сомнение в истине слов моих, мысль эта столь невыносима, что я решился обратиться к вашему императорскому высочеству, зная великодушие и справедливость вашу, и будучи уже не раз благодетельствован вами, и просить вас защитить и оправдать меня во мнении его императорского величества, ибо в противном случае теряю невинно и невозвратно имя благородного человека.

Ваше императорское высочество позволите сказать мне со всею откровенностию: я искренно сожалею, что показание мое оскорбило Баранта: я не предполагал этого, не имел этого намерения; но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой

никогда не унижался. Ибо сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить оную честным словом, и доказательством может служить то, что на месте дуэли, когда мой секундант, отставной поручик Столыпин, подал мне пистолет, я сказал ему именно, что выстрелю на воздух, что и подтвердит он сам.

Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское высочество соблаговолите обратить внимание на горестное мое положение и заступлением вашим восстановить мое доброе имя во мнении его императорского величества и вашем.

С благоговейною преданностию имею счастье пребыть вашего императорского высочества

*Всепреданнейший*

*Михаил Лермонтов*

*Тенгинского пехотного полка поручик.*

**44. А. А. Вадковской**  
**<1838–1840 г. В Петербурге>**

Je vous remercie bien pour l'adresse de cette maison qui me sera éternellement chère et je me recommande au souvenir de mon aimable cousine en la suppliant de me donner la mazurka.

*Votre bien dévoué*  
*Lermontoff*

**Перевод**

Очень признателен вам за адрес того дома, который вечно будет мне дорог, и умоляю милую кузину не забыть меня и оставить за мной мазурку.

*Ваш преданный*  
*Лермонтов.*

## 45. А. А. Лопухину

<17 июня 1840 г. Из Ставрополя в  
Москву>

О, милый Алексис!

Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля,[207] которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк! Пожалуйста, спусти его с Аспелинда; они там в Чечне не знают индейских петухов, так, авось, это его испугает. Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом,[208] который также едет в экспедицию и который вздыхает по графине Зубовой,[209] о чем прошу ей всеподданнейше донести. И мы оба так вздыхаем, что кишочки наши чересчур наполнились воздухом, отчего происходят разные приятные звуки... Я здесь от жару так слаб, что едва держу перо. Дорогой я заезжал в Черкасск к генералу Хомутову и прожил у него три дня, и каждый день был в театре. Что за *феатр*! Об этом стоит рассказать: смот-

ришь на сцену – и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад – ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо – ничего не видишь, потому что ничего нет; смотришь налево – и видишь в ложе полицмейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо начать или кончать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он его так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в эту минуту кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь головой прямо в барабан и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой и что же! О ужас! На голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи я всё ждал, что будет? – Так-то, мой милый Алеша! – Но здесь, в Ставрополе, таких удо-

вольствий нет; зато ужасно жарко. Вероятно, письмо мое тебя найдет в Сокольниках. Между прочим, прощай: ужасно я устал и слаб. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и будь благонадежен. Ужасно устал... Жарко... Уф! –

*Лермонтов.*

## 46. А. А. Лопухину

**<12 сентября 1840 г. Из Пятигорска в  
Москву>**

**П**ятигорск, сентября 1840 года.

Мой милый Алеша.

Я уверен, что ты получил письма мои, которые я тебе писал из действующего отряда в Чечне, но уверен также, что ты мне не отвечал, ибо я ничего о тебе не слышу письменно. Пожалуста, не ленись: ты не можешь вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают. С тех пор как я на Кавказе, я не получал ни от кого писем, даже из дому не имею известий. Может быть, они пропадают, потому что я не был нигде на месте, а шатался всё время по горам с отрядом. У нас были каждый

день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 6 тысяч, и всё время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте, – кажется хорошо! – вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные, – только бог знает, когда мы увидимся. Я теперь вылечился почти совсем и еду с вод опять в отряд в Чечню. Если ты будешь мне писать, то вот адрес: *на Кавказскую линию, в действующий отряд генерал-лейтенанта Галофеева, на левый фланг.* Я здесь проведу до конца ноября, а потом не знаю, куда отправлюсь – в Ставрополь, на Черное море или в Тифлис. Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными. Только скучно то, что либо так жарко, что насилу ходишь, либо так холодно, что дрожь пробирает, либо есть нечего, либо денег нет, – именно что со мною теперь. Я прожил всё, а из дому

не присылают. Не знаю, почему от бабушки ни одного письма. Не знаю, где она, в деревне или в Петербурге. Напиши, пожалуйста, видел ли ты ее в Москве. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и прощай. Будь здоров и счастлив.

*Твой Лермонтов.*

**На обороте:**

*Его высокоблагородию милостивому государю Алексею Александровичу Лопухину. В Москве на Молчановке, в собственном доме, в приходе Николы Явленного.*

## 47. А. А. Лопухину

<16–26 октября 1840 г. Из крепости  
Грозной в Москву>

Милый Алеша.

Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, т. е. отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то, авось, что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их раскусить. Вот тебе обо мне самое интересное.

Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не получал. Бог знает, что с вами сделалось; забыли, что ли? Или пропадают? Я

махнул рукой. Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законом. Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна будет зевать за пальцами и, наконец, уснет от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну, который сделает мне кака на колена... Сделай одолжение, пиши ко мне как можно больше. Прощай, будь здоров с чадами и домочадцами и поцелуй за меня ручку у своей сожигательницы.

*Твой Лермонтов.*

### **На обороте:**

*В Москве, на Молчановке, в собственном доме, в приходе Николы Явленного.*

*Его высокоблагородию, милостивому государю Алексею Александровичу Лопухину.*

## 48. А. И. Бибикову

**<Вторая половина февраля 1841 г.  
Из Петербурга в Ставрополь>**

**М**илый Биби.

Насилу собрался писать к тебе; начну с того, что объясняю тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск; но я скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот такие беды: приехав сюда в Петербург на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г<рафине> Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9-го марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук.

Я был намерен у твоих, и они все жалуются, что ты не пишешь; и, взяв это в рассмотрение, я уже не смею тебя упрекать. Мещеринов, верно, прежде меня приедет в Ставрополь, ибо я не намерен очень торопиться; итак, не продавай удивительного лова, ни кровати, ни седел; верно, отряд не выступит прежде 20 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя и множество других книг.

Прощай, мой милый, будь здоров.

*Твой Лермонтов.*

**49. О. С. Одоевской**  
**<февраль – апрель 1841 г. В**  
**Петербурге>**

«Герой нашего времени» упадает к стопам  
ее прелестного сиятельства, умоляя поз-  
волить ему не обедать.

**50. А. А. Краевскому**  
**<13–14 апреля 1841 г. В Петербурге>**

Любезный Андрей Александрович.  
Очень жалею, что не застал уже тебя у  
Одоевского и не мог таким образом с тобою  
проститься; сделай одолжение, отдай подате-  
лю сего письма для меня два билета на «О<те-  
чественные> Записки». Это для бабушки мо-  
ей.

*Будь здоров и счастлив.*

*Твой Лермонтов.*

**На обороте:**

Его высокоблагородию Андрею Алексан-

дровичу Краевскому, у Измайловского моста. Спросить, чей дом у Аничкого моста на Фонтанке, в доме кн. Долгорукого, на квартире кн. Одоевского.

## 51. Е. А. Арсеньевой

**<20 апреля 1841 г. Из Москвы в  
Петербург>**

**М**илая бабушка,  
Жду с нетерпением письма от вас с каким-нибудь известием; я в Москве пробуду несколько дней, остановился у Розена; Алексей Аркадич здесь еще; и едет послезавтра. Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо – и мне довольно весело; был вчера у Николая Николаевича Анненкова[210] и завтра у него обедаю; он был со мною очень любезен: – вот всё, что я могу вам сказать про мою здешнюю жизнь; еще прибавлю, что я от здешнего воздуха потолстел в два дни; решительно Петербург мне вреден; может быть, также я поздоровел оттого, что всю дорогу пил горькую воду, которая мне всегда очень полезна. Скажите, пожалуйста, от

меня Екиму Шангирею, что я ему напишу перед отъездом отсюда и кое-что пришлю. – Вероятно, Сашенькина свадьба уж была, и потому прошу вас ее поздравить от меня; а Леокადии[211] скажите от меня, что я ее целую и желаю исправиться, и быть *как можно осторожнее вообще*.

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь

*покорный внук*

*М. Лермонтов.*

## 52. Е. А. Арсеньевой

<10 мая 1841 г. Из Ставрополя в  
Петербург>

**М**илая бабушка,  
я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к вам; ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была пре-скверная, теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава богу, здоров и спокоен, лишь бы вы были так спокойны, как я: одного только и желаю; пожалуйста, оставайтесь в Петербурге: и для вас и для меня будет лучше во всех отношениях. Скажите Екиму Шангирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее.

Я всё надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку.

Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки и молю бога, чтоб вы были здоровы и

спокойны, и прошу вашего благословения. –  
*Остаюсь п<окорный> внук Лермонтов.*

### **53. С. Н. Карамзиной**

**<10 мая 1841 г. Из Ставрополя в  
Петербург>**

**L**e 10 mai.

Je viens d'arriver à Stavropol, chère M-elle Sophie, et je reparts le jour même pour l'expédition avec Stolipine Mongo. Souhaitez moi: du bonheur et une légère blessure, c'est tout ce que l'on peut me souhaiter de mieux. J'espère que cette lettre vous trouvera encore à St. Pétersbourg et qu'au moment où vous la lirez je monterai à la brèche de *Черкей*. Comme vous avez de profondes connaissances en géographie je ne vous engage pas à regarder la carte, pour savoir où c'est; mais pour aider votre mémoire je vous dirai que c'est entre la mer Caspienne et la mer Noire, un peu au sud de Moscou et un peu au nord de l'Egypte, et surtout assez près d'Astracan, que vous connaissez si bien.

Je ne sais si cela durera; mais pendant mon voyage j'ai été possédé du démon de la poésie,

idem, des vers. J'ai rempli d'à moitié un livre que m'a donné Odoevsky, ce qui m'a porté bonheur probablement; je suis allé jusqu'à faire des vers français, – oh! Dépravation! Si vous voulez je vous les écrirai ici; ils sont très jolis pour des premiers vers; et dans le genre de Parny, si vous le connaissez.

*Je l'attends dans la plaine sombre;  
Au loin je vois blanchir une ombre,  
Une ombre, qui vient doucement...  
Eh non! – trompeuse espérance! –  
C'est un vieux saule, qui balance  
Son tronc desséché et luisant.*

*Je me penche, et longtemps j'écoute;  
Je crois entendre sur la route  
Le son, qu'un pas léger produit...  
Non, ce n'est rien! C'est dans la  
mousse  
Le bruit d'une feuille, que pousse  
Le vent parfumé de la nuit.*

*Rempli d'une amère tristesse,  
Je me couche dans l'herbe épaisse  
Et m'endors d'un sommeil profond...  
Tout-à-coup, tremblant, je m'éveille:  
Sa voix me parlait à l'oreille,*

## *Sa bouche me baisait au front.*

Vous pouvez voir par ceci quelle salutaire influence a eu sur moi le printemps, saison enchantée, où l'on a de la boue jusqu'aux oreilles, et le moins de fleurs possible. – Donc, je pars ce soir: je vous avouerai que je suis passablement fatigué de tous ces voyages qui paraissent devoir se prolonger dans l'éternité. – J'ai voulu écrire encore à quelques personnes à

Pétersbourg, entre autres à M-me Smirnoff, mais je ne sais si cette action téméraire lui serait agréable, voilà pourquoi je m'abstiens. Si vous me répondez, adressez à Stavropol, в штаб генерала Грабе – je me suis arrangé pour qu'on m'envoie mes lettres – adieu; mes respects je vous prie à tous les vôtres; et encore adieu – portez vous bien, soyez heureuse et ne m'oubliez pas.

*T<out> à V<ous> Lermontoff.*

### **Перевод**

10 мая.

Я только что приехал в Ставрополь, дорогая m-lle Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиным Монго. Пожелайте мне: счастья и легкого ранения, это самое

лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С.-Петербурге и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтоб узнать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете.

Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или – стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи, – о падение! Если позволите, я напишу вам их здесь; они очень красивы для первых стихов и в жанре Парни, если вы его знаете.

## **Ожидание**

*Я жду ее в сумрачной равнине...*

Вы можете видеть из этого, какое благо-

творное влияние оказала на меня весна, чарующая пора, когда по уши тонешь в грязи, а цветов меньше всего. Итак, я уезжаю вечером; признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено вечно длиться. Я хотел написать еще кое-кому в Петербург, в том числе и г-же Смирновой, но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок, и поэтому воздерживаюсь. Если вы ответите мне, пишите по адресу: в Ставрополь, в штаб генерала Грабе, – я распорядился, чтобы мне пересылали письма. Прощайте; передайте, пожалуйста, всем вашим мое почтение; еще раз прощайте – будьте здоровы, счастливы и не забывайте меня.

*Весь ваш Лермонтов.*

## 54. Е. А. Арсеньевой

<28 июня 1841 г. Из Пятигорска в  
Петербург>

Июня 28.

Милая бабушка,

Пишу к вам из Пятигорска, куды я опять заехал и где пробуду несколько времени для отдыха. Я получил ваших три письма вдруг и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь; я это всё здесь обделаю и пошлю.

Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Шекспира, по-англински, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Екиму. Только, пожалуста, поскорее; если это будет скоро, то здесь еще меня застанет.

То, что вы мне пишете о словах г. Клейн-михеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать?

Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам.

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук

*М. Лермонтов.*

## **Письма, приписываемые Лермонтову**

### **1**

Je vous excuse facilement de ne m'avoir point écrit, car vous avez, j'espère, quelque chose de mieux à faire, quant à moi, vous devez me pardonner de solliciter si souvent votre attention, parce que je n'ai en ce moment rien qui vienne se placer entre vous et mes lettres.

Je ne suis pas tout à fait seul maintenant, j'ai avec moi une vieille connaissance, un camarade, mais si *ancien*, que nous n'avons rien de *nouveau* à nous dire sur aucun sujet, et que nous bâillons an nez l'un de l'autre dans une sorte de *quiète inquiétude*. Je n'entends parler ni de N., ni du

capitaine N. avec leur *in quarto*. Dieu ait pitié de la pauvre humanité! Nous allons fondre sur elle comme Cerbère, avec nos trois livres. Quant à *moi*, qui vais paraître accompagné de *moi-même*; je me content d'être comparé à Janus. Je ne suis pas du tout satisfait de N. qui s'est promis...

Je suis arrivé en ville hier soir, et je serai très aise de vous voir, quand cela vous sera agréable.

Croyez moi très sincèrement. Tout à vous...

## Перевод

Охотно извиняю вас, что вы мне не писали, так как у вас, надеюсь, есть дела поважнее; что же касается меня, вы должны мне простить, что я так часто прошу вашего внимания, но ведь сейчас у меня нет ничего, что становилось бы между вами и моими письмами.

Я не совсем один сейчас, со мной старый знакомый, приятель, но такой *старинный*, что нам нечего сказать друг другу *нового*, и мы зеваем друг другу в лицо в своего рода *спокойном беспокойстве*. Я не слышу разговоров ни о N., ни о капитане N. с их *in quarto*. Да сжалится бог над бедным человечеством! Мы, как Цербер, обрушимся на него с нашими тре-

мя книгами. Что касается *меня*, который появится в сопровождении *меня самого*, я довольствуюсь быть уподобляемым Янусу. Я совсем недоволен N., который обручился...[212]

Я приехал в город вчера вечером и был бы очень рад вас повидать, если это будет вам приятно.

*Верьте моей полной искренности. Весь ваш...*

## 2

**Н**ier justement ayant acheté quatre chevaux russes que je viens d'envoyer à la campagne, dans ce moment je n'ai plus besoin des chevaux – et je suis fâché de ne pas pouvoir faire usage des vôtres.

Je vous prie M-r d'agréer l'assurance de mon estime le plus parfait avec lequel je suis...

## Перевод

Как раз вчера я купил четырех лошадей русской породы, которых только что отправил в деревню; сейчас мне лошади больше не нужны, и я очень сожалею, что не могу воспользоваться вашими.

Прошу вас, милостивый государь, принять уверение в полном уважении...

«**M**onsieur, – me dit-il assez haut, – vous n’avez point voulu parler sur cette affaire quand on vous en priait: ainsi, à présent, vous feriez mieux de vous taire». Je lui répliquai que ce ne serait jamais lui qui pourrait m’imposer silence. Après le dîner je lui dis: «Vous m’avez tenu un propos offensant, parce que votre emportement vous a ôté toute réflexion. Vous avez dix ans de plus que moi. Votre réputation est faite et trop faite par vingt combats; la mienne ne fait que s’établir. Vous sentez qu’il me faut une satisfaction; – et il en est de deux genres: vous pouvez tout finir, si vous le voulez, en disant devant nos convives, qui sont tous vos amis, que vous vous réprochez votre vivacité, n’ayant eu aucune intention de m’offenser; si je n’obtiens pas cette satisfaction, vous savez qu’il m’en faudra une autre»; – Je n’en ai point à vous donner. «Eh bien, demain à sept heures du matin, j’irai chez vous pour vous demander raison d’une si étrange conduite».

### **Перевод**

«Милостивый государь, – сказал он мне довольно громко, – вы не пожелали говорить об

этом деле, когда вас просили об этом; итак, теперь уж лучше помолчите». Я отвечал, что уж никак не ему заставлять меня молчать. После обеда я сказал ему: «Вы обратились ко мне с оскорбительными словами, потому что ваша запальчивость вовсе лишила вас рассудка. Вы десятью годами старше меня. Репутация ваша сложилась, и притом более чем достаточно, благодаря двадцати поединкам, моя же только начинает складываться. Вы понимаете, что мне нужно удовлетворение; и оно может быть двоякого рода: вы можете, если того желаете, покончить со всем, объявив перед гостями, которые все наши друзья, что раскаиваетесь в своей горячности и что не имели никакого намерения меня оскорбить; если я не получу этого удовлетворения, вы знаете, что мне необходимо будет другое». — «Мне незачем его вам давать». — «В таком случае завтра в семь часов утра я приеду к вам, чтобы потребовать объяснения столь странного поведения».

#### 4

Je vous souhaite un bon voyage, ma chère  
Cousine, et je vous prie de remettre ce paquet

à ma cousine N. Je vais à la messe, et ne manquerais pas de faire un signe de croix quand on priera за плавающих и путешествующих. Car je prédis que vous voyagerez à la nage par ce mauvais chemin.

## Перевод

Желаю вам приятного путешествия, любезная кузина, и прошу вас передать этот пакет кузине N. Я иду к обедне и не премину сотворить крестное знамение, когда будут молиться за *плавающих и путешествующих*, ибо предсказываю, что по этой скверной дороге вам придется путешествовать вплавь.

# Примечания

## Проза Лермонтова

«Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца», – заметил однажды С. Т. Аксакову Н. В. Гоголь,[227] который находил в принадлежащих Лермонтову «сочинениях прозаических гораздо больше достоинства». По глубокому убеждению Гоголя, «никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой».[228]

В истории русской классической прозы Лермонтову принадлежит роль создателя психологического романа, насыщенного общественной, нравственно-философской проблематикой; дальнейшее развитие этот тип романа получит в творчестве Достоевского и Толстого.

Лермонтов начинал свой творческий путь в поэтическую эпоху; проза делала лишь первые шаги к тому, чтобы завоевать господство в литературе, которое наступит лишь к середине 1830-х годов. Характерно следующее за-

мечание Пушкина, высказанное от имени рассказчицы в «Рославлеве» (1831): «...словесность наша... представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только „Историю Карамзина“; первые два или три романа появились два или три года назад, между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой».[229] Трудности становления повествовательного жанра были очевидными и ощущались на протяжении всей первой половины 30-х гг.

«Знаете ли вы, милостивые государи читатели, – признавался В. Ф. Одоевский в предисловии к повести «Княжна Мими» (1834), – что писать книги дело очень трудное? Что из книг труднейшие для сочинителя – романы и повести».[230]

В 1830 г. Лермонтов читает старую французскую прозу и испытывает разочарование: «Я читаю Новую Элоизу. Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы и истины» (наст. том, с. 354). «Софизмы, одетые

блестящими выражениями», не могут заменить живых характеров. «Вертер лучше, – продолжает Лермонтов, – там человек – более человек». Изображение характера – вот что привлекает Лермонтова в современной литературе, этому он хотел бы учиться у ее признанных мастеров.

Его собственные первые обращения к прозе почти не выходят за рамки опыта лирического поэта.

Это прежде всего заметки типа дневниковых записей, стилистически тесно связанные с лирикой, в жанровом отношении нечто близкое «стихотворениям в прозе» – лирические отрывки, фиксирующие какие-то моменты внутренней жизни автора. «Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче», – так начинается одна из записей 1830 г. Помеченная 8 июля «Записка 1830 года» о детской любви, запись этого же времени, озаглавленная «Мое завещание», набросок «Я помню один сон» – характерные образцы жанра лирического фрагмента, к которому юный Лермонтов обращается довольно часто. В его творчестве зрелой поры произведения этого

жанра сами по себе уже не встречаются; между тем в поздней прозе Лермонтова, и в первую очередь в «Герое нашего времени», не трудно выделить отдельные самостоятельные части текста, по своему типу близкие юношеским «стихотворениям в прозе». Такова, например, известная концовка «Княжны Мери»: «Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига...».

Стремление Лермонтова к овладению прозаической повествовательной манерой проявилось в это время и в том, что ряд переводов из английской и немецкой поэзии он делает в прозе: «Перевесть в прозе: The Dream of Lord Byron – pour miss Alexandrine» (см. наст. том, с. 341). Ряд текстов Байрона («Darkness», «The Giaour», «Napoleon's Farewell», «Beppo»), стихотворение Иоганна Т. Гермеса «Dir folgen meine Thränen» в переводе Лермонтова – это лирическая проза, своеобразие ритмико-синтаксической и образно-речевой структуры которой обусловлено ее генетической связью с поэтическими жанрами.

«Проза и стих – отчасти враждебные друг другу формы, так что период развития прозы

обычно совпадает с упадком стиха, – писал Б. М. Эйхенбаум. – В переходные эпохи проза заимствует некоторые приемы стихотворного языка – образуется особая музыкальная проза, связь которой со стихом еще заметна. Так у Шатобриана, так у Тургенева».[231] Современная Шатобриану критика определяла его повесть как поэмы в прозе, отмечая свойственные им лиризм описаний, элегически медитативный характер монологов, насыщенных философскими афоризмами, особую ритмическую организацию речи.

Шатобриан принадлежит к числу тех писателей, которые входят в круг чтения Лермонтова; один из ранних замыслов Лермонтова формулируется следующим образом: «В Америке (дикие, угнетенные испанцами. Из романа французского Аттала)» (наст. том, с. 340).

Путь к прозе не был легким. В 1831 г. Лермонтову, по-видимому, проще «изложить драматически (курсив ред.) происшествие истинное» (см. предисловие к романтической драме «Странный человек», наст. изд., т. 3, с. 193). Известно, что ранние замыслы Лермонтова

сосредоточены главным образом вокруг «трагедии», жанровые возможности которой по сравнению с лирикой были значительно шире. Переход от лирики к драматургической форме был для Лермонтова естественным. Идеи и конфликты, вокруг которых строилось лирическое творчество поэта, теперь находили свое выражение в драме – лирические стихотворения, как правило, имевшие своего адресата, легко становились обращенными к зрителю монологами героев пьес, сохраняющими свойственные романтической лирике высокую эмоциональную напряженность, соответствующие речевые средства.

В 1830 г. Лермонтов пишет почти одновременно два драматических произведения – «Испанцы» и «Menschen und Leidenschaften»; первое из них – стихотворная трагедия, второе – прозаическая. Несмотря на то, что действие первой разворачивается в Испании, а «Menschen und Leidenschaften» – в современной поэту России, и в том и в другом случае целью автора было показать противостояние героя обществу, диаметрально противоположность их идеологических, нравственных,

философских позиций. Параллельная работа Лермонтова над стиховой и прозаической пьесами – своеобразный эксперимент. Лермонтов ищет форму, наиболее соответствующую его замыслу. В «Испанцах», где еще нет установки на создание определенных характеров и очевидна условность обстановки и персонажей, стихотворный размер не затруднял решения задачи.

В трагедии «Menschen und Leidenschaften» использован материал современной поэту русской жизни. Здесь уже намечалось движение к созданию широкой картины общественных нравов, к тому, чтобы определенным образом очертить действующие характеры. Возникла потребность освободиться от стиховой, стилистически однообразной речи; героям было дано право говорить языком, в каждом случае соответствующим содержанию монологов и реплик, в которых проявлялись их общественное положение, мировоззрение, этические представления. Так Лермонтов приходит к драме в прозе. Первый опыт он, по-видимому, счел удавшимся, и следующая его пьеса «Станный человек» –

опять драма прозаическая.

Работа Лермонтова над «Menschen und Leidenschaften» и «Станным человеком» явилась в известной степени школой для будущего писателя-прозаика. Здесь Лермонтов овладевал мастерством диалога, учился использовать разные стилевые пласты русской речи.

К августу 1832 г. относится первое известное нам свидетельство Лермонтова о его работе над произведением большой повествовательной формы: «Мой роман становится произведением, полным отчаяния; я рылся в своей душе, желая извлечь из нее все, что способно обратиться в ненависть; и все это я беспорядочно излил на бумагу – вы бы меня пожалели, читая его!..» (наст. том, с. 367).[232]

В 1833–1834 гг. Лермонтов работает над романом из «времен Екатерины II». Этот факт литературной биографии Лермонтова сохранили воспоминания товарища Лермонтова по юнкерской школе А. Меринского. Лермонтов «в откровенном разговоре» рассказал ему «план романа, который задумал писать прозой и три главы которого были тогда уже им

написаны».[233] Роман не был закончен. Его редакторские названия[234] – «Горбач – Вадим. Эпизод из Пугачевского бунта (юношеская повесть)» (П. Висковатый), «Вадим. Неоконченная повесть» (И. Болдаков), «Вадим. (Повесть)» (Д. Абрамович).

О каком произведении писал Лермонтов в 1832 г. Лопухиной – остается до сих пор неясным. Существует предположение, что Лермонтов имел в виду «Вадима»; однако наиболее вероятно, что работа над «Вадимом» началась не ранее 1833 г.,[235] а в 1832 г. Лермонтов писал какой-то другой роман.[236]

«Вадим» – первое известное произведение Лермонтова-прозаика – исторический роман из эпохи пугачевского движения. Обращаясь к этой весьма актуальной после крестьянских восстаний 1830–1831 гг. теме, Лермонтов решал выдвинутую временем задачу создания русского исторического романа. Симптоматично в этом отношении совпадение с Пушкиным, писавшим тогда же «Капитанскую дочку» (начало замысла пушкинской повести относится тоже к 1833 г.).

Отличительная особенность «Вадима» – со-

четание в нем субъективно-лирического начала с объективно-повествовательным. Центральный персонаж романа, герой-мститель, в котором «одно мучительно-сладкое чувство ненависти, достигнув высшей своей степени, загородило весь мир» (гл. XIV), органически связан со всем комплексом идей и настроений, составляющих содержание лермонтовской лирики.

Индивидуальная месть героя теснейшим образом связана с вспышкой крестьянского мятежа («Бог потрясает целый народ для нашего мщенья», гл. X), изображению которого посвящены многие страницы повести. В ряде глав Лермонтову удалось реалистически объективно воспроизвести картины античеловечных, антигуманных проявлений крепостнического быта. Чрезвычайно существенно свидетельство Меринского о том, что в основе «Вадима» лежит «происшествие истинное». В романе действительно использованы самые разнообразные материалы – исторические и фольклорные, – связанные с эпизодами движения пугачевцев в Пензенском крае: легенды и предания о Пугачеве, сохранившиеся в

крестьянской среде, рассказы бабки Лермонтова, его родственников Столыпина, соседей-помещиков. Начинаящему романисту было принципиально важно отразить в своем произведении реальные события, реальные обстоятельства.

Социально-историческая проблематика, однако, не является центральной в романе, и самая тема крестьянского бунта явно подчинена теме противостоящей обществу сильной личности.

В «Вадиме» отчетливо проявились литературные впечатления и симпатии автора, так или иначе воздействовавшие на формирование его ранней прозы.

«...В юнкерской школе, – вспоминал Меринский, – нам не позволялось читать книги чисто литературного содержания... те, которые любили чтение, занимались им большею частью по праздникам, когда нас отпускали из школы. Всякий раз как я заходил в дом к Лермонтову, почти всегда находил его с книгою в руках, и книга эта была – сочинения Байрона и иногда Вальтер Скотт, на английском языке, – Лермонтов знал этот язык».[237]

Первый прозаический опыт Лермонтова – роман с байроническим героем, опирающийся на традицию исторического романа В. Скотта, осложненную влиянием новой французской школы 1830-х годов, школы «неистойой словесности».

Безобразный нищий у монастырских ворот, в глазах которого «было столько огня и ума, столько неземного», сразу же обнаруживает себя как романтического героя, героя-разрушителя, «демона, но не человека». Этот тип героя, характерный для философского произведения, посвященного мировым проблемам добра и зла,[238] был выбран Лермонтовым для своего сочинения, задуманного и реализованного как исторический роман в духе В. Скотта.

Имя В. Скотта упоминается на страницах «Вадима» («Куда? Зачем? – если б рассказывать все их мнения, то мне был бы нужен талант Вальтер-Скотта и терпение его читателей», гл. XIV) – и это упоминание содержит определенную оценку его писательской манеры. Мастерство В. Скотта – исторического романиста – для Лермонтова безусловно; вместе

с тем эпическая неторопливость в развитии сюжета, свойственная его произведениям, уже не может, по мнению Лермонтова, нравиться читателю. Гораздо более привлекательной кажется автору «Вадима» школа французского «неистового романтизма», которую Гоголь охарактеризовал как «странную, мятежную, как комета», порождавшую «творения... восторженные, пламенные».[239] Именно ориентацией на литературные образцы французской повествовательной школы, западного романа «ужасов» объясняются ряд особенностей сюжетно-поэтической структуры романа – утрированно безобразная внешность героя, зловещий колорит в изображении окружающей его толпы мятежников, [240] пристальное внимание к ужасным подробностям пыток и казней, повышенная экспрессивность, эмоциональность стиля, эффектно расцвеченного метафорическими эпитетами, изысканными поэтическими образами, устойчивыми формулами стихотворной речи.

Эта специфика стилистической манеры Лермонтова в его раннем прозаическом опы-

те связана и с русской традицией «поэтической прозы», представленной в первую очередь в повестях и романах Марлинского и Гоголя. По определению В. В. Виноградова, «романтическая проза этого типа слагалась из двух контрастных языковых стихий. „Метафизический“ стиль авторского повествования и речей романтических героев был близок по образам, фразеологии и синтаксису к стилям романтической лирики. Напротив, в стиле бытовых сцен, в стиле реалистически-жизненного изображения и описания отражалось все многообразие социальных различий повседневной устной речи».[241]

Соединение в структуре лермонтовского романа лирического и повседневно-бытового начал обусловило и его стилистическую неоднородность: сосуществование в пределах единого произведения, с одной стороны, языка условно-романтического, восходящего к языку лирики и поэм (сюжетные линии, связанные с образами Вадима, Юрия, Ольги), – и с другой – обычной разговорной речи (описание дома Палицына, его окружения, разных сторон помещичьего быта, пейзажные зарис-

совки), в иных случаях сближающейся с живым, народным словом, диалектными лексикой и фразеологией (сцены с участием дворян, слуг, крестьян, уральских казаков из отряда Пугачева).

Нельзя не заметить, что к подобной стилистической двойственности Лермонтов был подготовлен и своим предшествующим опытом драматического писателя.

Середина 1830-х гг., время, когда была оставлена работа над «Вадимом», характеризуется расцветом жанра «светской повести», связанной с именами А. Ф. Вельтмана, В. Ф. Одоевского, А. А. Марлинского, Н. Ф. Павлова, В. А. Соллогуба и т. д. В эти же годы появляются повести Гоголя. Увлечение «неистовым» романтизмом заметно ослабевает – не только в России, но и на Западе, где ведущее положение начинают занимать романы и повести из современной жизни (А. де Мюссе, Ж. Санд, Бальзак).

После «Вадима» внимание Лермонтова-прозаика переключается на сюжеты из жизни современного ему общества. Характерно, что эти сюжеты Лермонтов пробует разра-

батывать параллельно в разных жанрах. Так, в драме «Два брата» намечены контуры «Княгини Лиговской» – второго произведения Лермонтова прозаической формы, а в отрывке, начинающемся словами «Я хочу рассказать вам историю женщины...», определенно находятся соответствия с поэмой «Сашка» (линия Александра Арбенина).

Весьма показательно, что новые темы, новое содержание легко укладывались в привычные, хорошо знакомые Лермонтову жанровые формы: «Два брата» и «Сашка» – произведения, в жанрово-стилистическом отношении достаточно цельные, сюжетно завершенные.[242] Иначе обстоит дело с прозой – отрывок «Я хочу рассказать вам...», начатый в традиции «светской повести», брошен, видимо, в самом начале, не закончена и «Княгиня Лиговская».

В ее основе – история светских похаживаний молодого петербургского офицера Жоржа Печорина (здесь впервые появляется имя главного действующего лица будущего «Героя нашего времени»). Антипод центрального героя – чиновник Красинский. Судьбы Печори-

на и Красинского пересекаются, однако как должны развиваться их взаимоотношения – неясно, так как эта линия сюжета не получила завершения.

Лермонтов писал «Княгиню Лиговскую», ориентируясь на современную литературу, чутко улавливая основную тенденцию ее развития – отчетливо намечающийся переход к объективно-реалистическому повествованию.

«Княгиня Лиговская» – произведение переходного характера. Его центральный персонаж вполне ординарный герой – в противоположность лермонтовскому «Вадиму». Это человек света, близкий автору принадлежностью к одной и той же социальной среде; внешние события его жизни и внутренние душевные коллизии находятся в сфере явлений и чувств, возможных и понятных именно в этой среде. (Не случайно присутствие в повести автобиографических мотивов – сюжетные линии «Печорин – Негурова», «Печорин – Вера».) Однако в отличие от «Героя нашего времени» герой «Княгини Лиговской» пока еще не развернутый социальный харак-

гер. Личность Жоржа Печорина раскрывается лишь настолько, насколько это возможно в том кратком событийно-временном контексте, который представлен в романе. Это по существу один эпизод биографии героя, позволяющий судить о некоторых индивидуальных чертах его характера, не заключающих в себе в достаточной степени явных примет эпохи.

В романе еще велика роль традиционно-условного автора-рассказчика; он то и дело вторгается в повествование. Вместе с тем в «Княгине Лиговской» заметно тяготение к объективному воспроизведению социально-бытового фона, на котором разворачивается действие, к объективной демонстрации внешних условий и обстоятельств, которые сопутствуют героям.

В романе уже ощутимо стремление автора к созданию психологических характеристик, детальному описанию чувства, внутренних переживаний героев. Здесь закладываются основы того психологического реализма, которому суждено будет развиваться самым блестящим образом в «Герое нашего време-

ни».

В жанрово-стилистическом отношении новое произведение Лермонтова получилось весьма пестрым. В нем легко обнаружить приметы разных, иногда вовсе далеких друг от друга прозаических «школ».

Лермонтов еще не отказывается совершенно от стилистических элементов, характерных для «поэтической прозы», но здесь они получают свое особое стилистическое задание: так вырабатывается необходимая форма для художественного воплощения образа Красинского.

Среда, к которой принадлежат главные действующие лица, любовно-психологическая драма как основной предмет изображения, точная конкретизация обстановки, времени – все это ведет к светской повести, которая безусловно находилась в поле зрения Лермонтова в период его работы над «Княгиней Лиговской».

Не менее сильным было и влияние другой повествовательной традиции, традиции гоголевской прозы, следы знакомства с которой также весьма отчетливы на страницах лер-

Монтовского романа.

Очевидно, что именно в контексте реалистических исканий Гоголя, обратившегося к художественному воплощению «ничтожно-го» героя, должны рассматриваться и оцениваться такие важнейшие моменты произведения, как намеченный в нем социальный конфликт (столкновение офицера-аристократа Печорина с мелким служащим одного из петербургских департаментов), изображение наряду с великосветскими гостиными каморки бедного чиновника, представляющего демократический Петербург, резко противопоставленный официальному облику русской столицы.

Весьма существенно, что повести Гоголя привлекали Лермонтова не только своей идеологической стороной; не менее интересны они были ему и с точки зрения их стилистики (см. начало «Княгини Лиговской», описание бала в гл. IX, «физиологическую» зарисовку дома у Обухова моста, и т. д.).

Можно предполагать, что одновременное присутствие в «Княгине Лиговской» различных повествовательных традиций послужило

ло причиной незавершенности романа. В дальнейшем Лермонтов отдаст предпочтение той традиции, которая, будучи определенным образом преобразована, приведет его к созданию социально-психологического портрета человека его поколения.

В новом романе Лермонтов сумеет довести до конца то, перед чем он остановился в «Княгине Лиговской», – ему удастся точно определить и показать типические черты человека своего времени, те отразившиеся в нем особенности исторического момента, которые и делают его социальным «типом» – слово, употребленное самим Лермонтовым.

Направление интересов Лермонтова-прозаика соответствовало задачам, стоявшим перед русской прозой 1830-х гг. Герцен сформулировал эти задачи следующим образом: «...история каждого существования имеет свой интерес... интерес этот состоит в зрелище развития духа под влиянием времени, обстоятельств, случайностей, растягивающих, укорачивающих его нормальное, общее направление».[243]

Россия 1830-х гг., мрачного последекаб-

ристского десятилетия – вот то время и те обстоятельства, которые формировали характер Лермонтовского современника. Окружающая действительность, полностью исключавшая какие бы то ни было проявления общественной активности, приводила к самоуглублению личности, развитию ее самосознания. Люди, духовно и интеллектуально близкие Лермонтову, жили бурной, интенсивной внутренней жизнью, но огромные внутренние силы не могли должным образом реализоваться в их внешней жизни, лишенной цели. Эту трагедию своего поколения Лермонтов и запечатлел в Печорине.

В литературе, по словам Белинского, решался «важный современный вопрос о внутреннем человеке», [244] велись интенсивные поиски новых жанрово-стилистических образований, оценивалось содержание старых форм, возможность их преобразования.

Литературная практика показала, что наиболее перспективный путь к роману – циклизация малых жанровых форм. Новое строилось на старом: использовалась характерная для русской прозы 1830-х гг. особенность –

разнообразные формы объединения в циклы очерков, рассказов, повестей, сцен («Вечер на Кавказских водах в 1824 г.» Бестужева-Марлинского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Повести Белкина» Пушкина, «Пестрые сказки» Одоевского и т. д.). Уже известные приемы объединения повестей, «механизм» сюжетосложения наполнялись новым функциональным содержанием, получали новые внутренние мотивировки.[245]

«Герой нашего времени», над которым Лермонтов работал в 1838–1839 гг. и где нашли выражение впечатления, полученные во время кавказских странствий летом и осенью 1837 г., был представлен читателю как «собрание... повестей» – так характеризовала будущий роман редакция «Отечественных записок», напечатавших до появления отдельного издания нового произведения молодого автора некоторые из составлявших его новелл – «Бэлу», «Фаталиста» и «Тамань».[246]

Каждая из повестей, посвященная какому-то отдельному эпизоду биографии героя (особенно значительному для создания его портрета), написана в определенном отноше-

нии к той или иной жанрово-стилистической традиции. В ряде случаев Лермонтов как бы дает свою вариацию на заданную тему, накладывает свой оригинальный рисунок на четко прочерченные линии знакомой жанрово-сюжетной схемы.

«Бэла», например, – особым образом интерпретированный сюжет о любви героя, воспитанного цивилизацией, к девушке-черкешенке, выросшей среди «детей природы» и живущей по законам своей среды. Лермонтова в данном случае вовсе не интересует этнографический элемент; изображение любовной истории героя важно лишь как объективный материал для его объективной характеристики. Такая необычная направленность в разработке распространенной сюжетной схемы обусловила и обращение к особым стилистическим приемам, резко отличным от шаблонных красот романтических описаний. Их замещают лаконичная простота рассказа, аналитическая точность в изображении чувства.

Примечательно, что в «Бэле» драматическая новелла вставлена в рамку путевого

очерка, который, утратив жанровую независимость, начинает играть сюжетообразующую роль. То же функциональное преобразование путевого очерка в «Максими Максимыче», где его значение сводится к тому, чтобы ввести в повествование персонаж, чрезвычайно важный в контексте романа в целом.

«Княжна Мери», «Тамань» и «Фаталист» – повести, составляющие «Журнал Печорина», – также внешне ориентированы на романтическую традицию; при этом очевидна их полемическая направленность по отношению к ней. Излюбленные романтические штампы становятся объектом авторской иронии. По этому принципу, например, создан образ Грушницкого в «Княжне Мери». «Тамань», по выражению В. В. Виноградова, – «реалистическая перелицовка» распространенной романтической сюжетной ситуации.

Структурные элементы светской повести («Княжна Мери»), авантюрной новеллы («Тамань»), романтической новеллы на тему судьбы, рока («Фаталист») трансформируются; теперь все они выступают в единой роли – становятся тем материалом, которым опери-

рует автор, рисуя психологический портрет своего героя.

Разнообразные острые ситуации – от светской интриги до едва не закончившейся гибелью героя встречи его с «честными контрабандистами» – ставят Печорина перед необходимостью решения серьезных нравственно-психологических проблем; важнейшая из них, в известной мере подводящая итог исканиям героя, мысль которого постоянно томит беспокойство, – проблема судьбы, предопределения. Действовать или подчиняться? Отвечая на этот главный вопрос, Печорин утверждает право личности на внутреннюю свободу: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера – напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает» (наст. том, с. 313).

В «Журнале Печорина» характеристика героя строится в основном на его собственных признаниях, на его исповеди – это свидетельство близости «Журнала Печорина» французскому роману-исповеди (Б. Констан, А. де Мюссе). В центре «Журнала Печорина», таким

образом, – история «внутреннего человека», история его интеллектуальной и душевной жизни.

Художественный психологизм, определяющий повествовательный стиль «Журнала Печорина», формировался не только под влиянием французской прозы 1830-х годов; весьма значительным оказалось воздействие традиции автобиографической, дневниковой прозы, в первую очередь хорошо знакомых Лермонтову дневников Байрона с их особым отвлеченно философским языком, афористичностью и эпиграмматичностью стиля, своеобразным сочетанием субъективно-лирической и объективно-иронической повествовательных стихий.[247]

В раннем творчестве самого Лермонтова есть несколько набросков, которые могут служить примером автобиографической прозы; один из них, написанный под впечатлением чтения записок Байрона («Еще сходство в жизни моей...»), вошел (с изменениями) в «Журнал Печорина» («Княжна Мери», наст. том, с. 283).

Тщательный, детальный анализ чувства,

душевных движений, эмоциональных состояний, представленных в виде сменяющих друг друга мыслей, ощущений, явился художественным завоеванием лермонтовской прозы.

Открытие Лермонтова определило важнейшее направление в развитии русской прозы, и прежде всего прозы Толстого, которому особенно близка была психологическая манера письма автора «Героя нашего времени»: «...Теперь уже проза Пушкина стара, – не словом, – но манерой изложения. Теперь справедливо – в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий».[248]

Для того чтобы решить эту основную проблему романа, Лермонтову было важно сочетание разных аспектов изображения. «Журнал Печорина», характеризующий героя изнутри, и «Бэла», и «Максим Максимыч», содержащие как бы внешний рисунок его образа, естественно дополняют друг друга, будучи подчинены единому художественному замыслу. Не менее важным был и вопрос расположения повестей, представляющих собой от-

дельные сюжетные части романа.

Повести сгруппированы вокруг главного героя особым образом. Лермонтов находит новый, отличный от уже известных, принцип сцепления сюжетных частей.

При том порядке расположения повестей, который был принят в романе, нарушался действительный, реальный ход событий, из которых складывалась картина жизни героя. Но Лермонтову и не нужно было последовательное изложение его биографии. Она дана в виде цепи жизненных эпизодов, хронологически не следующих друг за другом. Последовательность же новелл, составляющих роман, определяет глубоко продуманный автором путь читателя к герою. После внешнего, первоначального ознакомления, которое происходит с помощью стороннего наблюдателя, читатель, обращаясь к дневниковым записям героя, составляет свое мнение о нем уже на основании его собственного рассказа. Читатель постепенно как бы приближается к герою – от общего плана в «Бэле» и «Максиме Максимыче» к детальным описаниям «Журнала Печорина», от внешнего изображения

характера к изображению «внутреннего» человека. Белинский считал композицию «Героя нашего времени» оправданной психологическим содержанием романа, части которого «расположены сообразно с внутренней необходимостью».[249] «Несмотря на его (романа, – *Ред.*) эпизодическую отрывочность, его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор, – писал Белинский, – иначе вы прочтете две превосходные повести и несколько превосходных рассказов, но романа не будете знать».[250]

«Герой нашего времени» – высшее достижение лермонтовской прозы, шаг вперед не только по сравнению с его ранними опытами; по своему методу это принципиально новое произведение в контексте всей прозаической литературы его времени. Объективный, исключая прямой авторское участие характер подачи героя, осуществляемый, с одной стороны, с помощью сопутствующих ему персонажей, с другой – через его «самораскрытие» – вот отличительная особенность лермонтовского романа. В образе Печорина весьма заметны черты внутреннего облика

того, кто этот образ создал; между тем самопризнания Печорина – это ни в коей мере не самопризнания автора, решительно возражающего против отождествления его с изображаемым героем.

Представление о главном герое романа создается без авторского вмешательства, самим движением художественного текста – по этому пути объективного повествования в дальнейшем и развивалась русская реалистическая проза.

Отрывок «У графа В. был музыкальный вечер», известный под названием «Штосс», и очерк «Кавказец» – последние прозаические произведения Лермонтова, написанные в 1841 г. И то и другое произведение, глубоко отличные друг от друга по своей жанровой и поэтической природе, обнаруживают связь с определенными направлениями в развитии литературы самого конца 1830-х – начала 1840-х гг.

В «Кавказце» проявилось намечающееся в русской прозе этого времени тяготение к очерку, нравоописанию. Это типичный физиологический очерк, один из первых образ-

цов этого жанра, предвосхищающий физиологические зарисовки Даля, Панаева, Буткова, Григоровича. Здесь нет развернутого сюжета; внимание автора сосредоточено на деловом, почти научном описании некоего человеческого «вида»; это не отдельный индивидуализированный характер, но обобщенный социальный тип, порождение определенного общественного слоя, определенной общественной группы, категории. Появление «Кавказца» в творчестве Лермонтова вполне закономерно: его интерес к описаниям такого рода зафиксирован и в «Сашке», и в «Княгине Лиговской», и в «Тамбовской казначейше», и в «Герое нашего времени», содержащих немало элементов «физиологии».

«Штосс» – произведение незаконченное, и эта его незавершенность в значительной мере затрудняет окончательное определение его идейно-художественного смысла. Повесть, в которой легко найти известные соответствия с предшествующим творчеством Лермонтова как в идеологическом, так и в стилевом отношениих (лирика 1840–1841 гг., «Герой нашего времени»), создавалась на пересече-

нии многих литературных влияний. В ней соединились и черты светской повести, ориентированной на Пушкина, и романтической новеллы о художнике-безумце, заставляющей вспомнить имена Ирвинга и Гофмана, и «черного» романа о привидениях, и очерка с его «физиологическими» картинами петербургской окраины. Но это не был разнородный сплав чуждых друг другу стилистических элементов, как в «Княгине Лиговской». Все эти темы и мотивы, определенным образом преломившись в художественном сознании Лермонтова, становились структурными элементами произведения, предлагающего оригинальную трактовку проблемы фантастического в литературе: сама реальность, действительная жизнь включает в себе фантастику, а не наоборот. В своем решении проблемы Лермонтов противостоял В. Ф. Одоевскому, его рационалистическому мистицизму.[251]

Работа в области прозаических жанров, по-видимому, увлекала Лермонтова. В будущем он, судя по сохранившимся планам, предполагал окончить «Штосс». Известно о его замысле романтической трилогии – «трех

романов из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющих между собою связь и некоторое единство...»[252]

К сожалению, планам этим не суждено было сбыться. Но даже и то, что Лермонтов успел сделать, позволяет говорить о нем как об одном из создателей русской классической прозы.

Знакомство читателя с прозой Лермонтова произошло лишь после смерти поэта. При его жизни увидел свет только «Герой нашего времени». В середине 1840-х годов были опубликованы еще два прозаических произведения Лермонтова: «Штосс» (Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный графом В. А. Соллогубом. СПб., кн. 1, 1845) и «Ашик-Кериб» (там же, 1846, кн. II). Что же касается незавершенных романов «Вадим» и «Княгиня Лиговская», то они появились в печати спустя более чем четверть века после смерти их автора («Вестник Европы», 1873, № 10; «Русский вестник», 1882, № 1). Только в наше время был напечатан «Кавказец», обнаруженный в конце 20-х годов в копии с лермонтовского авто-

графа («Минувшие дни», 1928, № 4).

В настоящем томе собраны все произведения Лермонтова, написанные в прозе – как законченные, так и незавершенные. В Приложении к прозе публикуются ученическое сочинение Лермонтова «Панорама Москвы», планы, наброски неосуществленных произведений, автобиографические заметки. В разделе «Письма» помещены все известные в настоящее время письма Лермонтова. Как дополнение к этому разделу публикуются письма, приписываемые Лермонтову (их не было в предыдущем издании 1954–1957 гг.). Письма к Лермонтову составляют в томе самостоятельный сюжет, что подчеркивается особым расположением материала: примечания здесь идут непосредственно за соответствующими текстами писем.

Тексты печатаются по автографам, авторитетным копиям и первым публикациям.

Прямые ошибки и опечатки исправляются на основании сверки всех источников текста. Так, «Герой нашего времени» печатается по второму изданию романа 1841 г. с исправлением отдельных мест по автографу, авторизо-

ванной копии и первому изданию.

Письма печатаются по автографам; в тех случаях, когда автографы отсутствуют, – по первым публикациям. Письма к Лермонтову даны в ряде случаев по копиям, сделанным В. Х. Хохряковым.

Рукописи произведений и писем, публикуемых в настоящем томе, сосредоточены в архивохранилищах Ленинграда, Москвы, Тарту.

В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР находятся автографы «Вадима» и «Ашик-Кериба», рукописи публикуемых под заглавием «Планы, наброски, сюжеты» набросков будущих произведений, заметок автобиографического характера (рабочие тетради поэта).

Значительное число автографов хранится в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в составе коллекции под названием «Собрание рукописей Лермонтова» (альбом Лермонтова 1840–1841 гг., записная книжка, подаренная Лермонтову В. Ф. Одоевским, отдельные тетради). Это рукописные тексты «Максима Максимыча», «Княжны Мери», «Фа-

талиста», черновой автограф предисловия к «Герою нашего времени», рукопись «Княгини Лиговской», запись «У России нет прошедшего...», черновой набросок к «Штоссу» (краткая заметка и план неосуществленного окончания повести), несколько памятных записей в альбоме 1840–1844 г. и в книжке, подаренной Одоевским. Автограф «Штосса» находится в Государственном историческом музее (Москва), в так называемой тетради Чертковской библиотеки, содержащей рукописи, находившиеся у А. П. Шан-Гирея. В этой же тетради есть две записи сюжетов задуманных произведений.

Автографы лермонтовских писем хранятся в собраниях ИРЛИ, ГПБ, ГИМ, ЦГИА СССР, ЦГА-ЛИ, ГЛМ, в библиотеке Тартуского государственного университета. Ряд автографов находится за рубежом (Париж, коллекция С. Лифаря).

\* \* \*

Слова, зачеркнутые Лермонтовым, печатаются в квадратных скобках – []. Все редакторские дополнения и исправления текста заключены в угловые скобки – < >.

Слова, подчеркнутые Лермонтовым, печатаются курсивом.

В томе приняты следующие сокращения:

*ГИМ* – Государственный исторический музей (Москва).

*ГЛМ* – Государственный литературный музей (Москва).

*ГПБ* – Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

*ИРЛИ* – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).

*ЦГАЛИ* – Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

*ЦГИА СССР* – Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

\* \* \*

Редактор тома и автор статьи «Проза М. Ю. Лермонтова» – И. С. Чистова.

В подготовке текста и составлении примечаний участвовали: Б. М. Эйхенбаум (письма Лермонтова – переводы), Б. М. Эйхенбаум и Э. Э. Найдич («Герой нашего времени» – текст и примечания), Э. Э. Найдич («Я хочу расска-

зять вам»; «Панорама Москвы» – тексты и примечания; «Штосс» – примечания), Т. П. Голованова («Княгиня Лиговская» – текст и примечания), Л. Н. Назарова («Кавказец» – текст и примечания), И. С. Чистова («Вадим», «Ашик-Кериб» – тексты и примечания), Н. А. Хмелевская («Штосс», письма Лермонтова – тексты; «Планы, наброски, сюжеты», «Автобиографические заметки», письма к Лермонтову – тексты и примечания), В. А. Мануйлов и С. Б. Латышев (письма Лермонтова – примечания; письма, приписываемые Лермонтову, – тексты, переводы, примечания).

Указатель имен к т. 1–4 составила Н. А. Хмелевская; хронологическую канву жизни и творчества М. Ю. Лермонтова – В. А. Мануйлов и С. Б. Латышев.

### **<Вадим>**

Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы», 1873, № 10, с. 458–557, под редакторским заглавием «Юношеская повесть М. Ю. Лермонтова».

Название, данное роману Лермонтовым, неизвестно, так как начальный лист рукописи не сохранился.

Датируется 1833–1834 гг. на основании свидетельства Меринского, учившегося в это время вместе с Лермонтовым в юнкерской школе: «Раз, в откровенном разговоре со мной, – вспоминал Меринский, – он мне рассказал план романа, который задумал писать прозой, и три главы которого были тогда уже им написаны... Не помню хорошо всего сюжета, помню только, что какой-то нищий играл значительную роль в этом романе... Он не был окончен Лермонтовым...» (Воспоминания, с. 133).

Роман о пугачевском движении (1773–1775 гг.), охватившем в летние месяцы 1774 г. ряд волжских провинций, в том числе Пензенскую губернию и ряд северных уездов (Краснослободский, Керенский, Нижнеломовский), имел в своей основе материал устных преданий, легенд, воспоминаний старожилов. Многие Лермонтов почерпнул «из рассказов бабушки» – об этом он сам говорил Меринскому.

Среди пензенских помещиков, пострадавших от Пугачева, были родственники и знакомые Е. А. Арсеньевой – в том числе убитый

в Краснослободске капитан Данило Столыпин, подпоручик Василий Хотяинцев, сын которого Фома был крестным отцом Лермонтова, семьи Мартыновых, Мансыревых, Киреевых, Мещериновых, Мосоловых.

Ряд сцен (бегство в лес Палицына, спасавшегося от пугачевцев в пещерах, казнь его жены, расправа с «упрямыми господами села Красного») восходит к подлинным эпизодам, подлинным событиям «пугачевского года». История Вадима могла иметь в основе свидетельства очевидцев о том, что среди пугачевцев оказалось несколько пензенских дворян. Отставной подпоручик Николай Никитич Чевкин, например, примкнул к мятежникам, желая отомстить соседу, помещику Левашову (подробнее об этом см. в статье И. Андроникова «Исторические источники „Вадима“» в его кн.: Лермонтов. Исследования и находки, с. 100–123).

Место действия романа – Пензенский край, где Лермонтов вырос. Описывая поместье Палицына, расположенную недалеко от него деревню, где находился крутой и глубокий овраг, известный под названием «Черто-

во логовище», Лермонтов имел в виду местность, ему хорошо знакомую. Это окрестности Тархан, сел Нижние Поляны и Тархово, лесистый овраг Гремучий, лежащий к востоку от Тархова (см. об этом: С. А. Андреев-Кривич. Тарханская пора. Саратов, 1976, с. 143–163).

## **Княгиня Лиговская**

Незаконченный роман «Княгиня Лиговская» (ударение указано в рукописи) был впервые опубликован в 1882 г. в журнале «Русский вестник» (т. 157, № 1, с. 120–181). Треть рукописи романа – автограф Лермонтова, остальной текст записан его другом С. А. Раевским и родственником А. П. Шан-Гиреем (с авторскими поправками).

Роман был начат в 1836 г., когда Лермонтов жил в Петербурге вместе с С. А. Раевским, служащим Департамента государственных имуществ. У него Лермонтов мог почерпнуть сведения о быте и нравах чиновников, материал для характеристики Красинского. В письме к С. А. Раевскому от 8 июня 1838 г. Лермонтов говорит: «Роман, который мы с тобою начали, затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу,

переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины» (наст. том, с. 409). В материалах В. Х. Хохрякова, в 1850-х годах расспрашивавшего С. А. Раевского о совместной с Лермонтовым работе над романом, сохранилась запись: «Св<ятослав> Аф<анасьевич> говорит, что писал только под диктовку Лермонтова» (*М. Лермонтов*. Полн. собр. соч., т. 4. М., 1953, с. 456). В январе 1837 г. работа была прервана в связи с гибелью Пушкина и последовавшими за ней событиями в жизни Лермонтова. В феврале открылось дело «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым и о распространении оных губернским секретарем Раевским». Оба участника этого дела оказались в ссылке. Личные «обстоятельства» поэта, отразившиеся в романе, действительно круто переменились.

Автобиографическую основу имеют обе сюжетные линии романа: отношения Печорина с Лизой Негуровой и с княгиней Верой Лиговской. В первой линии повествования преломились обстоятельства «приключения», по собственному определению Лермонтова, с

Е. А. Сушковой (ср. письмо к А. М. Верещагиной, написанное весной 1835 г. – наст. том, № 18, с. 389; рассказ Е. А. Сушковой в кн.: *Е. А. Сушкова-Хвостова. Записки.* Л., 1928, с. 201–218; см. также статью А. Глассе «Лермонтов и Е. А. Сушкова» в кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы, с. 80 – 121). Во второй сюжетной линии нашло отзвучившее чувство Лермонтова к В. А. Лопухиной, в 1835 г. вышедшей замуж за Н. Ф. Бахметева (см.: Воспоминания, с. 36; а также письма поэта к М. А. Лопухиной и А. М. Верещагиной 1832–1835 гг.). Отношения Лермонтова с В. А. Лопухиной отразились в стихотворениях «Мы случайно сведены судьбою», «Она не гордой красотой», посвящении 1838 г. к поэме «Демон», послании «Я к вам пишу случайно; право» и др., а также в драме «Два брата», написанной незадолго до романа «Княгиня Лиговская», и в повести «Княжна Мери», где героиня выступает тоже под именем Веры Лиговской.

Роман «Княгиня Лиговская» объединил в себе традиционные черты «светской повести» 30-х годов и «физиологизма» произведений

зарождавшейся «натуральной школы». Продолжая социальную и психологическую проблематику «Маскарада» – тему нравственных пороков современного общества, тему сильной личности, роман «Княгиня Лиговская» сохранил и своеобразное сочетание сатирического и лирического начал повествования, но лирическое начало в новом произведении расширяется в своей функции. Роль главного героя как бы делится между аристократом Печориным и бедным чиновником Красинским. Возникает новая для Лермонтова тема уязвленной гордости униженного человека, активно влияющая на стилистический строй романа и предвосхищающая «Бедных людей» Достоевского.

Сохраняется и влияние Пушкина в ориентации на изображение современной русской жизни. Ориентация на Пушкина сказалась, в частности, на выборе имени Печорин, впервые появляющемся в «Княгине Лиговской» и закреплённом в «Герое нашего времени»: ассоциативно это имя связывалось с Онегиным – по названию северных русских рек. Поэтика «Княгини Лиговской» несёт в себе и яв-

ственный отпечаток влияния «Арабесок» Го-голя.

Собственно лермонтовский элемент в незаконченном романе представляет собой поиски путей проникновения в мир индивидуально-личностной и социально-групповой психологии. В этом и заключается основное значение романа, вплотную подводящего к художественным задачам «Героя нашего времени».

### **<<Я хочу рассказать вам>>**

Впервые опубликовано В. А. Соллогубом в литературном сборнике «Вчера и сегодня» (кн. I, 1845, с. 87–91) вместе с другим отрывком «У графа В... был музыкальный вечер» («Штосс») под общим заголовком: «Из бумаг покойника. Два отрывка из начатых повестей». Автограф неизвестен.

Традиционно датируется 1836 г. («замысел промежуточный между «Вадимом» и «Княгиней Лиговской», «Лит. насл.», т. 43–44, с. 444–445), хотя не исключено, что отрывок, так же как ряд других произведений, напечатанных В. А. Соллогубом в сборнике «Вчера и сегодня», относится к последним годам жиз-

ни Лермонтова.

Замысел Лермонтова рассказать историю светской женщины, которая «сошла со сцены большого света» и в тридцать лет «схоронила себя в деревне», по-видимому, возник не без влияния Бальзака. Необычайно популярные в эти годы «Физиология брака» и «Тридцатилетняя женщина» (об этом романе Лермонтов упоминает и в «Герое нашего времени») были посвящены положению женщины в светском обществе. Эта тема привлекала Лермонтова ранее в «Маскараде» (образ баронессы Штраль) и должна была стать центральной в данной повести.

В рассказе о детстве Арбенина содержится автобиографический элемент (описание барского дома, болезнь ребенка и др.). Имя Арбенина – Александр – совпадает с именем героя поэмы «Сашка»; описание детства Сашки в Симбирской деревне на берегу Волги близко тем страницам наброска, которые посвящены биографии Арбенина.

### **Ашик-Кериб**

Впервые опубликовано в сборнике «Вчера и сегодня» (кн. 2, 1846, с. 159–167).

Датируется 1837 г., временем пребывания Лермонтова в Закавказье, в Нижегородском драгунском полку, куда Лермонтов был переведен из гвардии за стихи на смерть Пушкина.

«Ашик-Кериб» (ашик – влюбленный, позднее – народный певец, музыкант: кериб – чужеземец, скиталец, бедняк) – запись азербайджанского дастана об Ашыг-Гарибе. Дастан с этим сюжетом весьма распространен у народов Средней Азии и Закавказья. Известны несколько грузинских вариантов сказания, армянская «Сказка об Ашуге Гарибе», туркменский дастан «Шасенем-Гарып», узбекский – «Ошик Гариб ва Шохсанам»; очень популярен дастан у турок.

Азербайджанский «Ашыг-Гариб» известен в 9 записях. Первая была сделана в XIX в. в селении Тирджан Шемахинского уезда учителем А. Махмудбековым со слов сказителя Оруджа.

Лермонтовская сказка ближе варианту дастана, записанному много позже – в 1944 г. в селении Ахмедли Лачинского района азербайджанским фольклористом Ахлиманом

Ахундовым со слов Мешеди-Дадаша Ахмедоглы. Во многом запись, сделанная Лермонтовым, совпадает и с грузинским вариантом 1930 г., записанным со слов Аслана Блиадзе в селении Талиси близ Ахалцыхе; однако эта грузинская запись, по-видимому, восходит к азербайджанским источникам, поскольку стихотворная часть сказания передается на азербайджанском языке.

Лермонтов назвал свою сказку турецкой. Между тем несомненно, что рассказал ее Лермонтову азербайджанец. В ее тексте присутствует множество разнообразных языковых элементов – в том числе арабские, армянские, иранские, но явно преобладают азербайджанские – азербайджанские черты в терминологии, формы азербайджанского диалекта, следы азербайджанского произношения.

Весьма существенно замечание азербайджанского фольклориста С. Якубовой о том, что в среде народов Закавказья азербайджанский язык назывался турецким. (см.: С. Якубова. Азербайджанское народное сказание об Ашыг-Гарибе. Баку, 1968).

Запись услышанной Лермонтовым сказки

не подверглась окончательной обработке. Отсюда и отсутствие единообразия в передаче местных слов и выражений: «хадерилияз» и «хадрилиаз», «Арзерум» и «Арзрум», «шинды гёрурсез» и «шинди гёрузез» и т. д.

## **Герой нашего времени**

Впервые отдельным изданием вышло в 1840 г.; в 1841 г. (при жизни Лермонтова) вышло второе издание. Неполный автограф – в ГПБ.

Лермонтов начал работу над «Героем нашего времени» в 1838 г., а закончил в 1839. «Бэла», «Фаталист» и «Тамань» были предварительно напечатаны в «Отечественных записках» как отрывки из «Записок офицера о Кавказе». К «Фаталисту» редакция журнала сделала следующее примечание: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей, – и напечатанных, и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе» (1839, № 11). В апреле 1840 г. эта книга вышла, но не как «собрание повестей», а как единое цельное «сочинение» (так

стояло на обложке).

Первоначальное его заглавие, сохранившееся на рукописи, было: «Один из героев начала века».[253] Это заглавие связано со знаменитым и только что вышедшим тогда (1836 г.) романом А. Мюссе «La confession d'un enfant du siècle» («Исповедь сына века», точнее, «одного из детей века»; «век» – синоним «эпохи»). В предисловии к роману Мюссе говорит, что общественно-исторические потрясения и разочарования восходят к революции 1789 г. и наполеоновской эпохе: «Все, что было, уже прошло. Все то, что будет, еще не наступило. Не ищите же в ином разгадки наших страданий» (А. де Мюссе. Исповедь сына века. Л., 1970, с. 30). В России к разочарованию, связанному с общеевропейскими событиями, прибавилась декабрьская катастрофа и последовавшая за ней полоса реакции.

Замысел романа о герое своего времени, «современном человеке», очевидно, возник у Лермонтова вскоре после встречи на Кавказе с декабристами, приехавшими туда в 1837 г. из сибирской ссылки. Первый биограф Лермонтова П. А. Висковатов на основании бесед

со многими знакомыми поэта писал: «Встреча с такими людьми, как Майер и друзья его декабристы, должна была вызвать сравнение прежнего поколения с тем, что окружало его теперь, представляя лучшее общество, и породить „Думу“...» (П. А. Висковатов. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, с. 267). Наиболее полным и развернутым ответом на вопрос о том, что представляет нынешнее поколение, явился «Герой нашего времени». Обратившись к этой теме, Лермонтов продолжил пушкинские традиции. В статье о лермонтовском романе Белинский заметил, что Печорин «это Онегин нашего времени», тем самым подчеркнув преемственность этих образов и их различие, обусловленное эпохой. Вслед за Пушкиным Лермонтов раскрыл противоречие между внутренними способностями своего героя и возможностью их реализации. Однако у Лермонтова это противоречие чрезвычайно обострено, поскольку Печорин личность необыкновенная, наделенная могучей волей, высоким умом, проницательностью, глубоким пониманием истинных ценностей.

По мысли Лермонтова ничтожность реализации огромных способностей Печорина свидетельствует о серьезном общественном неблагополучии.

Можно предположить, что Лермонтов был знаком с учением Фурье и в какой-то мере отразил его в романе, показав, как происходит искажение «страстей» под воздействием уродливых общественных форм.

«История души человеческой» превратилась в «Герое нашего времени» в общественно-политический роман.

Предисловие к «Герою нашего времени» было написано весной 1841 г. (когда Лермонтов в последний раз был в Петербурге) как ответ на критические статьи, появившиеся в журналах. Оно было напечатано во втором издании романа. Лермонтов отвечает здесь главным образом С. П. Шевыреву, который объявил Печорина явлением безнравственным и порочным, не существующим в русской жизни, а принадлежащим «миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада» (Москвитянин, 1841, ч. I, № 2, с. 537). Говоря о других критиках, кото-

рые «очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых», Лермонтов имел в виду главным образом С. Бурачка, напечатавшего статью о «Герое нашего времени» в своем журнале «Маяк» (1840, т. IV, с. 210–219). Если принять во внимание мнение Николая I (оно, по всей вероятности, было известно Лермонтову), назвавшего роман Лермонтова жалкой книгой, показывающей большую испорченность автора (см.: Э. Г. Герштейн. Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 101–102), то смысл предисловия становится еще более значительным.

## **I. Бэла**

Художественное своеобразие «Бэлы» состоит в искусном сочетании путевого очерка с новеллой. Сюжетное и жанровое значение этого сочетания подчеркнуто самим автором в том месте, где он обращается к читателю с вопросом: «Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы?» – и отвечает: «Я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле». Таким образом, ис-

тория Бэлы оказалась частью путевого очерка – наряду с описанием подъема на Койшаурскую гору, ночевки в сакле, переезда через Гуд-гору и новой остановки в сакле.

Повесть впервые была опубликована с подзаголовком «Из записок офицера о Кавказе», который свидетельствовал о ее принадлежности к массовой романтической «кавказской литературе» очень популярной в 1830-е гг. Однако эта близость была чисто внешней. Особенности стиля повести говорят о том, что образцом для Лермонтова было «Путешествие в Арзрум» Пушкина, написанное вопреки традиции живописно-риторических описаний – см.: *Б. М. Эйхенбаум. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».* – В кн.: *М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени.* М., 1962, с. 148–149 (сер. «Литературные памятники»).

## **II. Максим Максимыч**

Этот рассказ служит своего рода продолжением тех слов, которыми заканчивается «Бэла»: «Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?..» Здесь Максим Максимыч – уже не рассказчик, а действующее лицо, показанное в новом и

неожиданном свете: «добрый Максим Максимыч», каким он кажется в «Бэле», превращается здесь в «упрямого, сварливого штабс-капитана». Автор с грустным сочувствием отмечает эту перемену, объясняя ее потерей лучших надежд и мечтаний; «старые заблуждения» ему уже не заменить новыми: «Поневоле сердце очерствеет и душа закроется».

В рукописи рассказ «Максим Максимыч» кончался особым абзацем, где автор сообщал: «Я пересмотрел записки Печорина и заметил по некоторым местам, что он готовил их к печати, без чего, конечно, я не решился бы употребить во зло доверенность штабс-капитана». В самом деле, Печорин в некоторых местах обращается к читателям. В печатном тексте этот абзац отсутствует, а в предисловии к «Журналу Печорина» Лермонтов, наоборот, отмечает, что записки Печорина писаны «без тщеславного желания возбудить участие или удивление» и не предназначалась для посторонних.

## **Журнал Печорина**

### **I. Тамань**

«Тамань» выделяется среди других новелл,

составляющих «Героя нашего времени», острой напряженностью сюжета и особой личностью повествования.

Вопрос о времени написания «Тамани» в научной литературе окончательно не решен. В новейшее время было предложено датировать «Тамань» ноябрем – декабрем 1839 г. (*Э. Г. Герштейн. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1976*). Более вероятно, что «Тамань» была создана раньше других новелл, входящих в «Героя нашего времени», и возможно еще до возникновения замысла романа (См.: *Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. М. – Л., 1961, с. 243–248; Б. Т. Удодов. М. Ю. Лермонтов. Воронеж, 1973, с. 484–490*).

В мемуарной литературе есть указания на то, что описанное в «Тамани» происшествие случилось с самим Лермонтовым во время его пребывания в Тамани у казачки Царицыхи, в 1837 г. В 1838 г. товарищ Лермонтова М. И. Цейдлер, командированный на Кавказ, останавливался в Тамани и жил в том самом домике, где до него жил Лермонтов. В своем очерке «На Кавказе в тридцатых годах» Цейдлер описывает тех самых лиц, которые изоб-

ражены в «Тамани», и поясняет: «...Мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне же помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь» (Воспоминания, с. 209).

Чехов считал этот рассказ образцом прозы: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, – по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать» (Русская мысль, 1911, кн. 10, с. 46). В письме к Я. П. Полонскому Чехов утверждал, что русские стихотворцы прекрасно справляются с прозой, и приводил примеры: «...лермонтовская „Тамань“ и пушкинская „Капитанская дочка“, не говоря уж о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30 тт. Письма, т. 2, М., 1975, с. 177).

## II. Княжна Мери

«Княжна Мери» – центральная часть записок Печорина. Здесь завершены те опыты психологического анализа, которые были начаты Лермонтовым в романе «Княгиня Лиговская» и в драме «Два брата». В «Княжне Мери» наиболее широко представлена картина современной Печорину жизни, быт и нравы окружающей его среды, посетителей Кавказских минеральных вод – «водяного общества». Некоторые из современников поэта (Э. А. Шан-Гирей, И. П. Забелла) полагали, что в лице Грушницкого Лермонтов вывел Н. П. Колюбакина, сосланного на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк. Приятель А. А. Бестужева-Марлинского, Колюбакин вел себя «несколько в духе его героев». Называли и другого прототипа Грушницкого – Н. С. Мартынова. В Вере Лиговской отразились черты В. А. Лопухиной-Бахметевой (см. примечания к «Княгине Лиговской», наст. том, с. 452). В княжне Мери одни видели Н. С. Мартынову, сестру убийцы Лермонтова, другие – Э. А. Клингенберг, впоследствии вышедшую замуж за А. П. Шан-Гирея (сама

Э. А. Шан-Гирей решительно опровергала эту версию).

Наиболее вероятно, однако, что каждое действующее лицо романа представляет собой образ собирательный, а не просто «списанный с натуры».

Из рукописи «Княжны Мери» видно, что Лермонтов хотел было приоткрыть завесу над прошлым Печорина и объяснить его появление на Кавказе: «Но я теперь уверен, – говорит Печорин о княгине Лиговской, – что при первом случае она спросит, кто я и почему я здесь на Кавказе. Ей, вероятно, расскажут страшную историю дуэли, и особенно ее причину, которая здесь некоторым известна, и тогда... вот у меня будет удивительное средство бесить Грушницкого!» Однако все это вычеркнуто, и читатель оставлен в неведении относительно прошлой жизни Печорина. По-видимому, биография Печорина сознательно исключалась из повествования; внимание автора было сосредоточено на изображении внутренней жизни героя.

### **III. Фаталист**

«Фаталист» – заключительное звено в си-

стеме повестей, составляющих «Героя нашего времени». Здесь подводятся известный итог «Журналу Печорина» и даже роману в целом. Для понимания повести необходимо учесть, что под словом «фатализм» Лермонтов подразумевал не только фаталистическое умонастроение вообще, но и распространенную в это время (и осужденную в «Думе») позицию пассивного примирения с действительностью. В «Фаталисте» теоретический вопрос о роли судьбы не решается. Проблема рассматривается скорее в психологическом плане. Вывод оказывается неожиданным с точки зрения отвлеченных размышлений, но психологически он оправдан: если согласиться с существованием предопределения, то тем более следует стать на позицию активного отношения к жизни.

Фамилия офицера в рукописи рассказа читается «Вуич» – вначале Лермонтов дал своему герою фамилию Ивана Васильевича Вуича (1813–1884), поручика лейб-гвардии Конного полка.

Заслуживает внимания предположение И. М. Болдакова о том, что тему для «Фатали-

ста» Лермонтов нашел в мемуарах Байрона, где описан следующий случай, происшедший со школьным товарищем английского поэта: «...накануне, взяв пистолет, и не справляясь, был ли он заряжен, он приставил его себе ко лбу и спустил курок, предоставив случаю решить, последует выстрел или нет» (см.: *М. Ю. Лермонтов. Сочинения*, т. I. М., 1891, с. 442–443).

## **Кавказец**

Впервые опубликовано Н. О. Лернером в альманахе «Минувшие дни» (1928, № 4) по копии (ГПБ), на которой имеется помета владельца и переписчика Н. А. Долгорукого: «Список с статьи собственноручной покойного М. Лермонтова, предназначенный им для напечатания в „Наших“ и не пропущенный цензурою».

В первом выпуске известного альманаха А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» (цензурное разрешение от 10 октября 1841 г.), задуманного по образцу французского очеркового альманаха «Les français peints par eux mêmes» («Французы в их собственном изображении»), были названы

очерки, подготовленные для следующей книжки. Среди них был указан и «Кавказец» (без имени автора). Однако этот второй выпуск в свет не вышел.

«Отечественные записки» писали о «Наших»: «Самое название это показывает уже, что вся книга будет состоять из статей оригинальных русских, ибо предметом их будут русские нравы, русские физиономии, русские характеры. – К изданию уже приступлено: заказаны рисунки и вся первая часть книги просмотрена цензурою». Далее указывалось, что в этой части будут статьи А. П. Башуцкого, Е. П. Гребенки, М. А. Корфа, М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Одоевского, И. И. Панаева, В. А. Соллогуба и др. (Отечественные записки, 1841, т. XV, № 4, отд. VI, с. 69–70).

Сравнительно недавно обнаружено, что на обертке VI выпуска «Наших» (экземпляр ГПБ), где напечатано начало очерка «Армейский офицер» князя Львова, имеется следующее объявление: «Приготовляются к изданию: „Уральский казак, В. Даля; – Гробовой мастер, А. Башуцкого; – Кавказец, покойного Лермонтова; <...> и многие другие, сверх поименован-

ных в объявлении, приложенном к первому выпуску“» (см.: Б. Т. Удодов. М. Ю. Лермонтов. Воронеж, 1973, с. 619).

Герой очерка – по определению Лермонтова, *настоящий* кавказец. Это типический образ кавказского армейского офицера, каких Лермонтов много раз встречал в Дагестане и Чечне. Одним из прообразов его был, возможно, П. П. Шан-Гирей – родственник и собеседник Лермонтова, участник ермоловских походов и кавказской войны, хорошо знавший быт и нравы кавказских горцев (см.: П. Вырыпаев. Один из возможных прототипов «Кавказца». – Русская литература, 1964, № 3, с. 57–59).

В литературном отношении герой «Кавказца», с одной стороны, близок лирическому герою стих. «Завещание» и «Я к вам пишу случайно; право»; с другой – это дальнейшее развитие образа Максима Максимыча из «Героя нашего времени». Ему в такой же степени приданы лучшие черты скромных тружеников войны – кавказских армейских офицеров; вместе с тем он более ординарен, более типичен для кавказской армейской среды.

О настоящем кавказце сказано гораздо больше, чем о Максиме Максимыче: он учился в кадетском корпусе, затем попал на Кавказ; изображены и первые дни его пребывания там, и зрелый период, затем отставка. В этом, в частности, проявляется различие в художественной функции каждого из образов: настоящий кавказец – центральная фигура очерка, написанного исключительно с целью создания его социально-типологического портрета; Максим Максимыч же – персонаж, с помощью которого раскрывается образ главного героя романа.

Герой лермонтовского очерка, неизвестного Л. Н. Толстому, предвосхитил появление его героев – капитана Хлопова из «Набега» и отчасти капитана Тросенко из «Рубки леса» (см.: *Б. С. Виноградов. «Кавказец» М. Ю. Лермонтова.* – В кн.: Вопросы чечено-ингушской литературы, т. V. Вып. 3. Литературоведение. Грозный, 1968, с. 65).

Несмотря на то, что автор ставил своей задачей рассказать о том, какие вообще бывают кавказцы, он по существу посвящает свой очерк «кавказцу настоящему» – тому, которо-

го можно найти «на линии». Другие модификации этого типа он называет (грузинский кавказец, статский кавказец), но не описывает детально; они малоинтересны и по большей части представляют собой просто «неловкое подражание».

### **<ШТОСС>**

Впервые опубликовано в литературном сборнике «Вчера и сегодня», кн. I, 1845. Текст автографа обрывается на словах: «...У Лугина болезненно сжималось сердце – отчаянием»; дальнейший текст, в рукописи отсутствующий, воспроизводится по сборнику.

В альбоме М. Ю. Лермонтова 1840–1841 гг. имеется черновой набросок плана повести: «Сюжет. У дамы: лица желтые. Адрес. Дом: старик с дочерью, предлагает ему метать. Дочь: в отчаянии, когда старик выигрывает. – Шулер: старик проиграл дочь. Чтобы <?> Доктор: окошко». В записной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским, находится заметка, сделанная поэтом после отъезда из Петербурга и, таким образом, свидетельствующая о том, что он намеревался продолжить работу над повестью: «Да кто же ты, ради бо-

га? – Что-с? Отвечал старичок, примаргивая одним глазом. – Штос! – повторил в ужасе Лугин. Шулер имеет разум в пальцах. – Банк – Скоропостижная».

Судя по приведенным наброскам плана, Лугин, чтобы выиграть, должен был в конце повести обратиться к шулеру. Повесть должна была окончиться катастрофой в первом наброске плана: «Доктор: окошко», во втором – скоропостижной смертью Лугина («Банк – Скоропостижная»).

Датируется серединой марта – началом апреля 1841 г. (см.: *В. Э. Вацуро*. Последняя повесть Лермонтова. – В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы, с. 234–235).

Приятельница М. Ю. Лермонтова поэтесса Е. П. Ростопчина сообщает в своих воспоминаниях: «Однажды он <Лермонтов> объявил, что прочитает нам новый роман под заглавием „Штос“, причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были закрыты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом

около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне: написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен» (Воспоминания, с. 285).

Сообщение Е. П. Ростопчиной о том, что первое чтение повести было своеобразной шуткой, литературной мистификацией, заслуживает внимания.

В числе «тридцати избранных», очевидно, присутствовали В. А. Жуковский и В. Ф. Одоевский.

В дневнике А. И. Тургенева имеется запись (от 14 января 1840 г.) о том, что в салоне Карамзиных В. Ф. Одоевский в присутствии Лермонтова, Жуковского, Вяземского «читал свою мистическую повесть» (по-видимому, «Космораму», – Э. Н.), после чего развернулись прения о «высших началах психологии и ре-

лигии» (Лит. насл., т. 45–46. М., 1948, с. 399).

Через год Лермонтов прочел свою повесть в фантастическом роде, содержащую полемику с направлением творчества В. А. Жуковского и В. Ф. Одоевского.

Фантастическую любовь художника к воздушному идеалу Лермонтов называет любовью самой невинной и самой вредной для человека с воображением. В описании женской головки, олицетворяющей этот идеал, Лермонтов нарочито применяет романтическую лексику и, в частности, употребляет эпитеты и образы, характерные для поэзии В. А. Жуковского.

Лермонтов не принимал и стоящую на грани мистической философии фантастику В. Ф. Одоевского. Ближе всего он был к Бальзаку с его «Шагреновой кожей» и философскими повестями.

Для стилевой тенденции повести, не чуждой элемента мистификации, очень важен ключевой каламбур: штосс – карточная игра, фамилия владельца таинственной квартиры, вопрос, обращенный к Лугину (что-с?).

Существует мнение, что в лице Минской

Лермонтов запечатлел черты А. О. Смирновой, приятельницы Пушкина, Гоголя и Жуковского (*Н. Александров. А. О. Смирнова. Об ее жизни и характере.* – В кн.: Историко-литературный сборник, посвященный В. И. Срезневскому. Л., 1924, с. 314).

## Приложения

### Панорама Москвы

**В**первые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, т. 5. 1891, с. 435–438.

«Панорама Москвы» – сочинение, написанное Лермонтовым в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в 1834 г. На рукописи имеется помета, сделанная преподавателем русской словесности В. Т. Плаксиным.

В ученической тетради Лермонтова, озаглавленной «Лекции из военного слова», имеется конспект лекций по теории словесности В. Т. Плаксина, где большое внимание обращено на «описательные сочинения» и детально разработаны приемы и планы «прозаических описаний». Выполняя практическое за-

дание по плану, рекомендованному преподавателем, Лермонтов создает небольшое произведение, связанное с его творчеством и затрагивающее некоторые вопросы, имеющие злободневный смысл. Как раз в эти годы велись горячие споры о Петербурге и Москве; апофеоз Москвы в лермонтовском сочинении – отражение этих споров.

Слова «Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! У нее есть своя душа, своя жизнь» звучат как прямое возражение против официозной точки зрения; ср. рассуждение дипломата в романе «Княгиня Лиговская» (1836): «Всякий русский должен любить Петербург... Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь <в Петербурге> жизнь, здесь наши надежды...» (с. 145). Сопоставление Петербурга и Москвы дано Лермонтовым также в поэме «Сашка». «Панорама Москвы» как бы подготовила замечательные патриотические строфы созданной вскоре поэмы, страстное объяснение в любви к Москве, строки о Кремле и победе над Наполеоном.

Подробное описание архитектурных памятников и общий замысел панорамы связаны и с интересом к вопросам архитектуры. В 1834 г. Гоголь пишет статью «Об архитектуре нынешнего времени», вошедшую затем в «Арабески». Усилению интереса к архитектуре значительно способствовал выход в свет знаменитого романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), о котором «весь читающий по-французски Петербург начал кричать <как> о новом гениальном произведении Гюго» (И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1950, с. 32). Приемы описаний архитектурных памятников в романе Гюго, видимо, произвели большое впечатление на Лермонтова. Подобно Гюго Лермонтов противопоставляет средневековую архитектуру новой, европейской. Сама идея дать описание Москвы с наивысшей точки – колокольня Ивана Великого в Кремле – возможно, навеяна главой «Париж с птичьего полета» из романа Гюго. Особенно подробно дано описание церкви Василия Блаженного, которое завершается сравнением ее «мрачной наружности» с обликом Ивана Грозного. Это внимание

к эпохе и личности Грозного не случайно. Вскоре оно скажется в поэме «Боярин Орша» и в «Песне про царя Ивана Васильевича...».

## **Планы, наброски, сюжеты**

Из помещенных в данном томе 25 записей полностью или частично нашли свое воплощение в творчестве писателя только пять.

Значительная часть записей относится к драматургии. Из них мы узнаем, что, кроме известных пяти драматических произведений («Испанцы», «Menschen und Leidenschaften», «Станный человек», «Маскарад», «Два брата»), Лермонтов предполагал создать еще по крайней мере шесть пьес, для которых записал сюжеты и составил планы. К ним относятся сюжеты трагедий «Отец с дочерью» (с. 340), «В Америке» (с. 340), «Молодой человек в России» (с. 341), «Имя героя Мстислав» и «Молодежь, разговаривают» (с. 345), план трагедии «Марий» (с. 342) и замысел трагедии «Нерон» (с. 345). К драматургии также имеют отношение заметки: «Прежде от матерей и отцов» (с. 341) и «Метод: прибавить к „Странному человеку“» (с. 342). Сохранились еще шесть набросков, связанных с трагеди-

ей «Испанцы» (см. настоящее издание, т. 3, с. 586). Возможно, что еще существовал план драмы «Menschen und Leidenschaften», о котором упомянуто в жандармской описи бумаг Лермонтова, составленной при его аресте в феврале 1837 г. по делу о стихотворении «Смерть Поэта».

Следующая часть записей относится к стихотворениям и поэмам Лермонтова. К ним принадлежат заметки: «Эпитафия плодови- того писаки» (с. 341), «В следующей сатире» (с. 341) – замысел, осуществленный в стихотворении «Булевар»; «Написать записки молодого монаха» (с. 341) – также осуществлено в поэмах «Исповедь» и «Мцыри»; «Написать шутивную поэму» (с. 341) – возможно, что данный замысел имеет отношение к плану, написанному и потом вычеркнутому Лермонтовым, – «При дворе князя Владимира» (с. 342); «Метод: написать длинную сатирическую поэму» (с. 344) – быть может, заметка связана с поэмой «Сказка для детей»; «Демон. Сюжет» (с. 348). План поэмы «Ангел смерти» (с. 344) осуществлен в одноименной поэме.

Упомянутые записи датируются

1830–1832 гг. по положению их в тетрадях между стихотворениями этих годов.

К замыслам в области прозы относятся намерение Лермонтова перевести в прозе стихотворение Байрона «Сон» (с. 341); возможно, запись 1832 г. «Монах впоследствии сидит у окна» и три записи 1837–1841 гг.: «Александр: у него любовница» (с. 348), «Я в Тифлисе» (с. 350) и «У России нет прошедшего» (с. 350).

Три заметки – «Программа» (с. 347), «Племя на Кавказе» (с. 348) и «Он угрожает ей гибелью отца» (с. 348) – не могут быть точно отнесены к какому-либо жанру. Они датируются 1832 г., и, по-видимому, являются набросками к задуманным Лермонтовым поэмам или драмам.

Автографы заметок 1 – 22 – в ИРЛИ; 23–24 – в ГИМ; 25 – в ГПБ.

## **<1.> Сюжет трагедии**

Впервые опубликовано в издании П. А. Ефремова: Юношеские драмы М. Ю. Лермонтова, 1880, с. 315.

Датируется 1830 г.

Замысел трагедии – по отдельным мотивам близкий к сюжету «Испанцев» (похище-

ние героини, предательство родных, убийство возлюбленной и др.).

## **<2.> Сюжет трагедии**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 249.

Датируется 1830 г.

Замысел трагедии по мотивам повести Шатобриана «Аталá, или Любовь двух дикарей...» («Atala, ou les Amours des deux sauvages...», 1801). Не исключено, что эта запись связана с не дошедшей до нас поэмой «Индианка».

## **<3.> «Прежде от матерей и отцов»**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 2, 1873, с. 499.

Датируется 1830 г.

Заметка к неосуществленному замыслу трагедии, посвященной теме крепостного крестьянства.

## **<4.> Сюжет трагедии (с. 341)**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 249.

Датируется 1830 г.

Замысел трагедии, где впервые в творче-

стве Лермонтова появляется новый герой – разночинец.

### **<5.> Эпитафия плодовитого писаки**

Впервые опубликовано в «Русской мысли», 1882, кн. 2, с. 172.

Датируется 1830 г.

Неосуществленный замысел эпиграммы.

### **<6.> «В следующей сатире всех разругать»**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 2, 1873, с. 497.

Датируется 1830 г.

Замысел, осуществленный в стихотворении «Булевар» (см. наст. изд., т. 1, с. 133).

### **<7.> «Написать записки молодого монаха»**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 258.

Датируется 1831 г.

Набросок плана, до некоторой степени осуществленного в поэмах «Исповедь» и «Мцыри» (см. наст. изд., т. 2, с. 123 и 405).

### **<8.> «Написать шутивную поэму»**

Впервые опубликовано в «Отечественных

записках», 1859, № 11, с. 258.

Датируется 1831 г.

Возможно, что замысел имеет отношение к заметке 12-й (см. с. 342), где рассказывается о приключениях витязя.

### **<9.> «Метод: перевести в прозе»**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 258.

Датируется 1831 г.

Речь идет о неизвестном или неосуществленном переводе на русский язык стихотворения Байрона «The Dream» («Сон»). Отрывок из этого стихотворения был Лермонтовым взят в качестве эпиграфа к драме «Странный человек» (см. наст. изд., т. 3, с. 194). В тексте драмы также есть упоминание о «The Dream» Байрона (см. там же, с. 214).

### **<10.> «Метод: написать трагедию: Марий, из Плутарха»**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 258.

Датируется 1831 г.

План трагедии из римской истории, написанный на основе жизнеописаний Плутарха, многократно издававшихся на разных язы-

ках. В русском переводе в 1818 г. вышло издание: «Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей. Перевел с греческого Спиридон Дестунис» (СПб., 1818). Описанные Лермонтовым события заключены в ч. VI этого издания. Очевидно, Лермонтов пользовался русским переводом, так как в его плане, как и в переводе Дестуниса, римский диктатор Луциний Корнелий Феликс Сулла (138 – 78 гг. до н. э.) назван Силлой. Героем трагедии, по имени которого она должна была называться, Лермонтов предполагал сделать римского консула Гая Мария (154 – 85 гг. до н. э.). В плане присутствуют и другие исторические лица – римский консул Люций Корнелий Цинна и ритор Антоний, о котором в книге Плутарха сказано: «Он был дед триумвира Марка Антония. Цицерон, который слышал его, удивлялся его красноречию» («Плутарховы сравнительные жизнеописания», с. 229).

Замысел Лермонтова возник под впечатлением чтения Шекспира. Об этом можно судить по плану 5-го действия, где к сыну Мария, так же как в трагедии Шекспира «Гамлет», должна явиться тень отца. Возможно,

что Лермонтову было известно о том, что жизнеописания Плутарха послужили Шекспиру источником некоторых его исторических трагедий.

В одном из писем к М. А. Шан-Гирей (февраль 1830 г.) Лермонтов восторженно отзывается о Шекспире, в особенности о «Гамлете» (см. с. 360).

### **<11.> «Метод: прибавить к „Странному человеку“»**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова под ред. С. С. Дудышкина, в двух томах, т. 1, 1862, с. 664.

Датируется 1831 г.

Замысел остался неосуществленным; сцена, в которой говорится о детстве Арбенина – героя драмы «Станный человек», по-видимому, не была написана.

### **<12.> «При дворе князя Владимира»**

Впервые опубликовано в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова под ред. Арс. И. Введенского, в четырех томах, т. 4, 1891, с. 292–294.

Датируется 1831 г.

Подробный план фантастической сказки

или поэмы. Возможно, что о подобном замысле Лермонтов писал в заметке 8-й, но там он предполагал написать «шутливую поэму» о приключениях богатыря. Данный план написан скорее в трагическом тоне и был Лермонтовым отвергнут – весь текст плана зачеркнут.

### **<13.> «Написать поэму „Ангел смерти“»**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 258.

Датируется 1831 г., но раньше сентября, когда была написана поэма «Ангел смерти» (см. наст. изд., т. 2, с. 109).

### **<14.> «Метод: написать длинную сатирическую поэму»**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 2, 1873, с. 508.

Датируется 1831 г.

Возможно, что замысел имеет отношение к поэме «Сказка для детей» (см. наст. изд., т. 2, с. 425).

### **<15.> («Écrire une tragédie»)**

Впервые опубликовано в издании: Сочине-

ния Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 2, 1873, с. 500.

Датируется 1831 г.

Неосуществленный замысел исторической трагедии из римской жизни. Теме древнего Рима посвящены также стихотворения «Умирающий гладиатор» (1836) и «Это случилось в последние годы могучего Рима» (б. д.) – см. наст. изд., т. 1, с. 363 и 508.

### <16.> «Имя героя Мстислав»

Впервые опубликовано в «Русской мысли», 1881, кн. 12, с. 19–20.

Датируется 1831 г.

Набросок связан с записью 17-й, в которой та же тема представлена в подробном плане задуманной, но не осуществленной Лермонтовым исторической драмы. Действие драмы могло относиться к 1238 г. – времени взятия татарами города Владимира.

Высказывалось также предположение, что Лермонтов имел в виду битву на реке Калке. Вероятнее всего, что замысел Лермонтова не был связан с конкретными событиями и историческими лицами.

Запись Лермонтова во многом близка к

тексту «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, например слова «Мстислав три ночи молится на кургане, чтоб не погибло любезное имя Россия» могли возникнуть после чтения следующего места из «Истории»: «...знаменитые россияне простились с миром, с жизнью, но, стоя на праге смерти, еще молили небо о спасении России, да не погибнет навеки ее любезное имя и слава!» (т. III, изд. 2-е, СПб., 1818, с. 283); эта же тема – в стихотворении «Отрывок» (см. наст. изд., т. 1, с. 228). Фраза «Юный князь Василий утонул в крови во время битвы» близка к словам из «Истории»: «Юный князь Василий пропал без вести: говорили, что он утонул в крови» (т. III, с. 288).

## **<17.> Сюжет**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 7, с. 51–53.

Датируется 1832 г.

План исторической драмы, в которой, по видимому, намечалось 5 актов (10 сцен). Сохранение плана связано с предыдущим наброском (16-м).

Некоторые мотивы «Сюжета» обнаружива-

ются в романе «Вадим», где также возникает конфликт между братом и сестрой (в том и другом случае ее зовут Ольгой), которая любит врага своего брата и уходит к нему.

### **<18.> Программа**

Впервые опубликовано в «Русской мысли», 1881, кн. 12, с. 24.

Датируется 1832 г.

План неосуществленного произведения.

### **<19.> Племя на Кавказе**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 7, с. 53.

Датируется 1832 г.

Замысел неосуществленного произведения.

### **<20.> «Монах впоследствии сидит у окна»**

Впервые опубликовано в «Русской мысли», 1881, кн. 12, с. 24.

Датируется 1832 г.

Отвергнутый (зачеркнутый) Лермонтовым план неосуществленного произведения.

### **<21.> «Он угрожает ей гибелью отца»**

Впервые опубликовано в издании П. А. Ефремова. «Юношеские драмы М. Ю. Лермонто-

ва», 1880, с. 316.

Датируется 1832 г.

План неосуществленного произведения.

## **<22.> Демон. Сюжет**

Впервые опубликовано в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова под ред. Арс. И. Введенского, в четырех томах, т. 4, 1891, с. 292.

Датируется 1832 г.

Замысел остался неосуществленным. Ни одна из редакций «Демона» не имеет данного сюжета.

## **<23.> «Алекс<андр>: у него любовница»**

Впервые опубликовано в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова под ред. Арс. И. Введенского, в четырех томах, т. 4, 1891, с. 294–295.

Написано на обороте листа с автографом стихотворения «Опять народные витии», датируемого предположительно 1835 г. (см. наст. изд., т. 1, с. 714). Поэтому и данный текст датируется серединой 1830-х годов.

Запись представляет собой подробный план повести, в которой Лермонтов предпо-

лагал показать социальный по своему характеру конфликт между героем и аристократическим обществом. Эта же тема присутствует в заметке 4-й «Молодой человек в России» и в романе «Княгиня Лиговская».

### **<24.> «Я в Тифлисе у Петр. Г.»**

Впервые опубликовано в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова под ред. Арс. И. Введенского в четырех томах, т. 4. 1891, с. 289–290.

План неосуществленного прозаического произведения, по некоторым сюжетным линиям напоминающий «Тамань» (старуха с дочерью; неожиданное нападение, предотвращенное рассказчиком). На этом основании датируется декабрем 1837 г. (Лермонтов был в Тифлисе в ноябре этого же года), или 1838 г., т. е. временем начала его работы над «Героем нашего времени».

Описываемые события являются вымыслом Лермонтова. Что же касается названных героев, то они имеют своих прототипов. По убедительному предположению И. Л. Андроникова под именем «Петр.» подразумевается житель Тифлиса, дежурный штаб-офицер

Штаба отдельного кавказского корпуса Павел Ефимович Петров-4-й; под инициалом «Г.» – штаб-лекарь тифлисского военного госпиталя Франц Петрович Герарди; «Али» – азербайджанский поэт и ученый Мирза Фатали (Фет-Али) Ахундов; Геург или Ягор Элиаров (Елизаров) – тифлисский оружейный мастер (см.: *И. Андроников. Лермонтов. Исследования и находки*, с. 374–392).

## **<25.> «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем»**

Впервые опубликовано в издании: *Сочинения Лермонтова* под ред. С. С. Дудышкина, в двух томах, т. 1, 1860, с. 425.

Датируется апрелем – июлем 1841 г.

Заметка в записной книжке, возможно не предназначавшаяся для литературного произведения.

## **Автобиографические заметки**

Автографы заметок 1 – 11 – в ИРЛИ; 12 – в ГИМ; 13–16 – в ГПБ.

### **<1.> 1830. Замечание**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 7, с. 5.

Датируется 1830 г. по заголовку.

## **<2.> «Музыка моего сердца»**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 2, 1873, с. 497.

Датируется 1830 г. по нахождению записи между стихотворениями этого года.

В заметке даны первые сведения о музыкальных интересах Лермонтова и об его игре на скрипке и фортепьяно.

## **<3.> Записка 1830 года, 8 июля. Ночь**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 7, с. 16–17.

Датируется 8 июля 1830 г. по заголовку.

Здесь Лермонтов пишет о своей поездке на Кавказские минеральные воды в 1825 г. Об этой поездке имеется упоминание в списке посетителей и посетительниц Кавказских вод летом 1825 г.: «Столыпина: Марья, Агафья и Варвара Александровны коллежского асессора Столыпина <брата Е. А. Арсеньевой> дочери, из Пензы. Арсеньева Елизавета Алексеевна, вдова поручица из Пензы, при ней внук Михайло Лермантов, родственник ее Михайло Пожогин, доктор Ансельм Левиз, учитель Иван Капа, гувернерка Христина Ремер»

(«Отечественные записки», 1825, № 64, с. 260).  
Имя девочки, о которой вспоминает Лермонтов, неизвестно. О первом увлечении поэта говорится также в стихотворении «Кавказ» (см. наст. изд., т. 1, с. 70).

#### **<4.> (1830)**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 2, 1873, с. 498.

Датируется 1830 г. по заголовку.

Воспоминания детства, о которых пишет Лермонтов, включены им в текст драмы «Станный человек», где Аннушка рассказывает о детстве Владимира: «А бывало, помню (ему еще было 3 года), бывало, барыня посадит его на колена к себе и начнет играть на фортепьянах что-нибудь жалкое. Глядь: а у дитяти слезы по щекам так и катятся!..» (см. наст. изд., т. 3, с. 206).

#### **<5.> 1830**

Впервые опубликовано полностью в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 2, 1873, с. 498.

Датируется 1830 г. по заголовку.

#### **<6.> 1830 (мне 15 лет)**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 2, 1873, с. 498.

Датируется 1830 г. по заголовку.

### **<7.> (1830)**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 248.

Датируется 1830 г. по заголовку.

В творчестве Лермонтова заметно большое тяготение к песне. Кроме «Песни про царя Ивана Васильевича», шесть стихотворений называются «Песнями», причем одна из них («Что в поле за пыль пылит») является записью подлинной народной песни.

### **<8.> Мое завещание**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 249.

Датируется 1830 г.

Записано на следующем листе после текста стихотворения «Дереву» (см. наст. изд., т. 1, с. 558).

### **<9.> 1830**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 246.

Датируется 1830 г. по заголовку.

## **<10.> «Я читаю Новую Элоизу»**

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1859, № 11, с. 248.

Датируется 1831 г. по нахождению в тетради с произведениями этого года.

## **<11.> 2-го декабря: св. Варвары. Вечером, возвратясь**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 2, 1873, с. 501.

Запись сделана Лермонтовым в Москве, когда он возвратился от Лопухиных после празднования именин Варвары Александровны. Дата указана ошибочная, так как Варварин день отмечался не 2, а 4 декабря. На этом основании запись датируется 4 декабря 1831 г., как находящаяся в тетради со стихотворениями этого года.

Запись посвящена В. А. Лопухиной (1814 или 1815–1851). Об отношении к ней поэта писал в своих воспоминаниях А. П. Шан-Гирей: «Будучи студентом, он был страстно влюблен... в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, вос-

торженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет пятнадцать – шестнадцать... Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей» (Воспоминания с. 36). Лермонтов посвятил В. А. Лопухиной ряд стихотворений.

### **<12.> «Маико Мая»**

Впервые опубликовано в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова в пяти томах, под ред. Д. И. Абрамовича, изд. Академической библиотеки русских писателей, т. 5, 1913, с. 38, где напечатано со строчных букв, без уяснения того, что в данной записи упомянуты имена.

Записано в Тифлисе на обороте листа со стихотворением «Спеша на север из далека» (см. наст. изд., т. 1, с. 390, 597). На этом основании датируется ноябрем – началом декабря 1837 г. – временем, когда Лермонтов был в Тифлисе.

### **<13.> «Ахвердов<а> – на Ки- рочн<ой>»**

Впервые опубликовано И. Л. Андронико-

вым в журнале «Красная новь», 1939, № 10–11, с. 251.

Заметка в альбоме, который датируется 1840–1841 гг.

Запись является кратким расписанием предполагаемых Лермонтовым посещений петербургских знакомых.

Возможно (предположение впервые высказано И. Л. Андрониковым), что запись произведена утром в воскресенье 16 марта 1841 г., когда поэт собирался быть с визитами у Прасковьи Николаевны Ахвердовой, своей троюродной тетки, жившей тогда в Петербурге, на Кирочной улице, графини Елены Михайловны Завадovской (1807–1874) и у князя Голицына, по предположению А. Н. Михайловой – Леонида Михайловича Голицына (1806–1860), офицера лейб-гвардии Гусарского полка.

Далее в записи указано, что в понедельник Лермонтов собирался посетить Александру Осиповну Смирнову (1809–1882), в салоне которой он бывал в 1840–1841 гг. Во вторник поэт предполагал быть у Евдокии Петровны Ростопчиной (1811–1858), а вечером на имени-

нах Александры Григорьевны Лаваль (матери Е. И. Трубецкой – жены декабриста), которые праздновались 18 марта.

#### **<14.> «Суб<б>оту обе<д>»**

Впервые опубликовано в книге: *А. Н. Михайлова. Рукописи М. Ю. Лермонтова. Описание. Труды ГПБ. Л., 1941, с. 38.*

Запись датируется 20-ми числами марта 1841 г., так как она следует непосредственно после предыдущей, в том же альбоме, и, очевидно, является продолжением намеченного Лермонтовым расписания посещения знакомых перед своим отъездом на Кавказ. Суббота, о которой пишет Лермонтов, могла быть 22 или 29 марта 1841 г.

#### **<15.> «Семен Осипович Жигимонд»**

Впервые полностью опубликовано в кн.: *А. Н. Михайлова. Рукописи М. Ю. Лермонтова. Описание. Труды ГПБ. Л., 1941, с. 43.*

Запись находится в записной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским при последнем отъезде поэта из Петербурга на Кавказ 14–15 апреля 1841 г. На первой странице книжки дарственная надпись Одоевского: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и

любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную. К<нязь> В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е. СПбург». Книга была ему возвращена после смерти поэта, причем Одоевский сделал в ней следующую запись: «Сия книга покойного Лермонтова возвращена мне Екимом Екимовичем Хастатовым – 30-го декабря 1843-го года – К<нязь> В. Од<оевский>» (А. Н. Михайлова, ук. соч., с. 41). В 1857 г. Одоевский передал книгу в императорскую Публичную библиотеку (ГПБ), где она находится и в настоящее время.

Выехав из Петербурга 14 апреля 1841 г., Лермонтов прибыл в Москву 17 апреля и пробыл там до 23 апреля. Запись сделана им при выезде из Петербурга или в Москве. Датируется 14–23 апреля 1841 г.

В записи упомянуты московские знакомые поэта: Семен Осипович Жигмонд – муж троюродной сестры Лермонтова Екатерины Павловны, рожденной Петровой; князь Голицын (эта фамилия читается предположительно); Михаил Петрович Погодин (1800–1875), историк и критик, профессор Московского университета, у которого Лермонтов был 9 мая

1840 г. на праздновании именин Гоголя; Николай Андреевич Кашинцев, камер-юнкер, автор нескольких верноподданнических сочинений, друг братьев Полевых, известный доносом Бенкендорфу на Погодина о том, что будто бы Погодин распространил по Москве слух о своем назначении на должность наставника к великим князьям (см. об этом в кн.: *Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина*, кн. 5. СПб., 1892, с. 347–348). Возможно, что в связи с этим слухом имена Погодина и Кашинцева стоят в записи рядом.

### **<16.> «19-го мая – буря»**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1, 1889, с. 543.

Запись в записной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским 13 апреля 1841 г., на этом основании датируется 19 мая 1841 г.

## Письма

До нас дошло всего пятьдесят четыре письма Лермонтова. Одинадцать из них (№ 19, 21, 23, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42 и 53) обнаружены в течение последних десятилетий. Довольно значительное увеличение фонда лермонтовских писем за счет находок этих лет, естественно, позволяет предположить, что 54 известных нам письма поэта – это только меньшая часть всех писем, написанных им за его короткую, но напряженную, полную впечатлений жизнь. Достаточно напомнить, что за первые 26 лет жизни Пушкина до нас дошло более двухсот писем, Белинского – около ста и более ста писем Льва Толстого. Очевидно, дальнейшие разыскания в архивах могут значительно пополнить эпистолярное наследие Лермонтова.

Дошедшие до нас письма Лермонтова носят главным образом деловой и бытовой характер, некоторые (например, письма к М. А. Лопухиной, А. М. Верещагиной, А. А. Лопухину, С. Н. Карамзиной) выдержаны в стиле душевной дружеской беседы. Но в этих

письмах, к сожалению, мы не найдем пространных политических, философских, литературных или иных идейно-теоретических рассуждений, которые так часты в письмах Белинского или Льва Толстого. Можно высказать предположение, что они содержались как раз в несохранившихся письмах Лермонтова к А. А. Краевскому, В. Ф. Одоевскому, Ю. Ф. Самарину, С. А. Раевскому, Е. П. Ростопчиной и другим друзьям-литераторам. Особенно ощутительна утрата писем Лермонтова за 1837 г., когда в непрерывных странствованиях по Кавказу зарождался замысел «Героя нашего времени», когда поэт сдружился с А. И. Одоевским и близко общался с сосланными на Кавказ и в Закавказье декабристами и лучшими представителями грузинской, армянской и азербайджанской интеллигенции (предположения И. Андроникова о встречах Лермонтова с семьей А. Г. Чавчавадзе, с азербайджанским поэтом, драматургом и просветителем Мирза Фатали Ахундовым и другими весьма убедительны).

Известная нам часть эпистолярного наследия Лермонтова представляет большую цен-

ность для биографа и для вдумчивого читателя. Эти письма точнее и достовернее воссоздают внутренний облик поэта и его жизнь, чем многие воспоминания современников, написанные через десятилетия и часто свидетельствующие о том, как плохо знали и понимали Лермонтова его словоохотливые мемуаристы.

Вместе с тем следует отметить, что письма Лермонтова полны намеков, содержат упоминания о лицах и событиях, которые не понятны читателям без исторического, биографического и реально-бытового комментария.

Автографы писем 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 34, 35, 39, 50, 52, 54 хранятся в ГПБ, писем 5, 8, 15, 16, 22, 31, 40, 43, 49, 51, 53 – в ИРЛИ, писем 6, 7 – в ГИМ, писем 33, 38 – в ЦГИА СССР, писем 21, 23, 28, 37, 41, 42 – в ЦГАЛИ, письма 48 – в Тартуском государственном университете, письма 4 – в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, письма 30 – в Государственном литературном музее. Автографы писем 19, 20, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 44 – неизвестны, 45, 46, 47 – хранятся в Париже у С. Лифаря. Известные в настоящее время

письма и отрывки из писем к Лермонтову печатаются ниже (см. с. 522).

## **1. М. А. Шан-Гирей**

Впервые опубликовано в «Русской старине», 1872, № 2, с. 293.

Первые четыре из дошедших до нас писем М. Ю. Лермонтова адресованы двоюродной тетке Марии Акимовне Шан-Гирей (1799–1845), урожденной Хастатовой. Мария Акимовна была дочерью Акима Васильевича Хастатова и Екатерины Алексеевны, урожденной Столыпной, сестры бабушки Лермонтова, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.

М. А. Шан-Гирей выросла в кавказском имении матери «Шелковое», или «Земной рай». В 1825 г. она, по совету Е. А. Арсеньевой, переехала в Пензенскую губернию, где в 1826 г. приобрела деревню Апалиху недалеко от Тархан. В 10-х гг. Мария Акимовна вышла замуж за Павла Петровича Шан-Гирея (1795–1864). От этого брака были дети: Аким (Еким) (1819–1883), друг детства Лермонтова, воспитывавшийся с ним вместе в Тарханах, автор воспоминаний о поэте (см.: Воспоминания, с. 31–53); Екатерина (Катюша), позже вы-

шедшая замуж за В. П. Веселовского (р. 1823 – умерла в 80-х годах); Алексей (р. 1821) и Николай (р. 1829), которых в письме Лермонтов называет «братцами». См.: П. А. Вырыпаев. Лермонтов. Новые материалы к биографии. Саратов, 1976, с. 135–151; В. Арзамасцев и Л. Дианова. Новое о родственниках М. Ю. Лермонтова Шан-Гиреях. – В кн.: А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, М. Ю. Лермонтов. Рязань, 1974, с. 206–214; В. Б. Сандомирская. Альбом с рисунками Лермонтова (Лермонтов и М. А. Шан-Гирей). – В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979, с. 122.

Письмо написано Лермонтовым, вероятно, осенью 1827 г., вскоре после приезда с бабушкой в Москву, в дни, когда он уже занимался с приглашенными на дом учителями для подготовки к поступлению в Университетский благородный пансион.

Занятиями руководил Алексей Зиновьевич Зиновьев (1801–1884), занимавший в пансионе должность надзирателя и учителя русского и латинского языков. При его содействии были приглашены и другие учителя. Занятия шли довольно успешно, и 1 сентября

1828 г. Лермонтов поступил прямо в 4-й класс Университетского пансиона полупансионером (он занимался, обедал и проводил целый день в пансионе, а ночевать возвращался домой).

Домашние уроки рисования Лермонтову давал художник Александр Степанович Солоницкий.

В письме упоминается опера «Невидимка», которую Лермонтов «видел в Москве 8 лет назад». Это свидетельство о его более раннем приезде с бабушкой в Москву.

«Князь-Невидимка, или Личарда-Волшебник, опера в четырех действиях с большим представлением, украшенная пантомимами, военными эволюциями, сражениями и семнадцатью превращениями», была написана К. А. Кавосом на слова Лифанова, который в основу либретто положил французскую пьесу-феерию М. С. Б. Апде «Князь-Невидимка, или Арлекин-Протей». Опера поставлена впервые в Москве 7 июля 1819 г., часто исполнялась в сезон 1819–1820 гг. и была возобновлена 30 августа 1827 г.

Сохранились свидетельства А. П. Шан-Ги-

рея и М. Е. Меликова об увлечении Лермонтова в это же время театром марионеток, которых он сам изготовлял из воска (подробнее об этом см. настоящее издание, т. 3, с. 576). Любовь к театру Лермонтов пронес через всю свою жизнь. Как нам недавно стало известно, и в 1838 г. Лермонтов принимал участие в любительских спектаклях, которые ставились в дружеском кружке Карамзиных (см. с. 518).

## **2. М. А. Шан-Гирей**

Впервые опубликовано в «Русской старине», 1872, № 2, с. 293–295.

Письмо написано около 21 декабря 1828 г., вскоре после окончания переводных испытаний в Университетском пансионе. Лермонтов выдержал их отлично, как видно из приложенной им к письму копии ведомости.

Кроме стихотворения «Поэт», приведенного в письме, Лермонтов упоминает еще о двух не дошедших до нас своих произведениях – «Геркулесе» и «Прометее», которые инспектор Михаил Григорьевич Павлов (1793–1840) хотел включить в «Каллиопу» – литературный сборник воспитанников Университетского пансиона. Такие сборники выходили в 1815,

1816, 1817 и 1820 гг., но после этого уже не возобновлялись.

Продолжались занятия рисованием с А. С. Солоницким. Современники (А. П. Шан-Гирей, А. З. Зиновьев, С. А. Раевский, Е. П. Ростопчина) неоднократно отмечали, что Лермонтов был одарен талантом живописца и графика. До нашего времени дошла лишь часть картин и рисунков Лермонтова. Известно 13 картин, написанных маслом, 44 акварели, около 400 рисунков (включая рисунки на автографах) и 4 литографии. (См.: *Н. П. Пахомов. Живописное наследство Лермонтова. – «Лит. насл.»*, т. 45–46, 1948, с. 55 – 222; *К. Н. Григорьян. Живопись Лермонтова. – В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы.* Л., 1979, с. 271–282; *Е. А. Ковалевская. Акварели и рисунки Лермонтова в альбомах Верещагиной. – Там же*, с. 24–78).

Большая часть картин и рисунков Лермонтова хранится в ИРЛИ.

Юрий Петрович Лермонтов (1787–1831) приезжал в Москву из своей тульской усадьбы Кропотово, где летом 1827 г. у него гостил Михаил Юрьевич. «Дяденька», упоминаемый

в приписке, – П. П. Шан-Гирей.

Стихотворение «Поэт» – см. наст. изд. т. 1, с. 12, 542.

### **3. М. А. Шан-Гирей**

Впервые опубликовано в «Русской старине», 1886, № 5, с. 442.

Письмо написано весной 1829 г., когда Лермонтов учился в пятом классе Университетского пансиона, вероятно незадолго до весенних пасхальных каникул («вакаций»). Кроме занятий в пансионе, Лермонтов продолжал и домашние занятия, в частности, с упоминаемым в письме гувернером Жаном Пьером Келлет Жандро, который так и не оправился от болезни и 8 августа 1830 г. умер в доме Е. А. Арсеньевой.

Лермонтов продолжал усердно посещать театр. «Игрок», о котором он пишет, – популярная в то время мелодрама В. Дюканжа (1783–1833), шедшая на московской сцене с 26 января 1828 г. под названием «Тридцать лет, или Жизнь игрока» в переводе Ф. Ф. Кокошкина (1773–1838) с музыкой А. Н. Верстовского (1799–1862). Главную роль в этой пьесе исполнял П. С. Мочалов (1800–1848). Он же испол-

нял роль Карла Моора в «Разбойниках» Шиллера, которые шли в Москве с 1814 г. в переделке Н. Сандунова (1793). Вопрос о превосходстве П. С. Мочалова над В. А. Каратыгиным занимал видное место в идейной борьбе за передовой русский театр. Об этом писали А. И. Герцен и В. Г. Белинский. Говорят об игре Мочалова московские студенты и в драме Лермонтова «Станный человек» (см. наст. изд., т. 3, с. 212). В 1829 г. Лермонтов часто обращается к Шиллеру, переводит и переделывает ряд его стихотворений (в том числе «Три ведьмы» из «Макбета» Шекспира в переделке Шиллера).

В постскриптуме Лермонтов посылает поклон Анне Акимовне Петровой, урожденной Хастатовой (1802–1836), сестре М. А. Шан-Гирей, которая вместе с дочерьми Марией Павловной («Машей») и Екатериной Павловной (одной из «двух Катюш») гостила в это время в Апалихе. «Дяденька», которому Лермонтов свидетельствует свое почтение, – муж М. А. Шан-Гирей, а Алеша, Катюша и Еким, незадолго до этого приехавший в Москву учиться, – ее дети.

## 4. М. А. Шан-Гирей

Впервые опубликовано в «Русской старине», 1889, № 1, с. 165–166.

На основании фразы «В университете всё идет хорошо» это письмо обычно относят к февралю 1831 или 1832 г. (масленая неделя). Однако в 1831 г. из-за эпидемии холеры занятия в университете фактически еще не начались, а в феврале 1832 г. дела Лермонтова в университете шли уже не совсем хорошо и назревало решение оставить университет из-за обострившихся отношений с реакционными профессорами. Возникает предположение, что «в университете» относится к Университетскому пансиону и что письмо писано в феврале 1830 г., тем более что по тону и теме оно вполне примыкает к письмам пансионского периода.

Письмо это – ответ на несохранившееся письмо М. А. Шан-Гирей, содержащее, очевидно, критику «Гамлета».

«Гамлет» сравнительно с другими пьесами Шекспира проник на русскую сцену довольно поздно. Запрещенный во второй половине XVIII в., «Гамлет» был поставлен только 28 но-

ября 1810 г. в Петербурге, в бенефис А. С. Яковлева, а в 1811 г. и в Москве. Текст представлял собой переделку С. И. Висковатова, которая в свою очередь была сделана с французской перелицовки шекспировской пьесы, выполненной членом Французской академии Дюсисом (1733–1816). Первое издание 1811 г. озаглавлено: «Гамлет, трагедия в пяти действиях, в стихах. Подражание Шекспиру». Подлинный «Гамлет» в переводе Н. А. Полевого впервые был поставлен только 22 января 1837 г. при участии Мочалова.

Юный Лермонтов, вслед за Пушкиным, высоко оценил гений Шекспира, произведения которого он читал, видимо, в подлиннике. Совершенно справедливо указав на то, что в переводе Висковатова дюсисовской переделки «Гамлета» нет многих лучших мест, Лермонтов пересказывает по памяти содержание некоторых пропущенных сцен. Этим объясняется, почему Лермонтов в своем пересказе несколько изменил порядок сцен «Гамлета» и смешал Гильденстерна с Полонием.

В лермонтовском пересказе эпизода с флейтой Гамлет говорит «1 придворному»

(т. е. Гильденстерну) слова, которых у Шекспира нет: «...как хотите из меня, существа, одаренного сильной волею, исторгнуть тайные мысли?».

Взгляд на «Гамлета» как на трагедию «рефлексии» и «безволия» («гамлетизм») еще не был тогда так распространен, как это произошло позднее; медлительность Гамлета часто рассматривалась как следствие сознания им своей высокой ответственности и тем самым – как проявление силы.

### **5. Н. И. Поливанову**

Впервые опубликовано в «Русской старине», 1875, № 9, с. 59.

Письмо представляет собой приписку, сделанную рукой Лермонтова на письме его друга Владимира Александровича Шеншина, которому посвящено стихотворение «К другу В. Ш.» (см. наст. изд., т. 1, с. 183, 564). В. А. Шеншин писал Н. И. Поливанову:

Любезный друг. Первый мой тебе реприманд: зачем ты по-французски письмо написал, разве ты хотел придать более меланхолии [твоему письму, то] это было совсем некстати. Мне здесь очень душно, и только

один Лермонтов, с которым я уже 5 дней не видался (он был в вашем соседстве у Ивановых), меня утешает своею беседою. Николай в деревне. Закревский избаловался. Других <два слова вымараны> я не вижу, – не полагая довольного удовольствия с ними быть в компании. Пиши к нам со всякой оказией, ты ничего не делаешь, да притом, верно, нам не откажешь в малом удовольствии нас повеселить твоими письмами, следуя параллельной системе, да, пожалуста, пиши поострее, кажется, у тебя мысли просвежились от деревенского воздуха. Твое нынешнее письмо доказывает, что ты силишься придать меланхолический оборот твоему характеру, но ты знаешь, что я откровенен, и потому прими мой совет, следуй *Шпигельбергу* <один из персонажей трагедии Шиллера «Разбойники»>, а не Лермонтову, которого ты безжалостно изувечил, подражая ему на французском языке. Adieu, guten Tag, vale, Fare thee well <прощай, добрый день, будь здоров, до свиданья – на французском, немецком, латинском и английском языках>. Прощай. Верный твой друг, хотя тебя и уверяет твой папенька, что

мы пострелы, негодяи – но, пожалуста, не верь, впрочем, сам знаешь, – действуй по сердцу. В. Шеншин. Москва. 7-го июня 1831.

Николай Иванович Поливанов (1814–1874), которому адресованы письмо Шеншина и приписка Лермонтова, – один из ближайших товарищей Лермонтова, впоследствии вместе с поэтом учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где был известен под прозвищем «Лафа». К нему обращено стихотворение Лермонтова «Послушай! Вспомни обо мне» (см. наст. изд., т. 1, с. 166, 562). Поливановы жили в Москве на Молчановке, рядом с домом, где жила с внуком Е. А. Арсеньева. Поливановы и Шеншины были в родстве с Лужиными. Семен Николаевич Шеншин (ум. в 1849 г.) был женат на Анне Дмитриевне Лужиной (ум. в 1862 г.). Их сын Николай (1813–1835) упоминается в письме В. А. Шеншина. О какой именно «кузине Лужиной» говорит Лермонтов, не установлено.

Тяжелое состояние духа, на которое жалуются Лермонтов, связано с его увлечением Натальей Федоровной Ивановой (1813–1875), дочерью драматурга Федора Федоровича Ивано-

ва. Ей Лермонтов посвятил большой цикл стихов (скрыв ее имя под буквами «Н. Ф. И.»). В драме «Странный человек» Н. Ф. Иванова выведена под именем Натальи Федоровны Загорскиной. Слова Лермонтова о проклятье всем свадебным пирам, болезни и слезах вызваны тем, что Н. Ф. Иванова не ответила на его чувства. Позже она вышла замуж за Н. М. Обрескова (1802–1866). О Н. Ф. Ивановой см.: *И. Андроников. Лермонтов. Исследования и находки*, с. 124–152.

## **6. С. А. Бахметевой**

Впервые опубликовано в издании: *Сочинения Лермонтова в двух томах*, под ред. П. А. Ефремова, т. 1, 1873, с. 382, с пропусками имен и фамилий. Полностью – там же, в издании 1887 г., т. 1, с. 436.

Письмо послано Лермонтовым в июле – начале августа 1832 г. из Твери, где он был вместе с бабушкой проездом из Москвы в Петербург.

Софья Александровна Бахметева (род. в 1800 г.) воспитывалась в доме Е. А. Арсеньевой. Лето 1830 г. она вместе с двумя своими сестрами и Лермонтовым провела в Середни-

кове (или Средникове) под Москвой, имени Екатерины Аркадьевны Столыпина, вдовы Дмитрия Алексеевича Столыпина, невестки Е. А. Арсеньевой. Поэтому Лермонтов называет в письме Е. А. Столыпину «тетенькой», а ее племянницу Александру Михайловну Верещагину – «благоверной кузиной».

С. А. Бахметева, по свидетельству А. П. Шан-Гирея, была «веселая, увлекающаяся сама», она увлекла и Лермонтова, но не надолго. Поэт называл ее «легкой, как пух». Взяв пушинку в присутствии Софьи Александровны, Лермонтов дул на нее, говоря: «Это вы – ваше Атмосфераторство!» (Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 6. 1891, с. 270). В 1832 г. осенью С. А. Бахметева уехала в Воронеж.

Письмо подписано: М. Lerma (М. Лерма). Такую подпись Лермонтов в эти годы часто ставил под своими письмами к друзьям, полагая, что его предки со стороны отца были выходцами из Испании и носили фамилию Лерма.

## **7. С. А. Бахметевой**

Отрывки из письма впервые опубликова-

ны в «Современнике», 1854, № 1, с. 5–7. Полностью – в «Русском архиве», 1864, № 10, стлб. 1089–1090.

Письмо датируется августом 1832 г. и, так же как и три следующие, написанные вскоре после приезда в Петербург перед поступлением в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, вводит нас во внутренний мир Лермонтова в переломный момент его жизни.

Наряду с первыми петербургскими впечатлениями о «прекрасном», но пустом доме, в который они с бабушкой въехали (как утверждал А. П. Шан-Гирей, он находился на Мойке), о поездке на дачу к Вере Николаевне Столыпиной (1790–1834) – вдове Аркадия Алексеевича Столыпина, большое место в письме занимают воспоминания о московских приятельницах и дальних родственницах: Александре Михайловне Верецагиной, Елизавете Александровне Лопухиной (род. в 1809 г.) и Марии Александровне Лопухиной; последняя в то время собиралась выйти замуж. В этом кругу молодежи в Середникове летом 1829, 1830 и 1831 гг. Лермонтов проводил свои ка-

никулы.

Лермонтов подписал свое письмо: «член вашей *bande joyeuse*» т. е. «веселой шайки»; так С. А. Бахметева называла Лермонтова и его московских приятелей Н. И. Поливанова, В. А. и Н. С. Шеншиных, А. Д. Закревского и А. А. Лопухина. «*Bande joyeuse*» упоминается в «Княгине Лиговской» (см. с. 139).

В Москве же, видимо, познакомился Лермонтов и с офицером лейб-гвардии Измайловского полка Павлом Александровичем Евреиновым (ум. 5 июля 1857 г.), но «короче сошелся» с ним уже в Петербурге. П. А. Евреинов приходился Лермонтову двоюродным дядей, так как был сыном Александры Алексеевны Евреиновой, урожденной Столыпной (род. в 1777 г.), сестры Е. А. Арсеньевой.

Упоминаемые в письме «тетушки» – Екатерина Аркадьевна Столыпина, владелица Середникова, ее сестра Елизавета Аркадьевна Верещагина и Екатерина Петровна Лопухина. В доме Лопухиных жил слуга, арап «Achille» (Ахилл), акварельный портрет которого Лермонтов написал в альбоме А. М. Верещагиной. Об этом портрете см. в статье Е. А. Кова-

левской «Акварели к рисункам Лермонтова из альбомов А. М. Верещагиной» (в кн.: М. Ю. Лермонтов.

Исследования и материалы, с. 59–61; там же см. воспроизведение упомянутой акварели). Этот арап упоминается в поэме «Сашка» (см. наст. изд., т. 2, с. 316, 555).

Стихотворение «Я жить хочу! Хочу печали» – см. наст. изд., т. 1, с. 331, 583.

## **8. С. А. Бахметевой**

Отрывки из письма, впервые опубликованы в «Современнике», 1854, № 1, с. 5–7. Полностью – в «Русской старине», 1873, № 3, с. 402–403.

Письмо это, наполненное петербургскими впечатлениями, написано, вероятно, вскоре после двух предыдущих и было послано С. А. Бахметевой через П. А. Евреинова, вместе с не дошедшим до нас письмом к М. А. Лопухиной, о котором известно из упоминания в письме Лермонтова к ней от 2 сентября 1832 г.

Стихотворение «Примите дивное посланье» – см. наст. изд., т. 1, с. 342, 585. Стихи

*И наконец я видел море,  
Но кто поэта обманул?..*

*Я в роковом его просторе  
Великих дум не почерпнул...*

являются иронической перефразировкой строк Н. М. Языкова из стихотворения «Пловец» (1829):

*Нелюдимо наше море,  
День и ночь шумит оно;  
В роковом его просторе  
Много бед погребено.*

Стихотворение «По произволу дивной власти» представляет собой раннюю редакцию стихотворения «Челнок» (см. наст. изд., т. 1, с. 343, 585).

## **9. М. А. Лопухиной**

Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1863, № 3, стлб. 265–267.

Мария Александровна Лопухина (1802–1877) – старшая сестра Елизаветы, Варвары и Алексея Лопухиных. С семьей Лопухиных Лермонтов сдружился, еще будучи в Университетском пансионе. Лермонтов не скрывал от Марии Александровны своего глубокого, но неразделенного чувства к ее сестре В. А. Лопухиной. По словам первого биографа

поэта – П. А. Висковатова, «Мария Александровна... уничтожала всё, где в письмах к ней Лермонтов говорил о сестре ее Вареньке... Даже в дошедших до нас немногих листах, касающихся Вареньки и любви к ней Лермонтова, строки вырваны» (Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 6, 1891, с. 279). Сохранилось одно письмо М. А. Лопухиной к Лермонтову (см. с. 522). Летом 1832 г. М. А. Лопухина собиралась выйти замуж, но, как видно из письма, этот брак расстроился.

К моменту написания настоящего письма, 28 августа 1832 г., Лермонтов прожил в Петербурге уже около месяца и мог подвести некоторые итоги своим первым петербургским впечатлениям. Его слова об «образчиках здешнего общества» – одна из наиболее интересных в письмах Лермонтова характеристик петербургского светского общества, предвосхищающая сатирические образы «Маскарада» и «Княгини Лиговской».

Интересовался в это время Лермонтов также и темой петербургского наводнения. Осенью 1832 г. в Петербурге несколько раз на-

блюдался обычный в это время подъем воды в Неве и каналах, о чем и упоминает Лермонтов в своем письме, но это не было сколько-нибудь значительное наводнение, подобное наводнению 1824 г., описанному Пушкиным в «Медном всаднике». Однако это само по себе незначительное событие вызвало к жизни не только приведенное в письме стихотворение, но и, как рассказывал в своих «Воспоминаниях» В. А. Соллогуб, несколько интересных рисунков. Говоря о том, что существует предсказание о гибели Петербурга от воды, он писал: «Лермонтов, одаренный большими самородными способностями к живописи, как и к поэзии, любил чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого подымалась оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом» (В. А. Соллогуб. Воспоминания, 1931, с. 183).

В словах Лермонтова о романе, который «становится произведением, полным отчаяния», речь идет, по-видимому, о каком-то не дошедшем до нас произведении.

Стихотворение «Да чего я не родился» – см. наст. изд., т. 1, с. 346, 586.

Стихотворение «Конец! Как звучно это слово» – вариант второй части стихотворения «Что толку жить!.. Без приключений» (см. там же, с. 344, 585).

## **10. М. А. Лопухиной**

Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1863, № 5–6, стлб. 421–423, с пропусками. Полностью – в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1, 1882, с. 515–518.

Это письмо, написанное 2 сентября 1832 г., т. е. через четыре дня после предыдущего, проникнуто тем же угнетенным состоянием духа. Лермонтов опять вспоминает Москву, друзей, радуется встрече с приехавшей из Москвы Натальей Алексеевной Столыпина (1786–1851), сестрой Е. А. Арсеньевой, вдовой пензенского предводителя дворянства Григория Даниловича Столыпина, их дальнего родственника и однофамильца. В письме также упоминается дочь Столыпиных Аннет – Анна Григорьевна (1815–1892), вышедшая в 1834 г. замуж за А. И. Философова. «Знаменитая голова» – картина, написанная для приятеля Лермонтова А. А. Лопухина в 1832–1833 г. На по-

лотне изображен знатный испанец с орденом Золотого руна. Картина известна под названием «Герцог Лерма» или «Предок Лерма». Оба эти названия не принадлежат Лермонтову, но восходят к семейному преданию о происхождении рода Лермонтовых от испанского герцога Лермы. Картина является повторением случайно поврежденного рисунка, выполненного в 1830–1831 гг. углем на оштукатуренной стене в доме Лопухиных. Сын А. А. Лопухина подарил этот портрет в 1886 г. бывшему Лермонтовскому музею при Николаевском кавалерийском училище. В сопроводительном письме он сообщил, что, по словам его отца, товарища Лермонтова, на полотне и на стене изображен человек, которого Лермонтов увидел во сне (см.: Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского Дома. М. Ю. Лермонтов, вып. II. 1953, с. 110). В настоящее время она хранится в музее ИРЛИ.

«Кузина», о которой говорится в конце письма, – А. М. Верещагина.

В постскриптуме Лермонтов намекает на то, что хотел бы получить какие-либо известия о В. А. Лопухиной. Не получив ответа на

этот осторожный вопрос, Лермонтов в не дошедшем до нас письме от 3 октября, очевидно, напомнил о нем еще раз, судя по ответному письму Лопухиной от 12 октября 1832 г. (см. с. 524).

Стихотворение «Белеет парус одинокой» – см. «Парус» (наст. изд., т. 1, с. 347, 586).

## **11. М. А. Лопухиной**

Впервые опубликовано с пропусками в «Русском архиве», 1863, № 4, стлб. 292–293. Полностью – в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова в пяти томах, под ред. Д. И. Абрамовича, изд. Академической библиотеки русских писателей, т. 4. 1911, с. 316–317.

Точная датировка этого письма затруднительна вследствие некоторых противоречий. С одной стороны, слова Лермонтова «послезавтра я держу экзамен» могут служить основанием для датировки письма 2 ноября 1832 г. (экзамен был 4 ноября); с другой стороны, слова в письме «Не могу еще представить себе, какое впечатление произведет на вас такое важное известие обо мне» и т. д. свидетельствуют о том, что письмо М. А. Лопухи-

ной от 12 октября 1832 г. (см. с. 522) еще не дошло до Лермонтова. Вряд ли задержка в доставке могла быть столь длительной. Возможно, что экзамен был отложен или что экзамен по математике был до 4 ноября, а 4 ноября был другой экзамен (ср. слова в этом же письме: «...через несколько дней экзамен»).

Весь тон письма и слова о «преграде из двух печальных и тягостных лет» свидетельствуют о том, что вынужденный уход из Московского университета и отказ от мысли продолжать университетское образование в Петербурге не легко дались Лермонтову и что, связывая свою судьбу с военной службой, он понимал, насколько это решение коренным образом изменит его жизнь.

В этот момент Лермонтову особенно была нужна поддержка друзей. Поэтому он так упорно просит писать ему и жалуется на С. А. Бахметеву, говоря: «...не воронежский ли угодник посоветовал ей позабыть меня?» Дело в том, что 6 августа в Воронеже были открыты мощи святого Митрофания, а С. А. Бахметева уехала в Воронеж как раз около этого времени. Лермонтов употребил здесь слово

«угодник» в каламбурном значении, подразаумевая, очевидно, кого-то из поклонников С. А. Бахметевой.

Примечательно, что за короткий срок Лермонтов переменял мнение о П. А. Евреинове, о котором еще в августе писал, что «у него есть душа в душе» (см. с. 364).

Стихотворение «Он был рожден для счастья, для надежд» – см. наст. изд., т. 1, с. 348, 586.

## **12. А. М. Верещагиной**

Впервые частично опубликовано в «Русской мысли», 1883, кн. 4, с. 83. Полностью – в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5. 1891, с. 389–391.

Письмо написано в конце октября 1832 г., когда Лермонтов готовился к вступительному экзамену в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Экзамен он держал 4 ноября, а 10 ноября приказом по школе был уже зачислен «на службу в лейб-гвардии Гусарский полк» кандидатом.

Настоящее письмо является ответом на письмо А. М. Верещагиной от 13 октября (см.

с. 525).

Александра Михайловна Верещагина (1810–1873) была племянницей Екатерины Аркадьевны Столыпиной, невестки Е. А. Арсеньевой; поэтому Лермонтов называет ее «кузиной». Когда Лермонтов учился в Московском университетском пансионе, а потом в университете, он постоянно бывал у А. М. Верещагиной, которая жила с матерью, и сопровождал ее и Е. А. Сушкову на гулянья и вечера. После отъезда Лермонтова в Петербург он в течение нескольких лет переписывался с А. М. Верещагиной. Из этой оживленной переписки до нас дошли только два письма Лермонтова и отрывки из трех писем А. М. Верещагиной (см. с. 525, 528, 529). Как нам известно, многие письма Лермонтова к А. М. Верещагиной были позже уничтожены ее матерью, так как они «были крайне саркастичны и задевали многих» (Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 6, 1891, с. 205).

В 1836 г. А. М. Верещагина уехала за границу, а в 1837 г. вышла замуж за дипломата Вюртембергского королевства барона Карла

фон Хюгеля. Ей посвящена шутовская «Баллада» («До рассвета поднявшись, перо очинил») (см. наст. изд., т. 1, с. 521, 622). У А. М. Верещагиной были альбомы со стихами и рисунками поэта. Эти альбомы после смерти А. М. Верещагиной-Хюгель перешли к ее дочери графине Берольдинген, жившей около Штутгарта в поместье Хохберг. В настоящее время альбомы находятся в США, в библиотеке Колумбийского университета в Нью-Йорке и в замке Вартхаузен, в архиве семьи фон Кениг, ФРГ (см.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы, с. 7 – 121).

В письме говорится об уходе Лермонтова из Московского университета. Этот уход, оформленный как добровольный, всё же был вынужденным, ибо после столкновения с реакционными профессорами правление Московского университета «посоветовало» ему покинуть университет. 1 июня 1832 г. Лермонтов подал прошение об увольнении его «по домашним обстоятельствам» и просил снабдить его «надлежащим свидетельством для перевода в имп. Санкт-петербургский университет». Свидетельство было выдано,

но в Петербургском университете в это время был введен новый учебный план, рассчитанный на четыре года, и Лермонтову отказались зачесть предметы, прослушанные в Московском университете. Начинать университетский курс заново Лермонтов не захотел и после длительной внутренней борьбы в октябре 1832 г. решил поступить в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

### **13. М. А. Лопухиной**

Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1863, № 5–6, стлб. 417–418, с пропусками. Полностью – в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1, 1882, с. 522–524.

Письмо написано 19 июня 1833 г. Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Лермонтов посещал в течение первого учебного года только два месяца из-за повреждения ноги при падении с лошади в манеже. Это, однако, не помешало ему успешно заниматься, что сулило скорое «освобождение», т. е. окончание школы. Вместе с тем Лермонтов испытывал в это время довольно

сильное влияние окружавшей его военной среды, сказавшееся и на его настроении. Он больше не жалуется на нездоровье, охотно обсуждает светские и семейные новости, говоря о них без того сарказма, который мы видели в письмах 1832 г. Упоминая о женитьбе князя, Лермонтов имеет в виду сватовство кн. Николая Николаевича Трубецкого (сына Николая Сергеевича Трубецкого и Екатерины Петровны, урожденной Мещерской), который сделал предложение сестре М. А. Лопухиной – Елизавете Александровне.

Такой же светской новостью явилась и просьба передать «кузине», т. е. А. М. Верещагиной, что у «нее будет любезный» кавалер И. Я. Вадковский (дальний родственник Лермонтова). Полковник полка, в который был зачислен Вадковский, женился на его двоюродной сестре Прасковье Александровне Воейковой. П. А. Воейкова приходилась двоюродной сестрой и А. М. Верещагиной.

#### **14. М. А. Лопухиной**

Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1863, № 5–6, стлб. 416–420, с пропусками. Полностью – в издании: Сочинения Лермон-

това в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1. 1882, с. 525–528.

В этом письме от 4 августа 1833 г. еще сильнее, чем в предыдущем, видны перемены, происшедшие в Лермонтове после поступления в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. А. П. Шан-Гирей вспоминал: «Нравственно Мишель в школе переменялся не менее, как и физически, следы домашнего воспитания и женского общества исчезли; в то время в школе царствовал дух какого-то разгула, кутежа, бамбощерства; по счастью, Мишель поступил туда не ранее девятнадцати лет и пробыл там не более двух; по выпуске в офицеры все это пропало, как с гуся вода» (Воспоминания, с. 39). Здесь надо отметить, что Лермонтов поступил в школу не 19, а 18 лет.

О свадьбе кн. Трубецкого см. в предыдущем письме.

## **15. М. Л. Симанской**

Письмо впервые опубликовано в «Известиях Лермонтовского и Исторического музеев Николаевского кавалерийского училища», 1916, № 1, с. 72–73.

Письмо адресовано Марии Львовне Симанской (ум. 30 декабря 1878 г.) – дочери псковского помещика, действительного статского советника Льва Александровича Симанского. М. Л. Симанская приходилась Лермонтову дальней родственницей, почему он и называет ее кузиной.

Письмо вызвано следующими обстоятельствами: 17 февраля 1834 г. умер двоюродный брат Лермонтова Михаил Григорьевич Столыпин; его похороны 20 февраля совпали с днем именин Л. А. Симанского.

### **16. М. Л. Симанской**

Записка впервые опубликована в «Известиях Лермонтовского и Исторического музеев Николаевского кавалерийского училища», 1916, № 1, с. 72–73.

Адресована, как и предыдущее письмо, Марии Львовне Симанской. Датируется между приездом Лермонтова в Петербург и свадьбой М. Л. Симанской. В 1839 г. она вышла замуж за гвардейского офицера, а впоследствии генерал-лейтенанта корпуса жандармов Д. Н. Дурново (ум. 10 мая 1888 г.).

### **17. М. А. Лопухиной**

Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1863, № 5–6, стлб. 424–426, с пропусками. Полностью – в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1, 1887, с. 456–460.

Письмо написано Лермонтовым 23 декабря 1834 г., через месяц после окончания Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, из которой он был выпущен в лейб-гвардии Гусарский полк 22 ноября 1834 г. Полк стоял в Софии, предместье Царского Села, по службе Лермонтов часто бывал в Царском Селе, но большую часть времени всё же проводил в Петербурге.

Судя по «Запискам» Е. А. Сушковой, она впервые после трехлетнего перерыва встретила с Лермонтовым 4 декабря 1834 г. А. А. Лопухин, который в то время считался женихом Е. А. Сушковой, приехал в Царское Село, по всей видимости, 21 декабря.

### **18. А. М. Верещагиной**

Впервые частично опубликовано в «Русском вестнике», 1882, № 3, с. 337, 339–342. Полностью – в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести то-

мах, т. 5. 1891, с. 405–408.

Письмо написано весной 1835 г., вскоре после получения Лермонтовым известия о предстоящей свадьбе В. А. Лопухиной («m-lle Varbe») с Н. Ф. Бахметевым. По свидетельству А. П. Шан-Гирея, «чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно... в начале своем оно возбудило взаимность», но «впоследствии, в Петербуге, в гвардейской школе временно заглушено было новою обстановкой и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины». А. П. Шан-Гирей присутствовал весной 1835 г. при получении Лермонтовым известия о том, что Лопухина выходит замуж за Н. Ф. Бахметева: «Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: „вот новость – прочти“, и вышел из комнаты» (Воспоминания, с. 36, 41–42).

Свадьба Варвары Александровны (состоявшаяся в мае 1835 г. в Москве) не прервала ее дружбы с Лермонтовым. В конце 1835 г. он, проездом из Петербурга в Тарханы, останавливался в Москве и, по всей вероятности, виделся с В. А. Бахметевой.

Лермонтов сделал для нее акварельный автопортрет в бурке на фоне кавказских гор. В 1838 г., проездом за границу, В. А. Бахметева остановилась с мужем в Петербурге. «Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочно, а сам поскакал к ней, – пишет А. П. Шан-Гирей, приводя свой разговор с Бахметевой. – „Ну, как вы здесь живете?“ – „Почему же это вы?“ – „Потому, что я спрашиваю про двоих“. – „Живем как бог послал, а думаем и чувствуем как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского через два часа“. – Это была наша последняя встреча; ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть» (Воспоминания, с. 44). 8 сентября 1838 г. Лермонтов послал Варваре Александровне авторизованный список «Демона» (редакция, писанная им на Кавказе и оконченная в Петербурге).

В. А. Бахметева была несчастлива в браке.

Умерла она 9 августа 1851 г. Родственники Варвары Александровны, и в особенности Н. Ф. Бахметев (ум. в 1884 г.), уничтожили ее переписку с Лермонтовым и сделали все возможное для того, чтобы не оставить каких бы то ни было следов этой многолетней привязанности. До 1890 г. имя Лопухиной даже не появлялось в печати. Опубликование воспоминаний А. П. Шан-Гирея задержалось потому, что в этих воспоминаниях сообщалось об исключительной роли В. А. Лопухиной в жизни и творчестве Лермонтова. (Подробно об этом см.: *Н. П. Пахомов. Подруга юных дней. Варенька Лопухина*. М., 1975).

Содержащийся в настоящем, как и в предыдущем, письме рассказ Лермонтова о его отношениях с Е. А. Сушковой подтверждает рассказ в ее воспоминаниях (см. *Е. А. Сушкова-Хвостова. Записки*. 1928. Л., с. 201–218; ср. в «Княгине Лиговской»).

Недавно на эту тему появилась новая работа: *А. Глассе. Лермонтов и Е. А. Сушкова* (в кн.: *М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы*, с. 80).

**19. А. М. Гедеонову**

Впервые опубликовано в «Литературной газете», 1940, 15 мая, № 27.

На письме имеется помета: «31 декабря», сделанная, очевидно, в Дирекции императорских театров по получении письма, но написано оно, надо полагать, ранее, около 20 декабря 1835 г., так как 20 декабря Лермонтов получил отпуск «по домашним обстоятельствам в Тульскую и Пензенскую губернии на шесть недель» и уехал из Петербурга.

Директор имп. с. – петербургских театров Александр Михайлович Гедеонов (1791–1887) пользовался большим влиянием, но был далек от истинного понимания искусства. М. И. Глинка в одном из писем упоминал, что «искусства для Гедеонова не существует». Знакомство Лермонтова с А. М. Гедеоновым произошло через С. А. Раевского и А. Д. Киреева, который служил управляющим в Дирекции имп. театров в Петербурге и был двоюродным братом С. А. Раевского. Впоследствии Киреев был издателем «Героя нашего времени» и «Стихотворений М. Лермонтова». В «Описи письмам и бумагам л. – гв. Гусарского полка корнета Лермантова» упоминается

«Письмо известного Раевского к Лермонтову, в котором первый поздравляет его с счастливым успехом написанной пиесы и приглашает его к Кирееву, который предполагал представить Лермантова к г. Гедеонову» (*М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, изд. Академии наук СССР, т. VI, 1957, с. 473*). Это письмо не сохранилось. Не исключено, что при встрече Лермонтова с Гедеоновым речь шла о постановке «Маскарада». Под «успехом пиесы» возможно надо понимать успех ее во время предварительного чтения в узком кругу избранных лиц.

## **20. С. А. Раевскому**

Впервые опубликовано в «Русской старине», 1884, № 5, с. 389–390, с пропусками. Полностью – в издании: *М. Ю. Лермонтов, Полное собрание сочинений в пяти томах, под ред. Б. М. Эйхенбаума. Изд. «Academia», т. 5. 1937, с. 387–388.*

Святослав (Святополк) Афанасьевич Раевский (1808–1876) – ближайший друг Лермонтова. Он был крестником Е. А. Арсеньевой и в детстве долго жил в Тарханах вместе с Лермонтовым. В 1823 г. Раевский поступил в Мос-

ковский университет, где в течение пяти лет слушал лекции на Нравственно-политическом, Словесном и Физико-математическом отделениях. По окончании университета С. А. Раевский приехал в Петербург и в 1831 г. поступил на службу в Министерство финансов. После переезда Е. А. Арсеньевой с Лермонтовым в Петербург, по словам Раевского, в ее доме ему «предложены были... стол и квартира». Лермонтов имел «особую склонность к музыке, живописи и поэзии», поэтому у обоих свободные «от службы часы проходили в сих занятиях» («Объяснение губернского секретаря Раевского о связи его с Лермонтовым и о происхождении стихов на смерть Пушкина»: *П. Е. Щеголев. Книга о Лермонтове*, вып. I. Л., 1929, с. 262–265). Раевский был близок к литературным кругам и сам печатался в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», которые издавал его товарищ по университету А. А. Краевский. По утверждению А. П. Шан-Гирея, Лермонтов познакомился с Краевским через С. А. Раевского. 21 февраля 1837 г. Раевский был арестован по распоряжению дежурного генерала Главного штаба гр.

П. А. Клейнмихеля за распространение стихов Лермонтова «Смерть Поэта» (см. с. 500). О С. А. Раевском см. статью Н. Бродского «Свято-слав Раевский, друг Лермонтова» (Лит. насл., т. 45–46, 1948, с. 301–322).

Уволенный «в отпуск по домашним обстоятельствам» Лермонтов оставил при отъезде из Петербурга в декабре 1835 г. С. А. Раевскому ряд хозяйственных и литературных поручений. Среди них были хлопоты о получении цензурного разрешения на вторую редакцию «Маскарада», названного в письме Лермонтова «Арбенин». В письме директору императорских с. – петербургских театров А. М. Гедеонову (см. предыдущее письмо) Лермонтов писал, что пьеса «Маскарад» «подарена» им Раевскому. Тем самым С. А. Раевский получал возможность вести переговоры с Дирекцией имп. театров о постановке пьесы в отсутствие Лермонтова.

В словах о новой драме, «взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве», Лермонтов подразумевает пьесу «Два брата» (см. наст. изд., т. 3). «Происшествие» – встреча с В. А. Лопухиной, незадолго до того, в мае

1835 г., вышедшей замуж за Н. Ф. Бахметева.

После двух лет засухи, во время которой Е. А. Арсеньева, как и все пензенские помещики, испытывала недостаток в деньгах, в 1835 г. в связи с хорошим урожаем ее материальное положение улучшилось. Это дало ей возможность, как и пишет Лермонтов, весной 1836 г. переехать из Тархан, где она жила с 25 июля 1835 г., в Петербург.

## **21. Е. А. Арсеньевой**

Впервые опубликовано в «Огоньке», 1949, № 42, с. 15.

Это письмо, как и два следующих, написано Лермонтовым весной 1836 г., после возвращения в Петербург из Тархан, во второй половине марта. Все три письма, посвященные семейным и хозяйственным делам, адресованы им Е. А. Арсеньевой, которая приехала в Петербург вслед за внуком в мае 1836 г.

Елизавета Алексеевна Арсеньева (1773–1845) – дочь богатого помещика Алексея Емельяновича Столыпина, упрочившего свое состояние винными откупами. В 1794 г. Елизавета Алексеевна вышла замуж за гвардии поручика Михаила Васильевича Арсеньева

(1768–1810). В ноябре того же года Арсеньевы купили у И. А. Нарышкина село Тарханы (ныне Лермонтово) в Пензенской губернии, в 14 верстах от Чембара, и поселились там. В 1795 г. у Арсеньевых родилась дочь Мария. Потеряв в 1810 г. мужа, а в 1817 г. дочь, Е. А. Арсеньева всю любовь перенесла на внука, М. Ю. Лермонтова, и много сделала для того, чтобы дать ему отличное воспитание и образование. Елизавета Алексеевна впервые рассталась с внуком весной 1835 г., когда хозяйственные заботы потребовали ее присутствия в Тарханах. Лермонтов, приехав под новый, 1836-й год в отпуск к Е. А. Арсеньевой, уговорил ее возвратиться в Петербург и в связи с этим тотчас по приезде в столицу начал подыскивать подходящую квартиру. В отсутствие Е. А. Арсеньевой Лермонтов снимал в Петербурге квартиру на Владимирском проспекте в доме Обрезкова; значительную часть времени он проводил в полку под Царским Селом.

Лермонтов собирался снять квартиру, которую занимала П. Н. Ахвердова на углу Кирочной и Таврической улиц, в доме Ильина

(Лермонтов ошибочно полагал, что этот дом принадлежал П. Н. Ахвердовой).

Прасковья Николаевна Ахвердова с 1815 по 1830 г. жила в Тифлисе, где сблизилась с грузинской интеллигенцией и особенно подружилась с известным поэтом А. Г. Чавчавадзе. Она воспитывала его дочь Нину Александровну, ставшую впоследствии женой А. С. Грибоедова; была дружна с Кюхельбекером и Грибоедовым, знакома с Пушкиным. В 1830 г. П. Н. Ахвердова переселилась в Петербург, где с 1832 г. постоянно встречалась с Е. А. Арсеньевой. В одной из тетрадей Лермонтова записан ее петербургский адрес (см. с. 354).

В этом и двух следующих письмах неоднократно упоминается переписка, которую вел Лермонтов с Григорием Васильевичем Арсеньевым (1777–1850), родным братом деда поэта. Г. В. Арсеньев был ближайшим поверенным в хозяйственных делах Лермонтова, и ему была выдана 22 января 1836 г. доверенность на оформление раздела сельца Кропотово, Тульской губ., между Лермонтовым и его тетками, сестрами Юрия Петровича. Переписка с Г. В. Арсеньевым продолжалась до

окончания раздела в июле 1837 г. Письма эти не разысканы.

## **22. Е. А. Арсеньевой**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1. 1882, с. 540.

Письмо написано во второй половине апреля, возможно 25 апреля 1836 г., в то время, когда Лермонтов, ожидая возвращения бабушки в Петербург, подыскивал квартиру и был занят устройством разных хозяйственных дел (см. письма 21 и 23). Из слов П. К. Мартынова известно, что Лермонтов купил у генерала М. Г. Хомутова коня «Парадёра», который считался одним из лучших в Гусарском полку.

В письме речь идет об отъезде домой в Апалиху Марии Акимовны Шан-Гирей, которая гостила в Петербурге в течение четырех или пяти месяцев. Сообщается о предстоящем отъезде за границу Елизаветы Аркадьевны Верещагиной (матери приятельницы Лермонтова – Александры Михайловны Верещагиной), которая собиралась ехать вместе с Натальей Алексеевной Столыпной. О предполага-

емой поездке Н. А. Столыпина за границу Лермонтов писал А. М. Верещагиной еще за год до этого, весной 1835 г. (см. с. 392, 394); Н. А. Столыпина это свое намерение осуществила лишь в 1836 г. вместе с Е. А. и А. М. Верещагиными.

О переписке с Г. В. Арсеньевым по поводу раздела Кропотова см. примечания к предыдущему письму.

### **23. Е. А. Арсеньевой**

Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», т. 19–21, 1935, с. 511.

Датируется концом апреля – началом мая 1836 г.

Письма Лермонтова к бабушке и ее ответные письма этого периода полностью не сохранились. Настоящее письмо было, вероятно, последним перед приездом Е. А. Арсеньевой в Петербург.

Упоминаемый в письме Андрей Иванович Соколов (1795–1875), камердинер Лермонтова, был женат на Дарье Куртиной, тарханской ключнице Е. А. Арсеньевой. О Соколове и его жене говорится в письме Е. А. Арсеньевой к Лермонтову от 18 октября 1835 г. (см. с. 530).

Квартира, которую нанял Лермонтов для бабушки, находилась на Садовой улице (ныне дом 61) против пожарной каланчи. Этот дом сохранился и сейчас, но он перестроен.

Об отношениях Лермонтова с вел. кн. Михаилом Павловичем см. ниже (с. 512).

## **24. С. А. Раевскому**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5. 1891, с. 413.

Написано вскоре после 27 февраля 1837 г., в день, когда Лермонтов был отпущен домой после ареста за стихотворение «Смерть Поэта».

Широкое распространение в списках стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта» вызвало строгое расследование. 20 февраля 1837 г. у Лермонтова и С. А. Раевского был произведен обыск. В описи бумаг, обнаруженных у Раевского, под первым номером значится: «Записка журналиста Краевского, от 17-го сего февраля, следующего содержания: „Скажи мне, что случилось с Л-р-вым? Правда ли, что он жил или живет еще теперь не дома? Неужели еще жертва, заклаемая в память

усопшему? Господи, когда всё это кончится!..“» (Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, т. 6, Приложение, с. 14).

Таким образом, уже 17 февраля ходили слухи об аресте Лермонтова, и вполне вероятно, что он действительно в это время находился «не дома».

21 февраля 1837 г. по распоряжению гр. П. А. Клейнмихеля (1793–1869) С. А. Раевский был арестован по делу «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермантовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским». Он был допрошен в этот же день. Черновик своего объяснения С. А. Раевский через одного из сторожей переслал камердинеру Лермонтова А. И. Соколову со следующей запиской: «Против 3 Адмиралтейской части в доме кн. Шаховского – Андрею Иванову. Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку министру. Надобно, чтобы он <Лермонтов> отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже. Если сам не можешь завтра

же поутру передать, то через Афанасия Алексеевича <Столыпина>. И потом непременно сжечь ее» (*М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI. Изд. Академии наук СССР, 1957, с. 773*).

Пакет был перехвачен, а эта записка только увеличила вину Раевского.

На другой день был допрошен Лермонтов. При сличении показаний Лермонтова и Раевского были обнаружены разногласия, из которых наиболее существенными явились различные объяснения по поводу распространения стихов. Лермонтов, не зная содержания показаний Раевского, в своих объяснениях писал: «Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастью, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и, по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому, – и таким образом они разошлись...» (*П. Е. Щеголев. Книга о Лермонтове, вып. I. Л., 1929, с. 266–267*). Раевский же в своих показаниях отметил широкую по-

пулярность стихов, о которой Лермонтов знал, и стремление поэта к их распространению. Пытаясь защитить своего друга, Раевский объяснил поведение Лермонтова желанием «через сие приобрести себе славу» (*М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI. Изд. Академии наук СССР, 1957, с. 773*).

25 февраля 1837 г. последовало «высочайшее повеление», присланное шефу жандармов Бенкендорфу: «Л.-гв. Гусарского полка корнета Лермантова, за сочинение известных вашему сиятельству стихов, перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк; а губернского секретаря Раевского, за распространение сих стихов, и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермантову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение одного месяца, – а потом отправить в Олонецкую губернию, для употребления на службу, – по усмотрению тамошнего гражданского губернатора» (там же, с. 773–774).

Раевский понес более строгое и более продолжительное наказание, чем Лермонтов: приказ о возвращении Лермонтова последо-

вал 11 октября 1837 г., а Раевский был прощен только 7 декабря 1838 г.

Раевский ни в чем не упрекал и даже решительно оправдывал своего друга. Уже много лет спустя, 8 мая 1860 г., в письме к А. П. Шан-Гирею С. А. Раевский объяснял свой арест политической аттестацией, которую ему давали некоторые сослуживцы, и ненавистью к нему одного из «служащих лиц» («Русское обозрение», 1890, № 8, с. 742–743). По-видимому, он имел в виду своего начальника – директора Департамента военных поселений, гр. П. А. Клейнмихеля, который и распорядился об аресте Раевского. Одновременно генерал-адъютант П. А. Клейнмихель был дежурным генералом Главного штаба, где Лермонтов находился под арестом и где велось следствие по делу «О непозволительных стихах...».

В письме Лермонтова упомянут начальник штаба жандармского корпуса Л. В. Дубельт (1792–1862). Он был женат на двоюродной тетке А. А. Столыпина-Монго и бывал в доме Мордвиновых. Через них Лермонтов и мог узнавать подробности о ходе судебного

дела Раевского.

## **25. С. А. Раевскому**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5, 1891, с. 414.

Письмо написано в первых числах марта 1837 г., когда после окончания дела «О непозволительных стихах...» на смерть Пушкина Лермонтов был переведен из здания Главного штаба, где содержался под арестом, на квартиру Е. А. Арсеньевой и там еще несколько дней находился под домашним арестом (почему он и пишет: «Как только позволят мне выезжать»).

## **26. С. А. Раевскому**

Впервые опубликовано в «Русской старине», 1884, № 5, с. 390.

Настоящее письмо написано незадолго до 19 марта 1837 г., когда Лермонтов выехал из Петербурга, направляясь на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк.

Письмо Лермонтова является ответом на не дошедшее до нас письмо С. А. Раевского, в котором он, судя по его письму к А. П. Шан-Гирею, писал Лермонтову о том, что не считает

его виновником своей ссылки. Кроме того, по-видимому, Раевский надеялся на смягчение наказания, а может быть, и на прощение, о чем хлопотала Е. А. Арсеньева, воспользовавшись своим знакомством с Дубельтом. Лермонтов хотел перед отъездом проститься с С. А. Раевским, о чем уже и раньше просил коменданта (см. предыдущее письмо), но его задерживало отсутствие нового мундира. Появляться в городе в форме лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов уже не мог. Первым, к кому Лермонтов должен был явиться в новой форме, был дежурный генерал Главного штаба гр. П. А. Клейнмихель: как директор Департамента военных поселений он же был и начальником Раевского.

## **27. М. А. Лопухиной**

Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1863, № 5–6, стлб. 428–429, с пропусками. Полностью – в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1, 1887, с. 465–466.

Лермонтов выехал из Москвы 10 апреля 1837 г. По дороге он простудился и, прибыв в Ставрополь, поступил в госпиталь, откуда

был переведен «весь в ревматизмах» (см. письмо 29, с. 403) в Пятигорский военный госпиталь «для пользования минеральными водами». Письмо к М. А. Лопухиной написано 31 мая 1837 г., вскоре после приезда в Пятигорск. Поселился Лермонтов в доме полковницы Тарановской (ныне дом 16 по Лермонтовской ул.), рядом с домом В. И. Чилаева (ныне Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова), в котором поэт жил летом 1841 г.

После летней экспедиции 1837 г. на Кубань предполагалась «осенняя экспедиция» на побережье Черного моря (в ней Лермонтов и думал принять участие), но она была отменена по случаю поездки Николая I по Закавказью и Кавказу.

## **28. Е. А. Арсеньевой**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1. 1882, стр. 540–541.

Письмо послано Лермонтовым из Пятигорска, где Лермонтов лечился на водах.

Предполагалось, как пишет Лермонтов, что Николай I во время своей инспекционной поездки по Кавказу будет производить в Ана-

пе смотр эскадрона Нижегородского драгунского полка, к которому Лермонтов был причислен по распоряжению барона Г. В. Розена, командира Отдельного кавказского корпуса, главнокомандующего Грузией с 1831 по 1837 г. (см.: Лит. насл., т. 45–46, 1948, с. 746–749). Там же должен был находиться отряд генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова (1785–1838), командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории. В дальнейшем этот план был изменен. Николай I произвел 10 октября 1837 г. на Дидубийском поле под Тифлисом смотр частям Кавказского корпуса, среди которых были четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка, найденные царем в отличном состоянии.

В это же время на Кавказе находился близкий друг Лермонтова, его двоюродный дядя Алексей Аркадьевич Столыпин (1816–1858), по прозвищу Монго. Он изображен Лермонтовым в поэме «Монго» (см. наст. изд., т. 2, с. 326). В 1837 г. А. А. Столыпин был офицером лейб-гвардии Гусарского полка и поехал на Кавказ «охотником» (так назывались солдаты и офицеры, добровольно вызвавшиеся на ка-

кое-либо дело, требующее отваги и риска). На Кавказ ежегодно «охотниками» отправлялось по два офицера от каждого гвардейского полка.

## **29. С. А. Раевскому**

Впервые опубликовано в «Русском обозрении», 1890, № 8, с. 741–742.

В первой половине сентября Лермонтов уехал с Кавказских минеральных вод и через Ставрополь и укрепление Ольгинское прибыл в Тамань для дальнейшего следования в Анапу или Геленджик, где находился отряд генерала Вельяминова, готовившийся к встрече Николая I. После некоторой задержки в Тамани Лермонтов вынужден был вернуться 29 сентября в Ольгинское. Принять участие в военных действиях ему не пришлось, так как первая экспедиция 1837 г. против горцев к этому времени уже окончилась, и с 29 сентября военные действия, по случаю приезда царя, были временно прекращены. В тот же день Лермонтов получил приказ отправиться в свой полк в Закавказье. Когда именно Лермонтов прибыл в полк и каков был его маршрут летом и осенью 1837 г., до сих пор точно

не установлено. По его собственным словам, он изъездил Кавказскую линию, образуемую цепью укрепленных казачьих станиц, степных крепостей и казачьих постов, которая проходила от Каспийского моря по Тереку и затем по Кубани до Черного моря. Лермонтов пишет, что он странствовал, «одетый по-черкесски»; речь идет о походной форме нижегородских драгун – черкеске с газырями на груди и бурке. Поездка и пребывание Лермонтова «в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии» возможно связаны с кубинским восстанием, поднятым сторонниками Шамиля в сентябре 1837 г. Для ликвидации восстания из Кахетии (из местечка Караагач) были отправлены в Кубу два эскадрона Нижегородского драгунского полка. До Кубы «нижегородцы» не дошли – восстание было уже подавлено – и остановились в Шемахе, где, очевидно, и догнал их Лермонтов, следовавший в полк из Тифлиса. Здесь, вероятно, и произошла та стычка с лезгинами, о которой он пишет. Как попал Лермонтов в Шушу, которая находится ближе к южной границе Закавказья, не ясно. Возможно, что А. П. Шан-Гирей, публикуя текст

письма, автограф которого не сохранился, ошибочно прочел «Шуша» вместо «Нуха», через которую Лермонтов не мог не проехать, следуя из Шемахи в Кахетию (об этом подробнее см.: *И. Андроников. Исследования и находки*, с. 264–269).

Во время пребывания в Грузии Лермонтов в полку был занят мало, так как строевую службу, которую он называет «фронтом», кавказские войска не несли. К этому периоду и относятся новые знакомства поэта с людьми «очень порядочными». Нам известно, что Лермонтов в Грузии встречался с начальником штаба Отдельного кавказского корпуса В. Д. Вольховским, бывшим лицейским приятелем Пушкина, удаленным на Кавказ за связь с декабристами, подружился с этом-декабристом А. И. Одоевским. Можно предположить, что Лермонтов был знаком и с представителями грузинской интеллигенции – с поэтом А. Г. Чавчавадзе, его дочерью Н. А. Грибоедовой и их друзьями, а уроки азербайджанского («татарского») языка брал у известного азербайджанского поэта, драматурга и философа Мирза Фатали Ахундова (об

этом см. в упомянутой выше книге И. Андроникова).

Произведенный Николаем I смотр четырьмя эскадронам Нижегородского драгунского полка косвенно повлиял на судьбу Лермонтова. 11 октября 1837 г., на другой день после смотра, в высочайшем приказе по кавалерии было объявлено о переводе «Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермантова лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом». Приказ был опубликован только 1 ноября 1837 г. в «Русском инвалиде» (№ 273). До Караагача, штаб-квартиры Нижегородского драгунского полка, этот приказ дошел только в начале 20-х чисел ноября; Лермонтов был выключен из списков полка 25 ноября.

Перевод в Гродненский гусарский полк, расквартированный в Селищенских казармах, в районе аракчеевских военных поселений под Новгородом, не радовал Лермонтова. Но в Гродненском гусарском полку Лермонтов пробыл недолго; уже 9 апреля 1838 г. был опубликован приказ о его переводе обратно в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший в

Царском Селе.

Сомнения по поводу предстоящей судьбы и вызвали у Лермонтова впервые здесь высказанную мысль об отставке или попытке добиться разрешения участвовать в хивинских походах под начальством командира Отдельного оренбургского корпуса генерал-адъютанта гр. В. А. Перовского (1794–1857). Эти походы состоялись в 1839–1840 гг. и окончились полной неудачей.

Лермонтов выехал из Тифлиса на север по Военно-Грузинской дороге в первых числах декабря. Письмо написано, вероятно, незадолго до отъезда.

### **30. П. И. Петрову**

Впервые опубликовано в «Литературном сборнике» (I, Кострома, 1928, с. 1).

На письме приписка Е. А. Арсеньевой:

*Не нахожу слов, любезнейший Павел Иванович, благодарить вас за любовь вашу к Мишеньке, и чувства благодарности навсегда останутся в душе моей. Приезд его подкрепил слабые мои силы. Лета и горести совершенно изнурили меня, а Гродненский полк не успо-*

*коит. Не вздумайте ли в Петербург побывать, чего бы очень желала. Милых детей целую и остаюсь готовая к услугам Елизавета Арсеньева. 1838 года 1 февраля.*

В конце письма приписка на французском языке М. А. Шан-Гирей:

*Прихожу к тете и застаю ее за письмом к вам, дорогой брат. Уверена, что несколько слов от меня не будут для вас излишни. В Петербурге я веду себя плохо, так как постоянно больна. Сегодня второй день как я выхожу. Знаю, что вас ждут сюда, и мне будет очень досадно, если это не случится во время моего пребывания здесь. Ради бога, не помещай детей в Москве, прошу тебя об этом как о милости. Мои очень выросли, особенно Алексей. Я опять беру Катюшу, она очень хорошая девочка, и я надеюсь, что с божьей помощью она будет моей радостью и моим другом. Целую детей. Молю бога сохранить вас и остаюсь любящим другом вашим.*

*Мария Шангирей.*

Павел Иванович Петров (1790–1871) около

1820 г. женился на Анне Акимовне Хастатовой, дочери родной сестры Е. А. Арсеньевой – Екатерины Алексеевны Хастатовой. С 1834 до конца 1837 г. он был начальником Штаба войск по Кавказской линии и в Черномории. В 1837 г., когда Лермонтов встречался с ним на Кавказе, П. И. Петров был уже вдовцом; его жена умерла в 1836 г. У Петрова было четверо детей: Екатерина (род. в 1820 г.) и Мария (род. в 1822 г.), которых Лермонтов называет в письме «милыми кузинами», сын Аркадий (1825–1895) и младшая Варвара. В детский альбом Аркадия Лермонтов в 1837 г. написал стихотворение «Ну что скажу тебе я спросту?» (см. наст. изд., т. 1, с. 389, 596–597). Сохранились следы и более поздних взаимоотношений Лермонтова с семьей П. И. Петрова. В 1840 г. Лермонтов прислал Павлу Ивановичу автограф «Последнего новоселья». В записной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским в 1841 г., рукою Лермонтова записано: «Семен Осипович Жигимонд» (см. с. 354) – имя мужа Екатерины Павловны, дочери П. И. Петрова (о Петровых см.: «Литературный сборник», I. Кострома, 1928, с. 3 – 10).

## 31. М. А. Лопухиной

Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1863, № 5–6, стлб. 430–432, с пропусками. Полностью – в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1. 1887, с. 468–471.

По дороге с Кавказа Лермонтов приехал в Москву 3 января 1838 г. В Москве он и встретился с А. А. Лопухиным. Во второй половине января Лермонтов уже был в Петербурге, где ему разрешили задержаться для свидания с бабушкой. К этому времени относится знакомство Лермонтова с В. А. Жуковским (1783–1852) и П. А. Вяземским (1792–1878), которые после смерти Пушкина вместе с П. А. Плетневым редактировали «Современник»; в этом журнале вскоре и была напечатана «Тамбовская казначейша» (1838, № 3, с. 149–178). Поэма появилась под названием «Казначейша» с большими цензурными урезками и с заменой в тексте слова «Тамбов» буквой «Т».

В середине февраля Лермонтов выехал в Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений, где был расквартирован

лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. Письмо написано незадолго до отъезда.

«Молитва странника» – см. стихотворение «Молитва» (см.: наст. изд., т. 1, с. 380, 594–595).

## **32. С. А. Раевскому**

Отрывок из письма впервые опубликован в «Русском вестнике», 1882, № 3, стр. 346. Полностью – в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5, 1891, стр. 420–421.

За распространение стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта» С. А. Раевский по высочайшему повелению выехал 5 апреля 1837 г. в ссылку из Петербурга в Олонецкую губернию. В Петрозаводске Раевский служил в качестве чиновника особых поручений при губернаторе. 29 мая 1838 г. Раевскому был разрешен «отпуск в Петербург и к водам морским в Эстландии». 7 декабря 1838 г. Раевский окончательно прощен, и ему дозволено продолжать службу «на общих основаниях». Однако в Петербурге он не устроился и в июне 1839 г. уехал на Кавказ, где поступил на службу в канцелярию кавказского гражданского губернатора в Ставрополе.

Предыдущие письма Раевского и Лермонтова до нас не дошли, но соображения Раевского по поводу отзыва, данного ему Клейнмихелем и имевшего большое значение в его дальнейшей судьбе, нам известны из его письма к А. П. Шан-Гирею («Русское обозрение», 1890, № 8, с. 742–743).

### **33. А. И. Философову**

Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», т. 45–46, 1948, с. 30–31.

Письмо адресовано Алексею Илларионовичу Философову (1800–1874) – адъютанту вел. кн. Михаила Павловича, с 1838 г. генералу, воспитателю сыновей Николая I. А. И. Философов был женат на племяннице Е. А. Арсеньевой, Анне Григорьевне Столыпиной, почему Лермонтов и называет его «дорогим дядей». Принимая участие в судьбе поэта, Философов высоко ценил Лермонтова и неоднократно хлопотал за него, используя свои связи с двором.

Письмо написано в 1838 г. (на автографе есть карандашная помета с этой датой). 22 сентября по приказанию вел. кн. Михаила Павловича за очередную гусарскую шалость

(появление на параде со слишком короткой саблей) Лермонтова посадили под арест на Царскосельскую гауптвахту на 21 день.

Узнав об аресте внука, Е. А. Арсеньева заболела, а Лермонтов просил освободить его на один день для свидания с ней, опасаясь рокового исхода. Философов сообщил это вел. кн. Михаилу Павловичу, и свидание состоялось (см. *И. А. Гладыш и Т. Г. Динесман. Архив А. М. Верещагиной. – Зап. отд. ркп. Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, вып. 26. М., 1963, с. 45; ср.: Лермонтов в переписке Карамзиных. – В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы, с. 348–354).*

### **34. А. М. Верещагиной-Хюгель**

Впервые опубликовано И. Л. Андрониковым в статье «Сокровища замка „Хохберг“» (*Известия, 1962, 15 декабря*); то же в его книге 1964 г. «Лермонтов. Исследования и находки» (с. 219).

Представляет собою приписку в письме Елизаветы Аркадьевны Верещагиной от 16 (28) ноября 1838 г. к дочери, А. М. Верещагиной, жившей в это время в Париже, где ее муж, К. Хюгель, служил в Вюртембергском по-

сольстве. В своем письме Е. А. Верещагина сообщает дочери петербургские новости: Е. А. Сушкова вышла замуж за родственника Лермонтова дипломата А. В. Хвостова, Лермонтов присутствовал на свадьбе, обещает дать списать для А. М. Верещагиной новые стихи и т. д.

### **35. М. А. Лопухиной**

Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1863, № 5–6, стлб. 433–435.

Письмо написано в конце 1838 г. и представляет собой яркую характеристику великосветского общества. В словах Лермонтова о стихах, в которых он оскорблял «весь этот свет», подразумеваются заключительные строки стихотворения «Смерть Поэта».

О попытках получить отпуск Лермонтов писал также брату Марии Александровны – А. А. Лопухину (см. с. 415).

### **36. А. А. Лопухину**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5, 1891, с. 424–425. По утверждению П. А. Висковатова, последняя часть письма оторвана, автограф не сохра-

нился.

Алексей Александрович Лопухин (1813–1872) – сын Александра Николаевича Лопухина и Екатерины Петровны, урожденной Верещагиной. С Лопухиными Лермонтов познакомился еще в детстве, как только приехал в Москву для подготовки в Московский университетский благородный пансион. А. А. Лопухин был одним из ближайших друзей поэта. Они одновременно учились в Московском университете и расстались только в 1832 г., когда Лермонтов уехал в Петербург. В это время Лопухин пережил серьезное увлечение Е. А. Сушковой.

В течение ряда лет Лермонтов и Лопухин переписывались. В «Описи письмам и бумагам л. – гв. Гусарского полка корнета Лермонтова», составленной в 1837 г. при обыске в квартире Лермонтова, между прочим упоминаются и письма, писанные Лермонтову «неким Лопухиным». Эти письма позже хранились у С. А. Раевского. До нас дошли только несколько выписок, сделанных В. Х. Хохряковым (см. с. 525–528).

В 1838 г. А. А. Лопухин женился на княж-

не Варваре Александровне Оболенской (1820–1873). А. А. Лопухин служил в Московской синодальной конторе.

Письмо датируется концом февраля – первой половиной марта 1839 г. на основании помещенного в нем стихотворения, посвященного сыну А. А. Лопухина Александру, который родился 13 февраля 1839 г.

Стихотворение «Ребенка милого рожденья» – см. наст. изд., т. 1, с. 409, 600.

### **37. И. Тургеневу**

Впервые опубликовано в журнале «Огонек», 1939, № 25–26, с. 7.

Александр Иванович Тургенев (1784–1845) – брат декабриста Н. И. Тургенева, друг Пушкина, Жуковского, Вяземского. С Лермонтовым А. И. Тургенев познакомился впервые как с автором стихотворения «Смерть Поэта». 2 февраля 1837 г. он записал в своем дневнике: «Стихи Лермонтова прекрасные» (*П. Е. Щеголев. Книга о Лермонтове, вып. I. Л., 1929, с. 256*). После возвращения Лермонтова из ссылки Тургенев познакомился с ним лично и часто встречался у общих знакомых, в особенности у Карамзиных.

Данное письмо Лермонтова А. И. Тургеневу, написанное в декабре 1839 г., связано с обострением отношений поэта с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом и является ответом на запрос Тургенева о тексте стихотворения «Смерть Поэта».

8 апреля 1840 г. А. И. Тургенев писал по этому поводу П. А. Вяземскому: «Дело вот как было: барон Д'Андре, помнится, на вечеринке у Гогенлоге, спрашивает меня, правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина, что Барант желал бы знать от меня правду... На другой же день встретил я Лермонтова и на третий получил от него копию со строфы; через день или два, кажется, на вечеринке или на бале уже у самого Баранта, я хотел показать эту строфу Андре; но он прежде сам подошел ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию» (Остафьевский архив, т. IV, 1899, с. 112–113). Бал должен был состояться во французском посольстве 2 января 1840 г. (см.: Лит. насл., т. 45–46, 1848, с. 410).

Приведенный в письме отрывок из стихотворения «Смерть Поэта» цитируется Лермонтовым с небольшими разночтениями по сравнению с окончательным текстом (ср. наст. изд., т. 1, с. 372–374, 591–593).

### **38. А. П. Шувалову**

Впервые, в виде факсимиле, воспроизведено в «Литературном наследстве», т. 58, 1952, с. 485.

С графом Андреем Павловичем Шуваловым (1816–1876) Лермонтов служил в лейб-гвардии Гусарском полку. Записка датируется временем между весной 1838 г., когда Шувалов вернулся из ссылки с Кавказа, где он служил в войсках Кавказского корпуса, и 10 марта 1840 г., когда Лермонтов был арестован за дуэль с де Барантом и затем переведен в Тенгинский полк на Кавказ.

Шувалов был участником так называемого «Кружка шестнадцати»; в этот кружок входил также Алексей Аркадьевич Столыпин, которому, как вспоминал М. Н. Лонгинов, принадлежала собака с кличкой Монго (Воспоминания, с. 155). По-видимому, в этом письме речь идет именно об этой собаке, переданной или

проданной А. П. Шувалову.

### **39. К. Ф. Опочинину**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения Лермонтова в двух томах, под ред. П. А. Ефремова, т. 1. 1887, с. 475.

На автографе рукою К. Ф. Опочинина поставлена дата «1840, апреля 3», но, вероятно, записка написана раньше, так как 3 апреля 1840 г. Лермонтов находился под арестом за дуэль с де Барантом и не мог нести караула и выехать из Петербурга. Предположение, что Лермонтов этой запиской в иносказательной форме прощается с Опочининым перед ссылкой на Кавказ, опровергается тем, что приказ о переводе его в Тенгинский пехотный полк состоялся только 13 апреля.

Записка эта, адресованная штабс-ротмистру лейб-гвардии Конного полка, флигель-адъютанту Константину Федоровичу Опочинину (1808–1848), вероятно, была просто шуткой. Лермонтов бывал у Опочинина и играл с ним в шахматы. По-видимому, неожиданный приказ помешал одному из таких визитов. Лермонтов решил пошутить. Первая часть записки кончается как бы угрозой: «...je ne serai

plus...» («меня уже не будет...»), которая, если перевернуть лист, объясняется просто: «à Pétersbourg» («в Петербурге»).

## **40. Н. Ф. Плаутину**

Впервые опубликовано в журнале «Век», 1862, № 3, с. 57–58, с искажениями. Полностью – в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5, 1891, с. 426–427.

Письмо адресовано командиру лейб-гвардии Гусарского полка Николаю Федоровичу Плаутину (1794–1866), непосредственному начальнику Лермонтова по службе, и содержит объяснение по поводу происшедшей 18 февраля 1840 г. дуэли Лермонтова с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом.

По свидетельству А. П. Шан-Гирея, зимой 1839/40 г. Лермонтов был увлечен княгиней М. А. Щербатовой, урожденной Штерич, которой он посвятил стихотворение «На светские цепи» (см. наст. изд., т. 1, с. 428, 603). За М. А. Щербатовой ухаживал и де Барант. В феврале 1840 г. враги Лермонтова передали де Баранту эпиграмму, якобы сочиненную Лермонтовым на него и М. А. Щербатову. На са-

мом деле была использована подошедшая к случаю старая эпиграмма, написанная по-этом еще в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

В письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 8 апреля 1840 г. (см.: Остафьевский архив, т. IV, 1899, с. 112–113) есть указание на то, что в столкновении между Лермонтовым и де Барантом в какой-то степени сказалась позиция Лермонтова в дни гибели Пушкина и его отношение к «сотням беглецов», авантюристам, делавшим карьеру в николаевской России. Хотя истолкование стихотворения «Смерть Поэта», как задевающего честь французской нации, было опровергнуто еще в конце декабря 1839 г., но, как свидетельствует письмо Лермонтова к Н. Ф. Плаутину, национальный мотив всё же имел место в столкновении поэта с де Барантом. Е. П. Ростопчина в своих воспоминаниях также причиной столкновения называет «спор о смерти Пушкина» (Воспоминания, с. 284). Высказывалось мнение, что какую-то роль в возникновении ссоры, приведшей к дуэли, сыграли интриги жены русского консула в Гамбурге Терезы фон

Бахерахт (см.: Лит. насл., т. 45–46, 1948, с. 28–29, 389–432).

Ссора Лермонтова с де Барантом произошла 16 февраля 1840 г. на балу в доме И. С. Лавалля (1761–1846), французского эмигранта. Секундантом Лермонтова был А. А. Столыпин (Монго). Лермонтов, конечно, хорошо знал имя и секунданта своего противника, которым был граф Рауль д’Англес, но в письме к Плаутину сознательно уклонился от выдачи секундантов, как не упомянул имени Щербатовой и истинной причины дуэли.

Письмо датируется началом марта, так как Николаю I стало известно о дуэли лишь около 1 марта, после чего командир полка и потребовал от Лермонтова объяснения.

Материалы судебного дела о дуэли см.: П. Е. Щеголев. Книга о Лермонтове, вып. II. Л., 1929, с. 30–61.

## **41. С. А. Соболевскому**

Впервые (в русском переводе) опубликовано во вступительной статье А. К. Виноградова к «Герою нашего времени», изданному в серии «История молодого человека XIX столетия» (М., 1932, с. 19).

Сергей Александрович Соболевский (1803–1870) был одним из ближайших друзей Пушкина. В июне 1837 г. Соболевский, вернувшись из второго заграничного путешествия, основал в Петербурге бумагопрядильную фабрику. Известный bibliофил и библиограф Соболевский обладал прекрасной библиотекой и охотно снабжал книгами своих друзей.

Записка датируется серединой марта 1840 г., когда Лермонтов был только что арестован за дуэль с де Барантом, именно это он и имеет в виду, говоря о своем «теперешнем положении».

## **42. С. А. Соболевскому**

Впервые опубликовано в книге: *А. К. Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому*. М., 1928, с. 72.

Записка Лермонтова С. А. Соболевскому с просьбой прислать ему двухтомный роман французского писателя Альфонса Карра (1808–1890) «*Sous les tilleuls*» («Под липами») написана им в конце марта – первой половине апреля 1840 г.

Арестованный 10 марта 1840 г. по делу о поединке с де Барантом, Лермонтов был за-

ключен в Петербургском ордонанс-гаузе. 17 марта его перевели на Арсенальную гауптвахту. В конце месяца он снова был препровожден в ордонанс-гауз, но помещен уже не в комнате караульного офицера, где находился прежде, а в особой комнате, устроенной для подсудимых офицеров. Здесь Лермонтов и написал записку Соболевскому.

### **43. В. кн. Михаилу Павловичу**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5, 1891, с. 427–428.

Ниже приводится текст чернового автографа этого письма, впервые опубликованного в «Русской старине», 1872, № 2, с. 295–296:

*Ваше императорское высочество!  
Выписанный по приговору военного суда тем же чином в армию, неся гнев государя императора и ваш, я с благоговением покоряюсь судьбе моей, ценя в полной мере вину мою и справедливость заслуженного наказания. Я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердною и ревностною службой загладить мой проступок, но, получив приказание явиться к гос-*

подину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, к неописанной моей горести, что на мне лежит не одно обвинение за дуэль с господином Барантом и за приглашение его на гауптвахту, но еще самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своею честью, офицер, имевший счастье служить под высоким начальством вашего императорского высочества. Граф Бенкендорф изволил предложить мне написать письму господину Баранту, в котором я бы просил у него извинения в ложном моем показании насчет моего выстрела.

Ваше императорское высочество! Хотя не имею более счастья служить под командой вашею, но ныне осмеливаюсь прибегнуть к высокой вашей защите. Великодушное сердце ваше позволит мне сказать вам со всею откровенностью: могла быть ошибка или недоразумение в словах моих или моего секунданта, личного объяснения у меня при суде с господином Барантом не было, но никогда я не унижался до обмана и лжи.

*Вашему императорскому высочеству осмеливаюсь повторить сказанное мною в суде: я не имел намерения стрелять в господина Баранта, не метил в него, выстрелил в сторону, и это готов подтвердить честью моею. В доказательство намерения моего не стрелять в господина Баранта служит то, что когда секундонт мой Столыпин подал мне пистолет, я ему сказал по-французски: «je tirerai en l'air <я выстрелю в воздух>».*

*Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское высочество соблаговолите взойти в мое трудное положение и защитить меня от незаслуженного обвинения.*

*С благоговейною преданностию имею счастье пребыть вашего императорского высочества всепреданнейший  
Михаил Лермонтов  
Тенгинского полка поручик.*

Письмо написано в то время, когда дело о дуэли Лермонтова с де Барантом было уже закончено и 13 апреля 1840 г. последовала резолюция царя: «Поручика Лермантова пере-

весть в Тенгинский пехотный полк тем же чином» (П. Е. Щеголев. Книга о Лермонтове, вып. II. Л., 1929, с. 53). Эта резолюция противоречила предложению генерал-аудиториата выдержать Лермонтова три месяца в крепости и только после этого выписать в один из пехотных полков. Впредь до выяснения этого противоречия с 13 по 19 апреля Лермонтов продолжал оставаться под арестом. 19 апреля последовало разъяснение военного министра гр. А. И. Чернышева, что царь желал «ограничить» наказание переводом Лермонтова в Тенгинский полк.

После того, как Лермонтов был 20 апреля 1840 г. освобожден из-под ареста и ему была объявлена «высочайшая конфирмация» о переводе на Кавказ, он был вызван к шефу жандармов, главному начальнику III Отделения гр. А. Х. Бенкендорфу (1783–1844), который потребовал от него написать письмо к де Баранту и признать в нем ложность показания на суде о выстреле «на воздух». Лермонтов, при посредстве А. И. Философова, решил прибегнуть к защите командира Гвардейского корпуса вел. кн. Михаила Павловича, который

знал Лермонтова по службе уже несколько лет и относился к нему доброжелательно. Немалую роль, например, сыграло в конце марта – начале апреля 1840 г. ходатайство Михаила Павловича о смягчении приговора, вынесенного Лермонтову по делу о дуэли с де Барантом.

Получив настоящее письмо, Михаил Павлович направил его на рассмотрение Николая I, о чем на автографе имеются пометки, сделанные начальником штаба жандармского корпуса генералом Дубельтом: «Государь изволил читать», «К делу, 29 апреля 1840». Резолюции царя на это письмо не последовало, но Бенкендорф отказался от своих требований, оскорбительных для Лермонтова.

Из Петербурга на Кавказ Лермонтов выехал между 3 и 5 мая.

#### **44. А. А. Вадковской**

Впервые опубликовано в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова в пяти томах, под ред. Д. И. Абрамовича, изд. Академической библиотеки русских писателей, т. 5. 1913, с. 40.

Александра Александровна Вадковская

(1817–1884) – дочь кн. Александра Сергеевича Меншикова, с 1836 г. управлявшего Морским министерством.

Иван Яковлевич Вадковский (ум. в 1865 г.) – муж Александры Александровны, был сыном генерал-майора Я. Е. Вадковского и Е. П. Вадковской, урожденной Елагиной. Родители И. Я. Вадковского жили вместе с сыном в Москве и в 1827–1830 гг. постоянно бывали у Е. А. Арсеньевой. И. Я. Вадковский учился одновременно с Лермонтовым в Московском университете. Лермонтов упоминает о нем в письме от 19 июня 1833 г. к М. А. Лопухиной (см. с. 379).

Настоящая записка датируется предположительно 1838–1840 г. – временем, когда Вадковская гостила у отца. В пользу этого предположения говорит то, что записка обнаружена в архиве А. С. Меншикова; он жил в Петербурге на Галерной ул. в доме Морского министра.

### **45. А. А. Лопухину**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5. 1891, с. 428–429.

В начале июня 1840 г. по пути на Кавказ

Лермонтов остановился в Новочеркасске у начальника штаба Войска Донского Михаила Григорьевича Хомутова (1795–1864), который до 1839 г. был командиром лейб-гвардии Гусарского полка.

В Ставрополь, где находилась главная квартира командующего Кавказской линией, Лермонтов прибыл 10 июня, а 18 июня был «командирован на левый фланг Кавказской линии для участия в экспедиции, в отряде под начальством генерал-лейтенанта Галафеева» (см.: *Л. П. Семенов. Новые документы о Лермонтове.* – Горская мысль, 1922, кн. 3, стр. 39).

## **46. А. А. Лопухину**

Впервые опубликовано в издании: *Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5. 1891, с. 430–431.*

В июне – августе Лермонтов находился в экспедиции против горцев в составе отряда генерала Галафеева. В письме описывается дело 11 июля 1840 г. на реке Валерик (см. стихотворение «Я к вам пишу случайно; право», наст. изд. т. I, с. 451–457, 608–610).

## **47. А. А. Лопухину**

Впервые частично опубликовано в «Русской старине», 1884, № 1, с. 86. Полностью – в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова в шести томах, т. 5, 1891, с. 431–432.

Письмо написано между 16 и 26 октября 1840 г. в крепости Грозной (ныне г. Грозный) на Тереке.

Во время «20-дневной экспедиции в Чечне» отряд генерал-лейтенанта А. В. Галафеева действовал в районе Шали. В этой экспедиции участвовал отряд «охотников» (т. е. добровольцев), вызвавшихся выполнять самые сложные и опасные поручения. Командовал этим отрядом юнкер Руфин Иванович Дорохов (1801–1852) – сын героя Отечественной войны И. С. Дорохова. Р. И. Дорохов служил на Кавказе в Нижегородском драгунском и Навагинском пехотном полках и в линейном казачьем войске; за разные подвиги был несколько раз разжалован в рядовые.

10 октября 1840 г. Р. И. Дорохов был ранен, и командование его отрядом было поручено Лермонтову, который, по отзыву начальства, «езде первый подвергался выстрелам хищ-

ников и во главе отряда оказывал самоотвержение выше всякой похвалы».

Лермонтов командовал дороховским отрядом с 10 по 15 октября, а затем вместе с тем же отрядом принимал участие во второй осенней экспедиции в Малую Чечню с 27 октября по 6 ноября. За участие в экспедициях Лермонтов в конце года был представлен к награждению золотой саблей с надписью «За храбрость». В этой награде Николай I ему отказал (ср. следующее письмо).

### **48. А. И. Бибикову**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5. 1891, с. 432–433.

Письмо адресовано Александру Ивановичу Бибинову (ум. в 1856 г.), родственнику Лермонтова по Арсеньевым. Кроме того, А. И. Бибиков был связан близким родством с Карамзинными, поэтом И. П. Мятлевым, Кушниковыми, т. е. с тем кругом, который Лермонтов особенно охотно посещал в 1838–1841 гг. Как видно из письма, Лермонтов был знаком и с семьей А. И. Бибинова. После выпуска в 1837 г. из Школы гвардейских подпрапорщиков и ка-

валерийских юнкеров А. И. Бибиков был откомандирован на Кавказ, где в 1840–1841 гг. встречался с Лермонтовым и был с ним дружен. Имеются сведения, что одно из стихотворений

1841 г. Лермонтов вписал в альбом А. И. Бибикова. Оно дошло до нас только в немецком переводе Ф. Боденштедта (см.: Стихотворения М. Ю. Лермонтова, не вошедшие в последнее издание его сочинений. Изд. Ф. Шнейдера, Берлин, 1862, с. VI–VII).

Лермонтов предполагал встретиться с А. И. Бибиковым по возвращении на Кавказ, чем и объясняются его просьба не продавать ни «удивительного лова <черкесскую лошадь>, ни кровати, ни седел» и сообщение о покупке для общего обихода множества книг, в том числе Лафатера и Галля. Здесь Лермонтов имеет в виду труды знаменитых френологов – «Искусство познавать людей по чертам лица» (*L'Art de connaître les hommes par la physionomie*. Paris, 1820) Жана-Каспара Лафатера и «Анатомию и физиологию нервной системы вообще и мозга в частности» (*Anatomie et physiologie du système nerveux en général*

et du cerveux en particulier, vol. 1–4. Paris, 1810–1820) Франса-Жозефа Галля. Галль полагал, что индивидуальные свойства человека определяются строением его черепа.

Лермонтов давно интересовался подобными вопросами; так, в «Княгине Лиговской» мы находим ссылку на того же Лафатера (см. с. 112), френология упоминается и в «Герое нашего времени» (см. с. 243).

В письме упоминается о предполагаемом приезде в Ставрополь Мещеринова – очевидно, Дмитрия, в прошлом однополчанина Лермонтова, офицера лейб-гвардии Гусарского полка, окончившего Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров вместе с М. П. Глебовым, Д. А. Столыпным и Д. Д. Оболенским.

Письмо написано Лермонтовым во второй половине февраля 1841 г., во время последнего приезда в Петербург в отпуск, который был ему разрешен по настойчивому ходатайству бабушки для свидания с ней.

Лермонтов приехал в Петербург, как он пишет, «на половине масленицы», т. е. около 5–6 февраля. На другой день он был приглашен

на бал к Александре Кирилловне Воронцовой-Дашковой, урожденной Нарышкиной (1818–1856), которой еще в 1840 г. посвятил стихотворение «К портрету» (см. наст. изд., т. 1, с. 449).

Появление опального офицера на балу, где среди гостей находился вел. кн. Михаил Павлович, привело в негодование дежурного генерала Главного штаба гр. П. А. Клейнмихеля. Но так как сам Михаил Павлович молчал (о чем его просила хозяйка дома – А. К. Воронцова-Дашкова), то было неудобно привлечь Лермонтова к ответственности. Чтобы избежать неприятных объяснений с начальством, хозяйка через внутренние комнаты вывела Лермонтова из залы. Недовольство властей появлением Лермонтова на балу у Воронцовой-Дашковой осложнило его положение и заставило отказаться от намерения немедленно выйти в отставку.

В это же время Лермонтов узнал, что его вычеркнули из «Валерикского представления». За отличие в сражении при реке Валерик в Чечне 11 июля 1840 г. Лермонтов был представлен командующим отрядом на ле-

вом фланге Кавказской линии генерал-лейтенантом А. В. Галафеевым к награде орденом св. Владимира 4-й степени с бантом, но, согласно мнению начальника штаба и отметке корпусного командира, испрашиваемая награда была снижена до ордена св. Станислава 3-й степени (к этому ордену и полагалась красная ленточка с белой каймой). Впоследствии командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютант П. Х. Граббе в рапорте от 3 февраля 1841 г. снова представил Лермонтова «к золотой полусабле», но и в этой награде, уже после смерти Лермонтова, было отказано.

Когда отпуск у Лермонтова подошел к концу, бабушка и друзья стали хлопотать об отсрочке. Особенно старались помочь А. О. Смирнова (Россет) и Е. П. Ростопчина. Можно предположить, что в словах Лермонтова о завязке «новой драмы» содержится намек на отношения с Е. П. Ростопчиной.

Вел. кн. Михаил Павлович оказал содействие, и отсрочка была разрешена, но в апреле 1841 г. Лермонтову неожиданно сообщили приказ П. А. Клейнмихеля покинуть Петер-

бург в 48 часов и ехать на Кавказ в Тенгинский пехотный полк. Это было сделано по настоянию Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и о выходе его в отставку.

Из Петербурга Лермонтов уехал 14 апреля.

## **49. О. С. Одоевской**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 6. 1891, с. 362.

Ольга Степановна Одоевская (1797–1872) – жена В. Ф. Одоевского.

Записка написана на титульном листе книги «Герой нашего времени» (Сочинение М. Лермонтова, часть первая. В типографии Ильи Глазунова и К°, СПб., 1840). Лермонтов использовал заголовок «Герой нашего времени» и чернилами приписал несколько слов, как бы продолжая его.

В этой шуточной записке интересно предложение Лермонтова видеть в «Герое», т. е. Печорине, его самого, что сделано не без иронии, – ср. замечание в предисловии к роману о читателях, которые «очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и

портреты своих знакомых» (см. с. 183).

На обороте переплета книги экслибрис В. Ф. Одоевского: «Bibliothèque du prince W. F. Odoiefski» (о нем см. следующее письмо).

## **50. А. А. Краевскому**

Впервые опубликовано в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, под ред. Арс. И. Введенского, в четырех томах, т. 4. 1891, с. 280, с искажениями.

Андрей Александрович Краевский (1810–1889) – редактор «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» и журнала «Отечественные записки» – изданий, где главным образом печатались произведения Лермонтова.

У Владимира Федоровича Одоевского (1803–1869) – писателя, литературного и музыкального критика, который также принимал близкое участие в издании журнала «Отечественные записки», Лермонтов был 13 апреля 1841 г., накануне отъезда. В это последнее свидание Одоевский подарил Лермонтову записную книжку-альбом (см. с. 481). Лермонтов вписал в подаренную ему записную книжку ряд своих лучших последних стихо-

творений.

На следующий день после этого свидания Лермонтов уезжал на Кавказ. Проводить его пришел А. П. Шан-Гирей. «Пока закладывали лошадей, – вспоминал он потом, – Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому, говорил довольно долго...» (Воспоминания, с. 50). Среди этих поручений и была, видимо, просьба к Краевскому о передаче А. П. Шан-Гирею двух билетов на право получения «Отечественных записок» для себя и для Е. А. Арсеньевой.

### **51. Е. А. Арсеньевой**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 5. 1891, с. 433–434.

Лермонтов проездом на Кавказ прибыл в Москву 17 апреля 1841 г. и остановился в семье своего товарища и бывшего однополчанина Дмитрия Григорьевича Розена (род. в 1815 г., ум. после 1885 г.).

А. А. Столыпин уехал из Москвы на Кавказ 22 апреля, а Лермонтов 23 апреля и нагнал его в Туле. Дальше они ехали вместе.

### **52. Е. А. Арсеньевой**

Впервые опубликовано в «Отчете имп. Публичной библиотеки за 1875 год», с. 107–108.

Лермонтов приехал в Ставрополь 9 мая 1841 г. Свое намерение ехать дальше в крепость Темир-Хан-Шуру (ныне г. Буйнакск) он не осуществил. Вместе с А. А. Столыпным Лермонтов 20 мая прибыл в Пятигорск.

А. П. Шан-Гирей приехал на Кавказ уже после смерти Лермонтова и Е. А. Арсеньевой. В Пятигорске он познакомился с Эмилией Александровной Клингенберг (1815–1891) и женился на ней около 1852–1853 гг. Всю вторую половину жизни А. П. Шан-Гирей прожил на Кавказе и в Закавказье. Умер А. П. Шан-Гирей в Тифлисе 8 декабря 1883 г. и погребен в Пятигорске 21 декабря 1883 г. Воспоминания А. П. Шан-Гирея о Лермонтове, законченные 10 мая 1860 г., во время его поездки в Чембар Пензенской губернии, напечатаны только после его смерти в «Русском обозрении» (Воспоминания, с. 31–53).

### **53. С. Н. Карамзиной**

Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», т. 19–21, 1935, с. 514.

Письмо адресовано Софье Николаевне Карамзиной (1802–1865), дочери писателя и историкографа Н. М. Карамзина, умной, образованной женщине, хозяйке известного литературного салона. В доме Карамзиных бывало много талантливых людей, связанных между собой узами родства, дружбы и общностью эстетических вкусов. Постоянными посетителями их «красной гостиной» были Жуковский, Вяземский, А. И. Тургенев, поэтесса Ростопчина. До самой смерти очень часто у Карамзиных бывал Пушкин.

О знакомстве Лермонтова с Карамзиными ранее было известно очень мало. В настоящее время мы располагаем перепиской С. Н. Карамзиной и Е. Н. Мещерской за 1838–1839 гг. Ниже приводится несколько фактов, извлеченных из этих писем (см.: Лермонтов в переписке Карамзиных. – В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы, с. 323–369).

Лермонтов впервые был представлен Карамзиным в конце августа 1838 г. и почти сразу стал одним из ближайших друзей этого дома. Он бывал у Карамзиных как во время больших «парадных» приемов, так и очень

часто в будни или к «обеду», когда собирался только узкий круг родственников и немногих друзей. Лермонтов был непременным участником балов, любительских спектаклей и других увеселений, которые затевались у Карамзиных. Так, Лермонтов репетировал роль Джоната в пьесе-водевиле Скриба и Мазера «Карантин» («Quarantain»). Одновременно он репетировал также главную роль еще в одной пьесе (название ее нам не известно) и готовился к выступлению в паре с Елизаветой Николаевной Карамзиной в конно-спортивной игре «Карусель», которая должна была разыгрываться парами в манеже Царского Села. Принять участие в генеральной репетиции и спектакле Лермонтову не пришлось, так как он по распоряжению вел. кн. Михаила Павловича был арестован на двадцать один день за появление на параде с «слишком короткой саблей» (см. письмо к А. И. Философову 1838 г., № 33).

Вечера у Карамзиных часто имели литературный характер. Так, однажды Лермонтов присутствовал на «обед», посвященном чтению Ф. Ф. Вигелем (1786–1856) своих «Запи-

сок». В другой раз сам Лермонтов читал только что оконченную новую редакцию «Демона».

Одной из постоянных посетительниц Карамзиных была Александра Осиповна Смирнова, урожденная Россет (1809–1882), которая упоминается в письме. А. О. Смирнова была другом Жуковского, А. И. Тургенева, Вяземского, Пушкина, Гоголя. В 1838–1841 гг. она часто встречалась с Лермонтовым, который посвятил ей стихотворение (см. наст. изд., т. 1, с. 448, 607).

В последний приезд в Петербург в начале 1841 г. Лермонтов также часто бывал у Карамзиных. 12 апреля у них состоялся прощальный вечер перед возвращением его на Кавказ. На следующий день, во время прощания с кн. Одоевским, Лермонтов и получил в подарок записную книжку, о которой он упоминает в письме.

Стихотворение «L'attente» – см. наст. над, т. 1, с. 478, 616.

## **54. Е. А. Аресеньевой**

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Вискова-

това, в шести томах, т. 5. 1891, с. 429–430.

Письмо написано 28 июня 1841 г. в Пятигорске и является последним по времени из всех дошедших до нас писем Лермонтова.

Лермонтов не предполагал первоначально ехать в Пятигорск. Письма к нему адресовались в Ставрополь, в штаб генерала П. Х. Граббе. Потом эти письма были ему пересланы в Пятигорск, чем и объясняются слова Лермонтова о получении им сразу трех писем Е. А. Арсеньевой и деловой бумаги от Степана Ивановича Рыбакова, управляющего из Тархан.

С В. А. Жуковским Лермонтов познакомился в 1838 г. и продолжал встречаться до последнего отъезда из Петербурга в апреле 1841 г. В письме имеются в виду «Стихотворения В. Жуковского (в семи томах). Издание четвертое, исправленное и умноженное, СПб., 1835. Издание книгопродавца Александра Смирдина». В 1839 г. были изданы дополнительно еще два тома.

С Евдокией Петровной Ростопчиной, урожденной Сушковой, Лермонтов был знаком еще в студенческие годы в Москве, когда по-

святил ей стихотворение «Додо» (см. наст. изд., т. 1, с. 238, 573), но настоящая дружба между ними завязалась во время последнего приезда Лермонтова в Петербург в начале 1841 г. В этот период написано стихотворение «Графине Ростопчиной» (см. наст. изд., т. 1, с. 470, 614). В письме Лермонтов просит переслать подаренный ему сборник «Стихотворения графини Евдокии Петровны Ростопчиной» (СПб., 1841), на титульном листе которого она сделала надпись: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому. Петербург, 20-е апреля 1841» (см.: *М. И. Гиллельсон. Последний приезд Лермонтова в Петербург. – Звезда, 1977, № 3, с. 190*). Книга была надписана уже после отъезда Лермонтова из Петербурга и, вероятно, вручена Е. А. Арсеньевой для пересылки на Кавказ.

В 1858 г. Е. П. Ростопчина в виде письма к Александру Дюма-отцу написала воспоминания о знакомстве с Лермонтовым. Эти воспоминания вошли в книгу: *Alex. Dumas. Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage. Bruxelles, 1859, p. 252–260* (русский перевод

см.: П. Роборовский. Кавказ. Путешествия Александра Дюма. Тифлис, 1861, с. 451–461); ср.: Воспоминания, с. 280–286.

## **Письма, приписываемые Лермонтову**

В Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится принадлежавший Лермонтову альбом. На голубом бархатном переплете серебром вышита монограмма «МЛ», а на задней стороне – «1826». В альбом вписаны тексты «Бахчисарайского фонтана» Пушкина и «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского. Перед заглавием «Разные сочинения принадлежат М. Л. 1827 года 6-го ноября» в альбом вклеено несколько листков чуть меньшего формата, на которых неизвестным почерком записаны французские стихи и отрывки из французских писем.

Можно предположить, что это копии с не дошедших до нас писем Лермонтова разных годов – судя по бумаге, чернилам и почерку они сняты вскоре после его смерти.

Мы имеем только отрывки из писем, не содержащие ни одной даты и ни одного имени, поэтому комментировать их весьма трудно.

Впервые опубликовано в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова под ред. и с примеч. проф. Д. И. Абрамовича, в пяти томах, т. 5. 1913, с. 33–34, с искажениями. Полностью – в «Литературном наследстве», т. 45–46, 1948, с. 49–52.

**1. «Охотно извиняю вас...».** По-видимому, письмо написано в январе – начале марта 1840 г., когда Лермонтов жил в Царском Селе и постоянно приезжал в Петербург («в город»). Слова «что касается *меня*, который *появится* в сопровождении *меня самого*» и о двуликом Янусе, то, по всей вероятности, они относятся к «Герою нашего времени», который в это время готовился к изданию. Упоминание о «старом знакомом, приятеле», в беседе с которым невозможно сказать друг другу ничего нового, весьма похоже на тот отрывок из «Героя нашего времени», в котором дана характеристика отношений между доктором Вернером и Печориным (см. наст. том, с. 244). Лермонтов мог, конечно в шутливом тоне, предложить адресату увидеть в Печорине собственное изображение. Напомним, что

вскоре он послал О. С Одоевской свой роман тоже с шутливой запиской на титульном листе, где прямо уподоблял себя Печорину (см. с. 424).

В 1840 г. в России входили в моду издания *in quarto* (в четверть листа). В этом году был задуман сборник «Наши, списанные с натуры русскими», богато иллюстрированный поли-типажами. По цензурным причинам он вышел только в 1841 г., а второй выпуск, для которого Лермонтов написал очерк «Кавказец», вообще не увидел света. В том же 1840 г. вышли в «Отечественных Записках» (т. XII) первые семь глав повести В. А. Соллогуба «Тарантас» и предполагалось вскоре издать ее всю с рисунками Г. Г. Гагарина (вышла она только в 1845 г.).

По всей вероятности, в своем письме Лермонтов имел в виду именно эти две книги, изданные впоследствии *in quarto*.

**2. «Как раз вчера я купил четырех лошадей...».** – Это отрывок из письма, написанного в Петербурге или Царском Селе в 1835–1841 гг., когда Лермонтов держал выезд-

ных лошадей.

**3. «Милостивый государь, – сказал он мне довольно громко...».**

Предполагается, что в этом отрывке Лермонтов рассказывает о столкновении с Руфином Ивановичем Дороховым в начале их знакомства летом 1840 г. на Кавказе. Сам Дорохов (в передаче А. В. Дружинина) так говорил об этом эпизоде: «На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно, – мне показалось, что Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьет и смотрит на меня насмешливо. То, что он был трезвее меня, – совершенная правда, но он вовсе не глядел на меня косо и пил, сколько следует, только, как впоследствии оказалось, – на его натуре, совсем не богатырскую, вино почти не производило никакого действия. Этим качеством Лермонтов много гордился, потому что и по годам, и по многому другому он был порядочным ребенком» (см.: Лит. насл., т. 67, 1959, с. 643; ср.: Э. Герштейн. Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 145, 472–473). Действительно Дорохов был старше Лермонтова на 8 лет и

прославился на Кавказе беззаветной храбростью в боях, а кроме того буйством и многочисленными поединками, за которые не раз был разжалован в рядовые. Вскоре они с Лермонтовым подружились. «В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили, и только неожиданная выручка спасла нас», – рассказывал Дорохов.

Письмо, видимо, написано Лермонтовым между июнем 1840 г. и июлем 1841 г. Адресат письма нам не известен.

#### **4. «Желаю вам приятного путешествия...».**

Лермонтов многих своих родственниц называл кузинами; многие ездили по России и за границу. К сожалению, отрывок настолько незначителен, что не представляется возможным установить, какие две кузины упомянуты в письме. Предположение, что здесь говорится о А. М. Верещагиной, Е. А. или М. А. Лопухиной, ничем реально не подкрепляется. Нет никаких оснований и для датировки письма.

# Письма к Лермонтову

## <Преамбула>

До нашего времени дошла очень незначительная часть писем, адресованных Лермонтову.

В автографах сохранились только два письма – от Е. А. Арсеньевой (9 – в ГПБ) и от В. Ф. Одоевского (10 – в ИРЛИ).

Письма от М. А. Лопухиной (1) и от А. М. Верещагиной (8) известны по тексту, опубликованному А. П. Шан-Гиреем в журнале «Русское обозрение» (1890, № 8, «М. Ю. Лермонтов. Рассказ». с. 724–754), причем письмо от М. А. Лопухиной было им ошибочно приписано «старшей сестре Верещагиной», и только в 1940 г. М. Ф. Николева убедительно доказала, что это письмо от старшей двоюродной сестры А. М. Верещагиной, т. е. от М. А. Лопухиной (см.: М. Ф. Николева. М. Лермонтов. Биографический очерк. Пятигорск, 1940, с. 44–47). Оба приводимые А. П. Шан-Гиреем письма опубликованы им с пропусками, и автографы их

неизвестны.

Письма 2, 3, 4, 5, 6, 7 сохранились только в отрывках, записанных одним из первых собирателей материалов о Лермонтове В. Х. Хохряковым в отдельную тетрадь под названием «Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова». Тетрадь эта хранится в ИРЛИ. Датирована 1857 г. Сюда Хохряков записывал и все те сведения, которые ему удалось собрать о поэте. (О В. Х. Хохрякове см.: *И. Андроников. Лермонтов. Исследования и находки*, с. 563–581). Письма, из которых Хохряков сделал выписки, находились у С. А. Раевского. Эти выписки Хохряков снабдил некоторыми примечаниями со слов Раевского. Автографы писем неизвестны.

**1. От М. А. Лопухиной  
<12 октября 1832 г. Из Москвы в  
Петербург>**

**12** октября. Москва.  
Ваше письмо, помеченное третьим этого месяца, только что до меня дошло. Я не знала, что это день вашего рождения. Я вас поздравляю, дорогой мой, хотя немного поздно. Я не могу вам выразить огорчение, которое причинила мне дурная новость, сообщенная вами. Как, после стольких усилий и трудов увидеть себя совершенно лишенным надежды воспользоваться их плодами и быть вынужденным начать совершенно новый образ жизни? Это поистине неприятно. Я не знаю, но думаю всё же, что вы действовали с излишней стремительностью, и, если я не ошибаюсь, это решение должно было быть вам внушено Алексеем Столыпным, не правда ли?

Я вполне понимаю, насколько вы должны чувствовать себя выбитым из колеи этой переменной, так как вы никогда не были приуче-

ны к военной службе, но и теперь, как всегда, человек предполагает, а бог располагает, и будьте совершенно уверены в том, что всё, что он предполагает в своей бесконечной премудрости, служит несомненно для нашего блага. На военной службе вы так же будете иметь все возможности, чтобы отличиться; с умом и способностями возможно всюду стать счастливым. К тому же сколько раз вы говорили мне, что если бы вспыхнула война, вы бы не захотели оставаться безучастным. Ну вот, вы, так сказать, брошены судьбой на путь, который дает вам возможность отличиться и сделаться когда-нибудь знаменитым воином. Это не может помешать вам заниматься поэзией; почему же? Одно другому не мешает, напротив, вы только станете еще более любезным военным.

Ну вот, мой дорогой, теперь для вас приходит самый критический момент, ради бога, помните, насколько возможно, обещание, данное мне вами перед отъездом. Остерегайтесь слишком быстрого сближения с вашими товарищами, сначала узнайте их хорошо. У вас добрый характер, и с вашим любящим

сердцем вы можете быть быстро покоренным; особенно избегайте ту молодежь, которая бравировует всякими выходками и ставит себе в заслугу глупое фанфаронство. Умный человек должен быть выше всех этих мелочей; это не заслуга, а наоборот, это хорошо только для мелких умов, предоставьте им это и следуйте своим путем.

Простите, мой дорогой друг, что я решаюсь давать вам эти советы; но они мне продиктованы самой чистой дружбой, а привязанность, которую я к вам питаю, заставляет меня желать вам всего лучшего; я надеюсь, что вы не рассердитесь на проповедницу морали, а наоборот, будете за это благодарны, я вас слишком хорошо знаю, чтобы в этом сомневаться.

Вы хорошо сделаете, если пришлете, как вы говорите всё, что вы до сих пор написали; вы можете быть уверены, что я честно сохраню присланное; и вы же будете в восторге, найдя это когда-нибудь. Если вы будете продолжать писать, не делайте этого никогда в школе и не показывайте ничего вашим товарищам, потому что иногда самая невинная

вещь доставляет нам гибель. Я не понимаю, почему вы так редко получаете мои письма? Я вас уверяю, что я не ленюсь и пишу вам часто и пространно. Ваша служба не мешает мне вам писать обыкновенно, и я всегда буду посылать мои письма по старому адресу; скажите мне, не лучше ли их отправлять на имя бабушки?

Я надеюсь, что ваше пребывание в школе не будет для вас препятствием писать мне; если у вас не будет времени делать это каждую неделю, ну тогда хотя бы раз в две недели; но прошу вас, не лишайте меня этого утешения.

Мужайтесь, мой дорогой, мужайтесь! Не позволяйте разочарованию сломить вас, не отчаивайтесь, верьте мне, что всё будет хорошо, это не фразы утешения я вам предлагаю, вовсе нет; я сама не знаю, но что-то мне говорит, что всё будет хорошо. Правда, что теперь мы не увидимся раньше, чем через два года; это действительно горе для меня, но... не для вас, для вас это может быть лучше. В два года можно выздороветь и стать совершенно благоразумным.

Поверьте мне, что я не потеряла способно-

сти угадывать ваши мысли, но что вы хотите, чтоб я вам сказала? Она здорова, по-видимому, довольно весела, вообще ее жизнь такая однообразная, что даже нечего о ней сказать, сегодня как вчера. Я думаю, что вы не очень огорчитесь, узнав, что она ведет такой образ жизни, потому что он охраняет ее от всяких испытаний; но с своей стороны я бы желала для нее немного разнообразия, потому что, что это за жизнь для молодой особы, слоняющейся из одной комнаты в другую, к чему приведет ее такая жизнь? — сделается ничтожным созданием, вот и всё. Ну что же? Угадала ли я вас? То ли это удовольствие, которого вы от меня ожидали?

.....

.....

.....

Мне остается ровно столько места, чтоб попрощаться с моим милым гусаром. Как бы я хотела видеть вас в вашей форме и с усами. Прощайте, мои сестры и брат вам кланяются. Мое почтение бабушке.

\* \* \*

Печатается в переводе с французского язы-

ка.

Впервые опубликовано на французском языке в «Русском обозрении», 1890, № 8, с. 734–736, среди воспоминаний А. П. Шан-Гирея о Лермонтове, в котором он ошибочно приписывает данное письмо Верещагиной.

Письмо датируется 1832 г. по содержанию. В это время поэт был в Петербурге и решал вопрос о своем дальнейшем образовании. Первоначально Лермонтов предполагал перейти из Московского университета в Петербургский. Но в Петербурге ему было отказано в зачете сданных в Москве экзаменов и предложено вновь поступить на первый курс. Отчасти из-за этого, отчасти под влиянием Алексея Григорьевича Столыпина (ум. в 1847 г.), своего двоюродного дяди, который в это время уже служил в лейб-гвардии Гусарском полку, Лермонтов решил поступить на военную службу.

О своем намерении он написал М. А. Лопухиной 3 октября 1832 г. (письмо не сохранилось). Настоящее письмо является ответом Лопухиной.

Мария Александровна Лопухина была на

12 лет старше Лермонтова. В 1832 г. ей было уже 30 лет, и ее отношение к поэту можно сравнить с отношением любящей старшей сестры. С конца 1831 г. Лермонтов был влюблен в ее младшую сестру Варвару Александровну.

В словах: «Она здорова» и далее – Мария Александровна пишет о своей сестре в ответ на следующую фразу Лермонтова в письме от 2 сентября 1832 г.: «Мне бы очень хотелось задать вам один небольшой вопрос, но перо отказывается его написать» (с. 371, 373). Мария Александровна поняла, что невысказанный вопрос поэта был о Варваре Александровне.

## 2. От А. М. Верещагиной, отрывок <13 октября 1832 г. Из Москвы в Петербург>

**13** октября.  
Аннет Столыпина пишет Пашеньке, что у вас неприятность в университете и что моя тетья от этого больна, умоляю, напишите мне в чем дело? У нас все делают из мухи слона, успокойте меня, умоляю – к несчастью, я вас знаю слишком хорошо, чтобы быть спокойной, я знаю, что вы способны резаться с первым встречным из-за первой глупости – фи! Это стыд; вы никогда не будете счастливы с таким отвратительным характером.

\* \* \*

Печатается в переводе с французского языка.

Впервые опубликовано на французском языке в издании: Сочинения Лермонтова под ред. С. С. Дудышкина, в двух томах, т. 2, 1860, с. XIV.

В Петербурге в это время гостила А. Г. Столыпина (Аннет), которая написала о Лермон-

тове в Москву своей подруге П. Д. Столыпиной (Пашеньке). От нее-то А. М. Верещагина и узнала все новости.

Многочисленные родственники Лермонтова были очень встревожены его решением перейти на военную службу. Этим беспокойством проникнуто и данное письмо.

«Тетей» Верещагина называет бабушку поэта Е. А. Арсеньеву.

На это письмо А. М. Верещагиной Лермонтов ответил письмом в конце октября 1832 г. (см. с. 376).

### **3. От А. А. Лопухина, отрывки <Ноябрь 1832 г. Из Москвы в Петербург>**

**З**дравия желаю! Любезному гусару! – Право, мой друг Мишель, я тебя удивлю, сказав, что не так еще огорчен твоим переходом, потому что с живым характером твоим ты бы соскучился в статской службе... Насчет твоего таланта, ты понапрасну так беспокоишься, – потому кто любит что, всегда найдет время побеседовать с тем... Прощай, мой милый

друг, люби меня по-прежнему и продолжай писать; боюсь, что ты меня очень утешаешь...

\* \* \*

Впервые опубликовано в издании М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений в пяти томах, под ред. Б. М. Эйхенбаума, изд. «Academia», т. 5. 1937, с. 518. Полный текст письма неизвестен.

Датируется ноябрем 1832 г., т. е. временем, близким к поступлению Лермонтова в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, – 10 ноября 1832 г.

Письмо находилось в бумагах Лермонтова в 1837 г. и вошло в жандармскую «Опись письмам и бумагам л. – гв. Гусарского полка корнета Лермантова», составленную при аресте поэта по делу «О непозволительных стихах» на смерть Пушкина. В этой описи указано: «Лит. С. Письма, написанные Лермонтову неким Лопухиным. Главные черты: Лопухин студент и находится с Лермонтовым в дружеских отношениях. Из них более других примечательны: № 1. В нем Лопухин говорит, что, основываясь на живом характере Лерманто-

ва, он не очень огорчен переходом его в военную службу; – на счет же стихотворного таланта говорит Лопухин – „тебе нечего беспокоиться, потому что кто что любит, на то всегда найдет время“, и в доказательство приводит Давыдова» (М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI. Изд. Академии наук СССР, 1957, с. 473).

Давыдов – Денис Васильевич (1784–1839), русский поэт, герой Отечественной войны 1812 г.

#### 4. От Винсона, отрывок

#### <1832 г. Из Любимовки в Петербург>

Любимовка, 1832 г.

Разве вы пренебрегаете г<осподином> Дегай?

\* \* \*

Печатается в переводе с французского языка.

Впервые опубликовано на французском языке в издании: М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI. Изд. Академии наук СССР, 1957, с. 466, 765.

Датируется 1832 г. по помете В. Х. Хохрякова, который вписал этот отрывок в свою тетрадь, хранящуюся в ИРЛИ.

Винсон – возможно гувернер Лермонтова, англичанин, о котором П. А. Висковатов собрал следующие сведения: «В дом был принят семейный гувернер, англичанин Виндсон. Им очень дорожили, платили большое для того времени жалование – 3000 р. – и поместили с семьей (жена его была русская) в особом флигеле» (Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 6, 1891, с. 37). Винсон «впоследствии жил в доме знаменитого министра просвещения гр. С. С. Уварова» (Литературный архив, вып. 1, 1938, с. 428).

Очевидно, Лермонтов встречался со своим бывшим гувернером и в 1832 г.

На полях тетради Хохрякова имеется помета: «Monsieur Дегай – товарищ Лермонтова». Об Александре Павловиче Дегае сохранилась еще одна запись Лермонтова (см. с. 354).

**5. От А. А. Лопухина, отрывки  
<7 января 1833 г. Из Москвы в  
Петербург>**

**1833** г. 7 января.  
У тебя нога болит, любезный Мишель!..... Что за судьба! Надо было слышать, как тебя бранили и даже бранят за переход в военную службу. Я уверял их, хотя и трудно, чтоб поняли справедливость безрассудные люди, что ты не желал огорчить свою бабушку, но что этот переход необходим. Нет, сударь, решил какой-то Кикин, что ты всех обманул и что это твое единственное было желание, и даже просил тетеньку, чтоб она тебе написала его мнение. А уж почтенные-то разошлись и вопят, вот хорош конец сделал и никого-то он не любит, бедная Елизавета Алек<сеевна> – всё твердят. – Знаю наперед, что ты рассмеешься, а не примешь к сердцу.

\* \* \*

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 6. 1891, с. 140.

Отрывки письма записаны в тетради В. Х. Хохрякова, который снабдил их следующими примечаниями со слов С. А. Раевского: «Ногу Лерм<онтов> переломил (кажется) на ученье, вылечил Арендт (кажется)» (*М. Ю. Лермонтов*

Сочинения в шести томах, т. VI. Изд. Академии наук СССР, 1957, с. 767). Арендт Николай Федорович (1785–1859) – доктор-хирург, лейб-медик Николая I. Об этом же случае упоминает в своих воспоминаниях товарищ Лермонтова по школе – А. Меринский: «После езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, *новичком*, подстрекаемый старыми юнкерами», Лермонтов, «чтоб показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Он проболел более двух месяцев, находясь в доме у своей бабушки Е. А. Арсеньевой» (Воспоминания, с. 130).

Комментируя отрывки письма со слов Раевского, В. Х. Хохряков прибавляет: «Бабушка

желала, чтоб Лерм<онтов> вышел в гвардейские офицеры, о которых она имела высокое мнение, – вследствие своих еще екатерининских понятий» (М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI. Изд. Академии наук СССР, 1957, с. 767).

Передавая Лермонтову толки московских знакомых, Лопухин упоминает об Алексее Андреевиче Кикине как об одном из светских недоброжелателей поэта. Впоследствии, уже после смерти Лермонтова, А. А. Кикин написал своей дочери М. А. Бабиной письмо от 2 августа 1841 г. с описанием последней дуэли. В этом письме, опубликованном в 1896 г. в «Русской старине» (№ 2, с. 316), Кикин, сочувствуя Е. А. Арсеньевой, резко отзывается о Лермонтове. Сохранился акварельный портрет Кикина, написанный Лермонтовым в Кисловодске в 1837 г.

Данное письмо было в бумагах Лермонтова в 1837 г. и так же, как предыдущее, вошло в жандармскую «Опись письмам и бумагам л. – гв. Гусарского полка корнета Лермантова», где о нем сказано: «№ 2. Лопухин извещает Лермантова, что его бранят в Москве за пере-

ход в военную службу» (М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI. Изд. Академии наук СССР, 1957, с. 473).

## **6. От А. А. Лопухина, отрывок <25 февраля 1833 г. Из Москвы в Петербург>**

**1833** г. Февраля 25.  
Напиши мне, что ты в школе остаешься или нет, и позволит ли тебе нога продолжать службу военную. Очень и очень тебе благодарен за твою голову, она меня очень восхищает и между тем иногда грусть наводит, когда я в ипохондрии.

\* \* \*

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 6, 1891, с. 177.

В данном отрывке речь идет о болезни Лермонтова из-за ушиба ноги на занятиях в манеже (об этом см. в примечании к предыдущему письму) и о картине Лермонтова «Предок Лерма» («Герцог Лерма»), написанной для А. А. Лопухина (см. об этом в примечании к

письму М. А. Лопухиной от 2 сентября 1832 г. (№ 10)).

## 7. От А. М. Верещагиной, отрывок <1833 г. Из Москвы в Петербург>

**1833**<sup>г.</sup> Если нет, то вы можете сочинить ее в духе ваших импровизаций «Кто смотрит так гордо» – речитативом и Арсеньев – в темпе аллегро.

\* \* \*

Печатается в переводе с французского языка.

Впервые опубликовано на французском языке в издании: *М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI. Изд. Академии наук СССР, 1957, с. 467.*

В данном отрывке говорится о музыкальных импровизациях поэта и о проекте какого-то музыкального произведения. О музыкальных способностях Лермонтова сохранилось много свидетельств. Известно, что он пел и играл на рояле и на скрипке. О пении Лермонтова известен отзыв его товарища по

Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров А. Тирана, который пишет, что поэт «очень хорошо пел романсы, т. е. не пел, а говорил их почти речитативом» («Звезда», 1936, № 5, с. 186); см. также кн. Б. С. Гловацкого «Лермонтов и музыка» (М.-Л., 1964). Арсеньев – возможно Емельян Никитич (1810–1877), двоюродный дядя поэта.

## **8. От А. М. Верещагиной <18 августа 1835 г. Из Федорова в Петербург>**

**Ф**едорово, 18 августа.  
Мой дорогой кузен.

Только прочитав в третий раз ваше письмо и твердо убедаясь в том, что я не нахожусь под влиянием какого-то сновидения, я берусь за перо и пишу вам. Не то, чтоб я не могла считать вас способным на великое и прекрасное деяние, но писать три раза, не получив по меньшей мере трех ответов, вы знаете, что это чудо великодушия, черта возвышенная, черта, которая заставит побледнеть от волнения. Мой дорогой Мишель, я больше не беспо-

коюсь о вашей будущности, когда-нибудь вы станете великим человеком.

Я хотела вооружиться всеми моими силами, чувствами и волей, чтобы серьезно рассердиться на вас. Я не хотела вам больше писать, чтоб доказать этим, что мои письма могут обойтись без рамки со стеклом, только бы находили удовольствие их получать. – Но довольно, вы раскаялись – я слагаю оружие и соглашаюсь всё забыть.

Вы офицер, примите мои поздравления. Это для меня большая радость, тем более что она была неожиданна. Потому что (я это говорю вам одному) я скорее ожидала встретить вас солдатом. Вы сами согласитесь, что у меня были основания бояться, и даже если б вы были вдвое благоразумнее, чем прежде, вы всё же еще не вышли из разряда сорванцов. Но, во всяком случае, это уже шаг вперед, и я надеюсь, что вы больше не будете пятиться назад.

Я представляю себе радость бабушки; лишнее говорить, что я разделяю ее всем моим сердцем. Я не сравниваю мою дружбу с бездонным колодезем, вы этому не поверите. Я не

сильна в сравнениях и не люблю обращать священные вещи в посмешище, – я предоставляю это другим!

Когда приедете вы в Москву?

.....  
.....

Что касается количества моих поклонников, догадайтесь сами, и так как ваши предположения бывают всегда дерзкими, я слышу, как вы говорите, что у меня их вовсе нет

.....

Кстати о вашем идеале. Вы мне ничего не говорите о ваших сочинениях. Я надеюсь, что вы пишете, и думаю, что вы пишете хорошо; прежде вы делились ими со мной. Конечно, у вас есть друзья, которые их читают и умеют лучше судить, но я вас уверяю, что находятся и такие, которые прочтут их с бóльшим удовольствием. Я ожидаю, что после такого серьезного вступления вы напишете мне четверостишие к новому году.

Что касается вашего рисования, говорят, что вы делаете удивительные успехи, и я этому охотно верю; умоляю, Мишель, не забра-

сывайте этот дар, картина, которую вы прислали Алексею, очаровательна. А ваша музыка? Играете ли вы по-прежнему увертюру «Немой из Портичи», поете ли вы дуэт из «Семирамиды», столь памятный, поете ли вы его как раньше во всё горло и до потери дыхания? .....

.....  
Мы переезжаем к 15-му сентября, адресуйте ваши письма на дом Гедеонова, около Кремлевского сада. – Умоляю, пишите мне скорее, теперь у вас больше времени, если вы не расходуете его на то, чтобы глядеться в зеркало; не делайте этого, потому что кончится тем, что ваш офицерский мундир вам надоест, как всё то, что вы видите слишком часто, – это у вас в характере

.....  
.....  
Если б меня не клонило ко сну, я бы с вами обо всем этом поговорила – но невозможно. Передайте, пожалуйста, бабушке мое почтение.

*Целую вас от всего сердца.  
Александра В.*

Печатается в переводе с французского языка.

Впервые опубликовано на французском языке в журнале «Русское обозрение», 1890, № 8, с. 731–732, в рассказе А. П. Шан-Гирея «М. Ю. Лермонтов».

Датируется 1835 г., так как в нем А. М. Верецагина поздравляет Лермонтова с офицерским званием, которое он получил 1 августа 1835 г.

А. П. Шан-Гирей располагал и другими письмами Верецагиной к Лермонтову. В своем рассказе «М. Ю. Лермонтов», датированном 10 мая 1860 г., он пишет: «Все письма Александры Михайловны к Лермонтову доказывают ее дружбу к нему. Привожу первое, попавшее мне под руку» (Русское обозрение, 1890, № 8, с. 731). Но и это, самое полное из сохранившихся писем Верецагиной к Лермонтову, Шан-Гирей приводит с пропусками.

Письмо Лермонтова, о котором упоминается вначале – неизвестно.

Письмо Верецагиной проникнуто веселым остроумием и дружеской пикировкой,

характерными для ее переписки с поэтом.

В литературе о Лермонтове отмечается роль А. М. Верецагиной в поэтических занятиях ее «кузена», которая ценила, собирала и хранила стихи Лермонтова (см.: Т. П. Голованова. Автографы Лермонтова в альбомах А. М. Верецагиной. – В сб.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы, с. 8).

В письме говорится о картине, которую Лермонтов послал Алексею Лопухину (см. примеч. к письму № 10, с. 491).

«*Немая из Портичи*» – опера французского композитора Д.-Ф. Обера, написана в 1828 г. В России ставилась в Петербурге в Александринском театре в 1834 г. под названием «Фенелла».

«*Семирамида*» – опера итальянского композитора Россини, написана в 1823 г.

**9. От Е. А. Арсеньевой  
<18 октября 1835 г. Из Тархан в  
Петербург>**

**М**илый любезный друг Мишенька. Конечно, мне грустно, что долго тебя не увижу, но, видя из письма твоего привязанность твою ко мне, я плакала от благодарности к богу, после двадцати пяти лет страдания любовью своею и хорошим поведением ты заживляешь раны моего сердца. Что делать, богу так угодно, но бог умиласердится надо мной и тебя отпустят, меня беспокоит, что ты без денег, я с десятого сентября всякой час тебя ждала, 12 октября получила письмо твое, что тебя не отпускают, целую неделю надо было почты ждать, посылаю теперь тебе, мой милый друг, тысячу четыреста рублей ассигнациями да писала к брату Афанасию, чтоб он тебе послал две тысячи рублей, надеюсь на милость божию, что нынешний год порядочный доход получим, но теперь еще никаких цен нет на хлеб, а задаром жалко продать хлеб, невестка Марья Александровна была у меня и сама

предложила написать к Афанасию, и ты, верно, через неделю получишь от него две тысячи, еще мы теперь не устроились. Я в Москве была нездорова, оттого долго там и прожила, долго ехала, слаба еще была и домой приехала 25 июля, а в сентябре ждала тебя, моего друга, и до смерти мне грустно, что ты нуждаешься в деньгах, я к тебе буду посылать всякие три месяца по две тысячи по пятьсот рублей, а всякой месяц хуже слишком по малу, а может иной месяц мундир надо сшить, я долго к тебе не писала, мой друг, всякой час ждала тебя, но не беспокойся обо мне, я здорова; береги свое здоровье, мой милой, ты здоров, весел, хорошо себя ведешь, и я счастлива и истинно, мой друг, забываю все горести и со слезами благодарю бога, что он на старости послал в тебе мне утешения, лошадей тройку тебе купила и говорят, как птицы летят, они одной породы с буланой и цвет одинакой, только черный ремень на спине и черные гривы, забыла, как их называют, домашних лошадей шесть, выбирай любых, пара темно-гнедых, пара светло-гнедых и пара серых, но здесь никто не умеет выезжать лошадей, у

Матюшки силы нет. Никанорка объезжает купленных лошадей, но я боюсь, что нехорошо их приедит, лучше думаю тебе и Митьку кучера взять. Можно до Москвы в седейки его отправить дни за четыре до твоего отъезда, ежели ты своих вятских продашь, и сундучок с мундирами и с бельем с ним можно отправить, впрочем как ты сам лучше придумаешь, тебе уже 21 год, Катерина Аркадьевна переезжает в Москву, то в Средниково тебе не нужно заезжать, да ты после меня ни разу не писал к Афанасию Алексеичу, через письма родство и дружба сохраняется, он друг был твоей матери и любит тебя как родного племянника, да к Марье Акимовне и к Павлу Петровичу хоть бы в моем письме приписал два слова. Стихи твои, мой друг, я читала бесподобные, а всего лучше меня утешило, что тут нет ноньшней модной неистовой любви, и невестка сказывала, что Афанасью очень понравились стихи твои и очень их хвалил, да как ты не пишешь, какую ты пиесу сочинил, комедия или трагедия, всё, что до тебя касается, я неравнодушна, уведомя, а коли можно, то и пришли через почту. Стихи твои я боль-

ше десяти раз читала, скажи Андрею, что он так давно к жене не писал, она с ума сходит, всё плачет, думает, что он болен, в своем письме его письмо положи, *achète quelque chose pour Daria, elle me sert avec beaucoup d'attachement,*[254] очень благодарна Катерине Александровне, что она обо мне помнит, но мое присутствие здесь необходимо, Степан очень прилежно смотрит, но всё как я прикажу, то лучше, девки, молодая вдова, замуж не шли и беспутничали, я кого уговаривала, кого на работу посылала и от 16 больших девок 4 только осталось и вдова, все вышли, иную подкупила и всё пришло в прежний порядок. Как бог даст милость свою и тебя отпустят, то хотя Тарханы и Пензенской губернии, но на Пензу ехать слишком двести верст крюку, то из Москвы должно ехать на Рязань, на Козлов и на Тамбов, а из Тамбова на Кирсанов в Чембар, у Катерине Аркадьевне на дворе тебя дожидается долгуша точно коляска, перина и собачье одеяло, может еще зимнего пути не будет, здесь у нас о сию пору совершенная весна среди дня, ночью морозы только велики, я в твоём письме прикладывала письмо к Ка-

терине Лукьяновне и к Емельяну Никитичу, уведошь, отдал ли ты им их, да несколько раз к тебе писала, получил ли ты мех черной под сертук, Прасковья Александровна Крюкова взялась переслать его к Лонгиновой, и с Митькой послала тебе кiset и к Авдотье Емельяновне башмаки, напиши привез ли он это всё, да уведошь, часто ли ты бываешь у Лонгиновой, прощай, мой друг, Христос с тобою, будь над тобою милость божия, верный друг твой

*Елизавета Арсеньева.*

*1835 года*

*18 октября*

Спроси у Емельяна Никитича ответ на мое письмо, не забудь, мой друг, купить мне металлических перьев, здесь никто не умеет очинить пера, всё мне кажется, мой друг, мало тебе денег, нашла еще сто рублей, то посылаю тебе тысячу пятьсот рублей.

\* \* \*

Впервые опубликовано в издании: Сочинения М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова, в шести томах, т. 6, 1891, Приложение II, с. 5–6.

Это единственное сохранившееся письмо Е. А. Арсеньевой к поэту. Оно находилось среди бумаг Лермонтова во время его ареста в 1837 г., так как вошло в «Опись перенумерованным бумагам корнета Лермантова» под № 15 (М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI, Изд. Академии наук СССР, 1957, с. 474).

Е. А. Арсеньева отвечает на не дошедшее до нас письмо Лермонтова. Отпуск, которого она так ждала, был Лермонтову разрешен 20 декабря 1835 г. на 6 недель, и, задержавшись на несколько дней в Москве, он 31 декабря 1835 г. прибыл в Тарханы. Е. А. Арсеньева не только в этом письме высказывает мысль о том, что встреча с внуком после благополучного окончания им Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров является первым радостным событием ее жизни после трагической кончины мужа, М. В. Арсеньева, который 2 января 1810 г. кончил жизнь самоубийством. В письме от 17 января 1836 г. к своей приятельнице П. А. Крюковой Е. А. Арсеньева писала: «Я через 26 лет в первый раз встретила новый год в радости:

Миша приехал ко мне накануне нового году. Что я чувствовала, увидя его, я не помню и была как деревянная...» (Лит. насл., т. 45–46, 1948, с. 648).

В письме упоминаются многочисленные родственники: Афанасий Алексеевич Столыпин (1788–1866), брат Е. А. Арсеньевой, его жена Мария Александровна, рожденная Устинова, Екатерина Аркадьевна Столыпина, вдова брата Арсеньевой, Дмитрия Алексеевича Столыпина, Мария Акимовна и Павел Петрович Шан-Гирей, Екатерина Александровна Столыпина, рожденная Потулова, жена старшего брата Арсеньевой, Александра Алексеевича Столыпина, Емельян Никитич Арсеньев, племянник Арсеньевой по мужу, в то время – капитан лейб-гвардии Литовского полка, Прасковья Александровна Крюкова, рожденная Черкасская, ее дочь Мария Александровна Лонгинова (1798–1888) и Авдотья Емельяновна Арсеньева, рожденная Чоглокова (1785–1856), жена Никиты Васильевича Арсеньева, брата мужа Е. А. Арсеньевой. Кроме того, в письме говорится об особенно близких слугах: Андрее Ивановиче Соколове, тархан-

ском крестьянине, приставленном к Лермонтову в качестве дядьки, а потом лакея, и об его жене Дарье Григорьевне Соколовой, рожденной Куртиной, ключницы в имении Е. А. Арсеньевой.

Стихи, о которых пишет Арсеньева, – вероятно, первая напечатанная поэма Лермонтова «Хаджи-Абрек», появившаяся в журнале «Библиотека для чтения» (1835, т. 11, отд. 1, с. 81–94, цензурное разрешение 30 июня), где она названа стихотворением.

Пьеса, о которой спрашивает Арсеньева, – драма «Маскарад», над которой Лермонтов работал в том же 1835 г.

«*Седейки*» – легкие одноконные крытые экипажи, ходившие с 1833 г. между Петербургом и Москвой.

## 10. От В. Ф. Одоевского, записка <Не ранее 5 августа 1839 г. В Петербурге>

Ты узнаешь, кто привез тебе эти две вещи – одно прекрасное и редкое издание мое любимое – читай Его. О другом напиши, что почувствуешь прочитавши. Может быть, сегодня еще раз заеду.

*Одоевский.*

Жена была со мною и кланяется тебе, жалея что не застали.

\* \* \*

Впервые опубликовано в издании: Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, под ред. Д. И. Абрамовича, т. 5, изд. Академической библиотеки русских писателей, 1913, с. 30. Записано на обороте последнего листа тетради с автографом поэмы «Мцыри», с первоначальным названием «Бэри». На первой странице тетради стоит дата: «1839 года. Августа 5».

Очевидно, тетрадь эта лежала на столе поэта, когда В. Ф. Одоевский и его жена Ольга

Степановна (1797–1872), приехав к нему, не застали его дома. Вероятно, не имея под руками отдельного листка бумаги, Одоевский написал записку на обороте тетради, следовательно, она может быть датирована 1839 г., не ранее 5 августа.

Какие книги привез Лермонтову Одоевский – установить трудно. Об одной из них Одоевский пишет с большой буквы: «читай Его». Возможно, что это или Евангелие, или особенно дорогой Одоевскому и Лермонтову автор.

# Хронологическая канва жизни и творчества М. Ю. Лермонтова

**1814**

**О**ктябрь, в ночь со 2-го на 3-е. В Москве (в доме генерал-майора Ф. Н. Толя напротив Красных ворот) в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, рожденной Арсеньевой, родился Михаил Юрьевич Лермонтов.

**Конец года или весной 1815 (не позднее первой половины апреля).** Из Москвы Лермонтовы вместе с Е. А. Арсеньевой переехали в Тарханы, Чембарского уезда, Пензенской губернии. В Тарханах (ныне село Лермонтово) прошли детские годы М. Ю. Лермонтова.

**1816–1817**

**Зимой, не позднее февраля.** «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал... Ее певала мне покойная мать» (запись Лермонтова 1830 года).

**1817**

**Февраль 24.** Умерла Мария Михайловна

Лермонтова, мать поэта. «Житие ей было: 21 год 11 месяцев 7 дней» – надпись на могильной плите в Тарханах.

**Март 5.** Юрий Петрович Лермонтов уехал из Тархан в Кропотово, оставив сына на попечение Е. А. Арсеньевой.

## **1818**

**Первая половина года (до мая).** Лермонтов с Е. А. Арсеньевой в Пензе.

## **1819–1820**

**Не ранее июля 1819.** Лермонтов с бабушкой был в Москве и видел оперу «Невидимка» (т. е. «Князь Невидимка, или Личарда-волшебник» – опера в 4 действиях, слова Е. Лифанова, музыка К. А. Кавоса).

## **1820**

**Летом.** Поездка Лермонтова с Е. А. Арсеньевой на Кавказские минеральные воды к Е. А. Хастатовой.

## **1821**

**Март.** Лермонтов и Е. А. Арсеньева в Тарханах.

## **1825**

**Летом.** Лермонтов с Е. А. Арсеньевой на Кавказе, в Горячеводске.

**Летом.** Первая любовь Лермонтова. «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее видел там. Я не помню, хороша была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей». (Запись Лермонтова от 8 июля 1830 года).

**Декабрь, 20-е числа.** До Тархан дошли первые известия о восстании на Сенатской площади в Петербурге.

## 1826

**Середина января.** До Тархан дошли первые известия о восстании Черниговского полка на Украине.

## 1827

**Конец лета.** Двенадцатилетний Лермонтов гостит в отцовской деревне Кропотово Ефремовского у. Тульской губ.

**Осенью.** Лермонтов с Е. А. Арсеньевой переехал в Москву. Он часто бывал в доме дальнего родственника П. А. Мещеринова (в Пушкинском переулке на Сретенке) и подружился с его сыновьями Владимиром, Афанасием и

Петром. Начало занятий Лермонтова с домашним учителем А. З. Зиновьевым.

**Осенью.** Первое дошедшее до нас письмо Лермонтова из Москвы к тетке Марии Акимовне Шан-Гирей о занятиях с учителями и о посещении Московского театра, где он видел оперу «Князь Невидимка».

## 1828

**Весной.** Лермонтов с Е. А. Арсеньевой жил в Москве на Поварской улице (ныне ул. Воровского, 24).

**Летом.** Е. А. Арсеньева с внуком была в Тарханах. Там написана первая поэма Лермонтова «Черкесы», на копии которой рукой Лермонтова сделана надпись: «В Чембаре за дубом».

**Август.** В дом Е. А. Арсеньевой к Лермонтову приглашен гувернер-француз Жан Пьер Келлет-Жандро.

**Сентябрь 1.** Лермонтов зачислен полупансионером в четвертый класс в Московский университетский благородный пансион.

**Осенью.** Лермонтов с Е. А. Арсеньевой переехал с Поварской на Малую Молчановку в дом Чернова (ныне № 2). В соседстве жило се-

мейство Лопухиных: отец, три дочери (Мария, Варвара и Елизавета Александровны) и сын Алексей, с которым Лермонтов впоследствии был очень дружен.

**Декабрь 13–20.** Экзамены. Лермонтов переведен из четвертого класса в пятый; за успешные занятия получил два приза; книгу и картину.

**Около 21 декабря.** Письмо Лермонтова к тетке М. А. Шан-Гирей об экзаменах в Пансионе, о приезде отца, об учителях. К письму приложено стихотворение «Поэт».

**1828.** Лермонтовым датированы: «Осень», «Заблуждение Купидона», «Цевница», «Кавказский пленник», «Корсар».

К 1828 г. Лермонтов относит начало своей поэтической деятельности: «Когда я начал марать стихи в 1828 году, я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они еще теперь у меня» (запись 1830 г.).

## 1829

**Начало января.** В Москве широко обсуждается судебный процесс и приговор по делу французского поэта Беранже. Это событие, возможно, послужило поводом для написа-

ния Лермонтовым стихотворения «Веселый час».

**Февраль 19.** Экзамены в Московском университетском благородном пансионе.

**Март 5.** Подписан билет на выпуск из типографии альманаха Московского университетского благородного пансиона: «Цефей. Альманах на 1829 год. Москва». В этом альманахе под псевдонимом возможно опубликованы первые литературные опыты Лермонтова.

**Весной.** Письмо Лермонтова из Москвы к М. А. Шан-Гирей, в котором он пишет о приближении вакаций. Говоря о Московском театре, Лермонтов восторгается игрой П. С. Мочалова.

**Апрель 6.** Торжественное собрание в Московском университетском благородном пансионе по случаю девятого выпуска в присутствии поэта И. И. Дмитриева и других почетных гостей. На собрании среди отличившихся младших воспитанников был назван и Михаил Лермонтов.

**Лето.** Лермонтов с Е. А. Арсеньевой проводят в Середникове под Москвой, имении Е. А. Столыпной.

**Декабрь 12–20.** Экзамены воспитанников Московского университетского благородного пансиона в языках и науках.

**Декабрь 21.** В Московском университетском благородном пансионе за экзаменами следовало испытание в искусствах. Лермонтов играл на скрипке аллегро из Маурерова концерта.

**1829.** Первая редакция «Демона».

## **1830**

**Начало года.** Вторая редакция «Демона».

**Вторая половина января.** Лермонтов после зимних вакаций приступил к занятиям в пансионе.

**Конец февраля – начало апреля.** В автографе «Джюлио» Лермонтовым обозначено: «Повесть. 1830 год».

**Март 11.** Московский университетский благородный пансион посетил Николай I. Он появился без предупреждения, без свиты; при входе его встретил только старый сторож. Была перемена, и в коридоре император оказался среди бушевавшей толпы пансионеров. Николай I был неприятно поражен вольными порядками пансиона.

**Март 29.** По указу Сената Благородные пансионеры при Московском и С.-Петербургском университетах преобразованы в гимназии.

**Март 29.** Среди выпускников шестого класса, награжденных книгами, первым отмечен Михайла Лермонтов.

**Апрель 16.** Выдано свидетельство из Благородного пансиона «Михаилу Лермонтову в том, что он в 1818 году, быв принят в пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам... с весьма хорошими успехами; ныне же по прошению его от пансиона с сим уволен».

**Вторая половина апреля – начало мая.** Лермонтов вместе с Е. А. Арсеньевой переехал на лето из Москвы в Середниково.

**Май 16.** Датировано стихотворение «Боюсь не смерти я. О нет!».

**Июль 10.** Датировано стихотворение «Опять вы гордые восстали».

**Июль 11.** Датировано стихотворение «Между лиловых облаков».

**Июль 15.** Датировано стихотворение «Зачем семьи родной безвестный круг».

**Июль 18/30.** Революция во Франции. Этим числом по новому стилю озаглавлено стихотворение Лермонтова «30 июля. (Париж) 1830 года», написанное в первой половине августа.

**Август 12.** Датированы стихотворения «Благодарю» и «К Сушковой» («Вблизи тебя до этих пор»).

**Август 13.** Лермонтов в сопровождении Е. А. Арсеньевой, Е. А. Сушковой и своих кузин отправился из имения Столыпинах Середникова в Москву.

**Август 15.** Датировано стихотворение «Чума в Саратове».

**Август 17.** Лермонтов вместе с Е. А. Арсеньевой и своими кузинами пришел на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, где написал стихотворение «Нищий».

539

**Август 26.** Датировано стихотворение «Стансы» («Взгляни, как мой спокоен взор»),

**Август 28.** Датировано стихотворение «Ночь» («Один я в тишине ночной»).

**Август.** Датировано стихотворение «Чума»

(«Два человека в этот страшный год»).

**Сентябрь 1.** По решению правления Московского университета Лермонтов после сдачи необходимых экзаменов принят на Нравственно-политическое отделение.

**Сентябрь.** Лермонтов с Е. А. Арсеньевой остаются в Москве, оцепленной военными кордонами в связи с распространившейся в городе эпидемией холеры.

**Сентябрь.** В журнале «Атеней» (1830, ч. IV) напечатано стихотворение Лермонтова «Весна» («Когда весной разбитый лед») – Цензурное разрешение получено 10 мая. Это первое известное нам появление стихотворения Лермонтова в печати.

**Октябрь 1.** Датировано стихотворение «Свершилось! Полно ожидать». В этот же день написано стихотворение «Итак, прощай! Впервые этот звук».

**Октябрь 3.** Перед зачеркнутым текстом стихотворения «Сыны снегов, сыны славян», рядом с заглавием «Новгород», дата: «3 октября 1830».

**Октябрь 4.** Датировано стихотворение «Глупой красавице» («Амур спросил меня од-

нажды»).

**Октябрь 5.** Датировано стихотворение «Могила бойца».

**Октябрь 9.** Датировано стихотворение «Смерть» («Закат горит огнистой полосой»).

**1830.** Озаглавлена тетрадь «Разные стихотворения. (1830 год)». В этой тетради 1830-м годом датированы стихотворения: «(В Воскресенске) (Написано в стенах пустыни жилища Никона) 1830 года»; «Кладбище (На кладбище написано) 1830»; «К\*\*\*» («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья») и «Дереву».

**1830.** Датирована драма «Menschen und Leidenschaften».

## 1831

**Январь.** Датировано стихотворение «Редуют бледные туманы».

**Первая половина февраля.** Письмо Лермонтова к М. А. Шан-Гирей, в котором он «вступает за честь Шекспира» и сообщает, что в Москве «довольно весело: почти каждый вечер на бале. – Но великим постом я уже совсем засяду. В университете все идет хорошо».

**Март 16.** Студенты Московского универси-

тета выгнали из аудитории реакционного профессора М. Я. Малова.

**Марта 23.** Дата на стихотворении Лермонтова в альбом Н. И. Поливанову «Послушай! Вспомни обо мне». Сбоку приписка рукою Н. Поливанова с поправками Лермонтова: «Москва. Михайло Юрьевич Лермонтов написал эти строки в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью, когда, вследствие какой-то университетской шалости, он ожидал строгого наказания. Н. Поливанов».

**Начало июня.** Лермонтов гостил несколько дней под Москвой в семье московского драматурга Ф. Ф. Иванова. В одну из его дочерей – Наталью Федоровну – Лермонтов был влюблен.

**Июнь 11.** Датировано стихотворение «Моя душа, я помню, с детских лет».

**Июль 17.** Кончена драма «Странный человек».

**Июль 29.** Приписка к стихотворению «Желание» («Зачем я не птица, не ворон степной») – «Средниково. Вечер на бельведере».

**Август 7.** Датировано стихотворение «Бли-

стая пробегают облака». Приписка: «В деревне на холме; у забора».

**Вторая половина августа – октябрь.** Под впечатлением от романа И. И. Лажечникова «Последний Новик» Лермонтов написал стихотворение «Из Паткуля» («Напрасно врагов ядовитая злоба»).

**Сентябрь 4.** Лермонтов посвятил А. М. Верещагиной поэму «Ангел смерти».

**Сентябрь 10 – декабрь 23.** В Московском университете по классу английского языка лектором английской словесности Эдуардом Гарве «В классе литературы читаны с критическим разбором и объяснениями отрывки из лорда Байрона, Вальтер-Скотта и Томаса Мура». Лермонтов получил по английской литературе высший в то время балл – 4.

**Сентябрь 28.** Датировано стихотворение «Опять, опять я видел взор твой милый».

**Октябрь 1.** Юрий Петрович Лермонтов умер от чахотки в Кропотове, Ефремовского уезда, Тульской губернии, сорока четырех лет от роду.

**Ноябрь 1–2.** Начало знакомства Лермонтова с В. А. Лопухиной, приехавшей из тульско-

го имения.

**Декабрь 31.** Новогодние мадригалы и эпиграммы Лермонтова на маскараде в Благородном собрании. Лермонтов явился на маскарад в костюме «астролога» с огромною «книгой судеб» под мышкой.

## 1832

**Май 10.** Датирована поэма «Измаил-Бей».

**Июнь 6.** Прошение Лермонтова об увольнении принято Правлением Московского университета. На оборотной стороне прошения помечено: «Приказали означенного студента Лермонтова, уволив из Университета, снабдить надлежащим о учении его свидетельством». Свидетельство было выдано Лермонтову 18 июня.

**Июль.** Датированы стихи «Я жить хочу! Хочу печали».

**Июль – начало августа.** Лермонтов вместе с Е. А. Арсеньевой выехали из Москвы в Петербург.

**Июль – начало августа.** Проездом в Петербург Лермонтов в Новгороде написал стихотворение «Приветствую тебя, воинственных славян святая колыбель...»

**Август 28.** Письмо Лермонтова из Петербурга к М. А. Лопухиной о болезни бабушки, впечатлениях от петербургского общества, о работе над романом («Вадим»); в письме стихи «Для чего я не родился» и «Конец! Как звучно это слово!».

**Сентябрь.** После переезда в Петербург Лермонтов подружился со Святославом Афанасьевичем Раевским.

**Сентябрь 2.** Письмо Лермонтова М. А. Лопухиной со стихами «Белеет парус одинокий».

**Октябрь, вторая половина.** Письмо Лермонтова М. А. Лопухиной о предстоящем поступлении его в военную школу. В письме стихи «Он был рожден для счастья, для надежд».

**Ноябрь 4.** Лермонтов держит экзамены в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

**Ноябрь 14.** Отдан приказ по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров о зачислении Лермонтова в Школу на правах вольноопределяющегося унтер-офицера лейб-гвардии Гусарского полка.

**Ноябрь 26 или 27.** Несчастный случай с Лермонтовым в манеже: одна из лошадей расшибла ему до кости ногу ниже колена.

## **1833**

**Середина апреля.** Лермонтов после болезни вернулся в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

**Июнь 8.** Лермонтов выдержал экзамен в первый (старший) класс Школы.

**Июнь 20 – июль 26.** Лермонтов находился в летнем лагере Школы под Петергофом.

**Август 4.** Письмо Лермонтова к М. А. Лопухиной о жизни в лагере.

## **1834**

**Начало года.** Лермонтов принимает участие в рукописном журнале юнкеров «Школьная заря». Здесь были помещены «Гошпиталь», «Петергофский праздник», «Уланша» и другие «юнкерские» стихотворения.

**Начало года.** Друг и родственник Лермонтова Аким Павлович Шан-Гирей переехал из Москвы в Петербург для поступления в Артиллерийское училище и поселился в доме Е. А. Арсеньевой, где часто встречался с Лермонтовым.

**Первая половина года.** По заданию преподавателя русской словесности В. Т. Плаксина Лермонтов написал «Панораму Москвы».

**Июнь 5.** Публичные экзамены в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

**Июнь 22.** Выступление Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в лагерь под Петергофом.

**Август, начало.** Возвращение Школы в Петербург.

**Ноябрь 22.** Лермонтов высочайшим приказом произведен по экзамену из юнкеров в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка.

**Декабрь 4.** Встреча Лермонтова с Е. А. Сушковой на балу. Разговор с нею об А. А. Лопухине. Лермонтов впервые в гусарском мундире.

**Декабрь.** Встречи Лермонтова с Е. А. Сушковой.

**1832–1834 гг.** Работа над романом из времен крестьянского восстания под водительством Пугачева «Вадим».

## **1835**

**Январь – февраль.** Разрыв Лермонтова с Е. А. Сушковой.

**Весной** Е. А. Арсеньева уехала из Петербурга в Тарханы.

**Май.** В. А. Лопухина в Москве вышла замуж за Н. Ф. Бахметева.

**Июль, последние числа – начало августа.** Вышла в свет августовская книжка «Библиотеки для чтения», где напечатана поэма Лермонтова «Хаджи-Абрек». Цензурное разрешение получено 30 июня.

**Октябрь.** Лермонтов представил «Маскарад» (трехактную редакцию) в драматическую цензуру.

**Ноябрь 8.** На докладе цензора Е. Ольдекопа по поводу первой редакции драмы Лермонтова «Маскарад» помечено: «Возвращена для нужных перемен».

**Первая половина декабря.** Лермонтов закончил четвертый акт «Маскарада» (вторая редакция драмы) и поручил С. А. Раевскому снова представить «Маскарад» в драматическую цензуру.

**Конец декабря.** С. А. Раевский передал директору императорских театров А. М. Геденову письмо Лермонтова вместе с текстом четырехактной редакции «Маскарада».

**20-е числа декабря.** Получив 20 декабря отпуск из полка, Лермонтов проездом задержался в Москве.

**Декабрь 31.** Лермонтов приехал в Тарханы.

## 1836

**Январь.** Отзыв цензора Е. Ольдекопа на четырехактную редакцию «Маскарада».

**Январь 16.** Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому из Тархан в Петербург. Лермонтов сообщает о работе над четвертым актом новой драмы («Два брата»), «взятой из происшествия, случившегося в Москве». Тут же он спрашивает, пропустила ли цензура «Арбенина» (вторую редакцию «Маскарада»).

**Февраль 2.** Датировано стихотворение «Умиравший гладиатор».

**Март, вторая половина.** Лермонтов «на лицо в полку» (Царское Село).

**Март 30 или 31.** Лермонтов гостил в Петербурге у Никиты Васильевича Арсеньева (в Коломне за Никольским мостом). Здесь его видел М. Н. Лонгинов, с которым Лермонтов провел вечер и которому показывал рукопись «Маскарада».

**Апрель, последние числа – начало мая.** Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой в Москву о том, что квартира нанята «на Садовой улице в доме князя Шаховского за 2000 рублей...» (ныне Садовая ул., дом 61).

**Май – июнь.** Лермонтов болел и получил разрешение ехать на Кавказские воды, которым не воспользовался.

**Середина августа.** Поездка Лермонтова с Аркадием Алексеевичем Столыпным (Монго) из села Копорского около Царского Села на Петергофскую дорогу на дачу Моисеева к жившей там балерине Екатерине Егоровне Пименовой. Приключение, описанное в сентябре в поэме «Монго».

**Октябрь 28.** Запрещена представленная Лермонтовым в драматическую цензуру пятиактная драма «Маскарад» под заглавием «Арбенин».

**Декабрь 24.** Лермонтов «заболел простудю».

**Осенью или зимой.** Знакомство Лермонтова через С. А. Раевского с А. А. Краевским.

**1836 – начало 1837 года.** Работа над романом «Княгиня Лиговская».

**Январь 27.** Около 5 часов пополудни за Комендантской дачей на Черной речке в окрестностях Петербурга состоялся поединок Пушкина с Дантесом. В 6 часов вечера смертельно раненный Пушкин привезен в свою квартиру в доме кн. Волконской на Мойке. В тот же вечер по городу распространился слух о смерти Пушкина.

**Январь 28.** Лермонтов написал первые 56 стихов стихотворения «Смерть Поэта».

**Январь 29.** В 2 часа 45 минут пополудни смерть Пушкина. «Стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми» (И. И. Панаев).

**Февраль 7.** Лермонтов написал заключительные 16 стихов стихотворения «Смерть Поэта» («А вы, надменные потомки»).

**Февраль 18.** Лермонтов арестован и помещен в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба.

**Февраль 19 или 20.** Записка шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа Николаю I о стихотворении «Смерть Поэта» и о том, что генералу

Веймарну поручено допросить поэта и обыскать его квартиры в Петербурге и в Царском Селе.

Резолюция Николая I: «...старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он...».

**Февраль 20.** У Лермонтова и С. А. Раевского сделан обыск.

**Февраль 22.** «Объяснение корнета лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтова» по поводу стихов на смерть Пушкина.

Как утверждает А. П. Шан-Гирей, под арестом к Лермонтову пускали только камердинера, приносившего обед. Лермонтов велел заворачивать хлеб в серую бумагу, и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, мать божия, ныне с молитвою», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед», и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу», прибавив к ней последнюю строфу: «Но окно тюрьмы высоко».

**Февраль 23.** Началось дело «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-

гвардии Гусарского полка Лермонтовым и о распространении оных губернским секретарем Раевским».

**Февраль 25.** Военный министр Чернышев отношением за № 100 сообщил А. Х. Бенкендорфу высочайшее повеление: «Л.-гвардии Гусарского полка, корнета Лермонтова, за сочинение известных вашему сиятельству стихов, перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк: а губернского секретаря Раевского за распространение стихов и в особенности за намерение тайно доставить сведения корнету Лермонтову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу, — по усмотрению тамошнего гражданского губернатора».

**Февраль, после 27.** Лермонтова отпустили домой проститься. Записка Лермонтова к С. А. Раевскому.

**Март, первые числа.** К Лермонтову, находившемуся под домашним арестом, приезжал А. А. Краевский и говорил с ним о деле С. А. Раевского. Вторая записка Лермонтова к

С. А. Раевскому.

**Март, первая половина.** Письмо С. А. Раевского к Лермонтову из крепости. Ответное письмо Лермонтова, в котором он сообщает о хлопотах о смягчении участи Раевского.

**Март 19.** Лермонтов выехал из Петербурга в ссылку на Кавказ через Москву.

**Март 23.** Лермонтов приехал в Москву.

**Весной (скорей всего в начале апреля, в Москве).** Два варианта эпиграммы на Ф. В. Булгарина «Россию продает Фадей...».

**Апрель 10.** Лермонтов выехал из Москвы на Кавказ.

**Вторая половина апреля – первые числа мая.** Лермонтов приехал в Ставрополь, «простудившись дорогой».

**Май 2.** Цензорами А. Крыловым и С. Куторгой разрешен «Современник», т. VI, № 2, в котором помещено стихотворение Лермонтова «Бородино».

**Май 13.** Находясь в Ставрополе, Лермонтов подал в штаб войск на Кавказской линии и в Черномории рапорт «об освидетельствовании болезни его». Помещен сначала в ставропольский военный госпиталь, затем переве-

ден в пятигорский госпиталь для лечения минеральными водами.

**Май 31.** Письмо Лермонтова к М. А. Лопухиной из Пятигорска.

**Июль 13.** Письмо Е. А. Арсеньевой к вел. кн. Михаилу Павловичу с просьбой ходатайствовать «о всемилостивейшем прощении внука».

**Июль 16.** Лермонтов ездил из Пятигорска в Железноводск.

**Июль 18.** Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой из Пятигорска; сообщает о причислении его к эскадрону Нижегородского драгунского полка в Анапе, жалуется на плохую погоду и просит прислать денег.

**Лето.** В Пятигорске Лермонтов встретился с Н. М. Сатиным, с которым был знаком еще по Пансиону, Белинским, доктором Н. В. Майером и семейством Н. С. Мартынова.

**Лето.** С конца мая до 5–10 августа Лермонтов находился в Пятигорске, после этого продолжал лечение в Кисловодске.

**Первая половина сентября.** С Кавказских минеральных вод через Ставрополь и укрепление Ольгинское Лермонтов выехал в Та-

мань, чтобы оттуда отправиться в Анапу или Геленджик, где находился отряд ген. Вельяминова, готовившийся к встрече Николая I. Вынужденная задержка в Тамани.

**Сентябрь 29.** Лермонтов вернулся из Тамани в укрепление Ольгинское, где получил предписание отправиться в свой полк в Тифлис. В Ольгинском, по-видимому, произошла встреча с Н. С. Мартыновым, которому Лермонтов должен был доставить пакет с письмами и деньгами от родных Мартынова из Пятигорска.

**Октябрь 5.** Н. С. Мартынов из Екатеринодара пишет отцу: «Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил; но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письмо, также пропали; но он, само собой разумеется, отдал мне свои».

**Октябрь, до 22 числа.** По пути в Тифлис Лермонтов задержался в Ставрополе. Здесь он бывал в доме своего родственника, начальника Штаба Кавказской линии и в Черномории генерал-майора П. И. Петрова, встречался с Н. М. Сатиным и доктором Н. В. Майером. Че-

рез Сатина и Майера поэт познакомился с посланными на Кавказ декабристами С. Кривцовым и В. Голицыным, а быть может и с прибывшими из Сибири в первых числах октября А. И. Одоевским и А. И. Черкасовым.

**Октябрь 10.** На Дидубийском поле под Тифлисом Николай I произвел смотр войсковым частям Кавказского корпуса, среди которых были четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка, найденные царем в отличном состоянии. В это время Лермонтов находился еще в Ставрополе, но смотр Нижегородского полка под Тифлисом, по словам историка полка В. Потто, косвенным образом повлиял на судьбу Лермонтова.

**Октябрь 11.** В Тифлисе отдан высочайший приказ по кавалерии о переводе «прапорщика Лермонтова лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом».

**Октябрь 21.** Запись в дневнике Жуковско-го: «Пребывание в Новочеркасске. Прибытие государя в  $\frac{1}{2}$ 11. Его коротенькая и выразительная речь в кругу, окруженном знаменами и регалиями атаманскими... Обед за маршальским столом. Рассказы о опасности госу-

даря <катастрофа в Тифлисе на Верейском спуске>. Прощение Лермонтова. Почему Бенкендорф упомянул обо мне?».

**Конец октября – ноябрь.** Лермонтов, направляясь в Нижегородский драгунский полк, в котором все еще продолжал числиться до 25 ноября, «переехал горы», а затем в Закавказье «был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии».

**Ноябрь.** В Закавказье Лермонтов сдружился с поэтом-декабристом А. И. Одоевским.

**Ноябрь.** Запись Лермонтова: «Я в Тифлисе у Петр. Г. – ученый татар. Али и Ахмед...» и т. д.

**Ноябрь 6.** Письмо Е. А. Мартыновой из Москвы к сыну Н. С. Мартынову, в котором она сетует на пропажу писем, посланных с Лермонтовым, и обвиняет Лермонтова в том, что эти письма он будто бы вскрыл и прочел.

**Ноябрь.** Лермонтов записал сказку «Ашик-Кериб».

**Вторая половина ноября – первая половина декабря.** Письмо Лермонтова к С. А. Равенскому о странствованиях по Кавказу и Закавказью.

**Начало декабря.** На пути из Тифлиса во Владикавказ написано стихотворение «Спеша на север из далека».

**Около 10 декабря.** Лермонтова, приехавшего по Военно-Грузинской дороге во Владикавказ из Тифлиса, видел в заезжем доме В. В. Боборыкин.

**Декабрь 14.** Запись в дневнике неизвестного кавказского офицера: «14. В Прохладной встретил я Лермонтова, едущего в С.-Петербург».

**Вторая половина декабря.** Возможный заезд Лермонтова в имение его родственника А. А. Хастатова Шелковое на Тереке, неподалеку от Кизляра.

**Вторая половина декабря.** По пути в Петербург Лермонтов останавливался в Ставрополе. Встречи с П. И. Петровым, Н. М. Сатиным, Н. В. Майером и сосланными декабристами.

## 1838

**Январь 3.** Лермонтов прибыл с Кавказа в Москву.

**Январь, вторая половина.** Лермонтов приехал в Петербург.

**Февраль 15.** Письмо Лермонтова М. А. Лопухиной. «Первые дни после приезда прошли в непрерывной беготне: представления, парадные визиты – вы знаете; да еще каждый день ездил в театр... Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, „Тамбовскую казначейшу“; он повез ее Вяземскому, чтобы прочесть вместе; сие им очень понравилось». К письму приложено стихотворение «Молитва странника».

**Февраль 16 или несколькими днями позже.** Отъезд Лермонтова из Петербурга в Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений, в распоряжение штаба лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.

**Февраль 26.** Лермонтов прибыл в л. – гв. Гродненский гусарский полк. Явившись к командиру полка князю Д. Г. Багратиону, он получил назначение состоять в четвертом эскадроне, которым командовал К. Войнич. Лермонтов поселился вместе с Н. А. Краснокутским в доме для холостых офицеров.

**Март 3 и ночь на 4 марта.** Лермонтов принимал участие в проводах М. И. Цейдлера, откомандированного из л. – гв. Гродненского гу-

сарского полка в отдельный Кавказский корпус. Экспромт «Русский немец белокурый едет в дальнюю страну».

**Март 24.** По ходатайству Е. А. Арсеньевой А. Х. Бенкендорф сделал представление через военного министра А. И. Чернышева о переводе Лермонтова в л. – гв. Гусарский полк.

**Март – первая половина апреля.** Н. А. Краснокутский, с которым Лермонтов жил под Новгородом в Селищенских казармах, сделал подстрочный перевод крымского сонета А. Мицкевича «Вид гор из степей Козлова», и Лермонтов тогда же сделал вольный перевод этого стихотворения под тем же названием.

**Апрель 9.** Опубликован высочайший приказ о переводе Лермонтова в л. – гв. Гусарский полк.

**Апрель 18.** Лермонтов подал рапорт о болезни и некоторое время еще оставался в л. – гв. Гродненском гусарском полку.

**Апрель 24–25.** Лермонтов возвратился в Петербург.

**Апрель 30.** Вышел № 18 «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», где за

подписью «-въ» была напечатана «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

**Май 14.** Лермонтов прибыл в л. – гв. Гусарский полк, расквартированный в Софии под Царским Селом.

**Июнь 8.** Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому, в котором он сообщает, что роман «Княгиня Лиговская» «затянулся и вряд ли кончится».

**Июнь, около 20.** Проездом в Гапсаль (близ Ревеля) остановилась в Петербурге Варвара Александровна Бахметева, рожденная Лопухина. Последнее свидание с нею Лермонтова и А. П. Шан-Гирея.

**Июль 1.** Цензоры А. Никитенко и В. Лангер разрешили «Современник», т. XI, № 3, где в отд. VIII без подписи автора напечатана «Казначейша».

**Июль 4.** Письмо декабриста Н. А. Бестужева из Петровского завода к брату Павлу в Петербурге: «Недавно прочли мы в приложении к Инвалиду *Сказку о купеческом сыне Калашникове*. Это превосходная маленькая поэма. Вот так должно подражать Вальтер Скотту,

вот так должно передавать народность и ее историю! Ежели тебе знаком этот...въ, объяви нам эту литературную тайну. Еще просим тебя сказать кто и какой Лермонтов написал „Бородинский бой“?».

**Август, конец.** Знакомство Лермонтова с семейством Карамзиных. Первое посещение Карамзиных в Царском Селе по приглашению вдовы Н. М. Карамзина – Екатерины Андреевны и его дочери Софьи Николаевны.

**Сентябрь 2 и 5.** Посещение Лермонтовым Карамзиных.

**Сентябрь 8.** На обложке копии «Демона» дата рукой Лермонтова: «1838 года сентября 8 дня» (на так называемом Лопухинском списке).

**Сентябрь 22.** Лермонтова по приказанию вел. кн. Михаила Павловича за очередную гусарскую шалость (появление на параде со слишком короткой саблей) посадили под арест. Находясь на Царскосельской гауптвахте, Лермонтов написал маслом картину «Вид Кавказа» в подарок А. М. Хюгель (Верещагиной).

**Октябрь 10.** Лермонтов освобожден из-под

ареста.

**Октябрь 11.** Лермонтов, С. Н. Карамзина и С. Д. Абамелек по железной дороге приехали из Царского Села в Петербург.

**Октябрь 29.** В узком кругу друзей у Карамзиных Лермонтов читает «Демона».

**Ноябрь 3.** Лермонтов вместе с А. О. Смирновой (Россет) провел вечер у Карамзиных.

**Ноябрь, первая половина.** Е. А. Сушкова вышла замуж за дипломата А. В. Хвостова, на этой свадьбе Лермонтов был шафером.

**Осень и начало зимы.** Лермонтов почти ежедневно бывает у Карамзиных. Кроме того, он посещает Валуевых, Репниных, Озеровых, М. А. Щербатову, В. Ф. Одоевского, появляется на балах в Царском Селе и в Павловске.

В письме из Петербурга в Москву к М. А. Лопухиной он сообщает, что ему трижды отказали в отпуске, рассказывает о своих успехах в «большом свете» и замечает, что нигде нет столько пошлого и смешного, как там.

**Декабрь 4.** Лермонтов закончил работу над новой редакцией поэмы «Демон».

**Декабрь 7.** С. А. Раевскому дозволено про-

должать службу на общих основаниях.

**Декабрь.** Е. А. Арсеньева пишет А. М. Хюгель (Верещагиной): «Любезная Александра Михайловна, посылаю Вам для новорожденного дитяти баюкашную песню, отгадать не трудно, чье сочинение» (имеется в виду «Казачья колыбельная песня»).

## 1839

**Январь 1.** Цензоры А. Никитенко и С. Куторга разрешили «Отечественные записки», т. I, № 1, в котором в отд. III за подписью «М. Лермонтов» было напечатано стихотворение «Дума».

**Январь 22.** Лермонтов в Аничковом дворце в присутствии императорской фамилии был гостем на свадьбе А. Г. Столыпина, как родственник со стороны жениха.

**Февраль 1.** Цензоры А. Никитенко и С. Куторга разрешили «Отечественные записки», т. II, № 2, где в отд. III напечатано за подписью «М. Лермонтов» стихотворение «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал»).

**Февраль, начало.** Лермонтов закончил последнюю редакцию поэмы «Демон».

**Февраль 8 и 9.** При дворе состоялось чте-

ние поэмы «Демон» по списку, специально подготовленному для этого Лермонтовым.

**Март 1.** Разрешен цензурой «Московский наблюдатель», ч. II, № 4, где в отд. IV помещен отзыв Белинского о стихотворении Лермонтова «Поэт».

**Март, первая половина.** В «Отечественных записках», т. II, № 3 напечатана «Бэла. Из записок офицера о Кавказе». Подпись – «М. Лермонтов».

**Март 16.** Разрешен цензурой «Сын отечества», т. VII, ч. II, где в отд. IV дан положительный отзыв о стихотворении Лермонтова «Поэт».

**Конец февраля – март.** Письмо Лермонтова из Петербурга в Москву А. А. Лопухину со стихами, посвященными его новорожденному сыну, «Ребенка милого рожденье приветствует мой запоздалый стих».

**Март, вторая половина или начало апреля.** Святослав Афанасьевич Раевский, освобожденный из ссылки, приехал из Петрозаводска в Петербург. Через несколько часов после его приезда Лермонтов вбежал в комнату, где его друг беседовал с приехавшими из Са-

ратова матерью и сестрой и бросился на шею к Раевскому.

**Апрель 14.** Цензоры А. Никитенко и С. Курторга разрешили «Отечественные записки», т. III, № 4, в котором напечатано стихотворение «Русалка», подписанное «М. Лермонтов».

**Май.** В майской книжке «Отечественных записок», т. III, в отд. III напечатаны стихотворения «Ветка Палестины» и «Не верь себе», подписанные «М. Лермонтов».

**Июнь 14.** Цензоры А. Никитенко и П. Корсаков разрешили «Отечественные записки», т. IV, № 6, где в отд. III напечатаны стихотворения «Еврейская мелодия (Из Байрона)» и «В альбом (Из Байрона)», подписанные «М. Лермонтов».

**Июнь 26.** Лермонтов вечером у Карамзиных по просьбе Софьи Николаевны написал в альбом стихи. Она признала их слабыми и с согласия Лермонтова уничтожила.

**Июнь 30.** П. А. Вяземский сообщает в письме: «Вечером у Валуевых кое-кто пили чай: Карамзин, Пашковы, Смирнова, Репнина, поэт Лермонтов...»

**Июнь 30.** Лермонтов вечером у Карамзи-

ных примирился с Софьей Николаевной после эпизода с альбомом.

**Июль 7.** Письмо М. Н. Каткова из Москвы А. А. Краевскому в Петербург: «Засвидетельствуйте мое уважение Плетневу и Лермонтову, постарайтесь познакомить с последним Бакунина: это было бы, как я уверен, приятно для обоих».

**Июль 22.** Лермонтов присутствует у Карамзиных в Царском Селе на чтении Ф. Ф. Вигелем его воспоминаний.

**Июль 25.** Лермонтов в Павловске на обеде у М. А. Щербатовой.

**Август 3.** Знакомство Лермонтова у Карамзиных с фрейлиной Н. Я. Плюсковой.

**Август 5.** Дата рукой Лермонтова на обложке рукописи «Бэри» («Мцыри»): «Поэма 1839 года. Августа 5».

**Август 11.** Стихотворение А. А. Олениной «Ах! Анна Алексевна», написанное Лермонтовым в день ее рождения.

**Август 14.** Цензоры А. Никитенко и В. Лангер разрешили «Отечественные записки», т. V, № 8, в котором напечатано стихотворение «Три пальмы. Восточное сказание», под-

писанное «М. Лермонтов».

**Сентябрь 4.** Лермонтов в Царском Селе записал в альбом М. А. Бартеневой стихотворение «Есть речи – значенье» (первый вариант).

**Сентябрь 12.** Лермонтов у Карамзиных в присутствии А. И. Тургенева читал отрывок из «Героя нашего времени». В тот же день Лермонтов был у Валуевых, где присутствовали также А. И. Тургенев, Л. Ф. Полуэктова, А. В. Мергасов, Александр Николаевич Карамзин.

**Сентябрь 17.** Первоначальный вариант повести «Штосс» Лермонтов начал словами: «17 сентября 1839 года был музыкальный вечер у С.». Это намек на именины (17 сентября) Софьи Михайловны Соллогуб (Виельгорской), в салоне которой и происходит действие первой главы повести.

**Октябрь 24.** Лермонтов обедал у Карамзиных в день 25-летия Андрея Николаевича Карамзина. Там же были В. А. Жуковский, П. А. Вяземский и А. И. Тургенев.

В тот же день Жуковский записал в своем дневнике: «Поездка в Петербург из Царского Села с Виельгорским по железной дороге. До-

рогой чтение „Демона“».

**Октябрь 27.** Лермонтов в театре с П. А. Вяземским, П. А. Валуевым и А. И. Тургеневым на балетном спектакле с участием Тальони в роли Сильфиды. Потом у Карамзиных.

**Октябрь 28 и 31.** Лермонтов у Карамзиных.

**Ноябрь 5.** Запись в дневнике Жуковского: «Вечер у Карамзиных. Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов».

**Ноябрь 14.** Цензоры А. Никитенко и С. Курторга разрешили «Отечественные записки», т. IV, № 11, где в отд. III напечатаны повесть «Фаталист» и стихотворение «Молитва».

В примечании редакции сообщалось: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе».

**Ноябрь 16.** Лермонтов был у А. И. Тургенева и с ним отправился на бал к Гогенлоэ, вюртембергскому посланнику в Петербурге, жена которого Екатерина Ивановна (рожденная Голубцова, двоюродная сестра Н. П. Огарева)

пригласила Лермонтова на этот бал накануне 15 ноября, через А. И. Тургенева.

**Ноябрь 16.** Лермонтов сделал приписку в письме к А. М. Хюгель (Верещагиной) с стихотворным экспромтом на французском языке.

**Осень и зима.** Лермонтов принимал участие в «Кружке шестнадцати». Это общество составилось из университетской молодежи и частью из кавказских офицеров. «Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III Отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе не существовало». В «Кружок шестнадцати», кроме Лермонтова, входили: А. А. Столыпин-Монго, К. В. Браницкий, Н. А. Жерве, Д. П. Фредерикс, А. и С. Долгорукие, П. А. Валуев, И. С. Гагарин, А. П. Шувалов, А. И. Васильчиков и др.

**Декабрь.** На вечеринке у Гогенлоэ первый секретарь французского посольства в Петербурге барон д'Андре от имени посла де Баран-

та обратился к А. И. Тургеневу с вопросом: «Правда ли, что Лермонтов в известной строфе стихотворения „Смерть Поэта“ бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина?» Барант хотел бы знать правду от Тургенева. Тургенев текста стихотворения точно не помнил и, встретив на другой день Лермонтова, просил сообщить ему текст стихотворения «Смерть Поэта». На следующий день Лермонтов прислал Тургеневу письмо, в котором процитировал просимый отрывок. Однако справка Тургеневу не понадобилась. «Через день или два, – писал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому, – кажется на вечеринке или на бале у самого Баранта, я хотел показать эту строфу Андрэ, но он прежде сам подошел ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию...»

**Декабрь 6.** Лермонтов высочайшим приказом произведен из корнетов в поручики.

**Декабрь 14.** Цензоры А. Никитенко и С. Курторга разрешили «Отечественные записки», т. VII, № 12, где в отд. III, за подписью «М. Лер-

МОНТОВ» напечатаны стихотворения «Дары Терека» и «Памяти А. И. О<доевско>го», который скончался 15 августа 1839 года на Черноморском побережье.

**Декабрь 22.** Цензор Пахман разрешил к печати в Одессе «Одесский альманах на 1840», в котором напечатаны стихотворения «Узник» и «Ангел», подписанные «М. Лермонтов».

**Декабрь 23.** Встреча Лермонтова с А. И. Тургеневым у М. А. Щербатовой, которой посвящено стихотворение «На светские цепи».

**Декабрь, последние числа.** И. С. Тургенев впервые видел Лермонтова в доме княгини Шаховской в Петербурге.

**Декабрь 31.** Лермонтов и Белинский на встрече Нового года у кн. В. Ф. Одоевского.

**1839.** Стихотворения «На буйном пиршестве задумчив он сидел» и Э. К. Мусиной-Пушкиной («Графиня Эмилия») датируются этим годом.

## 1840

**Январь 1.** Лермонтов был приглашен на бал во французское посольство.

**Январь 1.** Стихотворение «Как часто, пест-

рою толпою окружен» датировано: «1-е Января».

**Январь 14.** Лермонтов вечером у Карамзиных. Здесь же были А. И. Тургенев, Жуковский, Вяземский и князь В. Ф. Одоевский.

**Январь, между 14 и 17.** Вышли в свет «Отечественные записки», т. VIII, где в отд. III напечатано стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен», подписанное «М. Лермонтов».

**Январь 20.** В «Литературной газете» напечатано стихотворение «И скучно, и грустно», подписанное «М. Лермонтов».

**Начало года.** Знакомство Лермонтова с поэтом Е. А. Баратынским у кн. В. Ф. Одоевского в Петербурге.

**Февраль 9.** Белинский в письме к Боткину делится впечатлением от стихотворения «Дары Терека»: «Черт знает – страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт, и что Пушкин умер не без наследника». Затем Белинский пишет о «Казачьей колыбельной песне», о «Молитве» («В минуту жизни трудную») и о стихотворении «И скучно, и грустно...»

**Февраль, около 14 числа.** Вышли «Отечественные записки», т. VIII, № 2, где в отд. III напечатаны «Тамань» и «Казачья колыбельная песня», подписанные «М. Лермонтов».

**Февраль 16.** На балу у графини Лаваль столкновение Лермонтова с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. Де Барант вызвал Лермонтова на дуэль.

Формальной причиной вызова был обмен резкими словами во время разговора.

**Февраль 18, воскресенье, в 12 часов дня.** Дуэль Лермонтова с де Барантом за Черной речкой на Парголовской дороге при секундантах А. А. Столыпине и графе Рауле д'Англесе. После дуэли Лермонтов, слегка оцарапанный ниже локтя, заезжал к А. А. Краевскому.

**Февраль 19.** Цензор П. Корсаков разрешил издание: «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть I и часть II. СПб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1840».

**Февраль, двадцатые числа.** Командир л. – гв. Гусарского полка Н. Ф. Плаутин потребовал от Лермонтова объяснения обстоятельств дуэли с де Барантом.

**Март, начало.** Письмо Лермонтова к ко-

мандиру л. – гв. Гусарского полка Н. Ф. Плаутину с объяснениями обстоятельств дуэли с де Барантом.

**Март 2.** В «Одесском вестнике» № 18 отзыв о стихотворениях Лермонтова «Узник» и «Ангел», напечатанных в «Одесском альманахе на 1840 год».

**Март 10.** Начато «Дело Штаба отдельного Гвардейского корпуса... О поручике лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтове, преданном военному суду за произведенную им с французским подданным Барантом дуэль и необъявление о том в свое время начальству». Лермонтов арестован.

**Март 12.** Письмо А. А. Столыпина к А. Х. Бенкендорфу о том, что он был секундантом на дуэли Лермонтова с де Барантом. Столыпина арестовали 14 марта.

**Март 15.** А. И. Тургенев в письме из Москвы спрашивает П. А. Вяземского: «...Верно, Лермонтов дрался с Бар<антом> за кн. <Щербатову>?».

**Март 15.** Белинский пишет из Петербурга в Москву В. П. Боткину: «Лермонтов под арестом за дуэль с сыном Баранта. Государь ска-

зал, что если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что с ним сделать, но когда с французом, то три четверти вины слагается. Дрались на саблях, Лермонтов слегка ранен и в восторге от этого случая, как маленького движения в однообразной жизни. Читает Гофмана, переводит Зейдлица и не унывает. Если, говорит, переведут в армию, буду проситься на Кавказ. Душа его жаждет впечатлений и жизни».

**Март 16.** Допрос Лермонтова комиссией военного суда. Лермонтов дал письменные показания.

**Март 17.** Лермонтов переведен из Ордонанс-гауза на «Арсенальный караул».

**Март 22.** Лермонтов через А. В. Браницкого пригласил на Арсенальную гауптвахту Эрнеста де Баранта для личных объяснений по поводу своих показаний от 16 марта, которыми де Барант был настолько недоволен, что требовал новой дуэли.

**Март 23.** Министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде получил предписание вел. кн. Михаила Павловича получить показания де Баранта. Нессельроде распорядился: «Отве-

чать, что Барант уехал...».

**Март 25.** Объяснение Лермонтова о свидании с де Барантом, представленное великому князю Михаилу Павловичу.

**Март 29.** Лермонтов допрошен «в присутствии комиссии военного суда» и дал письменные показания о свидании с де Барантом на Арсенальной гауптвахте 22 марта.

**Апрель 5.** Комиссия военного суда закончила дело Лермонтова.

**Апрель 11.** Мнение вел. кн. Михаила Павловича по поводу приговора военно-судной комиссии в отношении Лермонтова: «...сверх содержания его под арестом с 10 прошедшего месяца, выдержать еще под оным в крепости в каземате три месяца, и потом выписать в один из армейских полков тем же чином...».

В этот же день поступило предписание Николая I о срочном окончании дела о дуэли.

**Апрель 12.** Вышли «Отечественные записки», т. IX, № 4, в котором в отд. III напечатано стихотворение «Журналист, Читатель и Писатель», подписанное «М. Лермонтов». На копии стихотворения рукой В. А. Соллогуба: «С. Петербург, 20 марта 1840. Под арестом, на

Арсенальной гауптвахте».

**Апрель 12–16.** Белинский посетил Лермонтова в Ордонанс-гаузе, куда в конце месяца Лермонтов был вновь переведен с Арсенальной гауптвахты. 16 апреля он писал В. И. Боткину: «...вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно я был у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух. Как верно он смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура».

**Апрель 13.** На докладе генерал-аудиториата по делу Лермонтова рукой Николая I написано: «Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином; оставного поручика Столыпина и г. Браницкого освободить от подлежащей ответственности, объявив первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. В прочем быть по сему. Николай. С.-Петербург».

13 апреля 1840».

Резолюция Николая I противоречила определению генерал-аудиториата, который предлагал выдержать Лермонтова три месяца на гауптвахте, а потом уже выписать в один из армейских полков. Вот почему не знали, как привести в исполнение высочайший приказ.

**Апрель 19.** Военный министр А. И. Чернышев сообщил вел. кн. Михаилу Павловичу, что Николай I «изволил сказать, что переводом Лермонтова в Тенгинский полк желает ограничить наказание».

**Апрель 20–27.** Письмо Лермонтова к вел. кн. Михаилу Павловичу с просьбой защитить его от требований Бенкендорфа написать письмо к де Баранту с признанием о ложном показании на суде, что он стрелял в воздух.

Вел. кн. Михаил Павлович направил его письмо на высочайшее рассмотрение.

**Апрель 27.** В «Литературной газете», № 34 напечатано извещение о выходе из печати «Героя нашего времени».

**Апрель 29.** На письме Лермонтова к вел. кн. Михаилу Павловичу карандашная помета Л. В. Дубельта: «Государь изволил читать», и

далее: «К делу, 29 апреля 1840». Хотя резолюции Николая I на это письмо не последовало, Бенкендорф отказался от своих требований, оскорбительных для Лермонтова.

**Апрель, конец – май, начало.** Написано стихотворение «Благодарность» («За все, за все тебя благодарю я»).

**Весной.** Предположительно датируются стихотворения Лермонтова М. П. Соломирской («Над бездной адскою блуждая») и «Пленный рыцарь» («Молча сажу под окошком темницы»).

**Май 3, 4 или 5.** Отъезд Лермонтова из Петербурга. Прощальный вечер у Карамзиных. Стихотворение «Тучи».

**Май 5.** В «Северной пчеле» № 98 и в ряде следующих номеров – извещение о выходе из печати «Героя нашего времени».

**Май 8.** Приезд Лермонтова из Петербурга в Москву.

**Май, первая половина.** По дороге на Кавказ Лермонтов задержался в Москве. Часто встречается с Ю. Ф. Самариным, в семье Мартыновых знакомится с А. В. Мещерским, несколько вечеров проводит у Н. Ф. Павлова и

Свербеевых. Бывал в кружке московских славянофилов. Больше других Лермонтову понравился Хомяков. О случайных встречах с Лермонтовым в Москве упоминают также Ф. Ф. Вигель и В. В. Боборыкин.

**Май 9.** Лермонтов присутствовал на именнинном обеде Гоголя в саду у Погодина на Девичьем Поле. «На этом обеде, кроме круга близких, приятелей и знакомых, – по свидетельству С. Т. Аксакова, – были: А. И. Тургенев, кн. П. А. Вяземский..., М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин и многие другие. Обед был веселый и шумный. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случился, отрывок из новой своей поэмы „Мцыри“ и читал, говорят, прекрасно...»

**Май 10.** Запись в дневнике А. И. Тургенева: «Вечер у Сверб<еевой> с гр. Зубовой. Павлова: подарил ей лиру. Она довольна. Лермонтов и Гоголь. До 2 часов... Был у кн. Щерб<атовой>. Сквозь слезы смеется. Любит Лермонт<ова>...».

**Май 12.** Запись в дневнике А. И. Тургенева:

«...После обеда в Петровское к Мартыновым, они еще не уезжали из города... Несмотря на дождь поехали в Покровское-Глебово, мимо Всехсвятского... возвратились к Мартыновым – пить чай и сушиться. Кн. <Л. А.> Гагарин гарсевал на коне своем. Лермонтов любезничал и уехал».

**Май 14.** Цензоры П. Корсаков и А. Фрейганг разрешили «Отечественные записки», т. X, № 5, где в отд. III напечатано стихотворение «Воздушный корабль», подписанное «М. Лермонтов». В том же номере без подписи напечатана первая часть статьи Белинского о «Герое нашего времени».

**Май 16.** Стихотворение «Посреди небесных тел».

**Май 19.** Запись в дневнике А. И. Тургенева: «...в Петровское, гулял с гр. Зубовой... Цыгане, Волковы, Мартыновы. Лермонтов».

**Май 22.** Запись в дневнике А. И. Тургенева: «...в театр, в ложи гр. Броглио и Мартыновых, с Лермонтовым; зазвали пить чай и у них и с Лермонт<овым> и с Озеров<ым> кончил невинный вечер; весело».

**Май 25.** В «Литературной газете» № 42 без

подписи помещена рецензия Белинского на «Героя нашего времени».

**Май 25.** Письмо Е. М. Мартыновой, из Москвы к сыну Н. С. Мартынову на Кавказ, в котором говорится о том, что Лермонтов еще в городе и почти каждый день посещает ее дочерей, находящих «большое удовольствие в его обществе».

**Май, последние числа.** Отъезд Лермонтова на Кавказ. Последний вечер в Москве у Н. Ф. и К. К. Павловых. Ю. Ф. Самарин писал: «Он уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились на крыльце».

**Июнь, первые числа.** Лермонтов проездом задержался в Новочеркасске у ген. М. Г. Хомутова; он прожил у него три дня и каждый день бывал в театре.

**Июнь 10.** Лермонтов приехал в Ставрополь, в главную квартиру командующего войсками Кавказской линии и Черномории генерал-адъютанта П. Х. Граббе.

**Июнь 14/26.** Резкий отзыв Николая I о Лермонтове и его романе «Герой нашего времени» в письме к императрице: «...это жалкое дарование, оно указывает на извращенный

ум автора».

**Июнь, вторая половина.** Письмо С. Т. Аксакова к Гоголю: «Я прочел Лермонтова „Героя нашего времени“ в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца».

**Июнь 15.** Вышли в свет «Отечественные записки», т. X, № 6, где в отд. III напечатаны стихотворения «Отчего?» и «Благодарность», подписанные «М. Лермонтов».

**Июнь 17.** Лермонтов пишет А. А. Лопухину из Ставрополя о том, что на следующий день едет в действующий отряд на левый фланг в Чечню «братъ пророка Шамиля».

**Июнь 18.** Лермонтов «командирован на левый фланг Кавказской линии для участия в экспедиции, в отряде под начальством генерал-лейтенанта Галафеева».

**Июнь 21.** Издатель и редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский обратился с письмом к цензору А. В. Никитенко, в котором просил «благословить... к напечатанию отдельной книжкой» сборник стихотворений Лермонтова. Никитенко не решился взять на

себя ответственность за выпуск сборника стихов опального поэта и после ряда напоминаний Краевский перенес это дело на рассмотрение Цензурного комитета.

**Июль 6 – 10.** Отряд, в котором находился Лермонтов, выступив из лагеря при крепости Грозной, переправился через реку Сунжу и через ущелье Хан-Калу с боями продвинулся в Дуду-Юрт и далее в Большую Атагу и Чах-Гери к Гойтинскому лесу. После штыковой атаки у Ахшпатай-Гойта был совершен переход к Урус-Мартан и к деревне Гехи.

**Июль 11.** Отряд выступил из лагеря при дер. Гехи. Бой при реке Валерик. «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, не смотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми ря-

дами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы».

**Июль 12–15.** Лермонтов принимает участие в перестрелке при следовании отряда через деревню Ачхой, по рекам Натахи и Сунже до возвращения в крепость Грозную.

**Июль 14.** Цензоры П. Корсаков и С. Куторга разрешили «Отечественные записки», т. XI, № 7, где в отд. III напечатаны стихотворения «Молитва» («Я, мать божия») и «Из Гете» («Горные вершины»), подписанные «М. Лермонтов».

**Июль 17 – август 2.** Участие Лермонтова в походе части отряда генерала А. В. Галафеева в Северный Дагестан. По пути, в палатке, у Миатлинской переправы, Лермонтова нарисовал в профиль барон Д. П. Пален. Отряд прибыл 29 июля в Темир-Хан-Шуру, а 2 августа через Миатлинскую переправу выступил к крепости Грозной.

**Август 13.** Цензурный комитет разрешил сборник «Стихотворения М. Лермонтова».

**Сентябрь 12.** Письмо Лермонтова из Пятигорска к А. А. Лопухину в Москву с описанием битвы при Валерике.

**Сентябрь 14.** Цензоры А. Фрейганг и В. Ольдекоп разрешили «Отечественные записки», т. XII, № 9, где в отд. III напечатано стихотворение «Ребенку» («О грезах юности томим воспоминаньем»), подписанное «М. Лермонтов».

**Сентябрь 26.** Отряд генерал-лейтенанта А. В. Галафеева выступил из крепости Грозной через Ханкальское ущелье к реке Аргуну. Лермонтов был прикомандирован к кавалерии отряда.

**Октябрь 10.** Когда выбыл раненым из строя юнкер Руфин Дорохов, Лермонтов принял от него начальство над охотниками, выбранными из всей кавалерии – «летучей сотнею казаков». Лермонтов «с командою» отличился в делах 12 и 15 октября за Шалинским лесом и при переправе через Аргун.

**Октябрь 15.** Вышли в свет «Отечественные записки», т. XII, № 10, где в отд. III напечатано стихотворение «А. О. Смирновой» («Без вас хочу сказать вам много»), подписанное «М. Лермонтов».

**Октябрь 25.** Вышел в свет сборник «Стихотворения М. Лермонтова. СПб., в типографии

Ильи Глазунова и К°. 1840». Издание вышло в количестве 1000 экз.

**Октябрь, вторая половина.** Лермонтов в крепости Грозной после двадцатидневной экспедиции в Чечне. Письмо к А. А. Лопухину в Москву о походе и команде охотников, которую Лермонтов «получил в наследство от Дорохова».

**Октябрь 27 – ноябрь 6.** Лермонтов в составе отряда генерала А. В. Галафеева выступил из крепости Грозной и отличился в делах 27, 28, 29 и 30 октября у аула Алды, в Гойтинском лесу и у реки Валерик.

**Ноябрь 9.** Лермонтов в Ставрополе.

**Ноябрь 9 – 20.** Во время второй экспедиции в Малой Чечне Лермонтов был все время при генерал-лейтенанте А. В. Галафееве.

**Ноябрь 20 – декабрь.** Лермонтов в Ставрополе. Встречи с С. В. Трубецким, Л. В. Росильоном, И. А. Вревским, А. Д. Есаковым, Л. С. Пушкиным, М. А. Назимовым и др.

**Декабрь 9.** Рапорт генерала А. В. Галафеева с приложением наградного списка и просьбой перевести Лермонтова «в гвардию тем же чином с отданием старшинства».

**Декабрь 11.** Военный министр А. И. Чернышев сообщил командиру Отдельного кавказского корпуса о том, что Николай I разрешил предоставить Лермонтову отпуск в С.-Петербург сроком на два месяца.

**Декабрь 14.** В «Отечественных записках», т. XIII, № 12, отд. III напечатано стихотворение «К портрету» [А. К. Воронцовой-Дашковой] («Как мальчик кудрявый резва...»), подписанное «М. Лермонтов».

**Декабрь 16 и 17.** В «Северной пчеле» № 284–285 в форме письма к Ф. В. Булгарину напечатан отзыв В. С. Межевича (подпись Л. Л.) о «Герое нашего времени» и о первом издании «Стихотворений М. Лермонтова».

**Декабрь 24.** Рапорт командовавшего кавалерией действующего отряда на левом фланге Кавказской линии полковника князя В. С. Голицына командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории ген.-лейт. Граббе с представлением к награждению Лермонтова золотой саблей с надписью «За храбрость».

**Декабрь, конец месяца.** Лермонтов приехал в Фанагорию близ Тамани для свидания с

декабристом Н. И. Лорером, которому привез письмо от его племянницы А. О. Смирновой-Россет и книгу «Imitation de Jesus Christ» («О подражании Христу») Фомы Кемпийского.

**Декабрь 31.** Приказом № 365 Лермонтов зачислен «налицо» в Тенгинском пехотном полку. Штаб полка находился в станице Ивановской.

## 1841

**Январь 1.** Цензоры А. Никитенко и С. Курторга разрешили «Отечественные записки», т. XIV, № 1, где в отд. III напечатано стихотворение «Есть речи – значенье», подписанное «М. Лермонтов».

**Начало года.** Эпиграмма Лермонтова на О. И. Сенковского «Под фирмой иностранной иноземец».

**Январь 6.** Лермонтов в Ставрополе присутствует на обеде у П. Х. Граббе вместе с Л. С. Пушкиным, А. И. Дельвигом и др.

**Январь 14.** Лермонтову выдан отпускной билет на два месяца. Вероятно, в этот день он выехал из Ставрополя в Петербург, через Новочеркасск, Воронеж, Москву.

**Январь, конец месяца.** Остановка Лермон-

това в Воронеже.

**Январь 30.** Лермонтов прибыл с Кавказа в Москву.

**Февраль, первые числа.** Вышли в свет «Отечественные записки», т. XIV, № 2, где в отд. III напечатано стихотворение «Завещание» («Наедине с тобою, брат»), подписанное «М. Лермонтов». В этой же книжке, в отд. V, статья Белинского (без подписи) «О стихотворениях М. Лермонтова».

**Февраль 5–6.** Приезд Лермонтова в Петербург «на половине масленицы».

**Февраль 8.** Вечером Лермонтов был у В. Ф. Одоевского, к которому в 11-м часу вечера приехал и П. А. Плетнев.

**Февраль 9.** Лермонтов был на балу у А. К. Воронцовой-Дашковой, где среди гостей находился вел. кн. Михаил Павлович. Лермонтов писал: «...я отправился на бал к г. Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал...».

**Февраль 19.** Цензор П. Корсаков разрешил издание: «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть 1. Издание 2-ое. СПб. В

типографии Ильи Глазунова и К°. 1841». Тираж 1200 экз.

**Февраль.** Близкое знакомство Лермонтова с гр. Е. П. Ростопчиной: «...двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой» (Ростопчина).

**Февраль, вторая половина.** Письмо Лермонтова к А. И. Бибикову на Кавказ, в котором он сообщает, что у него «началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет». Тут же идет речь об отъезде на Кавказ, предположительно назначенном на 9 марта, и о том, что Лермонтова вычеркнули «из Валерикского представления», т. е. отказали в награждении орденом св. Станислава 3-й степени.

**Февраль 27.** Лермонтов был у Карамзиных, где застал его приехавший в 11 часов П. А. Плетнев.

**Февраль 28.** Цензоры А. Никитенко и С. Курторга разрешили «Отечественные записки», т. XV, № 3, где в отд. III напечатано стихотворение «Оправдание», подписанное «М. Лермонтов».

**Март 5.** Рапорт командира Отдельного кав-

казского корпуса с представлением к награде Лермонтова за участие в экспедиции в Малой Чечне с 27 октября по 6 ноября 1840 года. 30 июня 1841 года в награде было отказано.

**Март 9.** Запись в дневнике Жуковского: «Приехал в 4 часа... у Карамзиных: Лермонтов. Ростопчина».

**Март 10.** Лермонтов записал в альбом М. А. Бартеневой стихотворение «Любовь мертвеца».

**Март 11.** А. А. Краевский пишет М. Н. Каткову за границу: «Здесь <т. е. в Петербурге> теперь Лермонтов в отпуску и через две недели опять едет на Кавказ. Я заказал списать с него портрет Горбунову: вышел похож. Он поздоровел, целый год провел в драках и потому писал мало, но замыслил очень много».

**Март 13.** Белинский пишет В. Н. Боткину: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его „Родина“, то, аллах-керим, что за вещь: пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских».

**Март 16.** Заметка Лермонтова: «Ахвердов<а> – на Кирочн<ой>. Г<рафиня> Завадовск<ая>. Лео<нид> Голицы<н> в доме Ро-

стовцева. Понед<ельник> Смир<нова>. Втор<ник> Ростоп<чина>. Веч<ером> Лаваль именины».

**Март 17.** Запись в дневнике Жуковского: «К Смирновой, у нее Ростопчина, Лермонтов, Соболевский, Мальцов, Норов. Ее миленькая сестра. Жаркий спор за Орлова, Ермолова и Перовского».

**Март 18.** Запись в дневнике Жуковского. «Обедал у Ростопчиной с С<офьей> Николаевной <Карамзиной>, с Лермонтовым, с Андреем Карамзиным и с Озеровыми».

**Март – апрель, первая половина.** Стихотворение в альбом С. Н. Карамзиной «Любил и я в былые годы».

**Март – апрель, первая половина.** Попытка Лермонтова выйти в отставку, посвятить себя литературной деятельности и издавать свой журнал.

**Март 24.** Запись в дневнике Жуковского: «У детей <у великих князей> на лекции. У обедни. Отдал письмо бабушки Лермонтова».

**Март 27.** Стихотворение Е. П. Ростопчиной «На дорогу Михаилу Юрьевичу Лермонтову».

**Март 30 – апрель 4.** Лермонтов написал

«Последнее новоселье».

**Апрель 4.** Запись в дневнике Жуковского: «У меня Лермонтов, который написал прекрасные стихи на Наполеона... Обедал у Смирновой с Лермонтовым, Полетикою и Маркеловым».

**Апрель, начало.** Вышли в свет «Отечественные записки», т. XV, № 4, где в отд. III напечатано стихотворение «Родина», подписанное «М. Лермонтов».

В этом же номере «Отечественных записок» извещение: „Герой нашего времени“ соч. М. Ю. Лермонтова, принятый с таким энтузиазмом публикою, теперь уже не существует в книжных лавках; первое издание его все раскуплено; готовится второе издание, которое скоро должно показаться в свет; первая часть уже отпечатана: кстати о самом Лермонтове: он теперь в Петербурге и привез с Кавказа несколько новых прелестных стихотворений, которые будут напечатаны в „Отечественных записках“. Тревоги военной жизни не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству, которое назвало его одним из главнейших жрецов своих; но замыш-

лено им много и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценные подарки».

**Апрель 11–13.** Жуковский написал письмо к великому князю Александру Николаевичу, наследнику престола, в котором просит по случаю предстоящего 16 апреля бракосочетания его с принцессой Марией Гессен-Дармштадской оказать «милость» – смягчить участь декабристов, Герцена и Лермонтова.

Письмо, видимо, отправлено не было, но хлопоты Жуковский продолжал.

**Апрель, около 11 числа.** Дежурный генерал Главного Штаба граф П. А. Клейнмихель вызвал Лермонтова и сообщил ему предписание в 48 часов покинуть Петербург и отправиться на Кавказ в Тенгинский полк. Прямо от Клейнмихеля в сильном возбуждении Лермонтов приехал к Краевскому.

**Апрель 12.** Запись в дневнике Жуковского: «...У Уварова, у меня Лермонтов... Вечеру у Плетнева с Левашовым. Потом у Карамзинных».

**Апрель 12.** Запись в журнале П. А. Плетнева: «После чаю Жуковский отправился к Ка-

рамзиным на проводы Лермонтова, который снова едет на Кавказ по миновании срока отпуска своего». На прощальном вечере у Лермонтова был долгий сердечный разговор с Натальей Николаевной Пушкиной: «Прощание их было самое душевное...»

**Апрель 12–13.** Стихотворение «Графине Ростопчиной» («Я верю: под одной звездой») Лермонтов вписал в альбом, который подарил ей перед отъездом.

**Апрель 12–13.** По просьбе П. П. Вяземского Лермонтов написал стихотворение «На севере диком».

**Апрель 13.** Надпись князя В. Ф. Одоевского на альбоме, подаренном Лермонтову при отъезде его на Кавказ: «Поэту Лермонтову дается моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную. К<нязь> В. Одоевский, 1841, Апреля 13-е. СПбург».

Весной и в начале лета в записной книжке, подаренной В. Ф. Одоевским, Лермонтов написал стихотворения: «Утес», «Спор», «Сон», «L'Attente», «Лилейной рукой поправляя», «На бурке под тенью чинары», «Они любили друг

друга так долго и нежно», «Тамара», «Свиданье», «Листок», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю».

На ответном даре Лермонтова надпись В. Ф. Одоевского: «Эта картина рисована поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору...».

**Апрель 13–14.** Прощальная записка Лермонтова к А. А. Краевскому.

**Апрель 14, 8 часов утра.** Отъезд Лермонтова из Петербурга в Москву.

**Апрель 17.** Лермонтов прибыл в Москву.

**Апрель 18.** Письмо Е. А. Арсеньевой к С. Н. Карамзиной с просьбой напомнить Жуковскому похлопотать перед императрицей о прощении Лермонтова.

**Апрель 20.** Запись в дневнике Жуковского: «...У императр<ицы> на завтраке. Чтение моей статьи. О Лермонтове».

**Апрель 20.** Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой о том, что он остановился у Дмитрия Григорьевича Розена и пробудет в Москве еще несколько дней.

**Апрель 20-е числа.** Встречи Лермонтова с Ю. Ф. Самариным, который записал мнение Лермонтова о современном состоянии России: «Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого». Далее Самарин сообщает, что он был с Лермонтовым на народных гуляниях под Новинским.

**Апрель 20-е числа.** Стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

**Апрель 23.** За полчаса до отъезда из Москвы на Кавказ Лермонтов пришел проститься к Ю. Ф. Самарину и принес ему для «Москвитянина» стихотворение «Спор».

**Апрель 23.** Лермонтов выехал из Москвы в Ставрополь.

**Апрель, между 25 и 30 числами.** По пути на Кавказ Лермонтов догнал в Туле А. А. Столыпина, выехавшего из Москвы 22 апреля. Они обедали у А. М. Меринского, их товарища по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, и отправились в дальнейший путь вдвоем. По дороге они заезжали к М. П. Глебову в его имение Мишково Мцен-

ского уезда Орловской губернии.

**Апрель, конец.** Остановка Лермонтова и А. А. Столыпина в Воронеже «в гостинице Евлаховой».

**Май, начало.** Заезд Лермонтова в Таганрог для свидания с сослуживцем по л. – гв. Гусарскому полку А. Г. Реми.

**Май 1.** Цензоры А. Никитенко и С. Куторга разрешили «Отечественные записки», т. XVI, № 5, где в отд. III напечатано стихотворение «Последнее новоселье», подписанное «М. Лермонтов».

**Май 3.** Цензор П. Корсаков разрешил второе издание «Героя нашего времени. Сочинение М. Лермонтова, ч. II, СПб., в типографии Ильи Глазунова и К°. 1841».

**Май 9.** Лермонтов и Столыпин прибыли в Ставрополь и были прикомандированы к отряду для участия в экспедиции «на левом фланге Кавказа».

**Май 10.** Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой о приезде со Столыпиным в Ставрополь и о предполагающемся отъезде в крепость Темир-Хан-Шуру.

**Май 10.** Письмо Лермонтова к С. Н. Карам-

зиной в Петербург с сообщением об отъезде в экспедицию: «Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать... Я хотел написать... и г-же Смирновой, но... воздерживаюсь».

**Май 19.** Рукой Лермонтова в «книжке Одоевского» карандашная запись: «19 мая – буря».

**Май 20 (вероятная дата).** Лермонтов и А. А. Столыпин приехали в Пятигорск, где подали рапорты коменданту о болезни и ходатайства о разрешении лечиться минеральными водами. Разрешение было получено.

**Май, конец месяца.** Лермонтов и А. А. Столыпин сняли дом и поселились в Пятигорске у капитана В. И. Чилаева. В соседних домах остановились М. П. Глебов, кн. А. И. Васильчиков, С. В. Трубецкой и Н. С. Мартынов – их старые приятели по Петербургу и Кавказу, составившие вместе «Лермонтовский кружок».

**Май, конец месяца.** Вышли в свет «Отечественные записки», т. XVI, № 6, где в отд. III напечатано стихотворение «Кинжал», подписанное «М. Лермонтов».

**Май 31.** Цензор Н. Крылов разрешил жур-

нал «Москвитянин», часть III, № 6, где напечатано стихотворение «Спор», подписанное «М. Лермонтов».

**Июнь 13.** Рапорт Лермонтова, поданный командиру Тенгинского полка полковнику С. И. Хлюпину о том, что он, отправляясь в отряд командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории, и получил от Пятигорского коменданта позволение остаться в Пятигорске впредь до излечения.

**Июнь 28.** Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой, в котором он просит прислать ему в Пятигорск собрание сочинений Жуковского, «полного Шекспира, по-англински» и книгу стихов Е. П. Ростопчиной и сообщает о своем намерении проситься в отставку: «...а чего мне здесь еще ждать?».

**Лето 1841 года.** А. С. Хомяков в письме к Н. М. Языкову пишет: «В „Москвитянин“ был разбор Лермонтова Шевыревым, и разбор не совсем приятный, по-моему несколько несправедливый. Лермонтов ответил очень благоразумно: дал в „Москвитин“ славную пьесу, спор Шата с Казбеком, стихи прекрасные».

**Июнь 30.** Цензоры А. Никитенко и С. Куторга разрешили «Отечественные записки», т. XVII, № 8, где в отд. III напечатано стихотворение «Пленный рыцарь», подписанное «М. Лермонтов».

**Июнь 30.** Дежурный генерал Главного штаба граф П. А. Клейнмихель сообщил командиру отдельного Кавказского корпуса генералу Е. А. Головину о том, что Николай I, «заметив, что поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученною ему казачьею командою, повелеть соизволил... дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте...». Подлинная резолюция царя гласила: «Зачем не при своем полку? Велеть непременно быть налицо во фронте, и отнюдь не сметь под каким бы ни было предлогом удалять от фронтовой службы при своем полку».

Это распоряжение было получено на Кавказе уже после гибели Лермонтова.

**Июль, первая половина.** В Пятигорск приехал И. Е. Дядьковский, знаменитый врач, профессор Московского университета. Он

привез Лермонтову от Е. А. Арсеньевой «гостинца и письма... долго беседовали они о Байроне, Англии, о Беконе... По уходе его Иустин Евдокимович много раз повторял: „Что за умница“». Гибель Лермонтова потрясла Дядьковского, и через шесть дней он скончался.

**Июль 8.** Вечером Лермонтов и его друзья дали пятигорской публике бал в гроте Дианы возле Николаевских ванн.

**Июль 13.** Столкновение между Лермонтовым и Мартыновым на вечере в доме Верзилиных. Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Формальной причиной вызова послужили шутки и остроты Лермонтова.

**Июль 14.** Поездка Лермонтова и А. А. Столыпина в Железноводск.

**Июль 15.** Утром к Лермонтову в Железноводск из Пятигорска приехали в коляске Обыденная и Е. Г. Быховец, которых сопровождали верхами юнкер Бенкендорф, М. В. Дмитриевский и Л. С. Пушкин. Пикник в немецкой колонии Каррас (Шотландка). После обеда в колонии между 6–7 часами вечера дуэль Лермонтова с Мартыновым у подножия Машу-

ка при секундантах М. П. Глебова и князе А. И. Васильчикове. При дуэли присутствовали А. А. Столыпин, С. В. Трубецкой и Р. И. Дорохов. Гроза. Лермонтов убит Мартыновым. Поздно вечером тело поэта перевезено в Пятигорск в дом Чилаева.

**Июль 16.** Создание в Пятигорске следственной комиссии по делу о дуэли. Составлен акт осмотра места поединка следственной комиссией в присутствии секундантов М. П. Глебова и А. И. Васильчикова. Художник Р. К. Шведе зарисовал Лермонтова в гробу.

**Июль 17.** Медицинское освидетельствование лекарем И. Е. Барклаем де Толли в присутствии следственной комиссии тела Лермонтова.

Погребение на Пятигорском кладбище: «Офицеры несли прах любимого ими товарища до могилы, а слезы множества сопровождающих выразили потерю общую, незаменимую». Запись в метрической книге Пятигорской Скорбященской церкви за 1841 год, часть III, № 35: «Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев Лермонтов 27 лет убит на дуэли 15-го июля, а 17 погребен, по-

ребение пето не было».

**Июль 17.** Письмо начальника штаба войск Кавказской линии и Черномории полковника А. С. Траскина из Пятигорска в Ставрополь к генералу П. Х. Граббе с подробным рассказом о дуэли.

**Август 6.** В «Одесском вестнике» № 63 в статье А. С. Андреевского, присланной из Пятигорска, первое сообщение в печати о смерти Лермонтова: «15-го июля, около 5-и часов вечера, разразилась ужасная буря с молнией и громом: в это самое время, между горами Машуком и Бештау, скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта... Кто не читал его сочинений, проникнутых тем глубоким лирическим чувством, которое находит отголосок в душе каждого?...»

**Август 30.** Цензурное разрешение на выход в свет «Отечественных записок», т. XVIII, кн. 9, где в отд. VI без подписи помещена статья Белинского «Герой нашего времени»: «...мы встречаем новое издание „Героя нашего времени“ горькими слезами о невозврати-

мой утрате, которую понесла осиротелая русская литература в лице Лермонтова!.. Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания и – исчезнуть во всей красе своей...»

**Сентябрь 30.** Комиссия военного суда в Пятигорске огласила «Сентенцию», в которой приговорила Н. С. Мартынова, М. П. Глебова и А. И. Васильчикова «за дуэль с поручиком Тенгинского пехотного полка Лермонтовым (на оной ныне убитым)» к «лишению чинов и прав состояния».

Высочайшая конфирмация по военно-судному делу состоялась 3 января 1842 года: «Майора Мартынова посадить в крепость на гоубтвахту на три месяца и предать церковному покаянию, а титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной им в сражении тяжелой раны».

**1842**

**Апрель 21.** По просьбе Е. А. Арсеньевой гроб с прахом Лермонтова привезен из Пяти-

горска в Тарханы.

**Апрель 23.** Прах Лермонтова погребен в  
фамильном склепе в Тарханах.

# Примечания

Лермонтов описал здесь мужской монастырь в Нижнем Ломове, старинном городе, стоявшем на пути из Москвы в Пензу. С Тарханами его связывала короткая прямая дорога, сохранившаяся и до настоящего времени.

Известно, что вблизи от Нижнеломовского монастыря в августе 1774 г. неоднократно появлялись повстанческие отряды.

[^^^]

## 2

Первые отряды пугачевцев появились на территории Пензенского края в конце июля 1774 г. Пенза была взята 1 августа. Волнения пензенско-воронежских крестьян начались еще до появления там Пугачева.

[^^^]

Выражение «естественный порядок» здесь означает – установленный природою, не зависящий от воли и разума человека (ср. в «Странном человеке»: «Я создан, чтоб разрушать естественный порядок», наст. изд., т. 3, с. 233).

[^^^]

## 4

Это сравнение восходит к повести Шатобриана «Аталá». Оно встречается также в главе третьей «Княгини Лиговской», но употреблено в ироническом смысле.

[^^^]

## 5

Рассказ о женихе-призраке восходит к немецкой народной песне. Этот сюжет был использован Г. Бюргером в балладе «Ленора», в русской литературе известной по подражаниям и переводам В. А. Жуковского («Людмила», 1808, «Светлана», 1808–1812, «Ленора», 1831). Ср. балладу Лермонтова «Гость» (наст. изд., т. 1, с. 496–498).

[^^^]

## 6

Явление, открытое основоположником электрофизиологии итальянским анатомом и физиологом Луиджи Гальвани (1737–1798). Позднее гальванизм был определен как физиологическое действие электрического тока.

[^^^]

Лермонтов напоминает 4-ю сцену III акта «Макбета» Шекспира, где появляется призрак убитого Банко.

[^^^]

Песня «Воет ветер» встречается также в поэме «Азраил» (см. наст. изд., т. 2, с. 104) с различиями в двух первых стихах.

[^^^]

Гуммель Иоганн (Ян) Непомук (1778–1837) и Джон Филд (1782–1837) – известные пианисты – виртуозы и композиторы. Гуммель, уроженец Братиславы, выступал с концертами в Петербурге и в Москве в 20-х гг. XIX в. Филд, ирландец, приехал в Россию в 1802 г. В 1831–1835 гг. концертировал в Западной Европе (Лондон, Париж). Умер в Москве.

[^^^]

Лермонтов ввел в текст романа юношеское стихотворение «Воля» (1831) в несколько измененной редакции (см. наст. изд., т. 1, с. 196).

[^^^]

*Белбородко* – вероятно, от фамилии пугачевского полковника Ивана Наумовича Белобородова, одного из наиболее талантливых сподвижников Пугачева.

[^^^]

*Потомки Леонида* – греки. Леонид – спартанский царь, возглавивший объединенное войско греческих полисов против персидского царя Ксеркса. Героически погиб при защите Фермопильского ущелья (480 г. до н. э.). Греция освободилась от турецкого ига, длившегося 400 лет, в 1829 г.

[^^^]

*Адамова голова* – христианский религиозный символ в виде черепа и скрещенных под ним костей.

[^^^]

Оставь надежду, всяк сюда входящий!  
(Итал.) – Ред.

Стих из «Божественной комедии» Данте  
(«Ад», песнь 3, стих 9).

[^^^]

«Мадонна долороза» (мать скорбящая) – наименование средневекового орудия пытки.

[^^^]

# 16

Лермонтов имеет в виду притчу о сеятеле, изложенную в Евангелии от Матфея (XIII, 3 – 23), от Марка (IV, 3 – 20), от Луки (VIII, 4 – 15).

[^^^]

Турция объявила войну России 25 сентября/6 октября 1768 г. Военные действия начались в январе 1769 г. Через Дунай русские переправились под начальством Суворова в мае 1773 г.

[^^^]

«*Гулистан*» в переводе с персидского значит «розовый сад». Так озаглавлено произведение персидского поэта и мыслителя Саади (р. между 1203–1210, ум. 1292).

[^^^]

В этой фразе содержится намек на роман Бальзака «Тридцатилетняя женщина» (1831–1834), упоминание о котором есть и в «Герое нашего времени» (см. наст. том, с. 220).

[^^^]

В «Иудейской войне» Иосифа Флавия есть описание странных деревьев, растущих в окрестностях Асфальтового озера (Мертвого моря). Плоды их, съедобные на вид, но негодные к пище, рассыпаются в пепел при первом к ним прикосновении (IV, 8, 4). Этот сюжет использовал Д. Мильтон в «Потерянном рае» (кн. 10, ст. 760–767) и Томас Мур в «восточной» поэме «Лалла-Рук». Наиболее вероятно, что сравнение, употребленное здесь Лермонтовым, пришло к нему именно от Мура.

[^^^]

По преданию Александр Македонский, не сумев распутать сложный узел, завязанный фригийским царем Гордием, разрубил его мечом.

[^^^]

Ср. в Библии: «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею; и расступились воды» (Исход, 14, 21).

[^^^]

Стих из «Евгения Онегина» Пушкина, гл. 1, строфа XVI (у Пушкина – «Пади, пади!»).

[^^^]

*Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве...* (т. е. по каналу). Таков путь чиновника Красинского со службы домой: он служил в Департаменте государственных имуществ, помещавшемся в здании Главного штаба на Невском проспекте, а жил (как видно из гл. VII) у Обухова моста.

[^^^]

Описан путь Печорина с места его службы в лейб-гвардии Конном полку – на Конногвардейском бульваре (ныне бульвар Профсоюзов) – домой: по Екатерининскому каналу (ныне Грибоедова) на Невский, с Невского на Караванную (ныне Толмачева), через Симеоновский мост (ныне Белинского) направо, по набережной Фонтанки до «богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой».

[^^^]

*Иоганн Каспар Лафатер* (Lavater, 1741–1801) – швейцарский писатель, автор популярного в то время сочинения в 10 томах «Искусство познавать людей по чертам лица» («L'Art de connaitre les hommes par la physionomie», Paris, 1820). В 1841 г. вышло новое издание этой книги (см. о нем в письме Лермонтова к А. И. Бибикову, наст. том, № 48, с. 424). А. И. Герцен в первых главах повести «Кто виноват?», написанной в традициях психологической прозы Лермонтова, также упоминает Лафатера (*А. И. Герцен*, Собр. соч. в 30-ти тт., т. 4, с. 43).

[^^^]

*Балкан* – Балканы. Переходом русской армии через Балканский хребет закончилась русско-турецкая война 1828–1829 гг.

[^^^]

Под ними Лермонтов понимает, очевидно, статуэтки, изображавшие разных знаменитых людей в шаржированном виде. Никколо Паганини (1784–1840) – итальянский скрипач и композитор; Джоаккино Россини (1792–1868) – итальянский композитор, автор популярных в России опер «Севильский цирюльник» и «Вильгельм Телль». Под карикатуркой Иванова Лермонтов разумеет шарж на художника А. А. Иванова (1806–1858). В 1835 г. прибыла из Италии в Петербург его картина «Явление Христа Марии Магдалине»; она имела большой успех – Академия художеств избрала Иванова академиком.

[^^^]

Печорин назван «партизаном», т. е. почитателем Байрона.

*Лара* – герой одноименной поэмы Байрона.

[^^^]

Цитата из оды Ломоносова («Ода, выбранная из Иова»), начинающейся словами: «О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек».

[^^^]

Фраза *я для нее – все равно...* звучит как галлицизм; поэтому Варенька говорит, что она «не монастырка» – не обучалась в Институте благородных девиц (помещавшемся в здании Смольного женского монастыря), где обучали не столько русскому, сколько французскому языку.

[^^^]

Имя древнеримского бога Меркурия употреблено здесь в значении «вестника» или «посыльного».

[^^^]

«Фенелла» – опера французского композитора Даниэля Обера (1782–1871), поставленная в Париже в 1828 г. под названием «Немая из Портичи». В России эта опера, написанная на революционный сюжет, была допущена в несколько измененном виде и под названием «Фенелла». Лермонтов любил играть увертюру к этой опере (см. с. 529, в письме А. М. Верещагиной от 18 августа 1835 г.).

[^^^]

Трактир «Феникс» существовал с 1832 г. и помещался против Александринского театра – см. в «Воспоминаниях» актера А. А. Алексева (М., 1894, с. 31).

[^^^]

Кстати. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Т. е. в более дешевые места в театре – за креслами.

[^^^]

*Балерина Мария Дмитриевна Новицкая* (1816–1868) дебютировала в роли немой рыбакчи Фенеллы и производила в ней фурор.

*Константин Голланд* был артистом немецкого оперного театра в Петербурге (тенор). Композитор Берлиоз сказал о нем, что он – «даровитый актер, с редким мастерством фразирующий». В опере «Фенелла» Голланд исполнял роль рыбака Фиорелло (брата Фенеллы); этим именем в русской переделке оперы заменено имя Мазаньелло, – действительного вождя народного восстания в Неаполе в 1647 г.

[^^^]

Господин Жорж? (Франц.) – *Ред.*

[^^^]

Речь идет об Александро-Невской лавре, расположенной в те времена на окраине города.

[^^^]

См. примечание к «Вадиму», к с. 450.

[^^^]

Т. е. естественная история.

[^^^]

*Ревель* – ныне Таллин.

[^^^]

Имеется в виду система оплаты домашних учителей не за каждый урок, а по накопившимся талонам.

[^^^]

См. аналогичные слова Лермонтова в письме к А. М. Верещагиной 1835 г. (№ 18, с. 393). Тема пьедестала, тема карьеры, сделанной с помощью женщины, была распространена в современной Лермонтову французской литературе. Известна, например, новелла Ж. Жанена «Пьедестал», напечатанная в журнале «Revue de Paris» в сентябре 1832 г.

[^^^]

Он очень любезен. (Франц.) – Ред.

[^^^]

В январе 1835 г. Лермонтов послал Е. А. Сушковой анонимное письмо, которое начиналось почти теми же словами: «М-ле, я человек, знающий вас, но вам неизвестный...»; см. об этом письмо Лермонтова к А. М. Верещагиной 1835 г. (наст. том, № 18, с. 393).

[^^^]

Слово «негодяй» означает здесь «бездельник», «повеса» (ср. Словарь языка Пушкина, т. II. 1957, с. 777).

[^^^]

Веселая шайка. (Франц.) – Ред.

Прозвище «la bande joyeuse» взято Лермонтовым из действительности – см. письмо к С. А. Бахметевой 1832 г., подписанное: «член вашей bande joyeuse M. Lerma» (наст. том, № 7, с. 364).

[^^^]

О Симонове монастыре см. в очерке Лермонтова «Панорама Москвы» (с. 338).

[^^^]

В этих словах есть характерный для Лермонтова намек на разницу между Москвой и Петербургом. Ср. у Герцена: «В Москве трудно стовориться: личности там слишком свое нравны и слишком своеобычны» и т. д. (*А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 тт., т. VII, с. 252*).

[^^^]

*Последний Новик* – герой исторического романа под тем же названием, написанного И. И. Лажечниковым (1831–1833). В допетровское время «новиками» назывались юноши из дворян или детей боярских, начинавших свою службу при дворе без определенной должности.

[^^^]

Т. е. после 8 сентября 1831 г., когда русские войска заняли Варшаву и подавили польское восстание.

[^^^]

По китајски. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Как у госпожи Севинье. (Франц.) – Ред.

*Маркиза де Севинье* (1626–1696) прославилась своими письмами к дочери, изданными в 1726 г. Вместе с популярностью ее имени как автора писем в XVIII в. явилась мода на прическу, которую она носила.

[^^^]

Во вкусе молодой Франции. (Франц.) – Ред.

[^^^]

По-русски. (Франц.) – Ред.

Французские писатели-романтики носили  
длинные волосы;

*прическа à la russe* – волосы, остриженные  
в кружок;

[^^^]

По-средневековому. (Франц.) – Ред.

*прическа à la тоуеп âge* – челка и волосы до плеч;

[^^^]

Как у Тита. (Франц) – Ред.

*прическа à la Titus* (как у Тита, римского императора) – очень короткая стрижка.

[^^^]

Цитата из поэмы Пушкина «Братья разбойники».

[^^^]

# 60

*Ток* (от фр. *toque*) – шапочка в форме берета.

[^^^]

*Талейран-Перигор Шарль-Морис* (1754–1839) – французский дипломат, государственный деятель, искусный политик, отличавшийся хитростью и вероломством. *Меттерних-Виннебург Клеменс Венцель Лотар* (1773–1859) – австрийский государственный деятель и дипломат. Известен как мастер тактики лавирования и выжидания.

[^^^]

Это имя встречается и в драме Лермонтова «Маскарад».

[^^^]

Картина К. П. Брюллова (1799–1852) была привезена из Италии в Петербург в конце июля 1834 г. и выставлена в Эрмитаже в августе (см. статью Гоголя о ней в «Арабесках»), т. е. несколько позднее, чем происходящий в романе разговор (декабрь 1833 г.).

[^^^]

Во вкусе последователей Сен-Симона.  
(Франц.) – Ред.

Речь идет о моде, принятой последователями социалиста-утописта Сен-Симона; Герцен тоже отмечает: «...юноши с своими неразрезными жилетами, с отрощенными бородами» («Былое и думы», ч. I, гл. VII).

[^^^]

В лице Горшенкова Лермонтов изобразил известного в тогдашнем Петербурге дельца Н. И. Тарасенко-Отрешкова, состоявшего, как говорили, негласным сотрудником III Отделения.

[^^^]

А знаете, дорогая, он очень хорош!.. (Франц.) –  
Ред.

[^^^]

Ср. в повести Бальзака «Брачный контракт»: «Мисс Дина Стивене тратит не больше тридцати тысяч в год и лет семь уже путешествует – из экономии!» (О. Бальзак. Собр. соч. в 24 тт., т. III. М., 1960, с. 201).

[^^^]

Синие чулки. (Англ.) – Ред.

[^^^]

По-руски. (Франц.) – Ред.

[^^^]

*Буквально лицом к лицу, в данном случае партнер по танцу. (Франц.) – Ред.*

[^^^]

У нее буржуазный вид. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. II, слова Фамусова).

[^^^]

*Халаф (Халаб, Хална)* – древнее название Халеба (Алеппо) – города на северо-западе Сирии. В 1516 г. был завоеван турками-османами.

[^^^]

*Хадерилиаз (Хадрилиаз)* – мусульманский пророк, имя которого зафиксировало мусульманское предание о том, что душа пророка Хидра переселилась в пророка Илью (Илиаз – азербайджанская форма этого имени). «Энциклопедия Ислама» такого отождествления не дает. В ряде приведенных там легенд Хидр (Хадир) и Илья действуют рядом (*Encyclopédie de l'Islam*, t. II. Leyde – Paris, 1927, p. 499–501).

Авторский комментарий к имени Хадерилиаз совсем иного рода. Лермонтов разъясняет, что герою помог св. Георгий. Это очевидное влияние на него армянского и грузинского фольклора, в котором смешение Хадерилиаза со св. Георгием встречается достаточно часто.

Оно наблюдается, например, в ахалцыхском варианте сказки, что было отмечено И. Л. Андрониковым (*И. Андроников. Исследования и находки*, с. 387).

«Миср» – арабское наименование Египта; Миср аль-Кахира (Египет победоносный) – древнее название Каира, захваченного в 1517 г. турками.

[^^^]

*Намаз* – мусульманская молитва, сопровождаемая установленными жестами и ритуальными омовениями, один из главных обрядов ислама.

[^^^]

Ермолове. *(Примечание Лермонтова.)*

[^^^]

А. П. Ермолов был командиром Отдельного кавказского корпуса в годы 1816–1827. Линия – Кавказская кордонная линия протяженностью от Черного до Каспийского моря, по которой были расположены казачьи и регулярные войска и выстроен ряд больших крепостей и мелких укреплений.

[^^^]

Речь идет об укреплении на реке Аксай. «Крепость находилась на Аксае, в восемнадцати верстах от Шелковской станицы, за переправой, и называлась Таш-Кичу или Каменный брод. Выстроена она была при Ермолове, одновременно с крепостью Внезапной, и обеспечивала линию, шедшую по рекам Аксай и Акташ, от набегов чеченцев» (И. Андроников. Лермонтов. Исследования и находки, с. 420).

[^^^]

*Буза* – сусло, молодое вино.

[^^^]

«*Мирными*» назывались горцы, признавшие власть русских; однако обычно эти признания были вынужденными, так что деление горцев на «мирных» и «немирных» (ср. ниже о Казбиче, с. 191) не соответствовало действительности.

[^^^]

*Яман (тюркское)* – плохая.

[^^^]

По словам Белинского, здесь «могучей художественской кистью обрисованы характеры Азамата и Казбича, этих двух резких типов черкесской народности» (т. IV, с. 209). Образ Казбича не следует отождествлять, как это сделано в некоторых примечаниях к «Герою нашего времени», с историческим лицом – Казбичем (Кизильбегом Шеретлуковым), известным вождем шапсугов – вольного черкесского племени, жившего по берегу Черного моря, от Анапы до реки Шахе, и по низовой части Кубани. Шапсуги до 1863 г. отчаянно сопротивлялись русским войскам. Об историческом Казбиче речь идет лишь в конце повести «Бэла», где на вопрос проезжего офицера о судьбе Казбича Максим Максимыч отвечает: «Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец... да вряд ли этот тот самый!..» (см. об этом: *Б. С. Виноградов. «Горцы в романе Лермонтова „Герой нашего времени“»*. – В кн.: М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Орджоникидзе, 1963, с. 54–62).

[^^^]

*Абреки (возможно, от осетинского абыраег, абрег – скиталец, разбойник), в прошлом у народов Северного Кавказа – изгнанники из рода, которые вели скитальческую, разбойничью жизнь. В XIX в. на Северном Кавказе абреками стали называть и всех тех, кто вел в одиночку борьбу против русских. По определению Л. Н. Толстого (в повести «Казачи»), «абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 6. М. – Л., 1929, с. 22).*

[^^^]

*Якши тхе, чек якши (тюркск.)* – хороша, очень хороша.

[^^^]

*Карагач (тюрк.)* – дерево, вид вяза.

[^^^]

*Карагёз* (тюрк.) – черный глаз.

[^^^]

*Йок (тюрк.)* – нет.

[^^^]

*Гурда* – название лучших кавказских клинков (ср. в очерке Лермонтова «Кавказец»: «...у него завелась шашка, настоящая гурда», наст. том, с. 316).

[^^^]

Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка вторая натура. (*Примечание Лермонтова.*)

[^^^]

Вариант «Черкесской песни» из поэмы Лермонтова «Измаил-Бей» (см. наст. изд., т. 2, с. 159).

[^^^]

Кунак значит приятель. (*Примечание Лермонтова.*)

[^^^]

*Уносные* – передняя пара лошадей при запряжке четверкой.

[^^^]

*Жак-Франсуа Гамба* (1763–1833) – имя французского консула в Тифлисе, автора популярной тогда книги о путешествии по Кавказу; название «Крестовая гора» он понял как «гора св. Христофора» – «le Mont St.-Christophe» (*G. F. Gamba. Voyage dans la Russie méridionale... Paris, 1826*).

[^^^]

*Байдара* – правый приток Терека, протекающий в Байдарском ущелье, между почтовыми станциями Койшаур и Коби.

[^^^]

Овраги. *(Примечание Лермонтова.)*

[^^^]

*Фигаро* – имя героя трилогии Бомарше «Севильский цирюльник» (1775), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784), «Преступная мать» (1792).

[^^^]

Имеется в виду героиня романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина»: «Маркиза опиралась на подлокотники кресла, и вся ее фигура... и то, как утомленно склонялся в кресле ее гибкий стан» и т. д. (*О. Бальзак. Собр. соч. в 24-х тт., т. 2. 1960, с. 184*).

[^^^]

Измененная цитата из Библии: «...в тот день глухие услышат слова Книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых» (Книга пророка Исайи, гл. 29, ст. 18).

[^^^]

«Юной Францией» называли себя молодые французские поэты и писатели романтического направления, объединившиеся после революции 1830 г. вокруг молодого В. Гюго (А. де Виньи, Ш. Нодье, и др.).

[^^^]

*Миньона* – героиня романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Lehrjahre», 1793–1796.).

[^^^]

*Ундина* – русалка в немецком фольклоре. В специальной литературе отмечены параллели между «Таманью» Лермонтова и «Ундиной» Жуковского – поэмой «старинной повестью», представляющей собою переложение стихами прозаической повести немецкого писателя Фридриха де ла Мотт Фуке (см.: В. В. Виноградов. Стиль прозы Лермонтова. – В кн.: «Лит. насл.», т. 43–44, с. 594).

[^^^]

Цитата из стихотворения Пушкина «Туча» (1835).

[^^^]

Армейские эполеты у Печорина свидетельствуют о том, что он был переведен из гвардии в армейскую часть. О том же свидетельствует и дальнейшее упоминание о «нумерованной» пуговице: на пуговицах отмечались номера армейских частей.

[^^^]

Серо-жемчужное. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Красновато-бурого цвета (цвет блохи).  
(Франц.) – Ред.

[^^^]

У Робинзона Крузо (в романе Даниеля Дефо, ок. 1660–1731, «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», 1719) – не трость, а сделанный им самим зонтик; трость появилась во французских переводах, по которым Лермонтов, видимо, знакомился с этим романом.

[^^^]

По-мужицки. (Франц.) – Ред.

*Прическа «под мужика»* – волосы, подстриженные сзади полукругом, «в скобку».

[^^^]

Мой милый, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их, ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом.  
(Франц.) – Ред.

[^^^]

Мой милый, я презираю женщин для того, чтобы их не любить, ибо иначе жизнь была бы слишком смехотворной мелодрамой.  
(Франц.) – Ред.

[^^^]

*Авгуры* – жрецы-гадатели в древнем Риме. В трактате «О гадании» Цицерон говорит: «Очень хорошо известны слова Катона, который говорил, что он удивляется, почему не смеется гаруспик, когда видит другого гаруспика». Катон имел в виду не авгура, гадала по полету и крику птиц, а гаруспика, гадала по внутренностям жертвенных животных.

[^^^]

Медленная горячка. (Франц.) – Ред.

[^^^]

«Немецкая колония» – место по дороге из Пятигорска в Железноводск, носившее название «Каррас» или «Шотландка». Лермонтов останавливался здесь по пути из Железноводска к месту дуэли.

[^^^]

Пикником. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Переделка слов Чацкого в д. I «Горя от ума»  
Грибоедова: «Господствует еще смешенье  
языков: французского с нижегородским».

[^^^]

Боже мой, черкес!.. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Не бойтесь, сударыня, – я не опаснее вашего кавалера. *(Франц.) – Ред.*

[^^^]

Это бесподобно!.. (Франц.) – Ред.

[^^^]

На мазурку. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Очаровательно! Восхитительно! (Франц.) –  
*Ред.*

[^^^]

Для мировоззрения Лермонтова мысль о действительности идей очень важна. Сравнение идей с живыми существами встречается в 30-х годах и у Бальзака. Герой романа «Шагреновая кожа» Рафаэль говорит: «Наши идеи – организованные, цельные существа, обитающие в мире невидимом и влияющие на наши судьбы...» (*О. Бальзак. Собр. соч. в 24 тт., т. 18, с. 435*). В предисловии к этому роману Бальзак также делает подобное сопоставление: «Появление на свет живых организмов и возникновение идей – две великие тайны...» (*т. 24, с. 233*).

[^^^]

Эта автохарактеристика Печорина перенесена из драмы «Два брата» (см. наст. изд., т. 3, с. 392–393).

[^^^]

Подразумевается друг Пушкина – гусар  
Петр Павлович Каверин (1794–1855).

[^^^]

Неточная цитата из «Горя от ума» Грибоедова  
(слова Чацкого в д. III). У Грибоедова:

*«А смешивать два эти ремесла  
Есть тьма искусников, я не из их  
числа».*

[^^^]

Цитата из посвящения «Евгения Онегина»  
(П. А. Плетневу).

[^^^]

«*Освобожденный Иерусалим*» – эпическая поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1594). Описание очарованного леса, в который вступает герой поэмы рыцарь Танкред, содержится в XIII песне.

[^^^]

Лермонтов имеет в виду отличавшегося своей жестокостью героя популярной тогда одноименной английской повести «Вампир», якобы записанной со слов Байрона его доктором Джоном Полидори и переведенной в 1828 г. на русский язык П. В. Киреевским. В черновом автографе предисловия к «Герою нашего времени» Лермонтов писал: «Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других – отчего же вы не верите в действительность Печорина?».

[^^^]

Свое сердце и свою судьбу!.. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Установлено, что Апфельбаум – реальное лицо. О нем не раз упоминалось в периодической печати. В конце 1820-х гг. Апфельбаум жил в Москве.

[^^^]

*Архалук* (ахалук) – легкий кафтан из цветной шерстяной или шелковой ткани, собранный у талии. Ср. в «Тамбовской казначейше»: «К окну поспешно он садится, Надев персидский архалук; В устах его едва дымится Узорный бисерный чубук» (наст. изд., т. 2, с. 354).

[^^^]

В числе дурных предзнаменований, сопровождавших Юлия Цезаря на пути в сенат (где он был убит), древние историки указывают и на то, что он оступился на пороге.

[^^^]

Кончена комедия! (*Итал.*) – *Ред.*

[^^^]

Первоначальный вариант прощального письма Веры к Печорину был несколько иным: в нем Вера не объясняла причины своего отъезда, ничего не говорила о муже и советовала Печорину жениться на Мери.

[^^^]

Существует предание, что Наполеон после битвы при Ватерлоо, результатом которой явилось падение его империи, проспал более полутора суток.

[^^^]

За или против. (*Латин.*) – Ред.

[^^^]

См. примечание к «Бэле».

[^^^]

Возможно, что Лермонтов имел в виду, в частности, и Ф. П. Герарди (1792–1857) – штаб-лекаря Тифлисского военного госпиталя, которого, очевидно, встречал в доме П. И. Петрова (см.: *И. Андроников. Исследования и находки*, с. 378–379).

[^^^]

Ср. в «Герое нашего времени» («Бэла»): «Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?..» (наст. том, с. 215).

[^^^]

Насколько это было типично, свидетельствуют мемуары современников. Так, например, А. Л. Зиссерман в «Отрывках из моих воспоминаний» пишет: «Мне было 17 лет, когда, живя в одном из губернских городов, я в первый раз прочитал некоторые сочинения Марлинского <...> чтение это родило во мне мысль бросить все и лететь на Кавказ, в эту обетованную землю, с ее грозною природой, воинственными обитателями, чудными женщинами, поэтическим небом...» (Русский вестник, 1876, т. 122, № 3, с. 52).

[^^^]

См. примечание к «Княжне Мери».

[^^^]

А. Л. Зиссерман также «начал с того, что нарядился в черкесский костюм <...>, получивший права гражданства на всем Кавказе...» (Русский вестник, 1876, т. 122, с. 80).

[^^^]

А. Л. Зиссерман писал о себе: «Постоянною наблюдательностью, расспросами, сношениями с туземцами я узнал их нравы, образ жизни, взгляды и наклонности...» (там же, с. 81).

[^^^]

См. примечания к «Бэле».

[^^^]

Так назывались отличавшиеся особой прочностью клинки, изготовленные кумыкским мастером Базалаем (см.: Народы Кавказа, т. I. М., 1960, с. 426).

[^^^]

Современник Лермонтова указывал: «У горцев западной половины Кавказа были тогда знаменитые конские заводы: Шолок (т. е. Шаллох, – *ред.*), Трам, Есені, Лоо, Бечкан. Лошади не имели всей красоты чистых пород, но были чрезвычайно выносливы...» (Воспоминания Г. И. Филипсона. М., 1885, с. 103).

[^^^]

Г. И. Филипсон вспоминал: «Костюм ногайцев, армян и грузин подходил несколько к костюму черкесов, который был в большой моде у всех русских... Чистый черкесский костюм взят в образец для служебных мундиров линейного казачьего войска и несколько изменен был в Черномории» (там же, с. 92–93).

[^^^]

*Шапсуги* – см. примечание к «Герою нашего времени» («Бэла»).

[^^^]

*Бурка* – род войлочного плаща без рукавов – стала широко популярной после появления поэмы Пушкина «Кавказский пленник» (см., например, описание одежды черкеса в ч. I: «На ветви вешает кругом Свои доспехи боевые: Щит, бурку, панцирь и шелом...»), а также повестей А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек» (1832) и в особенности «Мул-ла-Нур» (1836). На портрете работы Дж. Доу (хран. в Эрмитаже) А. П. Ермолов изображен в бурке, так же как и Лермонтов на автопортрете.

[^^^]

Речь идет о бурке, изготовленной в округе Анди. «Анди́йские бурки <...> славились за пределами Дагестана» (см.: Народы Кавказа, т. I, с. 443).

[^^^]

Имеется в виду аристократический салон графа М. Ю. Виельгорского и его жены.

[^^^]

Очевидно, Лермонтов говорит здесь о себе самом – частом посетителе салона Виельгорского.

[^^^]

По-видимому, имеется в виду Сабина Гейне-фехтер, гастролировавшая в это время в Петербурге и исполнявшая романсы Шуберта.

[^^^]

Лермонтов имеет в виду прежде всего Гете и Байрона. Эти строки близки к следующему отрывку хорошо известной поэту «Исповеди сына века» Мюссе: «...два поэта, два величайших после Наполеона гения нашего века, собрали воедино все элементы тоски и скорби, рассеянные во вселенной». Речь шла о Гете с его «Вертером» и «Фаустом» («самом мрачном из всех человеческих образов») и Байроне, который «ответил ему криком боли» (А. де Мюссе. Исповедь сына века, с. 25).

[^^^]

*Колокольня Ивана Великого* в Кремле была в то время самым высоким зданием Москвы. Ее высота достигает почти 80 м.

[^^^]

В первой половине XIX в. иногда в такой форме передавалась фамилия великого немецкого композитора Бетховена (Beethoven).

[^^^]

*Петровский замок* – дворец, построенный в конце XVIII в. по проекту архитектора М. Казакова. Расположен перед въездом в город со стороны Тверской заставы.

[^^^]

*Сухарева башня* построена в конце XVII в. (при Петре I). У ворот башни нес караул полк полковника Л. П. Сухарева (находилась на месте нынешней Колхозной площади).

[^^^]

*Симонов монастырь* был в XIV–XVI вв. одной из передовых крепостей Москвы (был расположен там, где сейчас построен Дворец культуры автозавода имени Лихачева).

[^^^]

*Тайницкие ворота Кремля* выходили на Кремлевскую набережную.

[^^^]

В октябре 1812 г., уходя из Москвы, французские войска по приказу Наполеона начали взрывать Кремль. Они успели взорвать лишь три башни, выходящие на набережную, и часть прилегавшей к ним стены. Эти башни были восстановлены в 1816–1820 гг.

[^^^]

*Алексеевский монастырь* до 1837 г. находился у нынешних Кропоткинских ворот.

[^^^]

*Донской монастырь* построен в конце XVI в.  
Одна из пяти сторожевых крепостей Москвы.

[^^^]

Для памяти. (Латин.) – Ред.

[^^^]

Сон лорда Байрона для мисс Александрины.  
(Англ. и франц.) – Ред.

*miss Alexandrine* – Александра Михайловна  
Верещагина.

[^^^]

*Белинский* – один из персонажей драмы.

[^^^]

Написать трагедию: Нерон. (*Франц.*) – *Ред.*  
*Нерон* – римский император (37–68 гг.)

[^^^]

В это время Лермонтов читал книгу Т. Мура «Письма и дневники лорда Байрона с замечаниями о его жизни» (Letters and Journals of Lord Byron with Notices of his Life, vol. 1–2. By Thomas Moore. London, 1830).

[^^^]

Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. – Я думаю, что в такой душе много музыки. (*Примечание Лермонтова.*)

[^^^]

Сравнения луны с Армидой, а облаков с рыцарями вошли в трагедию «Испанцы» (см. наст. изд., т. 3, с. 31–32).

[^^^]

Имя девушки, о которой вспоминается в заметке, не установлено. По предположению В. А. Мануйлова, здесь идет речь об Агафье Александровне Столыпиной, которая была на пять лет старше поэта.

[^^^]

Мамушка немка, о которой вспоминает поэт, – его бонна Христина Осиповна Ремер.

[^^^]

А. С. – возможно Анна Григорьевна Столыпина, двоюродная сестра матери поэта.

[^^^]

В книге Томаса Мура «Письма и дневники лорда Байрона с замечаниями о его жизни» (1830) говорится о двух предсказаниях, сделанных в разное время. В раннем детстве Байрона деревенская гадалка в Шотландии предсказала его матери, что он будет «великим человеком»; в 1801 г. (когда Байрону было 13 лет) прославленная английская гадалка в городе Челтнем предсказала, что в юности жизнь Байрона будет подвергнута опасности отравления и что он будет дважды женат, причем во второй раз на иностранке. Лермонтов соединил эти два предсказания в одно.

[^^^]

Речь идет о романе Жан-Жака Руссо «Новая Элоиза, или Письма двух любовников, жителей одного небольшого города у подошвы Альпийских гор» (1761) и о романе И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

[^^^]

На то, что запись представляет собою имена тифлисских знакомых поэта, впервые указал И. Л. Андроников. По его мнению, Маико – это Мария Кайхосровна Орбелиани; а Мая – Мария Луарсабовна Орбелиани, родственницы Н. А. Грибоедовой, с которыми Лермонтов, очевидно, встречался в доме Александра Чавчавадзе (см. в кн.: *И. Андроников. Лермонтов. Исследования и находки*, с. 332–335).

[^^^]

*Дегай* – вероятно, Александр Павлович (1818–1886), товарищ Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, сын директора департамента Министерства юстиции, впоследствии сенатора, Павла Ивановича Дегая. Об А. П. Дегее говорится в отрывке из письма Винсона к Лермонтову (см. с. 526).

[^^^]

Портфеля. (Франц.) – Ред.

[^^^]

О! Я чувствую себя, как обычно... хорошо!  
(Франц.) – Ред.

[^^^]

Страдания тела происходят от болезней души!  
(Франц.) – Ред.

[^^^]

Выражение одного ученика. (*Примечание Лермонтова.*)

[^^^]

Г-н Ж. Жандро. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Милая тетя. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Неиссякаемый источник! (Франц.) – Ред.

[^^^]

Веселой шайки. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Слова «посланье» и «Павлово» подчеркнуты Лермонтовым, чтобы вскрыть намек на «послания» апостола Павла и противопоставить их «писаньям» Павла Евреинова.

[^^^]

Какую Демидову имеет в виду Лермонтов и чье письмо он должен был ей отдать – не установлено.

[^^^]

Во французском подлиннике игра слов: «le futur» означает не только «будущее», но и «жених», а «la future» значит «невеста» или «суженая».

[^^^]

Слова о «m-Ше С.» относятся к Екатерине Александровне Сушковой. Судя по ее запискам (*Е. А. Сушкова-Хвостова. Записки. Л., 1928*), Лермонтов встретился с ней в Петербурге, после трехлетнего перерыва, 4 декабря 1834 г. Комментируемое письмо относится ко времени начала романа Сушковой с А. А. Лопухиным. Очевидно, не расположенная к Сушковой Мария Александровна писала в не дошедшем до нас письме из Москвы что-то резко отрицательное о ней.

[^^^]

Я вас люблю, м-ль М. С. (*Франц.*). – Тут же нарисованы рукою Лермонтова лук со спущенной стрелой и пронзенное стрелою сердце.

[^^^]

*Мария Александровна Углицкая* – племянница Е. А. Арсеньевой, сестра Павла Евреинова; его жена – Софья Александровна.

[^^^]

О поездке Натальи Алексеевны Столыпшиной, сестры Е. А. Арсеньевой, за границу см. наст. том, с. 397, 499.

[^^^]

«*М-ле Ладыженская*» была, вероятно, одной из родственниц Евграфа Семеновича Ладыженского, вскоре женившегося на сестре Е. А. Сушковой, Елизавете.

[^^^]

*О драме «Маскарад» и ее цензурной истории*  
см. настоящее издание, т. 3.

[^^^]

Кроме последней строки, письмо написано писарем. – *Ред.*

[^^^]

*Издатель А. А. Краевский* принимал близкое участие в судьбе Лермонтова и Раевского.

[^^^]

Лермонтов, очевидно, уже подавал коменданту прошение о прощальном свидании с Раевским, но не получил разрешения.

[^^^]

*Афанасий Алексеевич Столыпин* (1788–1866), родной брат Е. А. Арсеньевой. Лермонтов очень любил А. А. Столыпина и переписывался с ним. Письма эти не сохранились.

[^^^]

Великие имена создаются на Востоке.  
(Франц.) – Ред.

[^^^]

*Сестра М. А. Лопухиной* – по всей вероятности,  
В. А. Лопухина-Бахметева.

[^^^]

*Поэт Павел Александрович Гвоздев* (1815–1851), еще будучи юнкером Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, написал ответ Лермонтову на стихотворение «Смерть Поэта». Позже за одно из своих сатирических стихотворений он был разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ (см.: *Б. Л. Модзалевский. Архив Раевских*, т. II. СПб., 1909, с. 512–513; т. III, с. 676).

[^^^]

Лермонтов подразумевал «Княгиню Лиговскую». Некоторые страницы рукописи написаны рукою С. А. Раевского, вероятно, под диктовку Лермонтова. После возвращения из ссылки Лермонтов действительно уже не возобновлял работы над романом. В это время его произведения с трудом проникали в печать. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» была напечатана только после ходатайства В. А. Жуковского перед министром народного просвещения С. С. Уваровым; при этом вместо фамилии «Лермонтов» было обозначено только «-ВЪ».

[^^^]

*Николай Дмитриевич Юрьев*, родственник Лермонтова и товарищ его по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 30 января 1838 г. он был уволен в отставку из лейб-гвардии Драгунского полка в чине штабс-капитана.

[^^^]

Здесь Лермонтов нарисовал коленопреклоненную фигуру в умоляющей позе. – *Ред.*

[^^^]

Для детского возраста. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Я хотел бы, чтобы предмет этих стихов не стал бы негодником... *(непереводимая игра слов; франц.) – Ред.*

[^^^]

Под липами. (Франц.) – Ред.

[^^^]

*Шамиль* (род. около 1798 г., ум. в 1871 г.) – имам, вождь горцев во время войны Дагестана и Чечни против России. Разгромленный под Ахульго в августе 1839 г., Шамиль к концу мая 1840 г. собрал значительное ополчение в Малой Чечне и присунженских аулах. 14 сентября 1840 г. русские войска под командованием Клюки фон Клюгенау разбили Шамиля под Гимрами, но в плен он был взят лишь 25 августа 1859 г.

[^^^]

*Граф Карл Карлович Ламберт* (1815–1865), поручик Кавалергардского ее величества полка, приехал на Кавказ одновременно с Лермонтовым и вместе с ним в составе отряда А. В. Галяфеева участвовал в деле на реке Валерик (см. следующее письмо).

[^^^]

*Московская знакомая Лермонтова и Ламберта графиня Екатерина Александровна Зубова* (1811–1843), урожденная Оболенская, была родной сестрой жены А. А. Лопухина – Варвары Александровны, также упомянутой в письме. Муж Екатерины Александровны – В. Н. Зубов был внуком Суворова и двоюродным братом Д. Г. Розена, приятеля Лермонтова.

[^^^]

*Николай Николаевич Анненков* (1793–1865) – генерал-майор свиты его величества (с 1835 г.) и командир лейб-гвардии Измайловского полка. Его жене Вере Ивановне, урожденной Бухариной, Лермонтов в 1831 г. посвятил стихи (см. наст. изд., т. 1, с. 236, 572).

[^^^]

Леокадия и Александра Углицкие – дочери Александра Васильевича Углицкого и Марии Александровны, урожденной Евреиновой, были троюродными сестрами Лермонтова. Свадьба А. А. Углицкой состоялась в Петербурге 18 апреля 1841 г. Она вышла замуж за К. И. Альбрехта (см.: «Радуга», альманах Пушкинского Дома. Пгр., 1922, с. 117).

[^^^]

Слова: «Я совсем недоволен N., который обручился...», возможно, относятся к помолвке В. А. Соллогуба с гр. С. М. Виельгорской, о которой было объявлено 19 апреля 1840 г.

[^^^]

Серо-жемчужное. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Красновато-бурого цвета (цвет блохи).  
(Франц.) – Ред.

[^^^]

По-мужицки. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Мой милый, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их, ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом.  
(Франц.) – Ред.

[^^^]

Мой милый, я презираю женщин для того, чтобы их не любить, ибо иначе жизнь была бы слишком смехотворной мелодрамой.  
(Франц.) – Ред.

[^^^]

Медленная горячка. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Пикником. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Боже мой, черкес!.. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Не бойтесь, сударыня, – я не опаснее вашего кавалера. *(Франц.) – Ред.*

[^^^]

Это бесподобно!.. (Франц.) – Ред.

[^^^]

На мазурку. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Очаровательно! Восхитительно! (Франц.) –  
*Ред.*

[^^^]

Свое сердце и свою судьбу!.. (Франц.) – Ред.

[^^^]

Кончена комедия! (*Итал.*) – *Ред.*

[^^^]

См.: С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960, с. 43.

[^^^]

Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII. Л., 1952,  
с. 402.

[^^^]

А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. VI. М., 1957,  
с. 201.

[^^^]

В. Одоевский. Повести. М., 1977, с. 381.

[^^^]

Б. Эйхенбаум. Молодой Толстой. Пб. – Берлин, 1922, с. 33.

[^^^]

В этом же письме содержится и признание Лермонтова о том, что стиховая речь ему ближе, чем прозаическая: «...Вот что я написал... эти два стихотворения выразят вам мое душевное состояние лучше, чем я бы мог это сделать в прозе» (наст. том, с. 368).

[^^^]

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 133 (далее – Воспоминания).

[^^^]

Авторское название неизвестно – первый лист автографа не сохранился.

[^^^]

Это точка зрения Б. М. Эйхенбаума, которая представляется наиболее убедительной. Она поддержана И. Л. Андрониковым в его статье «Исторические источники „Вадима“» (см.: И. Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. Изд. 4-е. М., 1977, с. 102–103).

[^^^]

К тому же 1832 г. относится запись «программы» и конспекта главы (или ее части) задуманного произведения, в котором фигурируют монах, его отец-нищий и сестра. Легко заметить, что ряд мотивов, обозначенных в конспекте, присутствует в «Вадиме».

[^^^]

Воспоминания, с. 134.

[^^^]

Следуя законам контраста, обязательным для произведений такого рода, Лермонтов вводит в роман образ, противопоставленный Вадиму. Это Ольга, сестра Вадима, по авторскому определению, «ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве» (гл. III).

[^^^]

Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 171.

[^^^]

Б. В. Томашевский в статье «Проза Лермонтова и западноевропейская литературная традиция» указал на сходство некоторых изобразительных приемов в «Вадиме» Лермонтова и романе Гюго «Собор Парижской богородицы», в котором отразилась поэтика ужасного (ср. портрет Вадима и портрет Квазимодо, описание толпы нищих у ворот монастыря в романе Лермонтова и соответствующие сцены в первых главах романа Гюго). См.: Лит. насл., с. 43–44. М., 1941, с. 475–476.

[^^^]

В. В. Виноградов. Стиль прозы Лермонтова. – В кн.: Лит. насл., т. 43–44, с. 519.

[^^^]

Фрагментарность «Сашки» не есть свидетельство ее незавершенности.

[^^^]

А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 1. М., 1954, с. 258.

[^^^]

В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, с. 146. Ср. замечание Лермонтова в Предисловии к «Журналу Печорина»: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа».

[^^^]

Эти вопросы чрезвычайно подробно, с привлечением большого материала разработаны в статье Б. М. Эйхенбаума «Герой вашего времени» (Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. М. – Л., 1961, с. 236–250).

[^^^]

См. примечание к публикации «Фаталиста»  
(Отечественные записки, 1839, № 11).

[^^^]

См.: Н. Я. Дьяконова. Из наблюдений над журналом Печорина. – Русская литература, 1969, № 4, с. 115–125.

[^^^]

Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 46. М. – Л., 1934, с. 187–188.

[^^^]

В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 267.

[^^^]

Там же, с. 146. – В специальной литературе неоднократно указывалось на связь между композицией лермонтовского романа и его художественно-психологической проблематикой. В наиболее развернутой форме это сделано в статье Г. М. Фридлендера «Лермонтов и русская повествовательная проза» (Русская литература, 1965, № 1, с. 43–45).

[^^^]

В. Э. Вацуро. Последняя повесть Лермонтова. –  
В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и мате-  
риалы. Л., 1979, с. 223–252.

[^^^]

В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V, с. 455.

[^^^]

Порою встречающееся в литературе о Лермонтове иное чтение заглавия – «Один из героев нашего века» – не подтверждается автографом, где четко обозначено: «начала века».

[^^^]

Купи что-нибудь Дарье, она служит мне с большой привязанностью. (Франц.) – *Ред.*

[^^^]